

AHTEPATYPA Русская

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



2008







РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК институт русской литературы (пушкинский дом)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ 1

Историко-литературный журнал

2008

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
Г. Я. Галаган. Юбилей журнала «Русская литература»	3
В. И. Еремина. К истокам исторической поэтики фольклора (Ф. И. Буслаев)	7
В. Д. Рак. «Капитанская дочка» в неосуществленном собрании «Романы и повести	
Александра Пушкина» (1837)	21
С. А. Шульц. Философия имени и смерти в «Несмертельном Головане» Лескова и «Смер-	
ти Ивана Ильича» Л. Толстого	39
Н. Ю. Грякалова. «Жизнь, какова она есть на самом деле»: трагикомическое в позд-	
ней драматургии А. П. Чехова	58
М. Н. Виролайнен. Филология в информационном обществе	67
из истории отечественной науки	
В. В. Жирмунская-Аствацатурова. Германия и немецкая культура в юношеских днев-	
никах В. М. Жирмунского (1903—1905)	80
С. В. Тураев. Мои встречи с В. М. Жирмунским	99
полемика	
Д. М. Буланин. Дух празднословия (в связи с выходом книги А. Л. Юрганова «Убить	
беса»)	105
пувликации и сообщения	
С. А. Фомичев. «Слово о полку Игореве»: поэтическая обработка исторического сюжета	137
С. А. Семячко. Старчество и сборник «Старчество» на Руси	144

Н. В. Понырко. Житие боярыни Морозовой — литературный памятник и историческое	
свидетельство	154
А. Л. Львов. «Первое учение отроком» Феофана Прокоповича и генезис русского сек-	
тантства	159
Н. Д. Кочеткова. Кружок Н. И. Новикова как явление русской культуры	170
В. А. Кошелев. «Рука Всевышнего» и «Российский Бог»	181
В. Е. Ветловская. Литературные и реальные прототипы героев Достоевского («Мещанин	
в халате» в «Преступлении и наказании»)	194
Н. Ф. Буданова. Паломничество «русского скитальца»	205
Иван Коневской — полемист (предисловие и публикация А. В. Лаврова)	211
П. В. Дмитриев. «Пчелы и осы "Аполлона"». К вопросу о формировании эстетики жур-	
нала	222
нала	222
	236
статья и публикация М. М. Павловой)	230
Неизвестная рецензия О. Ф. Берггольц на сборник стихов А. А. Ахматовой 1946 года	250
(публикация В. В. Перхина)	258
обзоры и рецензии	
Ф. З. Канунова, Ю. М. Прозоров. В. А. Жуковский в исследованиях и изданиях том-	
ской филологической школы	263
Р. Ю. Данилевский. Искусство русского поэтического перевода	269
А. Г. Гродецкая. Живая жизнь в контексте вечности	271
хроника	
Н. П. Лебеденко, Т. А. Савоськина. Первые «Славянские чтения» в Измаильском госу-	
дарственном гуманитарном университете	275
Л. Ф. Луцевич (Польша). Международная научная конференция «Дневники, письма,	
	278
записные книжки русских писателей»	
Т.Г.Иванова. Третьи Философовские чтения	283

Журнал издается под руководством Отделения историко-филологических наук РАН

О. М. Малевич, И. М. Порочкина. Памяти Зденека Матгаузера

Главный редактор Н. Н. СКАТОВ

Редакционная коллегия:

Е. В. АНИСИМОВ, Д. М. БУЛАНИН, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА (отв. секретарь редакции), Н. Н. КАЗАНСКИЙ, В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ, Ю. М. ПРОЗОРОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4. Телефон/факс (812) 328-16-01 e-mail: rusliter@mail.ru 286

[©] Российская академия наук, 2008 г.

[©] Редколлегия журнала «Русская литература» (составитель), 2008 г.

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Журналу «Русская литература» — первому и единственному в стране периодическому изданию, посвященному истории русской словесности на всех этапах ее развития, исполнилось полвека.

Зарождение мысли о создании журнала в Пушкинском Доме относится еще к началу 1930-х годов. В 1932-м — разрабатывается программа и даже выпускается в свет один номер журнала «Литература». Директор Пушкинского Дома А. В. Луначарский — инициатор этого издания — становится его главным редактором. Немного позднее, летом 1934 года, появилось сообщение о предполагавшемся в Пушкинском Доме выпуске «специального историко-литературного журнала, в котором будут помещаться исследовательские статьи по вопросам русской и европейской литератур». 1

Спустя около четверти века, в период обновления в стране общественно-политической жизни, когда литературная наука приступила к осуществлению обширной программы исследований, на основании Постановления Президиума АН СССР от 16 августа 1957 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) начинает издаваться журнал «Русская литература». Его первый номер вышел весной 1958 года. Возглавил журнал В. Г. Базанов, человек разносторонних знаний, обширного круга интересов, всегда находившийся в центре научной жизни, умевший привлечь к сотрудничеству талантливых авторов. В состав редколлегии вошли Б. И. Бурсов, А. С. Бушмин, В. Е. Гусев, В. А. Десницкий, В. А. Ковалев, Д. С. Лихачев, Ф. Я. Прийма, В. А. Рождественский, В. В. Тимофеева. Тогда же была сформирована редакция. Ее ответственным секретарем был назначен Ю. А. Андреев. В мае 1961 года его сменил А. А. Горелов. С июля 1963 года в течение более 40 лет на этом посту находился М. Д. Кондратьев. В апреле 2004 года ответственным секретарем журнала стала И. Ф. Данилова. Безмерен вклад в историю журнала и сотрудников редакции (Е. Г. Ивановой, А. Д. Копысовой, И. А. Лебедевой, Н. Ю. Меньшениной, Ю. К. Рыбникова), готовивших и готовящих номера издания к выходу в свет.

С начальных дней жизни «Русская литература», учитывая практику предшествующей академической и исторической журналистики, опиралась на программу деятельности и научные традиции Пушкинского Дома, печатным органом которого являлась. Широта охвата русского литературного прошлого и современности, разнообразие направлений исследования, актуальность и масштабность проблематики печатавшихся в ней работ, состав авторского коллектива, представлявшего филологические учреждения и высшие учебные заведения страны, география распространения позволили журналу сразу обрести характер и значение общесоюзного.

¹ См.: Литературный Ленинград. 1934. 20 июля. № 33. С. 4. См. также: *Баскаков В. Н.* Пушкинский Дом. 1905. 1930. 1980. (Исторический очерк). Л., 1980. С. 254—260.

Очень быстро пришло к изданию и международное признание: зарубежная подписка на него росла из года в год. Уже к началу семидесятых журнал поступает в университетские и частные библиотеки ученых-русистов 34 стран мира.²

Структура журнала сложилась в основном к 1963 году. К первоначально намеченным разделам — «Статьи», «Материалы и сообщения», «Хроника научной жизни» — добавились новые: «Заметки, уточнения», «Обзоры и рецензии», рубрика «Полемика», подборки публикаций «Из научного наследия». Интерес к проблемам текстологии и атрибуции привел к появлению соответствующих периодических подборок.

Хотя освещение главных проблем истории отечественной литературы связано в журнале прежде всего с его первым разделом — «Статьи», изучению литературного процесса во всей его сложности и полноте в огромной степени способствуют материалы всех последующих рубрик. Так, в частности, общепризнана первостепенная роль журнала в расширении источниковедческой основы нашей литературной науки (раздел «Публикации и сообщения»), в знакомстве читателя с обширным кругом проблем отечественной и зарубежной русистики (раздел «Обзоры и рецензии»). С момента основания журнала отрецензированы сотни отечественных и зарубежных книг, представляющих разные стороны литературной науки, ее разные направления. В рубрике «Хроника» дается информация о текущей научной жизни — заседаниях, конференциях, симпозиумах, в организации которых принимал участие Пушкинский Дом.

С первых лет существования журнал уделяет большое внимание литературам древнерусской и XVIII века. Широта исследований этих периодов русского литературного развития сделала Пушкинский Дом к моменту рождения журнала организующим и координирующим центром их изучения.

Разностороннее освещение получают темы «Фольклор и действительность», «Фольклор и история».

Но в центре внимания журнала — русская классическая литература. Исследования историко-литературного и теоретического характера соседствуют в нем с конкретными разысканиями биографического и текстологического порядка. За пределами внимания журнала не остаются и проблемы стиховедения.

В первые же годы в составе редколлегии произошли изменения. Вскоре после начала издания скончался В. А. Десницкий. Вышли из редколлегии Д. С. Лихачев и Б. И. Бурсов. С конца 1963 года в редколлегию была введена К. Д. Муратова. Ее многолетний опыт библиографа, текстолога и исследователя оказался очень значимым в еще большем укреплении авторитета журнала в стране и за рубежом.

С конца 1968 года на протяжении двадцати лет бессменным главным редактором журнала была В. В. Тимофеева. В середине 1979 года в состав редколлегии вошли П. С. Выходцев, А. А. Горелов, Н. А. Грознова, А. М. Панченко.

В это очень непростое для всех периодических изданий (и, разумеется, не только для них) двадцатилетие, когда усилился жесткий цензурный пресс, когда обсуждение многих проблем директивно программировалось

² См. стенограмму выступления В. В. Тимофеевой о работе журнала на заседании, посвященном актуальным проблемам науки, в Политехническом музее (Москва) 16 мая 1974 года (Библиотека Политехнического музея).

³ См.: Степанов В. II. Журнал «Русская литература» за 1958—1973 гг. Указатель содержания. Л., 1975. С. 2—8.

сверху, а на упоминание целого ряда имен и архивных материалов был наложен запрет, бо́льшая часть редколлегии осталась верна высоким этическим традициям нашей словесности. Это позволило свести к минимуму число заказных и спекулятивных публикаций и сохранить строгий академический облик журнала.

Основное внимание в «Русской литературе» по-прежнему уделялось нашему классическому наследию, литературам древнерусской и XVIII века, фольклору. Появилась тематическая рубрика «Из истории отечественной филологии».

С 1988 года главным редактором журнала становится Н. Н. Скатов — один из ведущих в стране исследователей русской классики. Одновременно существенно обновляется редколлегия. Вот ее состав: В. Н. Баскаков, Г. Я. Галаган (зам. главного редактора), А. А. Горелов, Г. А. Горышин, В. Я. Гречнев, Н. А. Грознова, Л. А. Дмитриев, Б. Ф. Егоров (до середины 2002 года), А. И. Павловский, А. М. Панченко, В. А. Туниманов, С. А. Фомичев, Г. М. Фридлендер. В течение последующих лет этот состав понес большие утраты: скончались В. Н. Баскаков, Г. А. Горышин, Н. А. Грознова, Л. А. Дмитриев, А. И. Павловский, А. М. Панченко, В. А.Туниманов, Г. М. Фридлендер. Редколлегия не могла не пополниться. В нее вошли Д. М. Буланин, А. В. Лавров, Т. С. Царькова. Затем — Е. В. Анисимов, Н. Н. Казанский, В. А. Котельников, Н. Д. Кочеткова, Ю. М. Прозоров.

Вступление журнала в четвертое десятилетие жизни совпало по времени со снятием идеологических запретов и завершением семидесятилетнего раскола отечественной литературы на советскую и зарубежную.

Сохраняя все многообразие направлений, утвердившихся ранее, журнал одним из первых начинает разрушать ту стену отчуждения, которая отделяла нашего читателя от литературы послереволюционного русского зарубежья.

Уже с № 2 за 1988 год появляется рубрика «Из наследия русских писателей», из номера в номер знакомившая с практически неизвестной либо известной очень узкому кругу специалистов частью истории русской культуры. Печатаются работы В. В. Вейдле, Н. А. Бердяева, П. М. Бицилли, З. Гиппиус, Б. К. Зайцева, Вяч. Иванова, Л. П. Карсавина, Д. С. Мережковского, В. В. Розанова, Д. П. Святополк-Мирского, Ф. А. Степуна, П. Б. и Г. П. Струве, Н. И. Ульянова, Г. П. Федотова, П. А. Флоренского, В. Ф. Ходасевича, Л. И. Шестова. Публикации сопровождаются высокопрофессиональными вступительными статьями и комментариями ученых старшего, среднего и совсем молодого поколений.

Столь же высокопрофессионально подготовлены к печати и эпистолярные материалы, хранящиеся в разных архивах страны, и прежде всего в Пушкинском Доме (а в ряде случаев — за рубежом: в Библиотеке Сорбонны, Колумбийском университете и др.).

Одним из первых журнал обращается к замалчивавшейся ранее теме — «Православие и русская культура».

Все разделы и рубрики сохраняются и в этот период. Теоретические и историко-литературные исследования по-прежнему соседствуют в нем с разысканиями биографическими и текстологическими, тематическими рубриками, связанными с юбилейными датами писателей-классиков и выдающихся литературных деятелей XX века, критическими обзорами, полемикой, атрибуциями, обширной информацией о текущей научной жизни по материалам многочисленных международных конференций.

За пятьдесят лет жизни «Русской литературы» ее авторский коллектив, естественно, не мог не меняться. Ушло в вечность старшее поколение, заложившее фундамент будущей деятельности журнала. Но следование заветам учителей, высоким академическим традициям — в каждой из работ, опубликованных в «Русской литературе».

В последние два десятилетия активно публиковались в журнале известные русисты из разных стран мира (Бельгия, Великобритания, Израиль, Италия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Франция, ФРГ, Швейцария, Япония).

История «Русской литературы» — это часть истории русской литературной науки XX века. На страницах журнала с момента его основания опубликовано свыше семи тысяч работ. Его по праву можно назвать своеобразной энциклопедией нашего литературоведения.

К своему полувековому юбилею журнал подошел, прочно утвердившись в истории не только отечественной, но и мировой культуры.

К ИСТОКАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ ФОЛЬКЛОРА (Ф. И. БУСЛАЕВ)

T

Основную заслугу Ф. И. Буслаева в истории не только русской, но и европейской науки А. Н. Пыпин видел в установлении им новых отношений «к народной старине», в проникновении «в задушевные тайны» народной поэзии. Стремясь раскрыть основные закономерности народной поэзии, Ф. И. Буслаев обращался к ее истории. Именно в далекой истории, «в темной доисторической глубине», в том времени, когда создавался самый язык, видел он истоки поэтического творчества. Происхождение языка рассматривалось Ф. И. Буслаевым как первая, «самая решительная и блистательная попытка человеческого творчества». Отсюда слово, в его понимании, оказывалось не условным знаком для выражения мысли, но художественным образом, вызванным «живейшим ощущением, которое природа и жизнь в человеке возбудили». ² Не случаен поэтому и особый интерес Буслаева к истории языка, где за потухшим значением слова он стремился (вслед за В. Гумбольдтом) воскресить его былое образное начало. Преимущественно весь ранний этап творческой деятельности Ф. И. Буслаева связан с изучением истории языка, когда он стремился перенести «методику сравнительно-исторического анализа, давшую столь блестящие результаты в работах немецких ученых, на изучение русского языка и его истории». Вольшую статью посвящает Ф. И. Буслаев анализу словарного состава «Опыта областного великорусского словаря», изданного в 1852 году Вторым отделением императорской Академии наук. Выход в свет словаря местных слов рассматривался Буслаевым как дело национального значения, так как изучение областных наречий, которые составляют «древнейший период в отношении к литературному и образованному языку», ведет к познанию «основных начал нашей национальности, поскольку они содержатся в первоначальном организме языка».4

Областное слово, в отличие от литературного, в значительной степени сохраняет свою первоначальную образность, а потому оно неизбежно должно подчиняться тем же закономерностям, которые свойственны любому художественному произведению. «Как художественное произведение, слово подчиняется и законам логики; но, как художественное же произведение, оно не исчерпывается ими вполне. Основное впечатление, проведенное по

¹ Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. II. С. 87.

² *Буслаев Ф. И.* Эпическая поэзия # Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. I. С. 1.

³ Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 24.

 $^{^4}$ *Буслаев* Ф. И. Областные видоизменения русской народности // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словеспости и искусства. Т. І. С. 157.

различным значениям слов, может быть оправдано и логически; но коренится оно на живом, непосредственном ощущении».⁵

Рассматривая образующее начало «в формации языка», Ф. И. Буслаев предостерегал против упрощенного понимания изложенных им приемов, действующих в языке. Он специально подчеркивал, что анализ раскрытия форм языка дается им с одной только целью — показать, что бесконечное множество подробностей не заслоняет цельности того основного начала, которое называется жизнью. «В наибольшей полноте и в совокупности своих действий, — писал Буслаев, — оказывается эта, неуловимая для анализа, сила языка в округленном сочетании слов, то есть в предложении, где наглядные представления, живописующие все, что есть в природе и жизни, умели неразрывно сочетаться с мельчайшими логическими отношениями мысли, выражаемыми помощью суффиксов, флексий и тех однообразных и немногих форм, которые известны в грамматике под именем частей речи служебных». 6

Творческие возможности языка оказались в представлении Буслаева неисчерпаемыми: «Логическое начало проводит в своих действиях закон необходимости; язык же пользуется полной свободою в применении корня слова к тому или другому впечатлению. На этой-то способности языка и основывается его неограниченное никакими пределами творчество, проявляющееся всегда новыми и свежими формами». ⁷ Рассмотрение разнообразия и богатства художественных форм областных наречий утвердило Ф. И. Буслаева в мысли, что язык образуется в неразрывной связи с народной поэзией, не случайно поэтому сравнительный метод, столь важный в истории языка при исследовании древнейших фактов, был непосредственно перенесен им и на изучение основ народной поэзии. «Это взаимное сопроникновение языка и народной поэзии свидетельствует нам об органическом, здравом и свежем развитии этих обоих органов народного духа. Оба они исходили из общего источника, дышали одною жизнью, потому каждое слово было поэтическим созданием; потому и поэзия так легко умела облечься в самые свойственные ее природе формы, когда животрепещущее, вновь сложенное слово вылетало из уст певца в одушевленной импровизации, не как прикраса его бойкого слога, а как необходимое дополнение его мысли, как новая черта, которою художник довершает картину».8

Таким образом сравнительный метод становится для Ф. И. Буслаева и основой науки о слоге. Слово с живой внутренней формой в одинаковой степени может быть названо и простым наименованием действия, предмета или его свойства, и «формой эпического слога». Отсюда предмет исследования Ф. И. Буслаева в равной мере может быть определен и как открытие закономерностей в создании образного языка, и как изучение главнейших основ стилистики. Исходя из такого общего начала, исследователь «видит в словаре разрозненные члены одного органического целого, остатки той великой поэмы, которая еще во времена незапамятные, раздробясь на множество мелких эпизодов, была первым проявлением художественного творчества, имевшего предметом воссоздание всей природы и жизни в идеальных образах, облеченных в звуки». Это художественное целое, задержавшееся «в свежем организме языка», имело характер эпический.

⁵ Там же. С. 160.

⁶ Там же. С. 177.

⁷ Там же. С. 178.

⁸ Там же. С. 209. Курсив мой. — В. Е.

⁹ Там же. С. 185.

Любая из эпических форм отражала народное воззрение на мир человека, составляла единицу слога всего народа. Зарождение подобных эпических форм принадлежало эпохе доисторической и сопровождалось «образованием самого языка: так что каждой обычной эпической форме можно найти соответствие в грамматических и лексических свойствах языка. Потому-то наука о слоге основывается на сравнительно-историческом изучении языка». 10

Рассмотренные выше основные положения в учении Φ . И. Буслаева об историческом соответствии языка и народной поэзии, как мы видим, весьма противоречивы. Наряду с открытиями, опередившими свое время, соседствует романтическое представление Буслаева об изначальности и единстве эпического периода.

Итак, по теории Ф. И. Буслаева, одна и та же сила способствовала как зарождению языка, так и мифов и народной поэзии. Именно поэтому в «самую раннюю эпоху своего бытия народ имеет уже все главнейшие нравст венные основы своей национальности в языке и мифологии, которые стоят в теснейшей связи с поэзиею, правом, с обычаями и нравами $\langle ... \rangle$ Все эти национальные основы уже глубоко вошли в его нравственное бытие, как самая жизнь, пережитая им в течение многих доисторических веков, как прошедшее, на котором твердо покоится настоящий порядок вещей и все будущее развитие жизни. Потому все нравственные идеи для народа эпохи первобытной составляют его освященное предание, великую родную старину, святой завет предков потомкам». 11 Именно к слову тянулись все «тончайшие нити родной старины», все то великое, на чем коренится правственная жизнь народа. Слово оказалось главным и естественным толчком к созданию мифов и преданий. Язык был так сильно проникнут стариною, что любое «речение» способно было возбудить «в фантазии народа целый ряд представлений, в которые он облекал свои понятия. Потому внешняя форма была существенной частью эпической мысли, с которой стояла она в таком нераздельном единстве, что даже возникала и образовывалась в одно и то же время. Составление отдельного слова зависело от поверия, и поверие, в свою очередь, поддерживалось словом, которому оно давало первоначальное происхождение. Столь очевидной, совершеннейшей гармонии идеи с формою история литературы нигде более указать не может». 12

Эти мысли Ф. И. Буслаева не были чистой декларацией, он дал прекрасные научные образцы конкретных исследований, подтверждающих правоту его идей. В этой связи очень интересно решается Ф. И. Буслаевым вопрос о том, каким образом сталкиваются «на многих пунктах народной жизни» язык одного индоевропейского племени и поверья другого. Ученый показал, что в основе преданий, общих, скажем, у славян и немцев, «лежит единство воззрений» обоих народов, следы этого первоначального единства до сих пор присутствуют в языке. Причем Ф. И. Буслаев специально подчеркивал, что не только немецкие и славянские предания, но и самые названия в языке развились самостоятельно.

Рассматривая старинное предание села Верхотишанки, Ф. И. Буслаев открывает такое соотношение языка с поверьями, при котором древнее предание доходит до нас в непонятной поговорке или же «в отдельном слове, которое употреблением в ежедневной речи, потеряв свой первоначальный

 $^{^{10}}$ Буслаев Ф. И. Об эпических выражениях украинской поэзии // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. І. С. 230; см. также с. 210.

¹¹ Буслаев Ф. И. Эпическая поэзия. С. 1.

¹² Там же. С. 7.

колорит народного воззрения», ¹³ и теперь еще изредка оказывается способным отозваться на то или иное старинное поверье, одновременно с которым в далеком прошлом и возникло это слово. Точно так же «собственное имя города или какого-нибудь урочища приводило на память целую сказку, сказка основывалась на предании, частью историческом, частью мифическом; миф одевался в поэтическую форму песни, песнь раздавалась на... пиру, свадьбе и даже на похоронах». ¹⁴

Тот же путь единства изучения языка и народной поэзии продемонстрирован Ф. И. Буслаевым и в его труде «Русский богатырский эпос», где, рассмотрев содержательную сторону русского героического эпоса в связи с этнографическими данными, ученый незаметно переходит к его внешней форме, т. е. к слогу. Такой переход был для Ф. И. Буслаева закономерен, потому что «самая тесная связь между содержанием и языком составляет отличительное свойство народной эпической поэзии, которая зарождалась и развивалась вместе с зарождением и установлением самых форм языка: так что иногда живое воззрение, проникнутое верованием, метко схваченное словом, служило семенем для целого мифа или сказания; иногда целое сказание сокращалось в краткую фразу, которую былина из века в век переносила в постоянном эпитете». 15

Эти мысли Ф. И. Буслаева послужили существенным толчком для дальнейших исследований, которые были осуществлены его учениками А. Н. Веселовским и А. А. Потебней.

Большое внимание в связи с общей теорией происхождения и дальнейшей судьбы поэтического языка уделялось Ф. И. Буслаевым вопросам изобразительности языка, которая составляет отличительное свойство не только поэтического, но и всякого языка «преимущественно в первобытную, эпическую эпоху, когда свежо чувствуется животрепещущее впечатление, которым слово неразрывно связывается с убеждениями, преданиями и со всем бытом народа». Чтобы представить себе изобразительность языка во всей яркости, Буслаев предлагает обратиться к наиболее отвлеченным формам, таким, которые имеют смысл только логического отношения понятий. Обращение к отвлеченным формам языка дает возможность проследить, какие именно усилия «употребляет язык, чтоб этим отвлеченным формам дать конкретное содержание или удержать его, если оно в них было первоначально». 17

К таким формам Буслаев относит прежде всего вспомогательные глаголы, в которых в основном и выражает язык «синтетическую силу мышления». Ф. И. Буслаев, говоря об изобразительности языка, очень подробно останавливается именно на судьбе вспомогательных глаголов потому, что отвлеченность их «доходит до последней степени логической формальности тогда, когда они употребляются в смысле окончаний глагольных, называемых спряжением. Несмотря на то, язык, как бы свидетельствуя о более конкретном происхождении этих глаголов, навсегда сохраняет на них следы первоначальной изобразительности». 18

Изобразительность языка происходит, по теории Ф. И. Буслаева, не от недостатка в словах и тем более не от ограниченности самосознания, но «от

 $^{^{13}}$ Буслаев Ф. И. Языческие предания села Верхотишанки // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. I. С. 247.

¹⁴ Буслаев Ф. И. Эпическая поэзия. С. 7.

 $^{^{15}}$ Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос // Буслаев Ф. И. Народная поэзия. СПб., 1887. С. 211.

¹⁶ *Буслаев* Ф. И. Областные видоизменения русской народности. С. 179.

¹⁷ Там же. С. 180.

¹⁸ Там же. С. 180-181.

свежести воззрений на природу и от веры в тайное с нею общение человеческой души. В слоге украшенном есть тропы только потому, что источник их глубоко проникает в образование самого языка: и только то украшение в слоге хорошо, которое согласно с первобытною, безыскусственною красотою форм языка. Когда яснее сознавалось представление, выраженное словом, тогда поэтическое украшение не только ближе подходило к воззрениям языка, но даже как бы развилось на них: потому-то древнейшая эпическая форма стоит в теснейшей связи с образованием слова». 19

В связи с этим и мифология видится Ф. И. Буслаеву не чем иным, как выражением в конкретных зримых образах «народного сознания природы и духа». Мысль, нашедшая свое выражение в слове и образе, переживает века, потому-то, «сколько бы народ ни отклонялся от своего первобытного состояния, пока он не утратит своего языка, до тех пор не погибнет в нем духовная жизнь его предков. Мысль, извне привитая к слову, никогда не осилит живого образа, в нем впервые воссозданного. И если народ силою своего умственного образования разовьет самостоятельно строгую мыслительность в пределах своего собственного языка, то это возможно не иначе, как только по глубокому и искреннему сочувствию, хотя и не всегда отчетливому, с теми представлениями, какие лежат в основе самого языка. Вместе с родным языком мы нечувствительно впитываем в себя все воззрения на жизнь, основанные на верованиях и обычаях, в которых язык образовался; и как предания, донесшиеся до нас из отдаленных веков только в звуке, мифология народная долго будет жить в языке своей яркой изобразительностью и метким взглядом на природу».20

Общая изобразительность языка имеет разные способы конкретного выражения. Современные учебники по теории литературы фиксируют, скажем, грань между синонимами и тропами как различными путями языковой выразительности, не останавливаясь при этом на объяснении исторического различия их происхождения. Этот вопрос, как правило, обходится молчанием, хотя в свое время в очень обобщенной форме такое историческое различие тропов и синонимов было дано Ф. И. Буслаевым, который рассматривал тропы в общем процессе образования языка в обратном отношении к синонимам. «Как тропы, так и синонимы оказались необходимым следствием того, что словом называется не предмет, а впечатление, производимое предметом на человека. Здесь возможны два случая: или один и тот же предмет различными свойствами и действиями производит различные впечатления, и потому именуется различными словами, которые впоследствии были названы синонимами, или же различные предметы могли быть выражены одним и тем же словом, потому что произвели на душу одинаковое впечатление: такие слова в риторике известны под именем тропов». 21

Любая языковая форма, и тропы в частности, оказывается, по теории Ф. И. Буслаева, отнюдь не внешней формой, простым украшением, а необходимой ступенью в духовном развитии, тем «действием фантазии, которое, участвуя в создании языка, проявляется в верованиях и преданиях мифического периода». ²²

Это определение имеет равное отношение как к метафоре, так и к метонимии, т. е. к двум основным способам иносказаний, имеющим, по словам

 $^{^{19}}$ Буслаев Ф. И. Мифологические предания о человеке и природе, сохранившиеся в языке и поэзии // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. I. С. 138

²⁰ Там же. С. 149-150.

²¹ Буслаев Ф. И. Областные видоизменения русской народности. С. 164—165.

²² Там же. С. 168.

Ф. И. Буслаева, «обширнейшее применение в образовании языка». Начала иносказаний глубоко скрыты в основах языка. Метафора, например, оказывается, в понимании Ф. И. Буслаева, особым способом представления, который обязан своим происхождением не одному только свободному творчеству, но невольной потребности человека, потому что, давая умственным и нравственным понятиям осязательные образы, поэзия только продолжает некогда остановившееся дело языка. В эпоху образования языка и преданий «такая метафора была необходимой, существенной оболочкою языческих верований, олицетворявших душевные силы в образах вещественной природы. Действие народной фантазии в этом случае представляется исследователю в такой неразрешимой цельности, что он взял бы на себя большую ответственность, если б без точных доказательств, по одному умозрению, решился подчинить формы языка верованиям или, наоборот, верования — формам языка». 23

Как отражение определенных впечатлений, зафиксированных в языке, рассматривает Ф. И. Буслаев и начала метонимии: «Созерцая природу, человек приписывает ей качества и действия своих воззрений, не по подобию или метафоре, а по врожденному своему стремлению сблизиться с предметом наблюдения и познавания, по свойству самого разума человеческого налагать отпечаток своей деятельности на всем том, чего коснется. Язык выражает это действие разума весьма просто, а именно: называет вещи не по тому, что оне суть на самом деле, а по тому, как оне кажутся». 24

Буслаев отмечал также, что метонимическое определение пространства и времени представляет собой очень важный момент в истории языка, поскольку одним из главнейших дел человека было научиться ориентироваться и осознавать себя в пространстве. Что же касается отвлеченных понятий о времени, то «можно сказать, — пишет Φ . И. Буслаев, — с большой определенностью, что они образуются в языке метонимически, от перенесения действия или событий, происходящих во времени, на самое время. Это весьма естественно, ибо время мы чувствуем, понимаем и ценим только по тому, что в течение его свершается». ²⁵

В общую систему рассуждений Ф. И. Буслаева относительно происхождения и природы тропов попадают и его высказывания, связанные с пониманием уподоблений, или параллельной связи между человеком и окружающей его природой: «Описывая внешнюю природу только в отношении к человеку, эпический поэт естественно давал ей значительное место в уподоблениях, которыми живое творческое воображение хочет представить нравственные понятия в осязательных образах, заимствованных из наблюдений над природою. Потому уподобления составляют не одно внешнее украшение слога, но существенную часть эпического взгляда на природу, которому в глубине и меткости уступают все описательные поэты позднейшей эпохи».²⁶ Именно эпические уподобления, в представлении Ф. И. Буслаева, соединяли в одно стройное целое и образ внешней природы, и душевное движение ему соответствующее. Весьма вероятно, что эти мысли Буслаева и послужили толчком для А. Н. Веселовского к творческому развитию (как, впрочем, всегда и бывало у Веселовского) теории происхождения поэтических форм из «психологического параллелизма».

²³ Там же. С. 166.

²⁴ Там же. С. 168. Курсив мой. — В. Е.

²⁵ Там же. С. 170.

²⁶ Буслаев Ф. И. Эпическая поэзия. С. 70.

Значительной принадлежностью эпического рассказа, также вытекающей «из эпического воодушевления и взгляда на природу», ²⁷ Ф. И. Буслаев считал эпитеты: «художественный, и собственно-эпический характер придается языку способностью называть предметы по эпитетам. Во взгляде на мир язык пользуется эпическим настроением, господствующим в первобытной народной поэзии, которая любит живописать природу постоянными эпитетами». ²⁸ Подробно анализирует Ф. И. Буслаев, как впоследствии и А. Н. Веселовский, и А. А. Потебня, способность подновления эпитетом состарившихся признаков в слове.

Все эти отдельно взятые элементы эпической формы составляли в совокупности то необычайно устойчивое стилевое единство, следы которого, по представлению Ф. И. Буслаева, видны до сих пор в народной поэзии. Традиция эпического повествования сохраняется даже в том случае, если в определенном мотиве нет ничего мифического или символического, — там, где есть только «наивная игра безыскусственной фантазии, но все же фантазии эпической, воспитанной верою в чудесное и привыкшей беспристрастно смешивать действительность с миром реального». 29

Ф. И. Буслаев утверждал, что каковы бы ни были побудительные причины к созданию тех или иных образцов — будут ли они мифические, т. е. основанные на старой памяти, будут ли они чисто фантастические, т. е. уже не поддерживаемые древним верованием, — в любом случае перед нами «не холодная, отвлеченная аллегория, не случайная забава праздного воображения, а необходимая, типическая форма». 30 Найти истоки тех или иных элементов этой эпической формы (например, олицетворения) представляет собой очень большую сложность, так как, к примеру, то же олицетворение служит в рамках эпического стиля проводником от мифа к внешнему поэтическому украшению и таким образом становится обычной эпической формой. Не случайно поэтому столь сложным оказывается во многих случаях решить вопрос: «мифическое ли верование дало начало иному олицетворению и обращению к реке как к существу живому, или же эпическое настроение фантазии, воспитанное чудесным, независимо от древнего верования, в своих причудливых образах бессознательно сходится с представлениями древнейших мифов, основанных на чествовании воды и рек». 31 Очень интересно проанализированы в этой связи Буслаевым и источники эпических стилевых форм, принадлежащих — вместе с языком, верованиями и преданиями — народной поэзии украинского народа.³²

Итак, подводя итоги рассуждениям Буслаева, связанным с его представлениями о языке народной поэзии, можно сделать следующие выводы.

Язык — один из основных хранителей глубочайшей древности, сохранившейся даже после утраты веры. Историческим документом древнейшего «периода убеждений и верований между народами индоевропейского поколения во всей своей первобытной свежести» ³³ могут служить для нас Индийские Велы.

Язык произошел и развивался одновременно с народной поэзией — отсюда и истоки народной поэзии следует искать в доисторическом прошлом.

²⁷ Там же. С. 73.

²⁸ Буслаев Ф. И. Областные видоизменения русской народности. С. 161.

²⁹ *Буслаев Ф. И.* Русский богатырский эпос. С. 187.

³⁰ Там же. С. 39.

³¹ Там же. С. 36.

³² См.: Буслаев Ф. И. Об эпических выражениях украинской поэзии.

³³ Буслаев Ф. И. Русский быт и пословицы // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. І. С. 113.

«Народная поэзия русская, восходя своими началами к эпохе доисторической, и доселе носит на себе явственные признаки своего мифологического происхождения, как и вообще изустная поэзия всякого народа».³⁴

С утратой языческого верования, $mu\phi$, «как бы он ни был заманчив по своему поэтическому содержанию, уже перестает быть выражением и двигателем народного сознания. Он только забавляет... но не внушает к себе доверия и уважения, каким пользуется собственно богатырский эпос, имеющий предметом не богов, которым уже никто не верит и никто не поклоняется, а обыкновенных смертных, которые в идеальных типах богатырей становятся настоящими представителями народа». ³⁵ Так, по мнению Φ . И. Буслаева, наступает переход народной поэзии в ее иное качество.

TT

Мифологический процесс духовной жизни народа, в котором скрыты начала народной поэзии, был общим для всех индоевропейских народов. Однако эти мифологические истоки поэзии получили свое собственное развитие в каждом народе, «вследствие большей или меньшей зрелости духовных сил народа, а также вследствие разных обстоятельств, местных и исторических, которые благоприятствовали свободному развитию дохристианских народных верований или задерживали его». 36 Народная поэзия любого христианского народа должна была пройти, по теории Буслаева, через три основных периода: мифологический, смешанный и собственно христианский. Учение Ф. И. Буслаева о периодизации народной эпической поэзии оказалось своеобразной проверкой взглядов Гриммов, которая была осуществлена им на огромном фактическом материале. «До Буслаева у нас никто не привлекал в таком количестве разнообразных фактов, которые в большинстве случаев им же были установлены и извлечены из огромного ряда просмотренных им впервые рукописей. К тому же он превосходно владел западноевропейским материалом; он был не только единственным в России знатоком средневековой литературы, но и одним из лучших специалистов в Европе».37

Ф. И. Буслаев на целой серии конкретных примеров (в основном взятых из эпоса), на материалах, часто впервые введенных им в научный оборот, показал, что каждый последующий период (т. е. смешанный или христианский) никогда не бывает изолирован от предыдущего; развиваясь, он продолжает сохранять как сами мифологические представления, так и формы этих представлений, заимствуя их от прошлого. Отсюда вполне объяснимыми становятся и те разнообразные наслоения, которые присутствуют в произведениях народной поэзии. Кроме того, наличие следов разновременных и разнохарактерных наслоений объяснялось Буслаевым и тем, что общее индоевропейское начало получило в каждом народе свое самостоятельное развитие (при большей или меньшей сохранности единой основы).

«В народной поэзии, — писал Φ . И. Буслаев, — наглядно выражается то причудливое наслоение исторических следов разных времен и разных поколений, из которого органически слагается всякая народность, как это со

 $^{^{34}}$ Буслаев Ф. И. О народной поэзии в древнерусской литературе // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. II. С. 3.

³⁵ *Буслаев* Ф. И. Русский богатырский эпос. С. 136.

³⁶ *Буслаев* Ф. И. О народной поэзии в древнерусской литературе. С. 5.

³⁷ Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1963. Т. II. С. 63.

всей подробностью анализирует Эдуард Тайлор в своем новом сочинении о первобытной культуре». ³⁸ Именно поэтому основным правилом исторической критики Буслаев считал необходимость видеть в изучаемом явлении только то, что оно содержит, т. е. от всякой эпохи следует «требовать только того, что она может дать, не навязывать позднейших понятий периоду древнейшему и вообще не искать в старине того, что привыкли мы видеть вокруг себя». ³⁹

Распутать замысловатый клубок исторических наслоений, заключенных в произведениях народной поэзии, можно только с помощью сравнительно-исторического метода анализа. Ф. И. Буслаев впервые в русской науке применил этот метод к исследованию фольклора. «Сравнительно-историческое изучение языков индоевропейских убеждает нас с математической точностью, что все народы, на этих языках говорящие, то есть племена арийские — индусы и персы, племена фракийские — греки и римляне, племена кельтские, немецкие, литовские и славянские, первоначально имели общие основы народности в языке и мифологии в связи с важнейшими условиями народного быта. Ни один из языков этих народов не был праотцем для других, ни одна из мифологий этих народов не была источником для прочих. Все эти народы, содержа многое от первобытной старины в языке и мифологии, вместе с тем представляют и позднейшее подновление того и другого. Это позднейшее подновление в каждом народе совершалось по мере обособления его, то есть по мере развития самостоятельной, отдельной национальности каждого». 40 Теоретические построения Ф. И. Буслаева нашли свое конкретное воплощение при историческом анализе героического эпоса. Именно здесь, стремясь «выделить разнородные элементы из этой хаотической смеси», Буслаев начинает с рассмотрения наиболее простых, первоначальных основ народного эпоса в богатырских песнях: «Сборники Киреевского и Рыбникова предлагают богатый материал во множестве вариантов одной и той же былины. Надо распутать противоречия вариантов и один вариант дополнить другими, отличая первоначальное от позднейшей примеси». 41

Ф. И. Буслаев, таким образом, пришел к мысли о слоевом составе русского эпоса. Говоря об истоках тех или иных конкретных былинных образов, он противопоставлял свои взгляды догадкам О. Миллера о мифологическом происхождении тех же образов. «Мне кажется, — писал он, — более смелою догадка г. Миллера о туче с дождем, принявшей вид Соловья-разбойника, нежели моя, по которой в образе этого дивовища наслоился целый ряд преданий и поверий, сложившихся в одно целое вещего жреца Соловья (или Лыздейку) с каким-нибудь Дидиладом, божеством бортников-древолазов. Я не отвергаю мифа с стихийным значением, но указываю на возможность других, эпических бытовых слоев, которые уже в древнейшую эпоху должны были заслонить собою этот первоначальный миф». 42 Иными словами, Буслаев вовсе не отрицает, что в основе былинного эпоса лежит мифология природы, он только стремится довести до читателя мысль об осложненной ее природе. Осложнения первоначальной основы эпических образов объясняются, во-первых, тем, «что она приурочилась к известным географическим урочищам, и, во-вторых, тем, что народная годовщина очень

 $^{^{38}}$ Буслаев Ф. И. Сравнительное изучение народного быта и поэзии XI—XVI вв. // Русский вестник. 1873. № 4. С. 713.

³⁹ Там же.

 $^{^{40}}$ Буслаев Ф. И. Древнейшие эпические предания славянских племен // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. І. С. 355.

⁴¹ Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос. С. 215.

⁴² Буслаев Ф. И. Бытовые слои русского эпоса // Буслаев Ф. И. Народная поэзия. С. 279.

рано была переведена на язык и понятия церковного календаря. Это уже не просто мифология, а *двоеверие*, как и современная нам народная годовщина уже двоеверная. Может быть, когда-нибудь народ и усматривал в своем муромском богатыре некоторые черты первобытного Перуна, но уже под двуличневою призмой Ильи-Громовника, и необозримые размеры стихийного мифа должны были сократиться в ту типическую личность, по которой калики перехожие поубавили силы как бы наполовину, чтобы сделать ее человекоподобною».⁴³

Мысли, высказанные Буслаевым о слоевом составе русского эпоса, об осложнениях, которым подверглась начальная основа эпоса (мифология природы), были поддержаны и развиты А. Н. Веселовским.

Веселовский утверждал, что процесс осложнения как мифов, так и произведений народной поэзии неизбежен вследствие их совместного развития. В ходе исторического развития миф или сказка осложняются эпизодами, заимствованными из самых различных кругов представлений, — отсюда и доходят до нас в своем сводном виде, составные части которого бывают спаяны случайно, по внешнему поводу. Таким образом, по мнению А. Н. Веселовского, должен быть изменен и метод конкретного исследования, который требует не сопоставления и поисков общего праисточника, а как раз наоборот — выделения того, что было в результате развития привлечено в них случайно. Творческое развитие мыслей Буслаева было возведено А. Н. Веселовским в стройную систему и вылилось в его теорию о «пластической силе» языка и мифа, об «основных» и «второстепенных» типах или формах.⁴⁴ Открытие А. Н. Веселовским особой «пластической силы», которая способна творить самостоятельно, независимо от древнего мифологического процесса, очень важно, так как приводит к созданию нового метода исследования фольклорных и средневековых явлений. А. Н. Веселовский считал необходимым объяснять жизненное явление «прежде всего из его времени и из той самой среды, в которой оно проявляется, и лишь тогда раздвигать границы сравнения, когда ближайшие условия не дают исследователю удовлетворительного ответа».45

Ф. И. Буслаев, открыв для себя осложненный характер мифов, былин и пр., тоже искал пути их конкретного исследования. Он понимал, что сложный комплекс исторических наслоений должен был быть с помощью сравнительно-исторического метода приведен в систему, — не случайно вопрос о периодизации духовных ценностей непосредственно связывался им с вопросом о стадиальности развития человечества на ранних его ступенях. Сравнительное изучение мифологии уже показало, что задолго до принятия христианства народы прошли определенные ступени своего духовного развития, главным и основным выражением которого была мифология в ее теснейшей связи с народной поэзией. С. А. Токарев, рассматривая вклад русских ученых, внесенный в мировую этнографию, писал о том, что «единственно научным методом систематизации этнографического материала... является установление исторической последовательности стадий развития, исходящее из идеи единства и закономерности исторического процесса. Размещение отдельных народов, живых и древних, по стадиям единого исторического процесса — с учетом, разумеется, всех конкретно-исторических ус-

⁴³ Там же.

⁴⁴ См. об этом: *Веселовский А. Н.* Сравнительная мифология и ее метод // Веселовский А. Н. Собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 16. С. 108, 115—118.

 $^{^{45}}$ Веселовский А. Н. Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса // Там же. С. 16.

ловий и особенностей в каждом отдельном случае — дает возможность превратить этнографическую науку в могучее орудие исторического познания». 46

Проблема периодизации истории в связи с развитием народной поэзии решалась Ф. И. Буслаевым с передовых для своего времени позиций. Буслаев разделял мнение о том, что развитие каждого народа отражает определенную стадию прошлого всего человечества, причем необходимо учитывать, что «в отношении быта племенного и семейного дикари стоят на ступени древнейшей, нежели та, с которой разошлись из своей азиатской прародины народы индоевропейские». 47

Проблема стадиальности исторического развития народов во многом проливает свет на понимание сходства мировых сюжетов. Сходство сюжетов в мифологии и фольклоре разных народов Ф. И. Буслаев объяснял сходством условий в раннем развитии народного быта. Так, скажем, констатируя сходство одного из эпизодов об Илье Муромце с чужеземным, Буслаев считал, что оно основывается главным образом «на эпическом выражении одинаковых условий в раннем развитии народного быта». В Буслаев предполагал также, что это сходство может рассматриваться даже как «сродство общечеловеческое, по которому родственны Илиада и финская Калевала», т. е. «оба эпоса, воспевающие народную войну из-за красавицы — соответственно римскому сказанию о похищении сабинянок или славянским обычаям похищать и с бою брать себе жен».

Ф. И. Буслаев разделяет господствующую в то время точку зрения о том, что сходство основано на общих законах развития человеческого духа. Именно единые закономерности духовного развития индоевропейских народов дали самостоятельное развитие многочисленным общим сказочным сюжетам или отдельным мотивам. Художественная правда сказок пронеслась, таким образом, «на расстоянии веков по многим народам и племенам общим согласием в главных мотивах сказочного предания, и не могла бы так твердо окрепнуть в национальности каждого». ⁵⁰ И при всем том само понимание существа и истоков народной сказочной литературы во многом было у Ф. И. Буслаева ошибочным.

Сказку он, например, считал обломком доисторической старины, «сказка содержит в себе древнейшие мифы, общие всем языкам индоевропейским; но эти мифы потеряли уже смысл в позднейших поколениях, обновленных различными историческими влияниями: потому сказка относительно позднейшего образа мыслей стала нелепостью, складкою, а не былью».⁵¹

Сказка в представлении Буслаева ведет свое начало от эпоса, иными словами, она представляет собой «не что иное как разрозненный и подновленный эпизод народного эпоса». Далее: сказка «есть не только уцелевший обломок мифической старины, но и позднейшая прозаическая форма, с которою народ нечувствительно выходит из замкнутого круга эпохи эпической на новое поприще, открываемое образованностью в успехах позднейшей лирики и прозы». 53

 $^{^{46}}$ *Токарев С. А.* Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку # Советская этнография. 1948. № 2. С. 195—198.

^{4&}lt;sup>7</sup> Буслаев Ф. И. Сравнительное изучение народного быта и поэзии XI—XVI вв. С. 716.

⁴⁸ Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос. С. 133.

¹⁹ Тамже

 $^{^{50}}$ Буслаев Ф. И. Славянские сказки // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. І. С. 309.

⁵¹ Там же. С. 310.

⁵² Там же.

⁵³ Там же. С. 311.

Эти романтические представления не помешали, однако, Буслаеву сделать еще один правильный вывод относительно сходства мировых сюжетов, в том числе и сказочных. Сюжетное «сродство» Буслаев объяснял также действием одинаковых законов логики в мышлении всего человечества. Сходство преданий и верований тем заметнее, чем более мы мысленно удаляемся в старину, потому что именно в глубокой древности верования и предания не обросли еще своими национальными свойствами. На примере сравнительного изучения русских и древненемецких заклятий Ф. И. Буслаев показал, что не заимствование, а одинаковые законы логики способствовали рождению идентичных мыслительных операций, одинаковых способов и форм выражения у разных народов. «Как в мышлении всего человечества, — писал Ф. И. Буслаев, — оказываются одинаковые законы логики, 54 так и в чувствованиях и верованиях различных народов находится немалое сходство, имеющее своим источником неизменные основные свойства души человеческой». 55

Буслаев не просто отмечает различную сохранность общей индоевропейской основы в народном творчестве разных народов, но и пытается теоретически это обосновать. «Чем богаче и разнообразнее развила какая народность свои самобытные силы на древней основе индоевропейских зачатков, тем дальше отделилась от нее, определив себя наиболее оригинальными, индивидуальными чертами. Так было с мифологией классических народов, и преимущественно греков. Народы, менее богатые зачатками исторического развития, меньше выработали свою мифологию, свои обычаи и нравы и не далеко ушли от ранних преданий первобытной индоевропейской цивилизации, сохранившейся в языке, мифе и эпосе. Таковыми оказались славяне и литва». 56 Таким образом, все индоевропейские народы имели общую мифологическую основу, но каждый народ этой семьи в силу определенных исторических условий по-своему сохранил первоначальные моменты единой и общей системы, потому-то недостаток одной мифологии (скажем, славянской) может быть восполнен другой (немецкой). Поскольку немецкая мифология представляет собой «полную и стройную систему, последовательно развившуюся из общих арийских зачатков и доведенную до самостоятельного целого, округленного индивидуальными чертами немецкой народности», 57 Буслаев считает возможным дополнить ею при необходимости то, что «смутно и неразвито оставалось в быте и верованиях славянских племен». 58 Таким образом, сближая эпизоды русских былин с близкими моментами, взятыми из северного мифологического эпоса, Ф. И. Буслаев вовсе не имел в виду мысль «о заимствовании из одной национальности в другую, ни даже о решительном сродстве, на чем бы оно ни основывалось... Эти сближения для науки важны потому только, что мелкими подробностями дополняют они и без того уже очевидное первобытное сродство между собою всех индоевропейских и особенно связанных так близко историческими и местными условиями, каковы славяне и немцы». 59 Это первый тип сближения. Буслаев сделал ряд конкретных наблюдений, которые свидетельствовали,

⁵⁴ Ср.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.

 $^{^{55}}$ Буслаев Ф. И. О сродстве одного русского заклятия с немецким, относящимся к эпохе языческой // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. І. С. 252. Курсив мой. — В. Е.

 $^{^{56}}$ Буслаев Ф. И. Следы славянских эпических преданий в немецкой мифологии // Буслаев Ф. И. Народная поэзия. С. 216.

⁵⁷ Там же. С. 217.

⁵⁸ Там же. С. 216.

⁵⁹ Там же. С. 232.

что нужно иметь в виду и сближения иного типа, предполагающие показать, каким образом общие, скажем, с славянскими мифологические и эпические начала прививаются на западной почве и какие они приносят «плоды в успехах городской жизни, в католических легендах и в высших произведениях искусственной поэзии». 60

Очень важно отметить, что, сопоставляя разнохарактерные материалы, говоря о любом типе сближений, Ф. И. Буслаев всегда решал для себя вопрос о правомерности выбранных им сопоставлений, так как прекрасно понимал, что внешнее сходство часто обманчиво и может привести к антинаучным выводам. Я приведу лишь некоторые примеры, показывающие, сколь осторожен и научно тактичен был Буслаев при рассмотрении им вопросов сходства сюжетов, вопросов перенесения и заимствования повестей. «Указав на отличие русского заклятия от древненемецкого, — писал Буслаев. — при всем их сходстве и родстве, мы должны решить следующие вопросы, весьма естественно рождающиеся при сличении русского произведения из позднейшей рукописи с немецким VIII столетия. Эти вопросы двух родов. Во-первых: имеем ли мы какое-нибудь право искать общих источников того и другого произведения? Не думаем ли русское поверие вести от немецкого, или наоборот?..» 61 и т. д. Или другой пример. При рассмотрении эпической поэзии Буслаеву приходилось проводить разного рода сопоставления: «Мы сближаем иногда Гомера и средневековые поэмы чужих народов с нашими песнями и сказками, но единственно для того, чтоб объяснить предмет рассуждения, не позволяя себе никаких выводов касательно взаимного отношения этих разнородных произведений».62

Столь же осторожным оказался Буслаев и в отношении использования сравнительно-исторического метода. Последователь Я. Гримма, Р. Раска и В. Гумбольдта, Ф. И. Буслаев видел практически неограниченные возможности применения сравнительно-исторического метода в лингвистике. Он был первый и активный сторонник его применения к исследованию произведений народной словесности, но в то же самое время он видел ограниченность этого метода, когда речь шла об исследовании письменных памятников литературы или произведений народной поэзии не индоевропейского происхождения: «Собственно сравнительный метод, основанный на мысли о первобытном сродстве индоевропейских народностей, так же мало может быть применен к этим произведениям романских племен, как к новеллам Боккачио или к Письмовнику Курганова». Сопоставляя романсы о Сиде с русскими былинами, Буслаев говорит об ином, не связанном с общей первоосновой, сходстве. Это сходство может быть объяснено «единообразием в общих началах исторического развития».

Ф. М. Селиванов, рассматривая эволюцию взглядов Буслаева, связанную прежде всего с развитием эпоса, справедливо показал, что Буслаев наметил три основных вида сходства для эпосов различных народов, которые были обусловлены временем происхождения и «возрастом» произведения. Методы сравнительного изучения международного эпоса могут быть определены «как "сравнение историко-генетическое" (по отношению к эпосу германских народов), сравнение историко-типологическое (по отношению к эпосу романских и славянских народов), сравнение, устанавливающее меж-

⁶⁰ Там же. С. 244.

 $^{^{61}}$ Буслаев Ф. И. О сродстве одного русского заклятия с немецким, относящимся к эпохс языческой. С. 252.

⁶² Буслаев Ф. И. Эпическая поэзия. С. 76.

⁶³ *Буслаев Ф. И.* Испанский народный эпос о Сиде // Буслаев Ф. И. Народная поэзия. С. 321.

⁶⁴ Там же.

дународные культурные взаимодействия, "влияния" или "заимствования" (по отношению к новеллам Боккачио и Письмовнику Курганова)». 65

Эта осторожность в применении сравнительного метода к различным по своей сути фактам, эта градация в изучении эпоса различных народов показывает, как неоднозначно и широко мыслил Ф. И. Буслаев и как трудно в связи с этой широтой и нетрафаретностью взглядов причислить его к какой бы то ни было одной из действующих в те годы школ.

⁶⁵ Селиванов Ф. М. К вопросу об эволюции теоретических взглядов Ф. И. Буслаева (К 150-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. 1968. № 2. С. 35.

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» В НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ СОБРАНИИ «РОМАНЫ И ПОВЕСТИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА» (1837)

Изучая в библиотеке Ленинградского университета цензурный, единственный сохранившийся, экземпляр начатого подготовкою при жизни автора, но так и не увидевшего свет издания «Романы и повести Александра Пушкина» (Ч. 1-2. СПб., 1837), Л. Б. Модзалевский пришел к выводу, что составляющая первую часть этого двухтомника «Капитанская дочка» «является несомненной перепечаткой текста "Современника"» и «никаких следов авторской правки (...) не имеет». Общее заключение ученый дополнил указанием главных особенностей этого текста: «...можно предположить, что перепечатка проходила механически и без последующей считки с оригиналом, так как в некоторых местах находятся пропуски коротких фраз, искажения отдельных слов и большое число типографских опечаток, свидетельствующих о плохой корректуре и спешности печатания издания одновременно в двух типографиях. Отступления от текста повести в новом издании наблюдаются в следующем: "Капитанская дочка" разделена на две части с особым шмуцтитулом для второй ее части и с отдельной пагинацией частей; напечатанная в издании "Современника" после заголовка пословица "Береги честь с молоду" в отдельном издании опущена; в конце повести подпись "издатель" и дата "19 окт. 1836" отсутствуют; вместо них поставлено слово "конец"; в письме А. П. Гринева к генералу Андрею Карловичу Р., в обращении имя генерала исправлено (вместо Иван Карлович — Андрей Карлович). Указанные изменения произведены были, по-видимому, без участия Пушкина, поэтому они и не имеют значения, за исключением исправления имени генерала». Варианты текста «Романов и повестей» были опубликованы Б. В. Томашевским в «Большом» академическом «Полном собрании сочинений» А. С. Пушкина.³ В дальнейшем, считая, что вся необходимая информация из этого издания «Капитанской дочки» извлечена, пушкинисты более не проявляли к нему интереса. Показательно, что ни словом о нем не обмолвились ни Ю. Г. Оксман, ни Г. П. Макогоненко в статьях, сопровождавших это произведение в академической серии «Литературные памят-

 $^{^1}$ *Модзалевский Л. Б.* Новые материалы об изданиях Пушкина (1831—1837) // Звенья: Сб-ки материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. М.; Л., 1933. Кн. 2. С. 249.

² Там же. С. 249—250. На выводы и наблюдения Л. Б. Модзалевского опиралась М. Н. Виролайнен в своем комментарии к фототипическому переизданию этой публикации «Капитанской дочки»; см.: Предположение жить: 1836 / Сост. А. Г. Битов; науч. ред., коммент. и указ. М. Н. Виролайнен. М., 1999. С. 851.

³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Т. 8. Кн. 2. С. 919—926. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте (Акад., с указанием тома римской цифрой и страницы — арабской).

22 В. Д. Рак

ники», отличающейся тщательной текстологической подготовкой. Чебольшая заметка Н. П. Смирнова-Сокольского, преследовавшая, как и вся его замечательная книга, просветительско-популяризаторские цели, научного значения не имеет. 5

Между тем изучение этого текста «Капитанской дочки» отнюдь нельзя признать законченным. Проведена лишь первичная, подготовительная работа, и оно нуждается в углубленном продолжении, что показывает, в частности, один вариант, который проскочил в общей массе, не остановив на себе должного внимания исследователей.

В «Современнике» напечатано: «Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и узнав, что двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться». Именно так это предложение написано и в беловой, сохранившейся в бумагах Пушкина рукописи (ПД 1056, л. 14 об.; Акад. VIII, 904). В «Романах и повестях» оно дополнено: «Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию, и узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться». В отступление от «Современника», слова «на почтовом дворе» были введены Б. В. Томашевским в основной текст «Большого» академического собрания (Акад. VIII, 371), откуда перепечатывались большинством последующих изданий (кроме, кажется, лишь осуществленных Ю. Г. Оксманом / Г. П. Макогоненко и автором данной статьи).

Неизбежно встает вопрос, с какого оригинала производился в типографии Х. Гинце набор «Части второй», согласно шмуцтитулу, «Капитанской дочки». Очевидно, что это мог быть или, как определил Л. Б. Модзалевский, печатный текст «Современника», но, вопреки заключению ученого, подвергшийся, по крайней мере в данном месте, авторской правке, или все же рукопись, содержавшая отсутствующие в беловом автографе ПД 1056 и в журнальной публикации слова.

Первое представляется сомнительным, поскольку добавленное обстоятельство «на почтовом дворе» явно ухудшает стилистически текст. Впрочем, исключать вероятность подобной оплошности писателя при беглом просмотре своего завершенного и даже напечатанного произведения нельзя. Однако, допустив, что это изменение было сделано самим Пушкиным, следует признать авторским также изъятие общего эпиграфа и подписи с датою. Каждому из этих действий может быть найдено гипотетическое объяснение, но доказательная база для этих аргументов отсутствует и потому в совокупности они выглядят неубедительными. Снятие эпиграфа могло бы быть вызвано, кажется, лишь намерением его заменить, но другого эпиграфа предложено не было, и к тому же подобная операция над только что увидевшим свет произведением¹⁰

 $^{^4}$ См.: Пушкин А. С. Капитанская дочка / Изд. подгот. Ю. Г. Оксман. М.: Наука, 1964; 2-е изд., доп. / Отв. ред. Г. П. Макогоненко. Л.: Наука, 1984.

⁵ Смирнов Сокольский Н. П. Сожженное издание «Романов и повестей» (1837) / Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 402—406.

⁶ Современник: Литтературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. СПб., 1836. Факс. изд.: М., 1987. Т. 4. С. 208. В дальнейшем ссылки в тексте (Совр., с указанием страницы). В цитатах сохраняется пунктуация оригинала, в необходимых случаях также и орфография.

⁷ Пушкин А. С. Романы и повести. СПб., 1837. Ч. 1: Капитанская дочка, ч. 2. С. 102. В дальнейшем ссылки в тексте (РП, с указанием части «Капитанской дочки» римской цифрой и страницы — арабской). В цитатах сохраняется пунктуация оригинала, в необходимых случаях также и орфография.

⁸ *Пушкин А. С.* Капитанская дочка. 2-е изд., доп. Л.: Наука, 1984. С. 79.

⁹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 5 т. СПб.: Библиополис, 1994. Т. 4. С. 91.

¹⁰ Четвертый том «Современника» вышел 22 декабря 1836 года, а цензурное разрешение на печатание «Романов и повестей» дано 8 января 1837 года.

должна была иметь вескую причину и нуждалась в обосновании для читателей, которое автором представлено не было; а единственное усматриваемое в самом тексте возможное основание для замены — повторение той же пословицы в отцовском напутствии Гринева-старшего (Акад. VIII, 282) — вряд ли было бы достаточно весомым, чтобы побудить к столь существенной правке. Подпись «Издатель» вступала в противоречие с общим заглавием двух томов, объявлявшим Пушкина автором всех содержащихся в них романов и повестей. Перепечатка «Капитанской дочки» в этом издании снимала с нее покров анонимности, очень важной для Пушкина при первой публикации, как явствует из его настойчивой просьбы в обоих письмах цензору П. А. Корсакову (ок., не позднее, 27 сентября и 25 октября 1836 года) сохранить тайну его имени и объявить, что рукопись доставлена через П. А. Плетнева (Акад. XVI, 162, 177—178). Тот же резон распространяется и на сопровождавшую подпись дату «19 Окт. 1836», которая, согласно предложенному М. И. Гиллельсоном и И. Б. Мушиной ее вполне правдоподобному толкованию, была знаковой в том смысле, что как бы замещала личную пушкинскую подпись, указывая косвенно имя автора. 11 Тем не менее последний абзац, где Пушкин называл себя издателем записок Гринева, не подвергся никаким изменениям, так что и подпись, и дата оставались уместными, а потому вполне могли быть сохранены.

Итак, если нельзя исключить полностью вероятность того, что подпись и дата были сняты по указанию самого Пушкина, а стилистическое ухудшение фразы произошло по его оплошности, то допустить, что эпиграф был изъят также по его воле, можно лишь при условии признания этого поступка необъяснимым и алогичным. Если же предполагать в отношении эпиграфа, подписи и даты, а также слов «на почтовом дворе» небрежность набора, то возникает недоумение, как могло случиться, что в разных типографиях это произошло параллельно именно с очень важными элементами текста, находившимися к тому же в местах, где они бросались в глаза, один (эпиграф; типография Н. Греча) его открывая, два других (дата, подпись; типография Х. Гинце) — замыкая. Любое объяснение потребует, как нетрудно предвидеть, изощренных, но воздвигнутых на плывунах конструкций, которые все будут разваливаться даже при слабом критическом толчке. Иначе говоря, в рамках первого предположения ответа на поставленный вопрос не находится.

Альтернатива кажется невозможной в реальных обстоятельствах, а потому имеет, на первый взгляд, вид не более чем умозрительного построения. Известны две беловые рукописи «Капитанской дочки». Первая, завершенная Пушкиным, согласно помете в конце, 23 июля (или июня) 1836 года (Акад. VIII, 906, 1057), 12 никому не передавалась и сохранилась в бумагах писателя (ПД 1044—1057). С нее, внося по ходу работы многочисленные изменения, которые видны из сопоставления с нею текста, напечатанного в «Современнике» (Акад. VIII, 858—906), Пушкин собственноручно написал другую (вторую или окончательную) беловую, которую представил в цензуру и по которой производился набор для журнала. Эта рукопись до нас не дошла. Третьей, которая могла бы отличаться некоторыми деталями от второй, не существовало и не должно было существовать: в ней не было надобности, и к тому же переписать первую еще раз столь близко к тексту второй,

¹¹ Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1977. С. 173.

 $^{^{12}}$ См. также: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. / Науч. ред. Я. Л. Левкович. М., 1999. Т. 4 / Сост. Н. А. Тархова. С. 477.

В. Д. Рак

находившейся в цензуре и в типографии, т. е. вне поля зрения автора, было невозможно. Таким образом, альтернатива обязывает volens-nolens заключить, что рассматриваемые отличия напечатанного в «Романах и повестях» текста «Капитанской дочки» от журнального восходят к той самой рукописи, по которой набиралось это произведение для «Современника», где они по какой-то причине не отразились. Иначе говоря, получается, что и для журнала, и для «Романов и повестей» наборным оригиналом служила одна и та же автографическая рукопись пушкинского произведения. Каким бы неожиданным, парадоксальным и противоречащим общепринятой точке зрения ни казался этот вывод, его не следует отвергать, не пересмотрев то, что об этой утраченной рукописи известно, и выделив все, что могло бы его подтвердить или, напротив, показать его несостоятельность.

К цензору П. А. Корсакову рукопись «Капитанской дочки» поступила, как явствует из упомянутых выше писем к нему Пушкина и его на них ответов, двумя половинами с интервалом между ними в несколько более двадцати дней (Акад. XVI, 162, 177). Вполне могло быть, что, посылая вторую, Пушкин обозначил «Часть вторая» на первом или на обложечном листе, где эта помета в дальнейшем и оставалась, но в «Современнике» была, естественно, игнорирована. Когда же «для скорого отпечатания» Пушкин предложил, а книгопродавец Л. Жебелев согласился отдать «Капитанскую дочку» в две типографии, ¹³ было очень удобно использовать рукописный оригинал, имевший уже соответствующее разделение. В типографии X. Гинце помета была должным образом воспроизведена на отдельном шмуцтитуле.

Предпочтение могло быть отдано рукописи еще и потому, что возникал естественный предлог обратиться с нею к уже цензуровавшему ее доброжелательному П. А. Корсакову и таким образом избежать контактов по поводу переиздания «Капитанской дочки» с цензором «Современника» А. Л. Крыловым, с которым у Пушкина сложились напряженные отношения. Могли, вероятно, играть роль и материальные соображения: передача в типографию рукописи экономила два экземпляра журнала, которые, даже вернувшись после набора, были бы с его следами непригодны ни для дарения, ни тем более для продажи. 15

Интерес в рассматриваемом аспекте приобретают совпадения и расхождения деталей текста «Романов и повестей» с первой беловой рукописью 16 и «Современником» при разных соотношениях этих двух между собою, как то: совпадение с рукописью при ее расхождении с «Современником» (РП = Авт. ≠ Совр.), расхождение с рукописью и «Современником» при их совпадении друг с другом (РП ≠ Авт. = Совр.) и др. Анализу подлежат лишь те совпадения / расхождения, происхождение которых может быть определенно прослежено к источнику или объяснено, если не бесспорно, то с достаточно большой уверенностью, сознательным, намеренным изменением текста. Так, если в первой беловой рукописи и в «Современнике» употреблены написания «мало по мало» (ПД 1045, л. 2; Совр. 56), «разматовала» (ПД 1046, л. 2 об.; Совр. 71), «мышлю» (ПД 1047, л. 3; Совр. 80), «раскаится» (ПД

¹³ См.: Модзалевский Л. Б. Указ. соч. С. 250.

¹⁴ См. об этом: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. 2-е изд., доп. М., 1986. С. 333—348; *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1988. С. 216.

¹⁵ Одним экземпляром, разделенным на стыке седьмой и восьмой глав, обойтись было нельзя, так как седьмая кончалась на лицевой странице (127), а восьмая начиналась на оборотной (128).

¹⁶ В дальнейших сопоставлениях первая беловая рукопись обозначается сокращением Авт. (автограф) или шифром хранения (ПД 1044—1057), с указанием листа.

1048, л. 4; Совр. 95), «салдат» (ПД 1049, л. 3 об.; Совр. 106) и т. д. и т. п., то можно заключить, что в таком же виде эти слова присутствовали во второй беловой рукописи, служившей для журнала наборным оригиналом, а их исправление в «Романах и повестях»: «мало по малу», «разматывала», «мыслю», «раскается», «солдат» (РП I, 20, 40, 53, 72, 87) — было выполнено наборщиком или корректором. Равным образом устанавливается смысловая и стилистическая правка, осуществленная в типографии по собственному разумению теми же работниками, которые нередко оказывались неспособными уловить авторские нюансы и, нивелируя их приведением к «правильному», в собственном понимании, виду, искажали текст. К таким случаям относятся, например: замена просторечного именования матерью Петра Гринева, необразованной женщиной, своей тетушки: «Настасья Гарасимовна» (ПД 1044, л. 6; Совр. 46) | «Настасья Герасимов (н)а» (РП I, 6); подобное же облагораживание речи Пугачева: «Да вишь какая погода» (ПД 1045, л. 5 об.; Совр. 59) | «Да видишь какая погода» (РП I, 23); устранение из повествования мемуариста, Гринева-сына, проскользнувшей простонародной, может быть диалектной, формы: «сплеснув руками» (ПД 1050, л. 3 об.; Совр. 129) «всплеснув руками» (РП II, 2); и обратное, вызванное неуместным намерением унифицировать словоупотребление, замещение современной литературной формы архаической, использованной двумя предложениями ранее Гриневым-отцом: «Где его пашпорт? (...) Матушка отыскала мой паспорт» (ПД 1044, л. 7; Совр. 47) | «Где его пашпорт? $\langle ... \rangle$ Матушка отыскала мой пашпорт» (РП I, 8); прояснение создаваемой татарским словом (правильно употребленным) кажущейся бессмыслицы через общепринятое, но неверное его бытование в русском языке: «али бельмес по-русски не разумеешь» (ПД 1049, л. 11; Совр. 113) «али бельмеса по-русски не разумеешь» (РП I, 96—97);17 исправление обращения «Иван Карлович», которым начиналось письмо Гринева-отца к своему бывшему сослуживцу генералу Р. (ПД 1045, л. 13 об.; Совр. 66) на «Андрей Карлович» (РП I, 33) по аналогии с тем, как это лицо было упомянуто ранее (ПД 1044, л. 7 об.; Совр. 48; РП I, 8). 18 Не могут в «Романах и повестях» приниматься в качестве аргументов для подтверждения тех или иных заключений явные опечатки,¹⁹

 19 Например: о матушка и говорить ничего (РП I, 13) \mid о матушке и говорить нечего (ПД 1044, л. 11 об.; Совр. 51); мальчик вошед, и подал мне (РП I, 14) \mid мальчик вошел, и подал

¹⁷ Родительный падеж, употреблявшийся в простонародном языке, придает слову «бельмес» (искаженная форма настоящего времени татарского глагола «не знать») значение «ничего». См. комментарий к этой фразе: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 5 т. СПб.: Библиополис, 1994. Т. 4. С. 394—395.

¹⁸ Именование генерала в «Капитанской дочке» представляет любопытный текстологический казус. Назвав его сначала Андреем Ивановичем, исправленным на Андрея Карловича (ПД 1044, л. 7 об.; Совр. 48; Акад. VIII, 282), Пушкин, дойдя до обращения, которым открывается письмо, заметил совпадение имен Гринева-отца (Андрей Петрович) и адресата, которого потому и сделал Иваном Карловичем (ПД 1045, л. 13 об.), повторив это изменение при обоих следующих упоминаниях его по имени и отчеству («Я отобедал у Ивана Карловича» — ПД 1045, л. 15; Акад. VIII, 866; «Немедленно буду писать к Ивану Карловичу» — ПД 1048, л. 6 об.; Акад. VIII, 874), но забыв внести исправление в первом случае. (Подобное ранее имело место в «Арапе Петра Великого»: обозначив первоначально фамилию парижской любовницы Ибрагима инициалом «L», Пушкин, начав во второй главе прощальное письмо к ней арапа словами: «Я еду, милая Леонора,» — заменил в непосредственно предшествующем абзаце прежнее сокращение буквой «D» и употреблял ее в дальнейшем, оставив без изменения оба упоминания в первой главе.) Во второй беловой рукописи, как показывает журнальный текст, он в первых двух случаях, по-видимому не задумываясь, механически, воспроизвел написанное в предыдущей («к Андрею Карловичу Р.» — Совр. 48; «Милостивый государь Иван Карлович» — Совр. 66), а в третьем и четвертом, с привычной небрежностью в отношении имен и отчеств персонажей (примеры см.: Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие. СПб., 2003. С. 392—393), вернулся к исходному варианту («отобедал у Андрея Карловича» — Совр. 68; «писать к Андрею Карловичу» — Совр. 97), что в этом свете нельзя, возможно, считать безусловным проявлением последней авторской воли.

В. Д. Рак

неумышленные погрешности набора и корректуры, безусловные, а также и предположительные (пропуски элементов текста, 20 подмена слов, 21 изменение их форм 22 и др. при сохранении общего смысла), совпадения с рукописью (при расхождении с «Современником») или с журналом (при отличии от автографа), которые могли возникнуть непроизвольно как результат в одних случаях одинаковых, а в других различных произносительных, орфографических и пунктуационных навыков и привычек. 23

Выводы, к которым может привести анализ разных комбинаций совпадений и расхождений трех имеющихся текстов «Капитанской дочки», приобрели бы, по всей видимости, большую достоверность, если бы также принималась во внимание допускавшаяся в 1830-х годах типографиями степень вторжения в орфографию и пунктуацию оригинала, когда он был не рукописный, требовавший обязательной корректировки как написаний, так и расстановки знаков препинания, а печатный, где подобная работа была уже выполнена предшественниками. Никто, кажется, не изучал этот вопрос систематически, и неизвестна практика в этом отношении типографии Н. И. Греча, где для «Романов и повестей» набиралась «первая часть» «Капитанской дочки». Однако применительно к переизданию пушкинских текстов типографией Х. Гинце имеется материал для наблюдений такого рода. Когда здесь готовился к выпуску сборник «Повести, изданные Александром Пушкиным» (СПб., 1834),²⁴ оригиналом «Повестей Белкина» служило первое их издание, печатавшееся в типографии А. А. Плюшара,²⁵ при этом

мне (ПД 1044, л. 12 об.; Совр. 52); вскачил (РП I, 26) | вскочил (ПД 1045, л. 8 об.; Совр. 61); важатого (РП I, 30; во всех других случаях «вожатый» — РП I, 18, 27, 29, 30, 33) вожатого (ПД 1045, л. 10 об.; Совр. 64); страх видел иногда лишнего гостя (...) был (РП I, 35) | страх видеть иногда лишнего гостя $\langle ... \rangle$ был (ПД 1045, л. 15, где написано «видить»; Совр. 68);

Глава III. (РП I, 68) | Глава V. (ПД 1048, обложка; Совр. 92); и мн. др.

 20 Например: с длинными усами (РП I, 10) с длинными черными усами (ПД 1044 , л. 8 об; Совр. 49); который и стал подвигаться (РП І, 23) | который тотчас и стал подвигаться (ПД 1045, л. 5; Совр. 59); устремил глаза на больного (РП I, 26) | устремил глаза мои на больного (ПД 1045, л. 8; Совр. 61); это, старинушка, уж не твоя печаль (...), пропью или нет (РП I, 31) | это, старинушка, уж не твоя печаль $\langle ... \rangle$, пропью ли я или нет (ПД 1045, л. 11 об.; Совр. 65); так она, голубушка (РП I, 48) | так она, моя голубушка (ПД 1046, л. 10; Совр. 77); пошлю свиней пасти за утайку (РП I, 77) пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку (ПД 1048, л. 7—7 об.; Совр. 98); и мн. др.

 21 Например: Я расплатился с хозяином, который взял с меня такую умеренную плату (РП І, 30) | Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату (ПД 1045, л. 10 об.; Совр. 64); Я смеялся от чистого сердца, когда вошел ко мне (РП І, 44) | Я смеялся от

чистого сердца, как вошел ко мне (ПД 1046, л. 6-6 об.; Совр. 74); и др.

²² Например: Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернелись (РП I, 37—38) Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели (ПД 1046, л. 1; Совр. 69); Он с большою веселостию описал (РП I, 44) \mid Он с большой веселостию описал (ПД 1046, л. 6; Совр. 74); Служба меня не отяготила (РП I, 51) | Служба меня не отягощала (ПД 1047, л. 1 об.; Совр. 79); удалось мне написать песенку, которою был я доволен (РП I, 52-53) удалось мне написать песенку, которой был я доволен (ПД 1047, л. 2 об.; Совр. 80); за ее здоровье Бога буду молить $(\text{РП I}, 80) \, | \, \text{за ее здоровье Богу буду молить (ПД <math>1048$, л. 10; Совр. 101); как судья, начинающий следствие (РП I, 90) | как судия, начинающий следствие (ПД 1049, л. 5 об.; Совр. 108); Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаяся (РП I, 98) Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь (ПД 1049, л. 12; Совр. 114); и т. п.

 23 Например: наизусть (ПД 1044, л. 5; РП I, 5) наизусть (Совр. 45); охота к литературе, занимался литературою (ПД 1047, л. 2, 2 об.; РП I, 52) охота к литтературе, занимался литтературою (Совр. 79, 80); Генерал маїором (ПД 1049, л. 1), генерал-маїором (РП І, 84) генерал-майором (Совр. 104); обратился он к Марьи Ивановне, и сказал ей (ПД 1054, л. 7) | обратился он к Марьь Ивановне, и сказал ей (РП II, 68) обратился он к Марьь Ивановне и сказал ей (Совр. 181); Князь Голицын (РП II, 85; Совр. 195, где титул со строчной буквы) | Князь Галицын (ПД 1055,

26

24 Далее сокращенно: Пов. (с указанием страницы).

²⁵ Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П. СПб., 1831. Далее сокращенно: ПБ (с указанием страницы).

была соблюдена почти буквальная точность во всех деталях орфографии и пунктуации, нарушаемая время от времени только проскочившими незамеченными опечатками. В том числе оказались воспроизведенными даже отдельные опечатки²⁶ и некоторые особенности, возникшие безотносительно к орфографическим и пунктуационным привычкам того времени.²⁷ Нарушения точного копирования оригинала единичны, причем едва ли не все могли исходить от самого автора, который определенно внес мелкие изменения во включенные в этот сборник отрывки из своего исторического романа и в «Пиковую даму», а следовательно, вполне мог так поступить и с «Повестями Белкина». 28 Единственным смысловым вмешательством типографского работника было ошибочное «исправление» отчества дочери Самсона Вырина: «Авдотья Симеоновна» и «у Авдотьи Симеоновны» (Пов. 110) вместо значившегося в первой публикации оба раза «Самсоновна» (ПБ 124-125). ²⁹ Приблизительно такой же точностью по отношению к печатному оригиналу³⁰ отличается в «Повестях, изданных Александром Пушкиным» и «Пиковая дама», где также были повторены присутствовавшие в журнальном тексте ошибки.³¹ Отступления, которые позволила себе типография (за

 $^{^{26}}$ Например: до самый кончины (ПБ XIII; Пов. X), полно тебе с кошкою возитья (ПБ 129; Пов. 113).

 $^{^{27}}$ В двух случаях, например, в ПБ не пропечаталась точка и между предложениями образовался двойной пробел, что было в точности воспроизведено в Пов.: «Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения Сильвио молча продолжал метать.» (ПБ 6; Пов. 18); «Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба Настя втайне исправляла должность почталиона.» (ПБ 178; Пов. 151). В «Выстреле» фрагмент предложения « $\langle \dots \rangle$ она испугалась, отдала мне поводья, и пошла пешком домой.» (ПБ 30) был дополнен в списке «Погрешностей» указанием: «nocne: пошла пешком домой nponyщeno: я поехал вперед.»; поскольку точка после слова «домой» в «Погрешностях» отсутствует, в Пов. (с. 38) было напечатано: « $\langle \dots \rangle$ она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой я поехал вперед.»

²⁸ В первом издании «Повестей Белкина» последовательно были употреблены и при переиздании повторены во всех случаях, кроме одного, написания «приблизиться», «приблизился» (ПБ 8, 17, 24, 79, 89, 92; Пов. 20, — , 34, 76, 83, 85). Исключение в сборнике 1834 года составила привычная и характерная для Пушкина форма «приближился» (Пов. 27), которая позволяет предположить, что исправление было сделано самим автором и подразумевалось им, но не было понято как указание наборщику поступать так же и далее (подобные пометы для самого себя встречаются в рукописях Пушкина). Примечательно, что в главе «Обед у русского боярина» напечатанный при первой публикации глагол «приблизилась» (Сев. цветы на 1829 год. СПб., 1828. С. 122) также был изменен на «приближилась» (Пов. 183), что, вероятнее всего, было произведено Пушкиным, когда он вносил в текст и другие поправки. В свете этих фактов можно подозревать авторскую волю в подстановках тире в дополнение к точке, разделяющей в «Повестях Белкина» два предложения: «Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц (...) провел я» (Пов. 38); «и живу от вас через улицу, $\langle ... \rangle$ против ваших окошек. — Завтра праздную мою серебряную свадьбу» (Пов. 76—77); «священники читали молитвы. — Адриан подошел к племяннику Трюхиной» (Пов. 82); «пожелал ему доброй ночи. — Было поздно» (Пов. 83); (ср.: ПБ 30, 80, 88, 89). Вариант этих исправлений: замена точкою с тире точки с запятой: «сани поминутно опрокидывались. — Владимир старался только не потерять настоящего направления» (Пов. 52; ср.: ПБ 49). Ср. сноску 34.

²⁹ Оплошность случилась потому, что наборщик типографии X. Гинце не обратил внимания на исправление в «Погрешностях» имени станционного смотрителя и, воспроизведя неверное «Симеон» (ПБ 109; Пов. 99), изменил соответственно отчество героини.

³⁰ Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. Кн. 3, март. Отд. І. С. 109—140. Далее сокращенно: БдЧт (с указанием страницы).

³¹ Графиня трижды названа княгиней (БдЧт 117, 118, 119; Пов. 204, 206, 207). В начале четвертой главы варьируется именование воспитанницы графини: Лизавета Ивановна, Елисавету Ивановну, Елисавета Ивановна, Елизавета Ивановна (БдЧт 128—129; Пов. 225—227), — а при последнем упоминании в повести она единственный раз названа только по имени, без отчества (БдЧт 140; Пов. 247; об этой погрешности см.: Акад. VIII, 837). Орфографические и пунктуационные погрешности: сердится если говорят (БдЧт 111; Пов. 193); Но узнав, что Нарумов, не инженер а конногвардеец (БдЧт 123; Пов. 218); прислонясъ (БдЧт 125; Пов. 219); показалось ему что (БдЧт 134; Пов. 235); голова, покрыта серебряной сединою (Пов. 241).

В. Д. Рак

исключением, конечно, неизбежных погрешностей), состояли в дроблении некоторых очень пространных абзацев на более мелкие, замене цифр их словесными эквивалентами, сокращении числа точек в многоточиях, 32 исправлении очевилных опечаток³³ и нескольких изменениях пунктуации.³⁴ Последние, впрочем, могли быть и авторскими, поскольку текст Пушкин просматривал и внес по крайней мере одну смысловую поправку;³⁵ ему же могли принадлежать еще несколько расхождений с журнальной публикацией (хотя нельзя исключить их возникновения в результате вмешательства типографских работников). 36 Такую же картину являют и «Две главы из исторического романа», оригиналами которых были их первые публикации, подвергшиеся авторской правке; ничего не добавляя к уже отмеченному при рассмотрении перепечаток «Повестей Белкина» и «Пиковой дамы», они не нуждаются в подробном здесь освещении. 37

Если предположить (и к тому есть основания), что за два года и четыре месяца, разделяющие «Повести, изданные Александром Пушкиным» и «Романы и повести Александра Пушкина», отношение в типографии X. Гинце к печатному оригиналу не поменялось существенно в сторону вольного с ним обращения, то расхождения во «второй части» с журналом (из числа принимаемых во внимание) становятся достаточно верным признаком того, что в работе у наборщиков был другой текст, т. е. не что иное, как вторая беловая рукопись, до этого побывавшая в Гуттенберговой типографии, где печатался «Современник». Такое заключение в подобных случаях могут подтверждать совпадения с первым беловым автографом, однако многие имеют недостаточную доказательную силу, поскольку не дошедшая до нас вторая рукопись не была, конечно, буквальной копией сохранившейся предыдущей и не повторяла ее во всех мельчайших подробностях. Некоторые детали, особенно написания и чаще всего знаки препинания, во второй рукописи, без сомнения, отличались, и совпадения в этих частных моментах печатных текстов с ее предшественницей могли возникать в результате отклонения при наборе, намеренного или по ошибке, от оригинала. В этих условиях совпадение с первой рукописью при расхождении с журналом отнюдь не обязательно и его отсутствие не подрывает вывода, полученного

³³ В том числе: Коли найдете кого в передней, то выспросите, дома ли Графиня (БдЧт 124);

³² Четырехточия заменены трехточиями, пяти- и более точия — четырехточиями, единично трехточиями.

в Пов. (216) исправлено: вы спросите.

 $^{^{34}}$ ближе, ну...! (БдЧт 115) | ближе, ну...! — (Пов. 201); тянулся Ванька $\langle ... \rangle$, высматривая запоздалого седока. Германн стоял (БдЧт 124) | тянулся Ванька (...), высматривая запоздалого седока. — Германн стоял (Пов. 217); клянусь вам, это была шутка! (БдЧт 127) клянусь вам! это была шутка! (Пов. 221); Она успела с ним изъясниться, $\langle ... \rangle$ повертевшись перед своим стулом. Томский $\langle ... \rangle$ уже не думал (БдЧт 130) | Она успела с ним изъясниться, $\langle ... \rangle$ повертевшись перед своим стулом. — Томский $\langle ... \rangle$ уже не думал (Пов. 228); Oh! (Бд Ψ т 134) | Oh? (Пов. 236). О введении между предложениями тире в дополнение к точке см. также сноску 28.

 $^{^{35}}$ Славный проповедник произнес (БдЧт $133)\,|\,$ Молодой архиерей произнес (Пов. 234).

 $^{^{36}}$ у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все трое отчаянные игроки (БдЧт 112) | в Пов. (195) исправлено: «все четыре»; и молодой человек исчез (БдЧт 121) | молодой человек исчез (Пов. 211); Как вам от меня выйти из дому? (БдЧт 132) | Как вам выйти из дому? (Пов. 231); Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Все были полны народу. Несколько Генералов и Тайных Советников играли в вист (БдЧт 137) В Пов. (241) опущено: «Все были полны народу». В основной текст «Пиковой дамы» включены варианты Пов. (см.: Акад. VIII, 237, 245, 249).

³⁷ Одним из примеров буквального следования «Северным цветам на 1829 год» в главе «Обед у русского боярина» были мужские отчества с конечным «ичъ», в противоположность «Повестям Белкина», где, в соответствии с их оригиналом, печаталось во всех случаях «ичь». Во второй половине главы «Северные цветы» (с. 120—123) перешли на конечный «ь», однако наборщик типографии X. Гинце продолжал ставить «ъ» (Пов. 182—185).

анализом расхождений, которые самим фактом своего наличия приобретают во «второй части», как было показано ранее, определяющее значение.

Сказанное иллюстрирует показательный пример. Во второй главе генерал, читая письмо Гринева-отца и не поняв употребленного в нем идиоматического выражения, задает вопрос, который во всех трех текстах отличается мелкими деталями:

Что такое ешевы рукавиц? $\langle ... \rangle$ Что такое держать в ежевых рукавицах? (ПД 1045, л. 13 об., 14) | Что такое ешевы рукавиц? $\langle ... \rangle$ Что такое держать в ешевых рукавицах?» — повторил он (Совр. 67) | Что такое ешевы рукавиц? $\langle ... \rangle$ Что такое дершать в ешевых рукавицах!» повторил он (РП I, 34).

В первой рукописи прилагательное «ешевы» исправлено, для передачи произношения этого слова немцем, из первоначально написанного правильного «ежевы», а в другом вопросе слова «держать в ежевых рукавицах» оставлены без изменения, будучи повторением (как бы цитатою) прочитанных генералом в этом виде в письме и напечатанных несколькими строками выше. В следующей рукописи, как показывает текст «Современника», Пушкин распространил стилизацию прилагательного «ежевы» и на этот вопрос, который к тому же дополнил авторской ремаркой. В «Романах и повестях» такой же стилизации подвергнут в том же предложении еще глагол «держать», сохранявший в журнале свое обычное написание. Принять это решение, не имея образца в предшествующих фразах, наборщик самостоятельно не мог и, конечно, следовал оригиналу, которым определенно не был «Современник», где это, несомненно, авторское, несущее художественную функцию нарушение орфографии было, следовательно, или неправомерно исправлено, или по какой-то причине (нечеткое написание, неясная поправка и др.) осталось незамеченным. Восклицательный знак в «Романах и повестях», если только не был механической ошибкой, также должен был иметь своим источником вторую рукопись, где за него мог быть принят вопросительный знак, у которого, как случалось у Пушкина, было плохо выписано верхнее закругление. Таким образом, отличия в рассмотренных фрагментах текста «Капитанской дочки» в «Романах и повестях» от «Современника» указывают на использование в качестве наборного оригинала второй беловой рукописи, при этом отсутствуют совпадения деталей с первой.

Очертив, по необходимости пространно, рамки, в которых могут быть получены достоверные выводы, и установив необходимые ограничения для привлекаемого материала, позволительно перейти к его анализу, который, можно надеяться, подтвердит сделанные выше на ряде примеров заключения о наборном оригинале, использовавшемся в типографиях Н. И. Греча и Х. Гинце.

В тексте «Капитанской дочки», напечатанном в «Романах и повестях», насчитывается 75 совпадений с первой беловой рукописью деталей, которые предположительно могли из нее перейти во вторую, но в «Современнике» были изменены то ли намеренной правкою, то ли погрешностью набора (РП = Авт. ≠ Совр.). Почти все они принадлежат к орфографическим и пунктуационным вариантам, природу которых затруднительно, а часто и невозможно разглядеть в хитросплетениях комбинаций, образующих сложную, пеструю, составленную из сотен элементов мозаичную картину, где однородные явления сплошь и рядом получали различное, противоположное оформление. Тем не менее само количество во «второй части» всякого рода расхождений с «Современником» в рассматриваемой комбинации (43) не характерно для обращения типографии Х. Гинце с печатным оригиналом.

В обеих «частях» имеются фразы, передающие в рукописи и согласно с нею в «Романах и повестях» несколько иные оттенки смысла и экспрессии, чем в «Современнике», где на месте исходной точки или запятой стоит восклицательный знак:

Но спорить было нечего. (ПД 1044, л. 7 об.; РП I, 9) | Но спорить было нечего! (Совр. 48)

Я тебя, старого пса, пошлю свиней пасти (ПД 1048, л. 7; РП I, 77) | Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти (Совр. 98)

как ты думаешь, ведь отдернул занавес (ПД 1050, л. 5 об.; РП II, 4) \mid как ты думаешь! ведь отдернул занавес (Совр. 130)

авось Бог не оставит. (ПД 1050, л. 6 об.; РП II, 5) авось Бог не оставит! (Совр. 131)

Э хе хе, мнение ваше весьма благоразумно. (ПД 1052, л. 7; РП II, 32) \mid Э хе хе! мнение ваше весьма благоразумно. (Совр. 153)

Эти несколько примеров, пусть и в небольшом числе, образуют род системы, проявившейся — что важно! — в продукции обеих типографий, которые, разумеется, такие подробности между собою не согласовывали. Полностью исключено, что подобные изменения лежавшего перед ними печатного текста позволили бы себе наборщики и при этом один независимо от другого повторил бы никогда ими не виденную рукопись. Корректуры, при которой в журнальный текст могли бы внести эти отличия или автор, или его доверенное лицо, или, наконец (что совсем маловероятно), типографские справщики, единственный отпечатанный для представления в цензуру экземпляр, как установил Л. Б. Модзалевский, 38 не проходил. Следовательно, текст «Романов и повестей» отразил в этих фрагментах состояние рукописи, а источником расхождения с нею «Современника» стала проведенная там профессиональная корректура, в ходе которой человек, ее осуществлявший, исправлял в необходимых, по его понятиям, случаях орфографию и пунктуанию.

В подобную же систему, опять же в обеих «частях», складывается употребление в «Романах и повестях», как и в рукописи, запятой на месте наличествующей в «Современнике» точки с запятой:

Хорошо коли найдется добрый человек, а то сиди себе в девках (ПД 1046, л. 8 об.); Хорошо, ³⁹ коли найдется добрый человек, а то сиди себе в девках (РП I, 47) | Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках (Совр. 76)

виделся я каждый день, но час от часу (ПД 1047, л. 2; РП I, 52) виделся я каждый день; но час от часу (Совр. 79)

Изволь, когда хочешь! (ПД 1047, л. 4 об.; РП I, 56) | Изволь; когда хочешь! (Совр. 82)

Отвечать батюшке я был не в состоянии, а чтоб успокоить матушку (ПД 1048, л. 10 об.; РП I, 81) | Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку (Совр. 101)

Дай уведу Машу куда-нибудь из дому, а то услышит крик (ПД 1049, л. 9); Дай уведу Машу куда нибудь из дому, а то услышит крик (РП I, 95) | Дай уведу Машу куда нибудь из дому; а то услышит крик (Совр. 111— 112)

Бог тебе судья а я сказал тебе правду (ПД 1050, л. 20); Бог тебе судья, а я сказал тебе правду (РП II, 15) \mid Бог тебе судья; а я сказал тебе правду (Совр. 139)

³⁸ См. выше, стр. 21.

³⁹ Пунктуационные и орфографические расхождения между РП и Авт. могли происходить, как указывалось ранее, из авторских отличий второй рукописи от первой, а также из исправлений, внесенных наборщиком.

ты ему сам изволил пожаловать, да все же пригодится (ПД 1051, л. 11 об.; РП II, 26) | ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится (Совр. 148)

Он согласился ждать еще три дня, а коли через три дня за него не выду (ПД 1052, л. 15); Он согласился ждать еще три дня, а коли через три дня за него не выйду⁴⁰ (РП II, 38) | Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду (Совр. 158)

Швабрина сказнить не беда, а не худо (ПД 1053, л. 11-11 об.; РП II, 52) Швабрина сказнить не беда; а не худо (Совр. 168)

Дама пристально на нее смотрела, а Мария Ивановна (ПД 1056, л. 16 об.); Дама пристально на нее смотрела, а Марья Ивановна (РП II, 104) | Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна (Совр. 209)

На фоне этих двух рядов систематических расхождений текста «Романов и повестей» с текстом «Современника» при совпадении с первой рукописью приобретают доказательность и некоторые единичные явления того же рода, которые, взятые по отдельности, допускали бы, как говорилось выше, разные объяснения их возникновения. Наиболее показательные из них:

а давно ли мы... (ПД 1044, л. 5 об.); А давно ли мы....» (РП I, 6)⁴¹ \mid А давно ли мы?».... (Совр. 46)

Ямщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. (ПД 1045, л. 5; РП I, 22) | Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь (Совр. 58)

где оставалась несчастная девушка, невинный предмет его ненависти (ПД 1051, л. 9; РП II, 23—24) где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти (Совр. 146)

лавки, стол, $\langle ... \rangle$ шесток уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. (ПД 1053, л. 8); лавки, стол, $\langle ... \rangle$ шесток, уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. (РП II, 49) | лавки, стол, $\langle ... \rangle$ шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. (Совр. 165)

зачем тебя Бог принес? (ПД 1053, л. 8 об.); Зачем тебя Бог принес? (РП II, 49) | За чем тебя Бог принес? (Совр. 166)

что я не хочу объясняться при свидетелях (ПД 1053, л. 9; РП II, 49) | что я не хочу объясниться при свидетелях (Совр. 168)

Люди нас окружали. (ПД 1055, л. 13; РП II, 84) | Люди нас окружили. (Совр. 194)

Ей казалось лет сорок. (ПД 1056, л. 16 об.; РП II, 104) Ей, казалось, лет сорок. (Совр. 210)

за чашкою чаю (ПД 1056, л. 20; РП II, 107) | за чашкою чая (Совр. 212). 42

В 318 случаях, против 75 предыдущей рассмотренной комбинации совпадений расхождений, т. е. в четыре с лишним раза чаще, в «Романах и повестях» обнаруживается иное соотношение с текстами рукописи и «Сов-

 $^{^{40}}$ Форма «выйду» есть явно результат исправления наборщиком пушкинского «выду», сохраненного в Совр.

⁴¹ Вполне вероятно, что поставленное в первой рукописи троеточие было во второй изменено на более привычное в пушкинское время четырехточие; однако эту унификацию мог взять на себя и наборшик.

⁴² Форма родительного падежа «чаю» была привычной для Пушкина (см.: Словарь языка Пушкина. М., 1961. Т. 4. С. 876; проверено для данной статьи по автографам), который ее употреблял последовательно, в том числе в «Капитанской дочке», что было воспроизведено в обоих печатных текстах (см.: Совр. 58, 62, 63, 150, 151; РП I, 22, 28 (дважды); РП II, 29, 30). Поэтому появление в рассматриваемом фрагменте в журнале формы «чая» было, вероятнее всего, несистемным, случайным исправлением, сделанным при наборе или при корректуре. Впрочем, именно в «Капитанской дочке» Пушкин единственный раз написал в родительном падеже «чая» (ПД 1044, л. 11 об.), что повторили обе публикации (Совр. 51; РП I, 13).

В. Д. Рак

ременника»: РП ≠ Совр. = Авт. (равенство Авт. и Совр. говорит о том, что промежуточная между ними (вторая) рукопись повторила буквально в соответствующих местах предыдущую). Из этого числа расхождений «Романов и повестей» 110 наблюдается в «первой части» 43 и 208 приходятся на «вторую», что для типографии Х. Гинце составило бы колоссальную, неправдоподобную пифру при работе с печатным оригиналом. Отвлекаясь от всевозможных погрешностей, не имеющих значения для решения заданного вопроса, в этой неоднородной массе расхождений, где не прослеживается никакого четкого алгоритма действий, немало орфографических и пунктуационных решений, противоположных приведенным выше в подтверждение выдвинутой гипотезы и потому, казалось бы, опровергающих или по крайней мере ставящих под сомнение сделанный на их основе вывод. В самом деле, восклицательный знак ставится вместо точки с запятой и точки. 44 а сам заменяется вопросительным, 45 запятая меняется на точку с запятой 46 и наоборот, ⁴⁷ перед союзом опускается, хотя имеется и в рукописи, и в «Современнике», 48 или подставляется, когда ее в них нет. 49

43 Некоторые уже приводились ранее в разных примерах.

⁴⁵ Например: Что ж за беда? (РП I, 20) | Что ж за беда! (ПД 1045, л. 3 об.; Совр. 57).

 $^{^{44}}$ Например: помиримся; виноват! вижу сам (РП I, 19) | помиримся, виноват; вижу сам (ПД 1045, л. 2; Совр. 56); Счастливо оставаться! (РП I, 95) | Счастливо оставаться. (ПД 1049, л. 9; Совр. 112).

⁴⁶ Например: Воля твоя; сударь: нет у нас лишних полтин (РП I, 31) | Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин (ПД 1045, л. 11; Совр. 64); вору-то стало совестно; хоть (РП II, 26) | вору-то стало совестно, хоть (ПД 1051, л. 11 об.; Совр. 148); Упросите ⟨...⟩ прислать к нам поскорее сикурсу; да приезжайте сами (РП II, 38) | Упросите ⟨...⟩ прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами (ПД 1052, л. 15 об.; Совр. 158); Я должен ехать; я не могу не ехать. (РП II, 44) | Я должен ехать, я не могу не ехать (ПД 1053, л. 3; Совр. 162); что подозрения ⟨...⟩ оказались слишком основательными; что примерная казнь должна была бы (РП II, 99) | что подозрения ⟨...⟩ оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы (ПД 1056, л. 10 об.; Совр. 206).

⁴⁷ Например: был еще твоих лет, а теперь (РП I, 33) | был еще твоих лет; а теперь (ПД 1045, л. 13; Совр. 66); отправились спать, а я пошел (РП I, 49) | отправились спать; а я пошел (ПД 1046, л. 10; Совр. 77); разойдитесь, а мы вас уж помирим (РП I, 57) | разойдитесь; а мы вас уж помирим (ПД 1047, л. 5 об.; Совр. 83); он, казалось, обо мне не слишком заботился, а Иван Кузмич (РП I, 78) | он, казалось обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич (ПД 1048, л. 8; Совр. 99); может оказать ей протекцию, а когда (РП II, 41) | может оказать ей протекцию; а когда (ПД 1052, л. 18; Совр. 160); Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. (РП II, 56) | Я рад был отказаться от предлагаемой чести; но делать было нечего. (ПД 1053, л. 15 об.; Совр. 171); смотрели на тебя косо, а старик (РП II, 60) | смотрели на тебя косо; а старик (ПД 1053, л. 20 об.; Совр. 174); Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспаривать (РП II, 60) | Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать (ПД 1053, л. 21; Совр. 175); я же управляюсь, а они его бивали (РП II, 61) | я же управляюсь; а они его бивали (ПД 1053, л. 22; Совр. 175); подошел ко мне с своим подносом, но я (РП II, 65) | подошел ко мне с своим подносом, но я (РП II, 65) | подошел ко мне с своим подносом, но я (РП II, 65) | подошел ко мне с своим подносом; но я (ПД 1054, л. 3; Совр. 179).

⁴⁸ Например: приехал я в Симбирск где должен был пробыть (РП I, 10) приехал я в Симбирск, где должен был пробыть (ПД 1044, л. 8 об.; Совр. 49); с маркером который (РП I, 10) с маркером, который (ПД 1044, л. 8 об.; Совр. 49); Я узнал что его зовут (РП I, 11) Я узнал, что его зовут (ПД 1044, л. 9; Совр. 49); он остановился и стал (РП II, 33) он остановился, и стал (ПД 1052, л. 8 об.; Совр. 154); и др. Впрочем, наличие в подобных случаях запятой в первой рукописи не означает, что она обязательно была поставлена и во второй: пропуск запятой перед союзом был характерной пунктуационной привычкой Пушкина, проявившейся неоднократно в первой рукописи «Капитанской дочки» и часто, хотя и непоследовательно устранявшейся в «Современнике», но воспроизведенной в ряде случаев в «Романах и повестях», например: кажется что шевелится (ПД 1045, л. 5; РП II, 23) кажется, что шевелится (Совр. 59); было опасение чтоб батюшка не прогневался (ПД 1045, л. 7 об.; РП I, 25) было опасение, чтоб батюшка не прогневался (Совр. 60); я думаю что нравлюсь (ПД 1047, л. 11 об.; РП I, 65) я думаю, что нравлюсь (Совр. 89); Думали что собственное признание (ПД 1049, л. 9 об.; РП I, 95) Думали, что собственное признание (Совр. 112).

 $^{^{49}}$ Например: тем более, что замечал (РП I, 82) | тем более что замечал (ПД 1048, л. 11; Совр. 102); делай, что хочешь (РП II, 15) | делай что хочешь (ПД 1050, л. 20; Совр. 139); Ступай сей же час в Оренбург, и объяви (РП II, 18) | Ступай сей же час в Оренбург и объяви (ПД 1051,

Сочетание подобного одинаково разнонаправленного обращения с оригиналом в двух наборах, выполнявшихся одновременно в разных типографиях, говорит о подчинении действий наборщиков какой-то логике, для понимания которой необходимо подробное лингвистическое изучение готовившегося к публикации в «Романах и повестях» текста «Капитанской дочки» в сопоставлении с обоими его возможными источниками. Какой бы, однако, эта логика ни оказалась, результаты ее применения создали почву для множественных, противоречащих одна другой, но равно убедительных интерпретаций единообразных совпадений расхождений. Так, если расхождение запятая (РП) | точка с запятой (Совр.) в комбинации РП = Авт. ≠ ≠ Совр. могло быть сравнительно уверенно интерпретировано как признак использования в качестве оригинала рукописи, ⁵⁰ то встречающееся такое же различие при РП ≠ Совр. = Авт. 51 предполагает вероятность самостоятельной постановки знака в этом месте наборщиком. Существование даже одного такого случая показывает, что и в любом другом подобном наборщик позволял себе принимать решение независимо от оригинала, которым, оказывается, мог бы и при первом соотношении текстов быть «Современник», а совпадение с рукописью образоваться непроизвольно. С другой стороны, нельзя исключать вероятности того, что в соответствующих местах первой беловой рукописи стояла точка с запятой, которая во второй была заменена самим автором на запятую, а в «Современнике» состоялось обратное корректорское изменение, приведшее к совпадению с первым автографом. При таком состоянии дел оригиналом для «Романов и повестей» вполне могла быть вторая рукопись, с которой набирался пушкинский роман для журнала. Это объяснение особенно применимо к случаям отсутствия в «Романах и повестях» запятой перед союзами там, где она имеется и в рукописи, и в «Современнике»: наборщику не было никакого смысла идти самому на такое отступление от общепринятого правила — вероятнее, что он следовал оригиналу, а для Пушкина, как уже говорилось, и в беловой рукописи пропуск запятой перед союзом был, под влиянием французской пунктуации, обычным явлением.⁵²

Таким образом, пунктуационные расхождения текста «Капитанской дочки» в «Романах и повестях» с дошедшей до нас рукописью и «Современником» заводят в сложный лабиринт противоречивых и допускающих разные интерпретации фактов, а нить, ведущая к выходу, запутывается и становится неразличимой в переплетениях с нею подобными, но ложными и обрывающимися в тупиках. В этих обстоятельствах остается, кажется, лишь один признак, сохраняющий некоторую меру надежности: предполагаемое более точное воспроизведение печатного оригинала по сравнению с рукописным. Тогда, если принять, что оригиналом «второй части», вышедшей из типографии Х. Гинце, служил журнал, обнаруживается в этом отношении разительное отличие от напечатанных там же «Повестей, изданных Александром Пушкиным». Вместо максимально буквального следования во всех

л. 3; Совр. 142); обратился он к народу, и сказал (РП II, 19) | обратился он к народу и сказал (ПД 1051, л. 3 об.; Совр. 142); при виде всего, что происходило (РП II, 56) | при виде всего что происходило (ПД 1053, л. 16 об.; Совр. 172); Вы властны требовать от меня, что вам угодно. (РП II, 66) | Вы властны требовать от меня что вам угодно. (ПД 1054, л. 4—4 об.; Совр. 180); Доверши, как начал (РП II, 70) | Доверши как начал (ПД 1054, л. 9 об.; Совр. 183); рассеялись прежде, нежели мы их увидали (РП II, 85—86) | рассеялись прежде нежели мы их увидали (ПД 1055, л. 10 об.; Совр. 195); Она рассказала, в котором часу Государыня (РП II, 102) | Она рассказала в котором часу Государыня (ПД 1056, л. 14 об.; Совр. 208).

⁵⁰ См. стр. 30—31.

⁵¹ См. сноску 47.

⁵² См. сноску 48.

² Русская литература, № 1, 2008 г.

В. Д. Рак

мельчайших подробностях представленной для перепечатки публикации, как это было со сборником 1834 года, работники типографии, в чьи руки попадал этот оригинал (в их числе, кроме наборщиков, могло быть и лицо, его
читавшее для подготовки к набору, если это предусматривалось технологическим процессом), многократно вмешивались в текст по разным поводам.
По собственному разумению и своим пунктуационным привычкам менялись, как уже было показано большим числом системных примеров, знаки
препинания, ⁵³ подставлялись недостающие (для обособления вводных
слов, ⁵⁴ причастных оборотов, ⁵⁵ обстоятельств, ⁵⁶ приложений, ⁵⁷ и в разных
других случаях ⁵⁸), убирались сочтенные лишними. ⁵⁹ Немалочисленной
была и орфографическая правка, ⁶⁰ не всегда последовательная, ⁶¹ заменявшая некоторые традиционные написания современными⁶² и наоборот, ⁶³ в от-

 54 Например: В самом деле, сходство Пугачева (РП II, 6) | В самом деле сходство Пугачева (ПД 1050, л. 8; Совр. 132); был, видно, в припадке великодушия (РП II, 22) | был видно в припад-

ке великодушия (ПД 1051, л. 7; Совр. 145); и др.

 55 Например: яблони, обнаженные дыханием осени (РП II, 28) | яблони обнаженные дыханием осени (ПД 1052, л. 2 об.; Совр. 150); на квартиру, мне отведенную (РП II, 29) | на квартиру мне отведенную (ПД 1052, л. 4; Совр. 151); подошли к домику, ярко освещенному (РП II, 79) |

подошли к домику ярко освещенному (ПД 1055, л. 3; Совр. 185); и др.

 56 Например: осада, по неосторожности местного начальника, была (РП II, 35) | осада по неосторожности местного начальства была (ПД 1052, л. 10 об.; Совр. 155); И с этим словом, он вышел (РП II, 44) | И с этим словом он вышел (ПД 1053, л. 2; Совр. 162); Я, в свою очередь, рассказал (РП II, 72) | Я в свою очередь рассказал (ПД 1054, л. 12; Совр. 185); У окошка, за особым столом, сидел (РП II, 92) | У окошка за особым столом сидел (ПД 1056, л. 3; Совр. 201); На другой день, рано утром, Марья Ивановна (РП II, 103) | На другой день рано утром Марья Ивановна (ПД 1056, л. 15 об.; Совр. 209); и др.

⁵⁷ Например: детинушка, крестьянский сын (РП II, 10, 11) | детинушка крестьянский сын (ПД 1050, л. 14; Совр. 135, 136); втерлась моя старинная знакомая, Палаша, и стала (РП II, 68) |

втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала (ПД 1054, л. 7 об.; Совр. 182); и др.

58 Например: не то, не избежать им (РП II, 9) не то не избежать им (ПД 1051, л. 3; Совр. 142); Мы утешались (...) мыслью, о скором прекращении скучной и мелочной войны (РП II, 86) Мы утешались (...) мыслью о скором прекращении скучной и мелочной войны (ПД 1055, л. 10 об.; Совр. 195).

 59 Например: лежит вот уж другая неделя (РП II, 3) | лежит, вот уж другая неделя (ПД 1050, л. 5; Совр. 130).

60 Например: вытряхнул (РП II, 33) | вытрехнул (ПД 1052, л. 8; Совр. 153); оклеены (РП II, 48) | оклеяны (ПД 1053, л. 8; Совр. 165); сопротивника (РП II, 54) | супротивника (ПД 1053, л. 13 об.; Совр. 170); призръл (РП II, 58) | призрил (ПД 1053, л. 18; Совр. 173); приблизились (РП II, 78) | приближились (ПД 1055, л. 2 об.; Совр. 189); женитьба блажь (РП II, 81) | женидьба блажъ (ПД 1055, л. 5 об.; Совр. 192) и др. Последовательно исправлялись характерные пушкинские «выдти» и соответствующие личные формы (ПД 1052, л. 14 об., 15, 17 об.; ПД 1053, л. 9; Совр. 157, 158, 159, 166) на «выйти», «выйду» (РП II, 38 дважды, 40, 49).

61 Например: между ними (РП II, 9) | между ими (ПД 1050, л. 2; Совр. 134); при сохранении в другом случае пушкинского «между ими» (ПД 1051, л. 2 об.; Совр. 142; РП II, 18). Другие разноречивые изменения: притти (РП II, 4), прийти (РП II, 78) | придти (ПД 1050, л. 5 об.; ПД 1055, л. 2; Совр. 130, 188); кто же (РП II, 6) | кто жъ (ПД 1050, л. 7 об.), кто жъ (Совр. 132); Где жъ

(РП II, 7) | Где же (ПД 1050, л. 10; Совр. 133).

62 Например: вслух (РП II, 20) | в слух (ПД 1051, л. 4 об.; Совр. 143); взаперти (РП II, 56) | в заперти (ПД 1053, л. 16; Совр. 172).

⁵³ В комбинации РП ≠ Совр. = Авт. знаки, перешедшие из рукописи в журнал, были все авторскими. Дополнительные примеры, иллюстрирующие некоторые другие случаи замены: Виноват, обмолвился (РП II, 21) | Виноват: обмолвился (ПД 1051, л. 5 об., первоначально стояла запятая; Совр. 144); Не гневись, конь и о четырех ногах да спотыкается. (РП II, 21) | Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. (ПД 1051, л. 5 об.; Совр. 144); растерял ее дорогою! простите (РП II, 25) | растерял ее дорогою: простите (ПД 1051, л. 10 об.; Совр. 147); а нападения неприятеля ⟨...⟩ вылазками, отражать (РП II, 34) | а нападения неприятеля ⟨...⟩ вылазками — отражать (ПД 1052, л. 9 об.; Совр. 154); Я потупил голову: отчаяние мною овладело. (РП II, 41) | Я потупил голову; отчаяние мною овладело. (ПД 1052, л. 18 об.; Совр. 160).

 $^{^{63}}$ Например: имеет свою выгоду и не выгоду (РП II, 30) | имеет свою выгоду и невыгоду (ПД 1052, л. 5 об.; Совр. 151); ни какой пощады (РП II, 38) | никакой пощады (ПД 1052, л. 15; Совр. 158); ни какого вопроса (РП II, 57) | никакого вопроса (ПД 1053, л. 16 об.; Совр. 172).

дельных случаях ошибочная, что имело причиною или непонимание авторского намерения, 64 или предпочтение, отданное собственной привычке. 65 В нескольких местах было произведено при наборе стилистическое улучшение, по понятиям работников типографии, текста, в том числе трижды устранено повторение в близком соседстве одного и того же слова,⁶⁶ один раз изменено управление в предложении, 67 и еще один раз — время причастия. 68 Полная форма отчества героя «Андреевич», использованная в рукописи семь и в журнальном тексте шесть раз (ПД 1051, л. 9;69 ПД 1054, л. 11, 11 об.; Π Д 1056, л. 24, 24 об.; Совр. 184, 215), была во всех случаях заменена разговорной «Андреич» (РП II, 71, 72, 110), для чего основанием служило ее многократное (31 раз) на протяжении всего романа употребление в обращениях к нему разных персонажей. Если первые две из этих замен в речи белогорского священника и его жены исправляли вероятный недосмотр автора, 70 то другие четыре, в заключительном абзаце, принадлежащем издателю, который не был знаком с мемуаристом и получил рукопись его воспоминаний от одного из его внуков, были произведены механически и явились контекстуально неуместными.71

Совокупность представленных наблюдений, свидетельствующих о свободном обращении в типографии Х. Гинце с текстом «Капитанской дочки», ведет к заключению, согласно которому, если верна исходная посылка и тщательное воспроизведение печатного оригинала соблюдалось не только при наборе в 1834 году сборника пушкинских повестей, но было в этом заведении общим правилом, то «вторая часть» романа поступила сюда в руко-

65 Пушкин всегда писал и в изданных его текстах печаталось «тулуп» (см.: Словарь языка Пушкина. Т. 4. С. 597); в этом виде слово предстает и в рукописи «Капитанской дочки», и в тексте «Современника», и в «первой части» (РП I, 28, 31 дважды, 32 пять раз), и при первом употреблении во «второй части» (РП II, 6 дважды); однако далее тот же или его сменивший (что очень вероятно) наборщик последовательно держался собственного написания «тулуб (-ы, -чик)» (РП II, 21, 22 трижды, 25, 26 дважды, 55, 58 дважды, 60, 94).

 66 Немного успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько Башкирцев (РП II, 5) | Несколько успокоенный $\langle \dots \rangle$ (ПД 1050, л. 6 об.; Совр. 131); опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. (РП II, 86) | В рукописи и журнале: снова начал злодействовать. (ПД 1055, л. 11; Совр. 195); ни в какую службу к Пугачеву вступать, и ни каких поручений от него принять не мог. (РП II, 93) | ни в какую службу к Пугачеву вступать не мог, и никаких поручений от него принять не мог. (ПД 1056, л. 4—4 об.; Совр. 201).

⁶⁷ испугалась строгого выражения этого лица, за минуту столь приятного и спокойного (РП II, 105—106) | испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному (ПД 1056, л. 18 об.; Совр. 211).

 68 Швабрин и народ, толпившийся около нас, помешали мне (РП II, 75) | Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне (ПД 1054, л. 15; Совр. 186).

 69 В журнальном тексте (Совр. 146) в этом месте «Андреич», очевидно, по наборной рукописи. То же в РП (II, 24).

 70 Четыре раза ранее (РП II, 3, 5 дважды, 24) и один раз далее (РП II, 76) попадья называет героя «Петром Андреичем» (ср.: Совр. 130, 131 дважды, 146, 187).

⁷¹ В академическом «Полном собрании сочинений» А. С. Пушкина первые две замены приняты (Акад. VIII, 357), остальные справедливо игнорированы (Акад. VIII, 374). Однако по странной случайности одна из этих последних попала в текст, изданный в серии «Литературные памятники» (см.: Пушкин А. С. Капитанская дочка / Изд. подгот. Ю. Г. Оксман. М., 1964. С. 86; 2-е изд. / Отв. ред. Г. П. Макогоненко. Л., 1984. С. 83).

⁶⁴ Один пример такого рода (сплеснув | всплеснув) указан выше (см. с. 25). Дважды наборщик «второй части» не понял звательного падежа в выражениях «Господи Владыко» и «Слава тебе, Владыко» (ПД 1050, л. 4 об., 21; Совр. 130, 139) и употребил форму «Владыка» (РП II, 4, 15), при том что во всех других случаях эта особенность передана правильно и в «первой», и во «второй» «частях» (РП I, 32, 43, 69, 101; II, 46, 79). К этому же роду орфографических исправлений относятся: замена просторечного произношения Пугачевым имени прусского короля литературным, официальным: с Фридериком (ПД 1053, л. 21 об.; Совр. 175) | с Фридерихом (РП II, 61); непонятое разговорное наречие «наместо»: По улицам, на месте домов, лежали груды углей (ПД 1056, л. 2 об.; Совр. 200).

В. Д. Рак

писном виде. Само собою разумеется, что этот вывод распространяется и на «первую часть», переданную в типографию Н. И. Греча.

Пля окончательного утверждения в составленном мнении желательно убедиться, что ему не противоречат совпадения текста «Романов и повестей» с «Современником» при расхождении с ними обоими первой рукописи (РП = Совр. ≠ Авт.). Не показательны в этом аспекте одинаковые в «Современнике» и «Романах и повестях» разночтения с первым автографом, появившиеся в результате изменения текста самим Пушкиным во второй рукописи (изъятие фраз, касавшихся записи еще не родившегося ребенка в военную службу; введение названия Белогорской крепости, в первой рукописи обозначавшегося звездочками; и др.): в «Романах и повестях» они оказались бы независимо от того, что служило бы наборным оригиналом. Равным образом для поставленной цели не несут полезной информации объясняемые той же причиной (даже если только предположительно) орфографические и пунктуационные совпадения, а также те, которые возникали закономерно при соблюдении общепринятых правил и обычаев, нарушенных автором в рукописи. 72 Совпадения, которые допускают подозрение в том, что набор производился по журнальному тексту, немногочисленны — и это само по себе говорит о большей вероятности пользования другим, т. е. рукописным оригиналом. Большинство из них может с достаточной убедительностью, хотя и предположительно, быть объяснено тем, что при его подготовке к работе в Гуттенберговой типографии, где печатался «Современник», в нем были сделаны различные корректорские пометы, которые учли и наборщики «Капитанской дочки» для «Романов и повестей». ⁷³ Некоторые совпаде-

 $^{^{72}}$ Разграничить конкретные совпадения этих двух типов иногда бывает затруднительно и даже невозможно, так что их классификация по этим признакам в ряде случаев условна и предположительна.

Примеры первого типа: Любопытство меня мучило. Куда-жь отправляют меня (Совр. 48; РП I, 8: жъ) | Любопытство меня мучило: куда-жъ отправляют меня (ПД 1045, л. 5); Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; не редко (Совр. 43; РП I, 3); Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу. Не редко (ПД 1044, л. 3); сказал Савельевич (Совр. 65; РП I, 31; вероятно, описка Пушкина во второй рукописи) | сказал Савельич (ПД 1045, л. 11 об.); Да и я правду сказать, не охотница до розыска. (Совр. 112; РП I, 95; одностороннее обособление было для Пушкина привычным) | Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. (ПД 1054, л. 9); в давно-знакомой комнате (Совр. 179; РП II, 65) | в давно знакомой комнате (ПД 1054, л. 2 об.); и др

Примеры второго типа: Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-майором (Совр. 42; РП I, 1) Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при Графе Минихе и вышел в отставку премьер-маїором (ПД 1044, л. 2); в своей Симбирской деревнъ (Совр. 42; РП І, 1) | в своей Симбирской деревни (ПД 1044, л. 2); к постели, в постели (Совр. 61; РП I, 26) | к постель, в постель (ПД 1045, л. 8, 8 об.); к Марьъ Ивановнъ (Совр. 181; РП II, 68) | к Марьи Ивановнъ (ПД 1054, л. 7); присоветовала Марьъ Ивановнъ (Совр. 184; РП II, 72) | присоветовала Марьи Ивановнъ (ПД 1054, л. 12); Под его надзором, на двенадцатом году (Совр. 43; РП I, 2) | Под его надзором на двенадцатом году (ПД 1044, л. 2 об.); денёк (Совр. 129; РП II, 2) | денек (ПД 1050, л. 3 об.); новёшенький (Совр. 132; РП II, 6) | новешенький (ПД 1050, л. 7 об.); выйдет (Совр. 143; РП II, 19) выдет (ПД 1051, л. 4); тотчасъ (Совр. 194; РП II, 84) тотъ часъ (ПД 1055, л. 8); Что прикажете делать? (Совр. 196; РП II, 87); Что прикажите делать? (ПП 1055, л. 13 об.); и т.п., в частности — пушкинское «поцаловать(ся)» и написанные так же личные формы этого глагола (ПД 1047, л. 10, 12; ПД 1049, л. 15 об.; ПД 1051, л. 9 об.; ПД 1054, л. 14 об.; ПД 1056, л. 23) в обеих публикациях везде исправлены на «поцъловать(ся)» (Совр. 88, 90, 117, 146, 186, 214; РП I, 63, 65, 102; РП II, 24, 74, 109).

⁷³ Например: «Слава Богу» — ворчал он про себя — «кажется, дитя умыт, причесан, на-кормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!» (Совр. 43; РП I, 2) | Слава Богу, ворчал он про себя, кажется дитя умыт, причесан, на-кормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги, и нанимать Мусье как будто и своих людей не стало! (ПД 1044, л. 2 об.—3); «А потому, отвечал он с адскою усмешкою,» — «что знаю (Совр. 82; РП I, 55) | А потому отвечал он с адскою усмешкою, что знаю (ПД 1047, л. 4 об.). Пример ве-

ния могли быть результатом того, что наборщики разных типографий, один от другого независимо, точно воспроизвели написанное автором во втором автографе, который в соответствующих местах отличался от первого. ⁷⁴ Возможны были случаи одинакового чтения нечетко написанных слов. ⁷⁵ В общем, среди комбинаций РП = Совр. \neq Авт. не выявляется ни одной, которая могла бы служить неоспоримым признаком использования текста «Современника» в качестве наборного оригинала «Капитанской дочки» в «Романах и повестях» и не позволяла бы никакой другой интерпретации. Не обнаруживается таковых и в немногочисленных (8 и 11 соответственно) группах РП = Совр. при отсутствии автографа (глава VII) ⁷⁶ и РП = Совр. = Авт. (в характерных деталях). ⁷⁷ Не может их быть, что очевидно само по себе, и в представленных большим количеством всевозможных расхождений группах РП \neq Совр. \neq Авт. (73) и РП \neq Совр. при отсутствии автографа (36).

Итак, в тексте «Капитанской дочки», предназначавшемся составить первую часть собрания «Романы и повести Александра Пушкина», содержится немало разнообразных подробностей, которые, в сумме, ставят под сомнение вывод Л. Б. Модзалевского о перепечатке романа с «Современника» и указывают на то, что набор, вероятнее, производился с той же рукописи. что и журнальный. Это заключение предлагается в качестве гипотезы, нуждающейся в дальнейшей проработке. Если она будет сочтена неубедительной, опровержение потребует столь же обширной базы языковых и других фактов противоположного характера. Если же она верна, то эта публикация, учитывая, по-видимому, различные корректорские пометы, сделанные в Гуттенберговой типографии при подготовке рукописи к набору, отражает тем не менее более раннее состояние авторского текста, нежели напечатанный в журнале. Так, общий эпиграф и заключительные дата и подпись, должно быть, отсутствовали в рукописи, а добавил их Пушкин, вероятно, когда шел набор или велась корректура, никак при этом не показав изменений в автографе. 78 На этой же, наверное, стадии были изъяты стилистически неуместные слова «на почтовом дворе», ⁷⁹ в рукописи, однако, не тронутые и соответственно перешедшие в «Романы и повести». Из этого

роятных помет, отразивших неправильное понимание авторского текста: «(...) Отведи г. офицера.... как ваше имя и отчество, мой батюшка?» — Петр Андреич. — «Отведи Петра Андреича (Совр. 72; РП I, 42) | Отведи Г. офицера.... как Ваше имя и отчество, мой Батюшка? Петр Андреич? ... отведи Петра Андреевича (ПД 1046, л. 4 об.). Корректорской поправкой могло быть вызвано изменение пушкинского «камушки» (ПД 1049, л. 5 об.) на совпалающее в «Современнике» и «Романах и повестях» «камешки» (Совр. 108; РП I, 89).

 $^{^{74}}$ Например: Я стою на твердой полосе отвечал дорожный (Совр. 59; РП I, 23) \mid Я стою на твердой полосе; отвечал дорожный (ПД 1045, л. 5; отсутствие знака препинания во второй рукописи очевидно из того, что, если бы в ней осталась точка с запятой, то хотя бы один из наборщиков прибегнул бы к ее замене).

 $^{^{75}}$ Например: чистил мундир (Совр. 74; РП I, 44) | [зашивал] чинил мундир (ПД 1046, л. 6 об.); мы расстались, как ни в чем не бывали (Совр. 89; РП I, 64) | мы расстались, как ни в чем не бывало (ПД 1047, л. 10 об.).

 $^{^{76}}$ Например: выдти (Совр. 119; РП I, 104); «Нет, папенька,» — отвечала Марья Ивановна; дома одной страшнее.» (Совр. 120; РП I, 106, отсутствует закрывающая кавычка после «папенька»); красивый казацкий кафтан (Совр. 124; РП I, 111; предполагается нечетко написанное «красный» — см.: Акад. VIII, 324); и др.

⁷⁷ Например: поперег (ПД 1045, л. 5 об.; Совр. 59; РП I, 23); надеюсь что (ПД 1045, л. 13 об.; Совр. 66; РП I, 33); ободряет нашу мировую (ПД 1047, л. 7 об.; Совр. 85; РП I, 59; описка автора вместо «одобряет»); Погодите Андрей Петрович (ПД 1054, л. 10; Совр. 184; РП II, 71; ошибка автора, следует: «Петр Андреевич»); и др.

⁷⁸ В отношении общего эпиграфа предположение подтверждается тем, что в заключительном абзаце «издатель» записок Гринева-сына упоминает только о поглавных эпиграфах: «Мы решились, с разрешения родственников, издать ее (повесть. — В. Р.) особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф» (Акад. VIII, 374).

⁷⁹ См. стр. 22.

38 В. Д. Рак

примера следует, что разночтения, присутствующие в готовившемся к выпуску переиздании «Капитанской дочки», не должны вводиться в основной текст, как было сделано в Большом академическом собрании Б. В. Томашевским применительно к данному и ряду других случаев. Их следует представить в отделе вариантов, где обязательно должны оговариваться все случаи, когда есть основание подозревать, что изменение было сделано не автором, но работником типографии, намеренно или неумышленно (в частности, это касается имени генерала Р. 80).

Дошедший до нас экземпляр содержит некоторое число поправок, сделанных по тексту «Современника». В Эта корректура оставила главную массу огрехов нетронутыми, а потому, вероятно, не была профессиональной и не имела целью окончательную подготовку первого тома задуманного собрания к печати. Кто, когда и зачем его просматривал и очень бегло сличал с журналом, составляет вопрос, на который получить когда-нибудь ответ мало надежды.

⁸⁰ См. сноску 18.

 $^{^{81}}$ B том числе имеется помета (РП I, 1), восстанавливающая общий эпиграф.

ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ И СМЕРТИ В «НЕСМЕРТЕЛЬНОМ ГОЛОВАНЕ» ЛЕСКОВА И «СМЕРТИ ИВАНА ИЛЬИЧА» Л. ТОЛСТОГО

Долго живут имена и держатся в памяти, когда от человека и звания не осталось.

А. М. Ремизов. Иверень

Повести «Несмертельный Голован» Лескова (1880) и «Смерть Ивана Ильича» Толстого (1886) тематизируют несколько различных способов восприятия смерти, в первом случае сознанием коллективно-мифическим, во втором — сознанием индивидуальным. Особым и во многом принципиальным моментом, участвующим в процессе осмысления смерти, у Лескова и Толстого выступает имя.

О значении имен персонажей свидетельствует то, что они вынесены в заглавие произведений; тем самым становится очевидной их важная роль и в осуществлении художественной идеи, и в построении текстов.

Фонетическое сходство имен героев (Голован и Головин) заставляет предположить некую преемственную связь между этими именами, и следовательно, — наряду с другими обстоятельствами, о которых мы будем говорить ниже, — между двумя произведениями, разделенными по времени шестью годами, в целом. Связь эта может быть скорее всего полемической — ведь Толстой говорил о Лескове как о писателе «чрезмерном, вычурном», который «приукрашивал» «и людей и природу». 1

Какую нагрузку несет имя в художественном произведении вообще? Каким образом осуществляется корреляция между именем и жизнью, именем и смертью? Какие смыслы скрывают имена героев Лескова и Толстого? Как само повествование обусловливает решение названных вопросов?

Имя в искусстве заведомо вымышлено. Вымышлено автором, что подчеркивает его «демиургическую» роль (творение новой реальности) и отсылает к проблеме взаимоотношений автора и героя. Авторство делает имя абсолютным, т. е. завершает и оформляет в нем самый смысл существования персонажа, даже — и когда — имя заимствовано из уже сложившегося арсенала персонимов: ведь автор по-своему означивает и структурно комбинирует данный арсенал. Возможное же подчеркивание зазора, смыслового несовпадения между именем и его носителем, также обращает к проблеме задания, выполняемого персонажем, — как имевшегося в личности потенциально, но не раскрытого, так и в ином ракурсе, например неподходящего (ненаходимого) именования.

В повествовательных и драматических жанрах, где роль имени персонажа в определенной степени больше, чем в лирике (где имя только называет,

¹ Горький М. Собр. соч.: В 18 т. М., 1963. Т. 18. С. 60.

«утверждает»), оно несет функцию представления, выделения героя и главных свойств изображаемого мира, без чего все бы рассыпалось. Следовательно, роль имени здесь более значима, чем даже в реальной действительности.

Но ведь границы между жанрами часто — особенно у больших творцов — относительны.

С другой стороны, рассмотрение мира в качестве художественного произведения (у Шефстбери, Шеллинга) или придание миру как миру имен религиозного смысла (герметическая, каббалистическая традиция; П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, С. Н. Булгаков)² также делает имя абсолютным, «завершает» и тем самым эстетизирует его.

Акцентирование бытования и назначения имени персонажа в зависимости от жанра, художественного стиля, исторического типа искусства и т. д. не закрывает путь для осмысления собственно экзистенциального, однако «философия имени» преломляется в художественном творчестве не напрямую, а через сеть определенных опосредований. Главным из них является конституирующая самый жанр, как показал Бахтин, сфера авторского отношения (и ее эпифеноменов в виде рассказчика, нарратора³) к протагонисту, а также активность других персонажей и многообразные самораскрытия протагониста.

Например, в эпопее имя всегда должно быть благозвучным и высоким (это, в частности, подчеркивал в своем «Искусстве поэзии» Буало), в комических жанрах имя может быть снижено. Если взять стилевой ракурс, то во «вторичных художественных стилях», в терминологии Д. С. Лихачева, т. е. в барокко («Симплициссимус» Гриммельсгаузена), романтизме (Л. Тик, Э. Т. А. Гофман), неоромантизме (А. Грин), модернизме (В. Вульф, театр абсурда), имя может быть заведомо причудливым и обтекаемым, лишающим какой бы то ни было социальной, национальной и т. п. обусловленности или продуктивно проблематизирующей ее. В реализме же имя в основном амбивалентно-нейтрально, т. е. выражает определенные смыслы косвенно-символически или в качестве номинирования устойчивого риторического клише (немецкая фамилия «Штольц» у Гончарова).

Мифопоэтический уровень анализа способен обнаружить в именах персонажей существенные древние или просто символические архетипы, которые раскрывают образ, художественную идею в целом по-новому. При этом «вес» имени в произведении по сравнению с реальностью возрастает: имя эстетизируется, «завершается», «оформляется».

Обобщая, можно выделить несколько взаимосвязанных основных смысловых наполнений имени персонажа в искусстве, которые могут реализовываться в конкретном тексте: подражание автором Богу или первочеловеку в самом акте называния, именования; творение художественного мира как новой реальности автором-демиургом; экзистенциально-онтологическое

² При всех нюансах взаимоотношений мира как мира имен и Бога; см.: *Резниченко А. И.* Категория Имени и опыты онтологии: Булгаков, Флоровский, Лосев // Вопросы философии. 2004. № 8. Впрочем, фигура Флоровского попала в ряд, выстраиваемый исследовательницей, достаточно случайно. Гораздо уместнее здесь было бы упоминание П. А. Флоренского как автора «Имен».

В игровом ключе продолжают мистическую традицию имени работы Жака Деррида: Деррида Ж. Эссе об имени. СПб., 1998, и др.

³ В отличие от многих представителей современной нарратологии, мы не склонны резко отделять сферу авторства от сферы нарратора, рассказчика: последние суть опосредованные инкарнации писателя (не как «первичного» автора, а как экзистенциально-эстетической целостности).

⁴ Яркий пример эстетизации слова вообще (и имени) — работы А. А. Потебни и отчасти О. М. Фрейденберг (и школы Н. Я. Марра как таковой). К скрытой эстетизации слова тяготеет и Л. Витгенштейн.

утверждение носителя имени в бытии; эстетизация, т. е. «завершение» образа персонажа; репрезентация, представление, центрирование персонажа и мира; собственно диалогический момент, т. е. роль имени для других, называние как факт окликнутости другими; маркирование определенной (социальной, национальной, хара́ктерной и т. п.) обусловленности носителя имени или нарочитый отказ от этого; раскрытие глубинных архетипических подтекстов образа и художественной идеи в целом (уровень исторической поэтики и ее эпифеномена в виде мифопоэтики; во многом и уровень интертекстуальности); проблематизация зазора между именем и его носителем, обращающая к вопросу «свободного», «безымянного» существования персонажа вне устоявшихся норм и правил, канонов и принципов расхожего понимания.

Перейдем к непосредственному анализу и интерпретации произведений Лескова и Толстого.

В облике Голована, бывшего крепостного, выкупленного из рабства единственным среди своих родственников, лесковский рассказчик постоянно подчеркивает черты мифичности и легендарности, которые, впрочем, парадоксально претендуют и на качество своеобразной документальности.

Таково, в частности, первое из описанных геройств персонажа: спасение малолетнего рассказчика от цепной собаки.

Мифичность понимается Лесковым столько же онтологически, сколько как причастность к стихии изустной народной молвы: «...его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован человек особенный; человек, который не боится смерти»: «самому бесстрашию Голована не умедлили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был "несмертельный"...» (3, 78); «из простого, великодушного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть» (3, 83).

Сама ситуация рассказывания истории Голована столько же остраняет миф о нем, сколько заставляет соотнести представления массы и мнение заданной в качестве реалистической фигуры рассказчика-барина — его социальная маска маркирована и вполне определена, порою даже кажется, что он претендует на роль отдельного героя, оттесняющего Голована в сторону: ведь ему так хочется поведать всем о необыкновенном человеке. Ср.: «...если же рассказчик индивидуализирован, он выступает как живой человек, бросает рассказ и говорит о себе».

Настроенный скептически лесковский нарратор не дает себе труда исподволь разобраться в народной архетипике, взрастившей Голована: он вос-

⁵ Чаще всего, анализируя роль имени персонажа, обращают внимание лишь на этот аспект: Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975; Кормилов С. И. Имена, отчества и фамилии литературных персонажей (к проблеме изучения) // Литературные произведения XVIII—XX веков в историческом и культурном контексте. М., 1985; Синицкая С. В. Об именах у Гоголя // Русская литература. 1998. № 3. С. 272; Кудрявцев Ю. С. О персонимах вообще и о словаре персонимов // Studia Litteraria Polono-Slavica. 2000. № 5. С. 403; и др. Среди исключений работа Е. Фарино «Введение в литературоведение» (СПб., 2004. С. 127—158). Здесь проблема имени в искусстве ставится в философском плане, хотя, возможно, без должной систематизации. См. также: Кондакова Ю. В. Гоголь и Булгаков: поэтика и онтология имени. Автореф. дис. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2001.

⁶ Этот аспект рассматривается в работах по мифопоэтике, хотя нередко минуя сферу авторского отношения, что не может не вызывать возражений.

 $^{^7}$ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1981. Т. 3. С. 64. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁸ Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 2000. Т. 2. С. 353.

принимает ее нецелостно, в осколочном виде, что-то зная, а что-то нет, что-то домысливая, что-то просто оставляя без внимания. Поэтому нельзя согласиться с Н. Л. Сухачевым и В. А. Тунимановым в том, что «состав легенды прост»:

9 такая точка зрения неправомерно отождествляет позицию нарратора и смысл изображаемого им мира, в то время как между ними на самом деле есть существенная грань.

Если воспользоваться бахтинскими категориями из его работы «Автор и герой в эстетической деятельности», то перед нами ситуация, когда равноправный диалог между автором (как обобщающей экзистенциально-эстетической инстанцией, включающей в себя в качестве своей эманации и нарратора) и героем не налажен. У Лескова — и это свойственно большинству его произведений — то герой подавляет автора, то (чаще всего) автор героя.

Рассказчик как носитель индивидуалистического сознания только фиксирует коллективные представления о Головане, большинство из которых он не разделяет, и в этом зазоре между онтологией мифа и мифом как молвой, отношение к которой рассказчиком не определено до конца, осуществляется становление художественной идеи повести.

Обе половины прозвища лесковского героя — неологизмы, что усиливает их семантический вес. Прозвище «Голован» соответствует внешнему виду «оригинального мужика с большой головой» (3, 100), прозвище «несмертельный» призвано раскрыть несколько значений — и отсутствие у Голована страха смерти, и его чудесное умение помогать окружающим, и, наконец, причастность мифически-карнавальной абсолютной жизни через способность «нигде не погибнуть».

Поэтому «несмертельный» приобретает вид субстантивированного прилагательного и должно восприниматься скорее как «Несмертельный». Данный неологизм звучит отчасти иронически и вместе с тем загадочно при сопоставлении со своим коррелятом «бессмертный». Последний мог бы внести более определенные (и вместе с тем суженные) семантические аспекты, но Лесков нарочито отказывается от этого.

Кто автор этих неологизмов? Масса, утверждает Лесков. Вместе с тем нельзя отделаться от ощущения их «сделанности», «литературности», «вычурности», как говорил Толстой, и здесь нельзя не признать, что их авторство в конечном счете переходит к самому Лескову как по-новому означившему (коннотировавшему) их лицу.

Представления о жизни и смерти заданы у Лескова в нескольких плоскостях: в плоскости мифически-архаического сознания народа (в том числе в обрядовой проекции), в плоскости обыденно-позитивистской, воспринимающей жизнь и смерть узко биологически (одна из установок если не рассказчика, то людей его круга), и, наконец, в плоскости христианской, к которой рассказчика обращает беседа с бабушкой и к которой он в итоге присоединяется, закольцовывая начало повести — эпиграф, который мало прикреплен к внешней канве нарратива, и ее финал.

Нельзя не обратить внимание на отсутствие хотя бы упоминания изначальных личного имени, отчества и фамилии лесковского героя, полученных им при рождении и крещении. Тем самым в сторону отодвигается факт его физического рождения и изначальной родовой определенности — ведь имя, отчество и фамилия передаются человеку родителями, закрепляя связь с предками и личной традицией. Кроме того, «дар крещения и получаемого при крещении имени $\langle ... \rangle$ сообщает форму и цель, смысл. После

 $^{^9}$ Сухачев Н. Л., Туниманов В. А. Развитие легенды у Лескова // Миф — фольклор — литература. Л., 1978.

крещения открывается путь к Богу, к тождеству твари с ее логосом, а логоса с Логосом. Поэтому получаемое имя оформляет личность человека по Божественному плану». Поэтому слово и имя онтологичны, поэтому «имя есть жизнь». 11

В художественном творчестве, как мы уже отмечали, роль «плана» более проявлена и прямо закреплена.

Поскольку вопрос об изначальном христианском имени Голована отставлен, объективно редуцирован и христианский контекст повести, как бы ни апеллировал к нему Лесков. Но, как известно, лесковские праведники все неканоничны, все действуют не по предписанному, а по жизненно-экзистенциальному влечению, при этом такими их во многом делает сфера авторского представления, авторской полумонологической репрезентации героев, совершаемой нарочито, вопреки тому, что сам Лесков рассматривает в качестве общепринятого. И Флягин, и Туберозов, и Алексашка Рыжов, и Памфалон — «жертвы» сначала авторского, а уже потом собственного борения с миром наличного, как Лесков его воспринимает, они появляются на авансцене после выхода автора.

В результате в «Несмертельном Головане» вперед выступает момент иного, оказывающегося в каком-то значении единственно полноценным рождения в народной среде, «коллективном народном теле», по определению Бахтина.

Переименование героя массой закрепляет его социальную инициацию вне церкви и семьи. В продолжение и в параллель к этому Голован так и остается бессемейным, полностью посвящая себя интересам своих хозяев и интересам массы, не оставляя после себя потомства и не продолжая личную родовую историю, которая с самого начала оказалась прервана. В соответствии с заданной христианской позицией Лесков особо морализует миф, говоря о целомудрии героя.

Осуществляющий себя в массе, дающей ему прозвище, изначально лишенный индивидуализма, Голован тем не менее — или, что в данном случае одно и то же, благодаря этому — обладает, если воспользоваться термином К. Г. Юнга, «самостью». И именно проблема «самости» встанет впоследствии перед умирающим Иваном Ильичом, вдруг ощутившим свою чуждость всему наличному и «нудительному». В противоположность обычной манере Лескова, эта чуждость воспринята толстовским героем и его союзником-автором не через анализ внешних форм жизни, а через глубинное понимание внутреннего «я», понимание человеческого бытия в мире. И автор «Смерти Ивана Ильича» в своем прозрении, в отличие от автора «Несмертельного Голована», не идет впереди героя.

Забвение момента физического рождения для Лескова органично подразумевает отсутствие физической смерти, ведь тот, кто не рождался, и не умирает: «Самая обычная вещь среди людей — это смерть; второй является рождение, потому что из умирающих не все родится». Голован просто «уходит», оставляя после себя молву и прозвище, ставшее именем; чтобы сохранить память о нем, рассказчик спасает его фактом своей наррации, в которой герой рождается как бы в третий раз (после физического и социально-инициального рождения), тем самым остраненно приобщаясь к мифу.

С другой стороны, отсутствие сведений об «археологии» (как сказал бы Мишель Фуко) появления на свет Голована могло по каким-то причинам не

¹⁰ Фарино Е. Указ. соч. С. 138.

¹¹ *Лосев А. Ф.* Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие — имя — космос. М., 1995. С. 617.

¹² *Ницше* Ф. Странник и его тень. М., 1994. С. 302.

интересовать рассказчика-барина. В этом случае неналичие информации выполняет другую роль, оно делает образ Голована более «свободным», предлагая больше места для читательского сотворчества, для дополнительных интерпретаций.

Гоголь в «Мертвых душах» писал о бессмертии иронических прозвищ, в которых он знал толк, как никто другой (сказалось влияние малороссийской языковой традиции): «Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица». 13

Лесков описывает прозвище высокое, мифическое, которое не нужно «облагораживать» и которое налагает на его носителя ответственность, обязанность соответствовать ему. Вместе с тем оно звучит и как своеобразное заклинание, оберег, не теряя при этом в зоне нарратора ауры некоторой иронии, хотя также высокой.

Всякое слово в пределе стремится к имени, а имя — к имени собственному, которое мифично и философично. Прозвище в качестве вариации имени, видимо — во всяком случае, в народной среде, — в большей степени сохраняет элемент изначальной идеальной заданности именования, элемент «строительства» и жизненно-смыслового становления в имени, а также элемент фамильярного контакта, как выразился бы Бахтин, с самой стихией жизни, стихией существования. Прозвище и выделяет из массы, из «коллективного народного тела», и вместе с тем подхватывается массой, разносится ею, наконец, реализуется в ней.

Прозвище и имя вообще всегда несут на себе сильный отпечаток диалогичности, интерсубъективности: они не выбираются индивидом, а даются другими. Отсюда элемент несвободы в имени.

Имя социально-исторично, оно нужно не для «одинокой душевной жизни» (Э. Гуссерль), а для существования в мире как мире других. Имя предполагает собеседника, того, кто окликает и тем самым всякий раз называет-утверждает в историческом мире. Особенно велика роль именования как называния и утверждения в лирике. Ярко это выражено у Осипа Мандельштама, написавшего специальную статью «О собеседнике», где высказано мнение, что поэт в своем творчестве всегда обращается к кому-то (прежде всего к потомкам) и надеется встретить ответный отклик через утверждение своего собственного имени:

Как комариная безделица В зените ныла и звенела И под сурдинку пеньем жужелиц В лазури мучилась заноза:

Не забывай меня, казни меня, Но дай мне имя, дай мне имя: Мне будет легче с ним — пойми меня, В беременной глубокой сини.¹⁴

¹³ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 5. С. 102.

 $^{^{14}}$ Мандельштам Ö. Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991. Т. 1. С. 110. Ср.: «Но в чувствительной к окраске слова, суггестивной системе Мандельштама для того, чтобы вызвать к жизни $\langle ... \rangle$ лиризм, иногда достаточно одного имени» (Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд. Л., 1974. С. 371).

По мнению С. Н. Булгакова, полное тождество имени и подразумеваемого предмета (смысла) возможно только в софийном космосе. 15 Обыденное же сознание отмечает различия между двумя этими инстанциями. Лесков моделирует мир повести в соответствии с канонами мира сего. С точки зрения внешнего сюжета Несмертельный Голован оказывается все же «смертельным»: смертным, подобно остальным. Более того, как указывает вначале рассказчик, «Голован может быть скоро совсем позабыт» (3, 64). Здесь намечается опасность сразу «двойной» смерти героя — физической и в народной молве.

Обстоятельства гибели Голована, могущие в мифологическом восприятии составить центральный нерв его биографии, даны у Лескова крайне скупо и словно бы мимоходом, вновь со ссылкой на толки, изустные легенды: «И слышал я о нем только раз, во время "большого пожара". Тогда погибло не только много строений и недвижимости, но сгорело и много людей — в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и "сварился". О семейных, которые его пережили, я не справлялся» (3, 100).

«Называли», «рассказывали» — эти выражения ставят под определенное сомнение (а рассказчик постоянно сомневается в том, что он описывает) не только обстоятельства гибели героя, но и вообще факт самой его смерти. Нарратор словно бы оставляет Головану шанс избежать смерти, возможность некоего иного существования вопреки ее неумолимости — и говорит об этом не от себя, но от имени анонимной стихии, которая создает мифологически-архетипическую ауру наррации и которая мерцает в своей зыбкости и неопределенности. Не нарратор дает имя герою, и не нарратору судить о его физическом бессмертии. Поэтому заключение, что повесть Лескова о том, что «неподверженность смерти — это только легенда, поддерживаемая невежественными людьми», 16 нуждается как минимум в уточнениях, хотя рассказчик и иронизирует над прозвищем «несмертельный» и сомневается в его правильности, а также рационалистически этимологизирует прозвище «Несмертельный Голован».

Подразумеваемая смерть Голована — случайная, без причастия. По традиционным поверьям, это неестественная смерть, а она всегда предвещает странную загробную судьбу, неприкаянность и тем самым действительно причудливую форму «жизни» за могилой; умершие неестественной смертью — так называемые «заложные покойники» — часто преследуют живущих и считаются находящимися в связи с нечистой силой. 17

Этот обертон несет тенденцию снижения и «демонизации» облика Голована, которая, впрочем, не актуализируется и вписывается в лесковскую концепцию «неканонической» праведности.

Гибель Голована хотя и случайная, но не одинокая, он уходит вместе с другими, подобно тому как и жил среди других.

Обстоятельства пожара потенциально скрывают высокий архетип инициации, испытательного обряда, а также, видимо, масленичный архетип, поскольку на масленицу было принято возжигать костры, символизирующие уход зимы, наступление весны и обновление. Однако указанные обстоятельства несколько снижаются нарратором тем, что Голован просто «упал

 $^{^{15}}$ Булгаков С. Н. Философия имени // Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. СПб., 1999. Т. 2: Первообраз и образ. С. 131—138.

¹⁶ Смирнов И. II. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М., 2000. С. 34.

 $^{^{17}}$ См.: Зеленин Д. К. Избр. труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 42-43, 46-48.

в какую-то яму» (аналогично несколько снижена масленичная символика в «Снегурочке» Островского и особенно в «Трех сестрах» Чехова¹⁸). Вместе с тем в архетипическом плане этот высокий ракурс обновления через костер в текст повести заложен и на этом уровне нарратива также «снимает» смерть героя.

Итак, возникает двойная коннотация заглавного имени повести, разворачивающего собою весь сюжет на актуальном и потенциальном его уровнях: мифологически-онтологическая и иронически-остраненная; эту вторую А. А. Горелов называет «коварной юмористической подцветкой текста», которая может принимать «интонации мнимой солидарности с общепринятостями суеверия». Слово нарратора хотя и ставит слова народной массы под сомнение, многое берет от них — ведь им придается функция своеобразной документальности. Данное слово строится на пересечении затейливого, вечно творящего новые образы и смыслы языка массы с языком господским, чуть ли не юродствующим в переработке и обкатке простонародных выражений, более рационализированным, более «правильным», вплоть до элементов в нем канцелярского стиля («объяснение (...) весьма естественно» (3, 100) и т. п.), вообще сильных у Лескова, и при этом не всегда остраняемых, выглядящих еще более инородно на фоне слов «вычурных».

События повести отнесены рассказчиком на несколько десятилетий назад, что задает своеобразную «эпическую», легендарную дистанцию для изображаемого. Существенным водоразделом выступает отмена крепостного права. То, что она произойдет уже после «смерти» Голована, и то, что герой успел побыть и умереть свободным еще до отмены, приобретает особый символический вес: бывший раб, Голован имеет более дорогую свободу, каковую он сполна и реализует в своей жизни.

Отвергая коллективные мифы и легенды о Головане, нарратор приходит в финале к той христианской истине, которая выражена в эпиграфе к повести, взятом из Евангелия от Иоанна: «Совершенная любовь изгоняет страх». Эта истина, хотя также являясь мифологической, 20 задает иную меру личности Несмертельного Голована — меру христианского праведничества, «святой простоты» (3, 108), которая, по мнению нарратора, еще явственнее проступает в персонаже, когда с него снимается налет «легендарного вымысла» (там же).

Эта черта личности Голована в повести только намечена, сполна она реализуется в поздней лесковской сказке «Маланья — голова баранья», где праведная героиня действительно — с чем нарратор данного произведения абсолютно соглашается — избегает смерти. Связь с философией имени, присутствующая в «Несмертельном Головане», тут более чем ясна, и топика смерти напрямую выводится из топики жизни: «И как смерть обойдет весь свет да придет к ней и спросит:

— Как тебя звать?

Она старается вспомнить и никак вспомнить не может» (5, 63).

Здесь археология смерти находится в тесном контакте с именем и памятью о нем, причем «забывчивость» провокационно подразумевает то, что помимо одного имени и прозвища у героини существует другое, которое, как выяснится, обеспечивает ей бессмертие. Многоименность Маланьи, будучи

 $^{^{18}}$ См.: *Шульц С. А.* Роль праздника в художественной структуре драмы Чехова «Три сестры» // Филологические науки. 2000. № 2.

¹⁹ Горелов А. А. Лесков и народная культура. Л., 1988. С. 246.

²⁰ Если обратиться к изысканиям позднего Шеллинга по философии мифологии и философии Откровения, то следует признать, что Шеллинг поставил христианство в один ряд с мифологией, понимая последнюю как проявление сакрального.

подобна многоименности Бога, знаменует богатство ее личности и специфическую онтологию ее бессмертия.

Когда с неба падает белый камень с горящим на нем именем героини «Любовь», смерть отступает от нее: «...ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягненком и не обидит его» (5, 63).

В финале место прозвища «Маланья — голова баранья» занимает имя Любовь, и этого имени не оказывается в списках у смерти, пророчествующей о том, что героиня доживет до золотого века, поскольку любовь не умирает. Подобно тому, как это было в повести о Головане, в сказке о Маланье легендарно-архаическое (полуязыческое) прозвище с нее «счищается» (но не уходит полностью), оставляя остов истинной христианской праведности, облеченной, впрочем, в народно-мифологическую форму.

Здесь у смерти появляются положительные коннотации, они заключаются не только в том, что другие персонажи ждут ее как избавительницу от своих несчастий, но и в том, что Смерть по-карнавальному пророчествует о будущем золотом веке, о бессмертии Любви. В этой поздней повести смерть примиряет себя с жизнью, а имя «Любовь» играет в примирении главную роль. По всей видимости, появление этого произведения Лескова, развивающего и углубляющего мотивы «Несмертельного Голована», не было бы возможно и без толстовской «Смерти Ивана Ильича», так же как последняя в чем-то не была бы возможна без повести о Головане. Во всяком случае, все указанные произведения оттеняют друг друга.

Сразу после публикации повести Толстого Лесков горячо откликнется на нее в статье «О "куфельном мужике" и проч.», увидев значение произведения в проповеди сближения с народом и народной правдой, являвшимися для него гарантом выхода образованного слоя из тупика индивидуализма и безверия. Такое сближение было намечено в том числе в повествовании о Головане. Однако Лесков обошел вниманием принципиальный аспект художественной идеи толстовской повести, который не укладывается в его интерпретацию, — персонализм.

Всезнающий нарратор «Смерти Ивана Ильича» — человек одного круга с героем, «господского». В раннем рассказе «Три смерти», часто рассматриваемом исследователями вместе с повестью, Толстой уже показывал аналогичную ситуацию — кончину барыни, которая с ужасом полагала, что уходит в никуда, в то время как простой мужик в своей смерти осознанно сливался с общей космо-биологической жизнью, подобно третьему «герою» этого рассказа — дереву.

Теперь герой-барин получает шанс умереть по-иному. Можно высказать предположение, что в своей повести Толстой по-своему преломляет имеющую просветительский генезис идею Жан-Поля о «палингенесии» — продолжении жизни после смерти. Эта идея осложняется у Толстого, развивающего христианскую и предвосхищающего феноменологическую и юнгианскую традицию, о чем еще будет говориться ниже.

Повествование в «Смерти Ивана Ильича» построено как лирически-рефлексивное и интроспективное восстановление автором жизни и смерти героя. Проникая в мысли персонажа, Толстой открывает все возможные и невозможные пропасти и глубины. Бытие сознания Ивана Ильича становится главным предметом изображения, и это бытие оказывается неуничтожимым и единственно сущим. Более того, сознание не только изо-

 $^{^{21}}$ См.: $\mathit{Muxaйлов}\,A.\,B.$ Культура комического в столкновении эпох // Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 143.

бражается — оно изображает, творит себя и мир, творит прошлое, настоящее и будущее.

У Толстого возникает мощное напряжение между авторской позицией и изображаемым миром, осложняемое лирическим диалогизмом интроспективности по линии «автор — протагонист», накладываемой на изображаемый мир. Этот мир мнит себя вполне благополучным в своем отстранении от любых осмысленных вопросов, в своей благопристойной пошлости, в отсутствии самости. И лишь автор вместе с умирающим протагонистом срывают с этого мира покровы приличия.

Толстой показывает различные круги симуляции, имитации жизни, через которые проходил при жизни Иван Ильич и проходят в повести остальные герои. Эту имитацию, ложное «подражание» некоей пустой норме Толстой, вслед за Платоном и Руссо, не уставал развенчивать никогда.²²

Уже первый момент симуляции — чтение официального некролога — не передает того глубокого, подлинно человеческого потрясения, которое пережил умирающий. Здесь имена и отчества персонажей фигурируют как факт их причастности «всемству» (от «все мы»²³), безликому «Das Man» Мартина Хайдеггера: «В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом Красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия...». ²⁴

Следующие круги симуляции — радость сослуживцев по поводу того, что умер кто-то другой, а не они, толки о возможных новых перемещениях по службе. Примеры симуляции повсюду. В разговоре Петра Ивановича с женой покойного, когда каждый, как может, имитирует скорбь и вместе с тем четко понимает, что, показывая нечто внешне приличествующее ситуации, он одновременно хочет решить собственные проблемы, имеющие мало отношения к Ивану Ильичу и к факту его смерти вообще. В общении с докторами: «Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид» (12, 77); «Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой» (12, 78).

К вопросу о смысловой наполненности жизни взывает, согласно Толстому, каждый момент бытия, и каждый раз этот вопрос оказывается в забвении, скрытый толками о второстепенном и ненужном.

Перед своим фальшивым разговором с Прасковьей Федоровной Петр Иванович замечает, что лицо умершего было «значительнее, чем оно было у живого. $\langle ... \rangle$ в этом выражении был еще упрек или напоминание живым», которое «показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся» (12, 57). Смерть героя повести обнажила перед окружающими проблему их собственной смертности, смысла их жизни («упрек» или «напоминание»), но они предпочли не размышлять над ней.

Однако и их участие или искренняя взволнованность мало бы что добавили к тому открытию, к которому пришел в итоге Иван Ильич и которое,

 $^{^{22}}$ См.: Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л., 1981. С. 42—47; Шульц С. А. Историческая поэтика драматургии Л. Н. Толстого (герменевтический аспект). Ростов-на-Дону, 2002. С. 33, 212.

²³ Об этом термине см.: Курабцев В. Л. Лев Шестов и мировая философия (итоги «странствований» по душам) // Вопросы философии. 2004. № 12. С. 116.

 $^{^{24}}$ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1981. Т. 12. С. 54. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

как показывает Толстой, может быть сделано только в эгологическом измерении. По верному замечанию Бахтина, толстовские герои всегда равнодушны к своей смерти-для-других, они могут постичь лишь свою смерть-для-себя, а следовательно, в развитие Бахтина, и свою жизнь-для-себя, что не перечеркивает возможности их открытости окружающим, служения окружающим, однако это всегда означает личное спасение, личностное свершение.

Протагонист Толстого с помощью автора проходит сложный путь от жизни к смерти — и обратно, от смерти к свету. Лиризм повести в постоянных интроспекциях, данных через несобственно-прямую речь, в «чтении» автором сознания персонажей.

Герой повести изначально возникает как сугубо частное лицо, в семейном, приятельском и т. д. окружении, как «Иван Ильич». Для русского уха это привычное и простое сочетание имен. Выдвижение в заглавие имени и отчества героя говорит также и о его солидности, уважаемости, «статусности». Сразу понятно, что это не простой мужик, как у Лескова, а барин. В то же время Толстой будет обращать внимание на известную расхожесть указанных имени и отчества и на заданную уникальность отдельной человеческой судьбы, при которой имя становится символом индивидуального.

Служебная деятельность протагониста не самоценна, а выражает особенности его самосознания. Максима Ивана Ильича — «надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные» (12, 74), есть на самом деле вид бегства от «служебного», поскольку она нивелирует личностную вовлеченность в происходящее и фиксирует некую симуляцию социального, парадоксально отмечающую в Иване Ильиче как раз нечто внесоциальное. В данном случае, в отличие от других, симуляция сама по себе позитивна.

Не вполне прав Е. Фарино, утверждая, что имя Иван «отражает анонимность, безличностьо» и что повесть можно проинтерпретировать — пусть и в виде «варианта» — как преодоление «признака "иван"». ²⁵ Герой, за редким исключением, не называется его окружением и Толстым только Иваном и тем более отдельно Ильичом. Он почти всегда, в любой момент повествования именно «Иван Ильич», и в заданной цельности имени и отчества этот персоним следует воспринимать.

Другое дело, что в повести Толстого фигурирование имен и отчеств персонажей часто отражает некую трафаретность, стереотипность, растворенность в дурно толкуемом общем, во «всемстве»: «...в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу» (12, 71).

Мелькание ничего не говорящих читателю имен и отчеств, помимо функции передачи приязненных отношений людей одного круга, прежде всего выявляет тенденцию нивелирования имени и тем самым его носителя, не обладающего самостью, чье передвижение по карьерной лестнице — заурядный момент всеобщих перемещений, в процессе которых один без особой разницы может быть заменен другим, поэтому поправка «кроме своего значения для России», будучи элементом воспроизведения автором несобст-

²⁵ Фарино Е. Указ. соч. С. 146, 147.

венно-прямой речи Ивана Ильича (а она здесь отражает свою причастность анонимной нивелирующей силе общего), имеет ироническую и даже в чем-то трагическую авторскую коннотацию.

В приведенном параде заурядностей персоним Иван Ильич не теряет своей индивидуальности: ведь он уже знаком нам и контрастирует с обессмысливающим перечислением имен разных министерских лиц, хотя нарратор осознает опасность этого, намекая на нее и освещая затем последующее прозрение на сей счет протагониста.

Здесь создается ситуация, которую Жак Деррида назовет возникновением «фальш-имени, псевдонима и омонима»: ²⁶ то, что мы можем считать аутентичным выражением, словом подлинного, сущностного, на самом деле скрывает пустоту или даже ложь. Путь Ивана Ильича — путь от «фальшимени», как оно существует во внешнем мире, к полноценному имени собственному, которое необманно отождествляется с отведенной человеку судьбой. Таков и путь автора в понимании им протагониста, его имени, его жизни и смерти. Автор тематизирует имя героя как все, что от него осталось (точнее, остается! — в вечном настоящем), и как то, что было приобретено в мучительных поисках самости.

Умирая и видя свет, Иван Ильич словно и вовсе «забывает» о своем имени, которое было нужно для других и не нужно ему самому в эту самую значительную минуту его жизни. Однако «заслуженный другой» (если перефразировать близкую Бахтину формулу Ухтомского о «заслуженном собеседнике») — автор — утверждает и закрепляет это имя, сохраняя в нем все возможные коннотации его восприятия героями повести, протагонистом, читателями и им самим в разные минуты бытия.

Сохранение всех этих оттенков необходимо для того, чтобы на их фоне выделилось и во всей своей силе выразилось главное качество — глубокая самость, глубокая индивидуальность протагониста, который при жизни растрачивал себя на суетное и преходящее, на анонимное всеобщее. Самость Ивана Ильича, в отличие от самости Голована, приобретается на пороге смерти и в момент смерти, она даруется как последняя благодать.

Возможно, требования умирающего и его союзника-автора к человеку слишком высоки (об этом, в частности, писал Л. Шестов). Но чем выше они, тем удивительнее тот свет, который видит Иван Ильич в финале.

Уже первая реплика повести, принадлежащая Петру Ивановичу, сразу выделяет имя Ивана Ильича среди остальных, хотя и с оттенком фальшивой и дешевой фамильярности, возникающей из-за использования частицы «то», не снимающей, однако, некоей необычной торжественности фразы: «Господа! (...) Иван Ильич-то умер» (12, 54).

Именно смерть протагониста, которую сам он осознает как «страшный торжественный акт» (12, 91), сразу придает его имени особое значение. Пафосность сообщения Петра Ивановича тут неотделима и от некоего тайного торжества адресанта — умер-де не он, а кто-то другой. Так могут сообщать и о кончине какого-нибудь «значительного лица», как сказал бы Гоголь. И не случайно умирающий Иван Ильич сравнивает себя с Каем — Гаем Юлием Цезарем, причем еще и выделяя себя на его фоне.

В отличие от рассказчика «Несмертельного Голована», нарратор «Смерти Ивана Ильича» фиксирует имя героя, данное ему при крещении. Обстоятельства рождения, взросления, воспитания, развития протагониста нисколько не затемняются, но возникают они в подчеркнуто инверсивной, пе-

 $^{^{26}}$ Деррида Ж. Ухобиографии. Учение Ницше и политика имени собственного. СПб., 2002. С. 50.

ревернутой хронологии — из настоящего к прошлому, что наделяет их особым смыслом и что неоднократно отмечалось исследователями. Перед лицом смерти события прошлого как бы независимо от их содержания приобретают исключительность. Впрочем, Толстой будет фиксировать в них исключительность обыденности — или обыденность исключительности, сообщая повести пафос персонализма.

С другой стороны, в повести задана и иная, телеономическая хронология: из будущего в настоящее. Будущим выступает не столько самая смерть Ивана Ильича, сколько то, что она в конечном итоге подразумевает: переход в принципиально новое состояние бытия.

Иваном Ильичом называют героя приятели и коллеги, на французский манер и по-домашнему — жена: «Јеап» (к этому именованию мы еще вернемся ниже). В детстве протагониста называли Ваней, о чем, подводя итоги своей жизни, вспомнит он сам: «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и все это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости» (12, 86).

Это едва ли не центральный эпизод интроспекции. Пример с Каем закрепляет скрытую в повести апелляцию к античному контексту: ведь речь идет о великом Гае Юлии Цезаре, древнеримском диктаторе и полководце, погибшем за несколько десятилетий до рождения Христа в результате заговора, вскрывшего ложь и притворство даже со стороны самых близких, к которым он относился с незыблемым доверием. Цезарь — значительная личность в истории, каковых Толстой не уставал развенчивать (ср. образ Наполеона в «Войне и мире», впрочем, явно не дотянувшего, согласно Толстому, до масштаба Юлия Цезаря (7, 252)). При этом сам Цезарь, по Светонию, назвавшему его «божественным», в противоположность Ивану Ильичу, видел перед своей смертью «несомненные предзнаменования», ²⁷ словно предчувствовал свою смерть и как-то «с отвращением отозвался о ⟨...⟩ медленной кончине и пожелал себе смерти внезапной и быстрой». ²⁸

В процитированном толстовском пассаже развенчиваются также «законы» логики: голая рациональность бессильна перед живой жизнью, перед тицом жизни и смерти. В своем анализе примера из Кизеветера Иван Ильич «алогично», но при этом по-человечески понятно перепрыгивает от «Кая-человека» и «вообще человека» к себе как «особенному от всех других существу».

Отвергая аналогию с Каем — «человеком вообще», Иван Ильич приілижается к номиналистской интерпретации имени, как она была сформулирована в эпоху средневековья в полемике с «реалистами»: существут только единичное, общих отвлеченных понятий нет. У номиналиста Уильяма Оккама прямо обнаруживается близкий пассажу с Каем пример: ...имя Сократ относится к определенной личности, но имя "человек" как оббревиатура — универсалия». 29 Интересно, что Оккам принадлежал к

²⁷ Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990. С. 34.

²⁸ Там же. С. 37.

²⁹ Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. 2. Средневековье. С. 181.

францисканцам, идеи которых весьма созвучны толстовской проповеди «опрощения». 30

Для Толстого существуют только частные и конкретные случаи, которые бессмысленно «систематизировать», «обобщать», всегда существует только частная и конкретная личность. И спасение конкретного человека — в признании этой единичности и уникальности каждого, которую не в силах опровергнуть формальная логика и обезличивающие обобщения и сравнения. Поэтому повесть — не о смерти вообще, смерти человека вообще, а о смерти единичного, частного лица — Ивана Ильича. Толстой показывает, что смерть частного и единичного страшнее смерти общего и универсального. Вместе с тем только эта первая и есть смерть в полном смысле этого слова, т. е. такое состояние, которое при всем его ужасе несет потенции освобождения от фальшивого мира симулякров, подобий, подражаний. Общее и универсальное, по сути, лишено возможности смерти, а стало быть, и возможности жизни. Оно обезличивает и нивелирует. Так Толстой понимает общее.

Именно имя — как номиналистский момент единичности — остается впоследствии у автора, у читателя. В этом отношении повесть Толстого полемически противопоставлена любым философским трактатам о человеке — как истолковывающим частные и уникальные вопросы обобщенно. Только художеству под силу понять и изобразить правду единичного, которое при этом имеет на новом уровне возникшее универсальное наполнение — через некий символизм, когда герой (Иван Ильич) выступает символом человеческого: символическое не поглощает аспект уникальности.

И именно эту единичность друг друга не видят герои «Смерти Ивана Ильича», оказываясь способными замечать только преходящее и суетное.

Античный контекст непосредственно проступает и в описании одной из начальных сцен жизни Ивана Ильича, когда он, заканчивая училище правоведения, вешает на брелоки медальку с латинской надписью «respice finem» («предвидь конец») (12, 63) — надписью, стоический смысл которой он постигнет только в отнюдь не стоическом умирании, заканчивающемся, однако, радикальным внутренним обновлением и бессмертием.

Возможно, это изречение перешло к Толстому от нелюбимого им Шекспира, в частности из «Комедии ошибок», где оно произносится в ситуации взаимного непонимания, перекликающейся с непониманием умирающего героя Толстого окружающими.³¹

Уже не римская, а ветхозаветная античность возникает в тех постоянных вопросах, которые Иван Ильич задает Богу — здесь он уподобляется Иову. Используя ситуацию Иова, Толстой дарует Ивану Ильичу свет в конце, что, по мнению и автора, и героя, неизмеримо выше любых возвращений утраченного, любых повторений — это все равно были бы повторения симуляции и лжи. 32

³⁰ С. С. Аверинцев приведет процитированный пассаж с Каем (к которому мы еще вернемся) в качестве яркого антириторического примера борьбы с «абстрактно-всеобщим»: *Аверинцев С. С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 160.

³¹ Шекспир В. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 2. С. 155.

³² Сходен, хотя не столь радикален, как у Толстого, смысл напоминающей причитания Иова реплики отца умирающего Илюши Снегирева в «Братьях Карамазовых» Достоевского: «Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1976. Т. 14. С. 507). Штабс-капитан, подобно Иову, за возвращение, повторение того же самого. Иван Ильич же приходит к чему-то совершенно новому, перечеркивающему важность любых повторений.

Эпоха, переходная между античностью и зарождающимся христианством, очень интересовала Толстого — может быть, потому, что писатель находил определенное сходство между нею и своим временем, своими попытками обновить Церковь и наполнение веры. Все эти скрытые апелляции к позднеантичному контексту имеют целью напомнить о скором пришествии Христа, Который грядет постоянно — и именно к Нему придет Иван Ильич в финале, не называя Его имени, но увидев свет. Метафора света — традиционная новозаветная метафора Христа и Христовой истины.

Восклицания умирающего: «Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?» (12, 99), заставляют вспомнить не только об Иове, искушаемом Богом, но и о Христе, произносящем перед смертью: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил» (Мк., 15:34). Последняя параллель, предложенная Г. Р. Джан,³³ подкрепляется фактом трехдневной агонии протагониста.

Не называя Христа по имени, боится Иван Ильич называть и терзающую его боль, прибегая к эвфемизирующему местоимению: «Иван Ильич продолжал прислушиваться, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в его глазах, и он начинал опять спрашивать себя: "Неужели только она правда?"» (12, 87—88).

Свое общее состояние протагонист также описывает в общих терминах: «...что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было» (12, 81).

В этих эвфемизмах — признание силы смертельной болезни, страх обозначить свой неминуемый конец, и уже не абстрактно, а вблизи от смерти. Имя болезни и смерти выступает, таким образом, как табуированное. В каком-то смысле все имена в повести табуированы, могут прятать за собою нечто страшное (но всегда нуминозное), отсылая к иным именованиям — к некоему семантическому языку, который должен исходить не из симуляционных правил внешнего мира, мира как такового, мира как мира других, а из правил, диктуемых одной чистой субъективностью. Дискредитируя официальный язык, Толстой дискредитирует и официальные, даже в принятой среди сослуживцев смягченной форме (а последняя создает свою собственную ритуализованную официальность) имена, которым должно переродиться внутри каждой личности в ее «одинокой душевной жизни».

Перед нами ситуация, близкая той, которую Гельдерлин и Хайдеггер, определяя духовную ситуацию своего времени, назовут «нетостью священных имен». Полный смысл слов исчез, иссяк в симуляционной современности, и даже когда этот смысл пробивается, она не смеет и боится воспринимать его.

На архетипическом уровне повествования имя Ивана Ильича Головина может быть расшифровано и в библейском контексте. Имя героя такое же, как и у Иоанна Предтечи, фигура которого расценивается в христианстве как последняя в числе пророков, возвестивших о приходе Мессии. Имя, заданное в отчестве протагониста, Илья, также напрямую выводит к Иоанну Предтече, поскольку связано с темой предвозвестия и предшествования: согласно Новому завету, во время первого пришествия Иисуса Иоанн выступает «в духе и силе Илии» (Лк., 1:17), т. е. «в духе и силе» ветхозаветного пророка, также предтечи и провозвестника Мессии (Малах., 4:5). Согласно Но-

³³ Jahn G. R. A Note on Miracle Motifs in the Later Works of Lev Tolstoj // The Supernatural in Slavic and Baltic Literature: Essays on Honoure of Victor Terras / Ed. by A. Mandelker and R. Reeder. Columbus: Slavica, 1988.

вому завету, Иоанна Крестителя некоторые принимали именно за Илию или даже за Иисуса Христа (Мф., 11:14; Лк., 9:19; Ин., 1:21), а в эпизоде Преображения Христа Илия вместе с Моисеем является апостолам и беседует с Христом (Мф., 17:3—13; Мк., 9:4; Лк., 9:30). И Иоанн, и Илия — пророки-аскеты и обличители, ³⁴ что созвучно вынужденному аскетизму умирающего Ивана Ильича, его неприятию окружающей фальши, а также тому принципиальному моменту, что он был судьей, а умирая, судит на ином, более условном (но и более подлинном) уровне мир и себя самого.

В этом контексте фамилия героя — Головин — соотнесена с фактом усекновения головы Иоанна Предтечи. У Толстого работает совсем иная этимология имени, чем у Лескова. Прозвище Голована объяснялось его большой головой. Фамилия Головина открывает свои потаенные значения не через аллегорические, а через символические архетипы, имея, впрочем, форму внешней нейтральности по отношению к ним.

Усекновение головы Иоанна Крестителя, напоминая о желании Саломеи, обличает мир сей, подобный «блуднице», — так он и рассматривается в православной традиции, и отголоски этого в русской литературе присутствуют, например, в бытовой повести XVII века, в гоголевской «Повести о капитане Копейкине» (увлечение Копейкина-«Чичикова» некоей англичанкой), в третьем томе блоковской лирики.

С другой стороны, имя Иван выводит к образу наиболее ценимого Толстым Евангелия от Иоанна. Близкая писателю реминисценция из этого Евангелия послужила основой символического заглавия пьесы «И свет во тьме светит».

Так, подобно Иоанну Предтече, подобно святому Иоанну-евангелисту, Иван Ильич, немотствуя, возвещает о Христе и христовом пути, открытом для каждого.

Отказываясь признавать законы формальной логики, Иван Ильич в какой-то мере отказывается и от признания своей родовой причастности человеческому, называя себя в том самом сравнении с Каем «особенным от всех других существом». «Существо» — традиционный эвфемизм Бога (например, в деизме XVIII века, у Юма, у русских «богоискателей» рубежа XIX—XX веков и т. д.), тем самым Толстым косвенно утверждается божественность Ивана Ильича. 35

Но именование человека «существом» может нести и функцию понижения статуса человека, как в недавнем романе видного современного писателя Ю. Мамлеева: «От тоски сердце переставало быть сердцем и весь он переставал быть человеком или даже существом, а становился неким сгустком непонятного начала». 36

Представляя себя в примере с Каем в третьем лице, т. е. отстраненно, словно бы разделившись на две части, Иван Ильич обозначит себя так, как звали его в детстве: «Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня?» (12, 86). В то же время имя «Ваня», напоминая о единственно светлых — ранних — эпизодах жизни, воздвигает в данном случае границу между умирающим и им же в детстве и фиксирует

³⁴ Аверинцев С. С. Иоанн Креститель // Мифы народов мира: В 2 т. Энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1991. Т. 1. С. 551. В. В. Набоков, обращая внимание на архетипику имени и отчества Ивана Ильича, останавливается на том, что переводит их с древнееврейского как, соответственно, «Бог милостив» и «Иегова есть Бог» (Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 308).

 $^{^{35}}$ Ср. с «божественностью» (по Светонию) все того же Кая — Гая Юлия Цезаря, с которым протагонист себя соотносит.

³⁶ Мамлеев Ю. Мир и хохот. М., 2003. С. 57. См. также с. 227.

попытку обратить время вспять. Глядя вперед и испытывая страх смерти, Иван Ильич одновременно смотрит и назад, воссоздавая в памяти состояние непосредственно после своего рождения и даже предрождения, именно отсюда фраза, обращенная к Богу, но не упоминающая Его: «Зачем привел меня сюда?» — т. е. в мир.

В связи с определенной тенденцией к отъединению имени от его носителя, проявляющейся в попытке разделения героя на ряд личностей (Ваня и Иван Ильич), и заданным в финале выходом к иному, новому существованию, возникают параллели с древнеегипетской мифологией. В ней так называемый человек Ка являлся двойником, загробной проекцией умершего и непосредственно соотносился с его именем. Оставшийся в прошлом Ваня становится так своеобразным «двойником» Ивана Ильича (имея в виду и отсылку к «предрождению»), а будущий Иван Ильич, Иван Ильич после своей смерти — «двойником» Ивана Ильича в настоящем, таким двойником, который, однако, перетянет к себе все возможно подлинное и единственно живое в герое, свидетельствуя об обретении им новой абсолютной ипостаси.

Однако одно дело — представлять себя в третьем лице по отношению к себе, и другое — по отношению к остальным. Толстовский герой поймет, что вся его жизнь была во многом попыткой второго рода — попыткой подстроиться под устоявшиеся социальные нормы и законы: «Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей» (12, 64).

Бахтин справедливо истолковал этот момент как способ жить по принципу опоры на жизнь, «отраженную в сознании других», что является «фикцией, миражом, фальшью»; и свою смерть Иван Ильич сначала «стремился воспринять $\langle \ldots \rangle$ так, как она отображалась в сознании других, но ничего из этого не получилось». 38

Поэтому неправ Р. Густафсон, утверждая, что Иван Ильич «изолировал себя, а потом захотел, чтобы другие жалели его за самоизоляцию». В Никакой самоизоляции нет. Есть высокое узнавание фальши и притворства.

Символичен эпизод у зеркала, в которое смотрится уже заболевший Иван Ильич после приезда шурина, нашедшего в протагонисте разительную перемену: «Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку» (12, 83). Далее эпизод с зеркалом приобретает еще большее символическое значение благодаря развитию действия: «Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная» (там же).

Бахтин показал, что ситуация «человек у зеркала» — «наивный» 40 момент самосознания, поскольку в этом случае человек получает лишь иллюзию полного взгляда на себя, на самом же деле он видит себя глазами других: «...я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим». 41

В то же время в православной традиции существует представление о Евангелии как о зеркале, ⁴² в этом контексте рассматриваемый эпизод симвопически подготавливает будущее прозрение Ивана Ильича, его внецерков-

³⁷ См.: Большаков А. О. Человек и его Двойник. СПб., 2001.

³⁸ Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 г. М., 2000. Т. 2. С. 257.

³⁹ Густафсон Р. Ф. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Льва Толтого. СПб., 2003. С. 168.

⁴⁰ Попова И. Л. Комментарии // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1996. Т. 5. С. 467.

⁴¹ Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 71.

⁴² Воропаев В. А. Н. В. Гоголь: жизнь и творчество. М., 1998. С. 14—15.

ный приход к неназванному Христу — предсмертное причастие мало что дает герою, зато он отвлекается от худшего почти безмолвным общением с лакеем Герасимом, который один не фальшивит (за исключением сына Васи — «гимназистика», как ласково-фамильярно он именуется) и единственный понимает неизбежность смерти всякого, не делая из этого ни трагедии, ни фарса.

В связи с эпизодом у зеркала примечательно новозаветное: «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор., 3:18). Попытку подобного преображения протагониста рисует Толстой в самом финале.

Имплицитный смысловой план новозаветного контекста повести появляется уже в амбивалентно-иронической фразе: «Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди. И Иван Ильич стал этим новым человеком» (12, 64).

«Новый человек» — пока еще негативно — отсылает к новозаветному: «Итак, кто во Христе тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор., 5:17). Ср. также: «но если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор., 4:16). Символика внутреннего и внешнего человека обыгрывалась Толстым в «Войне и мире».

Тем не менее в финале негативность данного неизбежного сопоставления с новозаветным значением «нового» снимается.

Роль Герасима в повести двойственна. С одной стороны, он настраивает Ивана Ильича на лучшее, подобно Несмертельному Головану очерчивает горизонты «роевой жизни», единого космо-биологического потока сущего. С другой стороны, в мгновение агонии Герасим с его участием также отступает перед открывшимся «внутренним» человеком, о котором говорит Новый завет и который по своим масштабам перекрывает весь объективный мир.

Так правда Герасима и Голована отодвигается назад перед еще более высокой правдой — правдой самости вне интерсубъективности, самости как таковой. Умирающий Иван Ильич Головин словно спорит с Несмертельным Голованом — и Герасимом, который выступает неким вариантом последнего — по поводу жизни и смерти, и ответы героев разные: в случае Голована — открытость миру, в случае Ивана Ильича — открытость перекрывающему мир прозрению одинокого человека.

Одновременно с топикой нового рождения во Христе Толстой подводит героя и к топике Страшного суда: «"Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!...» Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?" (...) Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль» (12, 101).

Проблески подлинного — трагического — самосознания микшируются у умирающего с «наивными» попытками «утвердиться» в «правильности» пережитого, и в эти минуты герой вновь на какое-то время отбрасывается назад, в анонимное «всемство».

В контексте размышлений Ивана Ильича о Страшном суде, о его «виновности» по-новому воспринимается и то имя, которым называла его жена, — «Jean». Оно напоминает о Дон Жуане, наказанном за свою беспечность в тот момент, когда он менее всего этого ожидал. Интересно, что в

«Войне и мире» Толстой пишет это имя со строчной буквы, как нарицательное: «— Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастии, и этим-то пользуется этот донжуан, этот ужасный человек» (4, 200). Тем самым образ, имя Дон Жуана не только рассматривается в качестве расхожего, но и в качестве «неличного», неличностного, потерявшего субстанциональность. В данном контексте сам Иван Ильич как «Jean» теряет черты самости.

В комедии Мольера и опере Моцарта Дон Жуану было предложено покаяться в содеянном, что, возможно, привело бы к иному финалу. У Толстого протагонист кается сам, без принуждения, именно поэтому в конце концов он вне смерти.

Крик Ивана Ильича — словно крик новорожденного, так будет кричать в финале «Теоремы» Пазолини обретший новое качество (отказавшийся от собственности) заводчик, которому во время его смертельной болезни читали страницы именно «Смерти Ивана Ильича».

Колоссальность открываемого героем Толстого внутреннего мира, мира собственного сознания, онтологии индивидуального сознания не идет ни в какое сравнение с любым возможным весом мира внешнего как мира других. Феноменологически (предвосхищая Гуссерля) «счищая» со своего «я» все налеты мира внешнего, Иван Ильич открывается навстречу тому единственному, что всегда было, есть и пребудет, — бессмертию индивидуального сознания, заменяя этим максиму о «бессмертии души».

Старинный средневековый сюжет о прении бессмертной души с умирающим телом Толстой заменяет сюжетом бессмертия сознания, которое настолько мощно и самоценно, что может существовать вне и помимо «тела» — вне биологических форм жизни, как бы ни ценил их Толстой, когда он говорил о людях из народа, о природной, «роевой» жизни.

Толстой предвосхитил будущие открытия феноменологии, утвердившей онтологию сознания, и Карла Густава Юнга с его идеей несводимости сознания к биологизму, укоренения сознания в бытии и культуре.

«ЖИЗНЬ, КАКОВА ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ...»: ТРАГИКОМИЧЕСКОЕ В ПОЗДНЕЙ ДРАМАТУРГИИ А. П. ЧЕХОВА

Говоря об эстетической концепции А. П. Чехова, часто цитируют его письмо 1887 года к М. В. Киселевой, в котором писатель определяет свой взгляд на «художественную литературу», подразумевая различие между «художеством» (правдивым изображением) и «искусством» (умелым изображением, мастерством), которое еще сохранялось в языковом узусе эпохи. «Художественную литературу потому и называют художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная». 1

Эту дефиницию обычно рассматривают как свидетельство приверженности писателя миметическому реализму/натурализму, делая при этом акцент на синтагме «жизнь... какова она есть на самом деле». В то же время очевидно, что Чехов ведет речь о специфической форме творческой деятельности по освоению действительности (литература рисует жизнь) с полным сознанием условности создаваемого писателем мира. И подобных замечаний, тематизирующих формальные аспекты собственного творчества, у Чехова достаточно. Позволю себе привести еще несколько авторских признаний, важных для дальнейшего изложения. Во-первых, из письма к А. С. Суворину от 1 апреля 1890 года: «Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники» (4, 54). Во-вторых, зафиксированные В. Э. Мейерхольдом эпизоды постановочной истории «Чайки» и протест Чехова — мягкий, ироничный, но, как всегда, настойчивый, против «театра иллюзии»: «Один из актеров рассказывает о том, что в "Чайке" за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки.

- Зачем это? недовольным голосом спрашивает Антон Павлович.
- Реально, отвечает актер.
- Реально, повторяет А. П., усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит: Сцена искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что если на одном из лиц вырезать нарисованный нос и вставить живой? Нос реальный, а картина-то испорчена» (13, 386; прим.).

Писатель представить себе не мог, что в течение того столетия, в которое он успел шагнуть и ненадолго задержаться, «Джоконда», символ высокой европейской культуры, станет предметом художественных манипуляций pop-art'a: ей пририсуют усы, а позже, приклеив настоящие, выставят в музее в качестве «объекта». Из жизни уходило возвышенное... И Чехов, ока-

 $^{^1}$ Чехов А. II. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1975. Т. 2. С. 11. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

завшись современником начальных процессов модернизации общества и функционирования массовой культуры, откликнулся на новые, еще не пойманные художественным мейнстримом эпохи черты своим письмом о реальности.

Смерть «метафизического человека», зафиксированная Э. Золя в 1880 году на волне «экспериментального метода» (натурализма), была частным проявлением девальвации «возвышенного» и деканонизации сложившихся представлений о «высоком» и «низком». На сцену выходит повседневность («жизнь, какова она есть на самом деле») и ее главный репрезентант — «серенький человек» в своей будничной и интимной сфере. «Жизнь бесславных людей», бывшая до того прерогативой «низкого» комического жанра (согласно миметической концепции Аристотеля, комедия «есть подражание [людям] худшим, хотя и не во всей их подлости»²), предстает теперь как трагедия повседневности в новом жанре — психологической драме. Диффузная sui generis, она открыта навстречу жизни как пропессу и потому начинает свободно работать не только с «вещью», но прежде всего с «психологией», развиваясь от «театра иллюзии» к «театру настроения», т. е. собственно чеховскому театру на первых этапах сценического прочтения творчества драматурга-новатора. Через два года после смерти Чехова Вяч. Иванов, теоретик символизма и апологет мистериального театра, обратит внимание на специфику жанра драмы, в том числе и чеховской, сделав существенное наблюдение уже с позиции «патетического принципа» современности: реалистический театр, «который хочет быть заведомо terre-à-terre»³ и поэтому изгоняет «героя», «делает как бы центральным лицом драмы самоё "Жизнь", как текучее становление и неразрешающийся процесс. Те, кто идут созерцать эти кинематографы повседневности, заранее знают, что перед их глазами не завяжется впервые новый узел живых сил и они не увидят никакой "развязки", потому что сама "жизнь" — единственный узел той всеобщей драмы, отрывок которой будет разыгран на сцене, и развязка еще не дана действительностью. Они удовольствуются, если драматург выдвинет частную проблему этой жизни, поставит вопрос, подлежащий обсуждению на митинге общественного мнения. Но динамическое начало драмы здесь утверждается вполне. Цель зрелища не столько эстетическая, сколько психологическая: потребность сгустить всеми переживаемое внутреннее событие — "жизнь"; ужаснуться, разглядев и узнав собственный двойник; бросить факел в черную пропасть, зияющую под ногами у всех, чтобы осветить беглым лучом ее бездонную неизмеримость». 4

Деиерархизация жанрового драматургического пространства и дегероизация персонажа — тенденция, общая для европейского театра последней четверти XIX века, в котором на фоне развития натуралистической драмы, но уже ибсеновского типа и благодаря ей укрепляются антишекспировские настроения, что было концептуализировано Б. Шоу в статье «Квинтэссенция ибсенизма». Процесс дискредитации «возвышенного» и его абсолютного сценического репрезентанта — трагедии — способствует «проницаемости» сложившейся жанровой системы. Интерференция комического и трагического выступает как свидетельство осознания парадоксальности и алогизма жизненных ситуаций, включая те, которые З. Фрейд назовет «психопатологией обыденной жизни».

² Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 650.

³ приземленным (фр.).

⁴ Иванов Вяч. Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1998. С. 44.

Смещение границ и изменение топографии высокого/низкого, комического/трагического и зафиксировал Чехов в жанровых колебаниях и нестандартных жанровых дефинициях своих драматических произведений. «Леший», «Чайка», «Вишневый сад» были названы автором «комедиями». последняя — «местами почти фарс». Драма «Три сестры» определялась им же как «крымская чепуха», «путаница», «водевиль», а труппа, репетируя спектакль, плакала, переживая несостоявшуюся жизнь всех без исключения персонажей. Аналогичная ситуация — на репетициях «Вишневого сада», правда, там уже стояла у дверей смерть автора. Почти во всех «комедиях» Чехова происходит убийство (дуэль), самоубийство (его попытка) или, иначе, — крах протагониста сюжета, т. е. проигрывается определенное сюжетное положение — «гибель героя». Однако представлено оно уже как locus communis культуры — клишированный литературный прием, с одной стороны, поведенческий штамп — с другой. Таким образом, то, что культура осмысляла как «высокое» (переживания и поступки романтического героя, пафос героя-идеолога), выродившись в штамп (Соленый в первом случае, Вершинин, Тузенбах — во втором), превратившись в «пустое означаемое», подвергается в фикциональном пространстве снижению и уничтожению.

Релятивизация высокого/низкого в драме «Три сестры» выносится на уровень дискуссии и актуализируется как исключительно современная проблема. «...Быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий!» — восклицает барон Тузенбах. Его реплика — ответ на монолог Вершинина, в котором антиномия «высокого — низкого» представлена в своей относительности: «...мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным» (13, 129). Вершинин — персонаж, фамилия которого маркирует проблематизацию «возвышенного» в драме. И не столько в пародийно-утопическом, 5 сколько в метамекстуальном плане: именно он ведет авторскую линию рефлексивных размышлений на данную тему, не исключая и рецепцию национального характера: «Русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?» (13, 143). Ответ на этот вопрос может быть получен в характерной для чеховских персонажей манере каламбура или тавтологии: «такова жизнь».

На другом полюсе метатекста «Трех сестер» — Василий Васильевич Соленый, откровенно водевильный и фарсовый персонаж. В то же время он своего рода персонаж-маркер — многоступенчатая травестия «квазиромантического» комплекса, пропущенного через фильтры массового сознания и выродившегося в кич («Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Вот шутки шутками, а уж у него третья дуэль», грим «под Лермонтова», «характер, как у Лермонтова», «...как говорят», но при этом «никогда не был на Кавказе»). Если учесть, что фамилия Вершинин входит в метапоэтический ономастикон и тем самым задает соответствующую интерпретационную парадигму тематизации и снижения «высокого», то фамилия Соленый может быть прочитана аналогичным образом. В таком случае этот персонаж выступает как прием в «игре на понижение», являясь олицетворением низкого жанра раг excellence — обсценного анекдота (ср. идиому «со-

⁵ На эту функцию персонажа было обращено внимание исследователей, см.: Даманский Ю. В. Влюбленный утопист: Семантика образа Вершинина в «Трех сестрах» // Даманский Ю. В. Статьи о Чехове. Тверь, 2001. С. 60—76.

деный анекдот» и лексему «соленый» в составе обсценных идиоматических оборотов). Более того, это квинтэссенция алогизма — жизненного и, если угодно, фикционального. На уровне мимесиса бессмысленность его поступка (вызов на дуэль Тузенбаха) бросается в глаза: Ирина равнодушна к нему и его победа ничем не вознаграждается, впрочем, он и не стремится реализовать свои матримониальные претензии. Его «победа» фиктивна, она существенна только в горизонте моделируемого им поведения. Почему же Чехов заставляет персонажа совершить этот нелепый поступок? Ведь не только для того, чтобы обнаружить алогичную логику жизни. Весьма вероятно, что. исключив из действия «героя-любовника», автор тем самым смог избежать «счастливого» водевильного исхода и вернуть персонажей к первоначальному status quo. Сестры никуда не едут, а возвращаются на круги своя: Ольга — к ученикам, Маша — к нелюбимому мужу, Ирина — к своим иллюзиям, Вершинин — к жене-психопатке, Андрей — к постылым обязанностям отца семейства... И только Соленый, этот провинциальный демонист, травестийный «deus ex machina», уходит из города — и не со всеми, а отдельно — «он пойдет на барже» (13, 173). «Свадьба» — финальный топос комедии или водевиля. Отказ от него — это не только уход от традиционной «развязки» (вспомним Вяч. Иванова: «...развязка еще не дана действительностью»), но и непризнание матримониального варианта как возможности разрешения личных психологических проблем и — главное — самореализации на этом пути. Естественным образом приходит соображение об исчерпанности дискурса подобного рода, относящегося к сфере «высокого», как в жизни, так и на сцене. Но катастрофа ли это? Жизнь, как она есть, продолжается...

«Музыка играет все тише и тише; Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму. Андрей везет другую колясочку, в которой сидит Бобик.

Чебутыкин (*muxo напевает*). Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... (*Читает газету*.) Все равно! Все равно!

Ольга. Если бы знать, если бы знать!

Занавес» (13, 188).

Запущенный Чеховым механизм дискредитации возвышенного и героического, а также санкционированного социумом «высокого» срабатывает в точках, маркированных топосами, взятыми соответственно из трагедии («гибель героя») и водевиля («женитьба»). Они приобретают статус трагикомического, будучи помещенными в пространство повседневности. Подобные топосы и «фигуры» не лишены художественной функции в драматургическом пространстве. Внешне они «держат» сюжет, интригу, являясь средоточием динамического события, хотя само оно и вынесено «за сцену» (например, весь ритуал дуэли и ее развязка). В экзистенциальном смысле это событие, выход героя за пределы себя прежнего и той среды, где самореализация возможна лишь потенциально и потому либо утопична, либо разрушительна. Ситуации алогичные и вследствие этого внешне комичные превращаются в трагикомические, являясь адекватным отражением трагедии повседневности. В подобной перспективе жанровая дефиниция — обозначенная или подразумеваемая (комедия, фарс, водевиль) — приобретает концептуальную остроту: сам факт жанровой трансгрессии выводится на уровень метатемы, не говоря уже о нарушении ожиданий имплицитного читателя. «Комедия» позволяет свободно обращаться как с материалом самой жизни, так и с художественной условностью — «играть», «ломать комедию», уйти от аксиологической позиции, отказаться от морализаторства и авторского суда над персонажами.

Так, подвергнув ревизии драматургические и сценические условности и каноны, Чехов превращает драму в трагикомедию. И Соленый есть тот персонаж, который привносит в пьесу эффект «cum grano salis». Если он и не марионетка в узкотеатральном смысле слова, то вне всякого сомнения — идеологическая марионетка. Не только потому, что он — фикция, жертва роли, навязанной ему культурой. Но и потому, что он — орудие в руках автора, с помощью которого тот развенчивает одну из моделей авторепрезентации, а заодно и весь «литературный романтизм», доводя ситуацию до травестии. Более того, благодаря этому концептуальному персонажу наглядно видно, как фикция подчиняет себе жизнь и происходит трансформация комического в трагикомическое и трагическое. На эту условность, окрашивающую поздние произведения Чехова, обратил внимание Андрей Белый, писатель, чуткий к гротескному компоненту творчества: «Опираясь на тысячи деталей, он невольно производит выбор деталей и стилизует образ. (...) незаметно он вводит нас в сферу условного».

А. Бергсон, очерчивая топографию комического в работе «Смех» (1900), основную его фигурацию находил в эффекте выявления «механического в живом» (чертик на пружине, картонный плясун, снежный ком), в обнаружении «иллюзии жизни». «Комическое — это та сторона личности, которой она походит на вещь, те человеческие поступки, которые своей совершенно специфической косностью походят на настоящий механизм, на нечто автоматическое — словом, на движение безжизненное». В художественном тексте, особенно в драматургическом, которому автор оказывает предпочтение при анализе, комическое выражается в повторе, серийности, редупликации (повторение, инверсия и интерференция серий, по Бергсону), приеме qui pro quo.

Эту топику и смещает Чехов, угадывая в ней — «прозревая», как сказали бы символисты 1900-х годов, увидевшие в его творчестве «подножие русского символизма», — внутреннюю амбивалентность комического и трагического, т. е. *трагикомический громеск*. Чехов переходит границы «территории смеха», сложившиеся к концу века, и складка, образующаяся при наложении традиционно комического («низкого») на открываемые им тревожащие глубины и перспективы современной жизни, понимаемой как трагизм самого человеческого существования, дает начало новому рельефу. Назвав персонажей чеховских пьес «фонографами глубины», Андрей Белый тем самым зафиксировал смещение границ рецепции «комического», которое открывается новому веку как «страшное»: «Действительность двоится: это и то, и не то; этот — маска, а люди — манекены, фонографы глубины страшно, страшно...». В Жизнь, все более и более оказывающаяся во власти процессов, не контролируемых человеком, уподобляется механизму, и сама механистичность раскрывает свою трагическую сущность и выносится за пределы комического. «Жизненный механизм направляет русло переживаний не туда, куда мы стремимся, отдает нас во власть машин. Наша зависимость начинается с общих нам неведомых причин и кончается конками, телефонами, лифтами, расписанием поездов. Между нами все больше и больше образуется замкнутый, механический цикл, из которого все трудней вырваться. (...) Образуется машина бесцельного убийства душ».9

⁶ Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 399.

⁷ Бергсон А. Смех. М., 1992. С. 59.

⁸ Андрей Белый. Арабески. С. 404—405.

⁹ Там же. С. 401—402.

Размышления писателя-символиста по поводу фетишизации техники и утраты человеком понимания смысла существования были спровоцированы чеховскими «пьесами с настроением» («Три сестры» и «Вишневый сад»). Видно, как новая эпоха меняет вектор восприятия комического/трагического. Фарс превращается в трагикомический гротеск, открывая путь абсурдистской драме. Рефлексия по поводу смещения границ высокого/низкого, комического/трагического в культуре получит дальнейшее развитие. «Там, где что-либо механическое накладывается на живое, это комично. Но если механического все больше и больше, а живого все меньше и меньше, это душит, это трагично, ибо кажется, что мир не поддается нашему осознанию», — заметит теоретик и практик театра абсурда Эжен Ионеско. 10 Уместно вспомнить чеховский замысел «пьесы без героя» (лето 1902 года), развивавшийся параллельно «Вишневому саду» (возможно, «след» его — в фигуре Прохожего): «Пьеса должна была быть в четырех действиях. В течение трех действий героя ждут, о нем говорят. Он то едет, то не едет. А в четвертом действии, когда все уже приготовлено для встречи, приходит телеграмма о том, что он умер». 11 И хотя жанровая трансгрессия в «Вишневом саде» очевидна, Чеховым подобный драматургический ход еще мыслился в жанровых границах «смешной комедии» или водевиля, в крайнем случае фарса. Должно было пройти ровно 50 лет, чтобы подобный замысел реализовался уже в границах абсурдистской пьесы как таковой — «антидраме» «В ожидании Годо» (1952, пост. 1966). Современница расцвета абсурдистской драмы американская писательница Джойс Кэрол Оутс решительно вовлекает чеховскую драматургию в новый интеллектуальный контекст размышлений об условиях существования мира, лишенного смысла. При этом совершенно справедливо обращает внимание на сочетание традиционного мировоззрения писателя с невиданной для того времени новизной поэтики, ее «авангардностью»: «Очевидно, что философским основанием мировоззрения Чехова является натурализм XIX столетия, но его поэтика имеет лишь внешние признаки натурализма: в основе своей она всецело символистична. Абсурд у Чехова выражен как на уровне содержания его пьес (то, что в них происходит, на самом деле абсурдно), так и при помощи определенных художественных средств — в особенности на языковом уровне. Перед нами вереницей проходят люди, которые каким-то образом утратили способность самовыражения. Тут и богатые помещики, и потомственные дворяне, и простой люд, и всевозможные "эмансипе" — все они, вместе со способностью самовыражения, в сущности, утратили и саму жизнеспособность». 12 В XXI веке эта проблема осмысляется как утрата идентичности, в начале XX века она рассматривалась в психологическом аспекте как потеря «воли», экзистенциализм определял ее в категориях отчуждения. Чехов, стоявший у истоков осмысления процессов отчуждения человека в эпоху модерна, предложил свою драматургическую репрезентацию данного феномена. И если ядром драмы изначально является агон — соревнование, духовный поединок, столкновение воль, то чеховские пьесы — это трагедии бессилия воли, оборачивающиеся комедиями в силу ничтожности самих героев и тех страстей, которые определяют их поступки.

Рассмотрим теперь, как коррелирует проблематика экзистенциального отчуждения с дискурсивными практиками, как она вторгается в драматургическое пространство и каким метатекстуальным потенциалом располага-

¹⁰ Цит. по: *Пави П*. Словарь театра. М., 1991. С. 384.

¹¹ Вишневский А. Л. Клочки воспоминаний. Л., 1928. С. 101.

 $^{^{12}}$ Оутс Дж. К. Чехов и театр абсурда // Чеховиана: «Звук лопнувшей струны». К 100-летию пьесы «Вишневый сад». М., 2005. С. 192—193.

ют задействованные драматургом ресурсы языка. На уровне сценического дискурса трагикомическое у Чехова маркировано шутками, каламбурами. анеклотами, расхожими питатами, языковыми клише, создающими зону адогизма, минус-коммуникации, смыслового зияния или, напротив, надстраивания некоего метафизического, паралогического смысла — указания на «невыразимое». Этот идиоматический арсенал можно рассматривать и как «эффект реальности» (Р. Барт), и как свидетельство алогичности и абсурдности разыгрываемой жизненной драмы, доведенной до степени осознания экзистенциального ужаса бытия. Экзистенциальное сознание драматизирует сам феномен языка, и потому в чеховском универсуме эта проблематика выходит на первый план, разрешаясь в парадоксальных формах. Знание нескольких иностранных языков не открывает перед сестрами Прозоровыми пространства взаимообщения (ср. характерную деталь — ширму). Газета, трансмиттер между «высоким» и «низким», — постоянный атрибут Чебутыкина, транслирующего информацию, что аналогично приему qui pro quo. О Соленом, персонаже-штампе, речь которого строится из клише массовой культуры, уже говорилось. «Умный человек» Кулыгин владеет мертвым языком: его вполне лостаточно для самореализации, которая не нарушает гранип «доксы». Ментальный горизонт, ограниченный гимназией, латинским языком, правильной речью, сложившимся modus vivendi, не позволяет и его эротическому дискурсу выйти за пределы грамматических упражнений: «Маша меня любит. Моя жена меня любит».

Другой регистр речевого поведения задан именно Машей: навязчиво-фантазматический повтор хрестоматийной пушкинской цитаты «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» и авторефлексивной репликой «Я с ума схожу» постепенно превращается в картину бреда с характерными нарушениями грамматической упорядоченности речи, инверсиями, бормотанием, интонационными перебивами и паузами: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Кот зеленый... дуб зеленый... Я путаю... (Пьет воду.) Неудачная жизнь... Ничего мне теперь не нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно... Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Путаются мысли» (13, 185). А действительно, что значит «лукоморье»? — Это сказочный сакральный топос, не существующий в реальности — утопия. Как Москва, как счастье, как мечта...

Перед нами дискурсивная ситуация, описанная Р. Бартом как «война языков». Когда «механизм нарративности разлажен», ценность обретает язык, ускользающий от господствующего дискурса, от доксы. Реплики персонажей, на стороне которых «лирическая правда», грамматически дезорганизованы, нарушают границы нормы и осмысляются самими персонажами как «неправильные»: «Не то, не то я говорю...» (реплика Сони в «Дяде Ване»); «Чайка?.. Не то» (Нина Заречная). Включаются паралингвистические средства: паузы, навязчивые повторы, оговорки, в которых проявляет себя стихия бессознательного и создается эффект суггестивности. Не случайно В. Э. Мейерхольд, обращаясь к истории развития сценической техники, акцентирует внимание на услышанной актерами ритмике чеховских пьес, подчинившей себе и заглушившей стрекотание сверчков, лай собак, скрип дверей на сцене МХТ: «Секрет чеховского настроения скрыт был в ритме его языка». 13

Трагикомический эффект газетной (квази)цитаты-реплики Чебутыкина «Цицикар: здесь свирепствует оспа!» создается не только ее неуместностью

 $^{^{13}}$ Мейерхольд В. О театре Чехова, «Вишневом саде» и МХТ // Чеховиана: «Звук лопнувшей струны». С. 131.

в контексте общего разговора (алогизм ситуации), но и актуализацией ономатопоэтических ресурсов языка («гул языка», по Барту). Ситуации проблематизации говорения ставят под сомнение однозначность решений в рамках «здравого смысла» и указывают на иные возможности — на непрямые, скрытые, «невыразимые» смыслы. Можно привести в этой связи наблюдение Андрея Белого об открытом писателем приеме: «...мы жадно слушаем повседневную речь, и начинает казаться, что она смутно двоится, что и Чехов, и герои его чего-то не досказывают, что-то знают, но не умеют ни сказать, ни привести к сознанию свое знание». 14

Таким образом, принцип смыслового смещения осуществляется благодаря напряжению между миметической поэтикой и поэтикой условного художественного приема: введения концептуального персонажа-«маски» (Соленый, Кулыгин), навязчивой детали, метатекстуальных знаков. К таковым могут быть отнесены анекдоты в функции своеобразных вставных новелл: чепуха/реникса (Кулыгин); фикциональный спор Чебутыкина и Соленого о чехартме и черемше; реплика Ирины, в которой сформулирована точка зрения на происходящее: «Но оказалось, все вздор, все вздор». Аналогичный прием в «Чайке»: анекдот второстепенного персонажа Шамраева строится на обсценной оговорке «Мы попали в запандю» (западню), что может рассматриваться как травестийный вариант гамлетовской «мышеловки», если иметь в виду важность гамлетовского кода для интерпретации пьесы — «комедии», согласно авторской жанровой дефиниции.

Мы уже упомянули выше о введенном Р. Бартом понятии «война языков», которое релевантно по отношению к ситуациям, моделируемым Чеховым. Барт выделяет два типа языков в соответствии с их отношением к Власти: энкратические языки, или виды дискурса, которые получают свои характерные черты под сенью Власти, и акратические, которые вырабатываются, вооружаются вне Власти и/или против нее. «Энкратический язык нечеток, расплывчат, выглядит как природный и потому трудноуловим, это язык массовой культуры (большой прессы, масс-медиа), а также язык быта, расхожих мнений (доксы); сила энкратического языка обусловлена его противоречивостью — он весь одновременно и подспудный (его нелегко распознать) и торжествующий (от него некуда деться), можно сказать, что он липкий и всепроникающий». Напротив, «акратический язык резко обособлен, отделен от доксы (т. е. парадоксален); присущая ему энергия разрыва порождена его систематичностью, он зиждется на мысли, а не на идеологии». 15

«Только в письме может быть открыто признан фиктивный характер самых серьезных, даже самых агрессивных видов речи, только в письме они могут рассматриваться с должной театральной дистанции \(\ldots \rightarrow \) С другой стороны, только в письме допускается смешение разных видов речи, образуется так называемая гетерологичность знания, языку сообщается карнавальное измерение. Наконец, только письмо может развертываться без исходной точки, только оно может расстроить всякую риторическую правильность, всякие законы жанра, всякую самоуверенную системность. Письмо атопично, не отменяя войну языков, но смещая ее, оно предвосхищает такую практику чтения и письма, когда предметом обращения в них станет не господство, а желание». 16

В такой семиотической перспективе феномен взаимоналожения комического и трагического (трагизм повседневного существования), высокого и

¹⁴ Андрей Белый. Арабески. С. 398.

¹⁵ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 537.

¹⁶ Там же. С. 539—540.

³ Русская литература, № 1, 2008 г.

низкого выступает как доминирующая черта художественной антропологии Чехова и его *письма о реальности*.

И последнее. Почему так не любили Чехова создатели символистского Gesamtkunstwerk'a и вообще представители «высокого модерна», за исключением, пожалуй, Андрея Белого и А. Блока. В. Брюсов, как известно, после премьеры «Вишневого сада» вынес писателю однозначный приговор: «Не современен». Правда, статью не опубликовал, несмотря на настойчивые просьбы З. Гиппиус. 17 Мережковский, зная это внутреннее отторжение Брюсова, откровенно признавался ему в письме от 7 марта 1910 года, в дни празлнования 50-летнего юбилея безвременно ущелщего из жизни писателя: «...всякие поминальные пророчества мне надоели невыразимо, а Чеховские особенно. Русская интеллигенция вообще любит возиться со всякими покойниками, как с писаными торбами. Очень средний (главная-то сущность его — серединность абсолютная) Чехов вырос в исполина, равного Пушкину, Л. Толстому (...) Кстати, с Чехова пошел в русской литературе дурной вкус, дурной запах, который кончился Арцыбашевым, Куприным и проч. Но всего этого публике сказать нельзя». 18 Одним не хватало в Чехове метафизичности, раздражала его неприязнь к созерцательности и бездействию, другим реалии его творчества напоминали собственное провинциальное прошлое — быт «чужих, грубых и грязных городов», 19 которое они хотели забыть и преодолеть, третьи не могли простить ему разоблачения «театральщины», ложного пафоса, пустой риторики — вируса, которым была заражена эпоха модерна. Перефразируя название статьи А. Флакера «"Дама с собачкой" — смертельный удар по русскому реализму», 20 можно сказать, что Чехов нанес превентивный удар по модернизму, утверждая пенность жизни, какова она есть на самом деле.

¹⁷ См.: Лит. наследство. 1976. Т. 85. С. 190—199 (публ. Э. А. Полоцкой).

¹⁸ РГБ. Ф. 386. Карт. 94. Ед. хр. 45. Письмо написано после выступления Мережковского в газете «Русское слово» (1914. № 17. 22 янв.) со статьей «Суворин и Чехов», пафос которой — «преодолеть в самом Чехове чеховщину, сувориновщину, обывательщину — те "русские потемки", в которых он погиб» (цит. по: *Мережковский Д*. Акрополь: Избр. литературно-критические статьи. М., 1991. С. 294).

¹⁹ См.: *Найман А*. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 41 и след.

²⁰ Cm.: Anton P. Čechov: Philosophie und Religion in Leben und Werk / Vorträge des Zweiten Internationalen Čechov-Symposiums. München, 1997. S. 537—542.

ФИЛОЛОГИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Подавляющее большинство филологических трудов традиционно строится на одной молчаливой предпосылке: взгляд в историческое прошлое устремлен из некой нулевой точки, лишенной собственных характеристик и изъятой из рассмотрения, из позиции вненаходимости, из метапозиции по отношению к историческому процессу как таковому. Картины прошлого выстраиваются по законам прямой перспективы: тот, перед кем они открываются, находится за пределами изображения, все подчинено его взгляду, но сам он в картине отсутствует. Такое устранение историка из истории создает иллюзию объективности — именно иллюзию, поскольку объективность, как стало совершенно понятно в XX веке, вообще является не чем иным, как одной из человеческих иллюзий.

Привычка к подобному взгляду на прошлое укрепилась у наших филологов в тот советский период, который принято называть периодом застоя. В те годы русское настоящее действительно застыло на несколько десятилетий и в своей бессобытийности казалось совершенно статичным. В отличие от него прошлое было богато духовным содержанием, перипетиями, движением, изменением. И таким образом, из статичного настоящего мы глядели в динамичное прошлое. А поскольку история изучает прежде всего движение, процесс, то историк литературы, пребывающий в неподвижном настоящем, самым естественным образом оказывался в метапозиции по отношению к своему предмету. И надо признать, что эта метапозиция была в то время вполне адекватной.

Но с тех пор ситуация изменилась коренным образом, настоящее стало динамичным, можно даже сказать — гипердинамичным, а исходная установка при взгляде на предмет изучения по преимуществу осталась прежней. Новая ситуация, конечно, не означает, что традиционные методы работы утратили свою ценность. Она означает лишь то, что наряду с прежними для филологии открылись новые возможности, которые, как кажется, стоят осмысления. Прежде всего они связаны с тем, чтобы научиться глядеть на динамичное прошлое из динамичного настоящего. Этой задаче метапозиция совершенно не соответствует, поскольку с вненаходимостью живое движение и изменение несовместимы.

Итак, первый мой тезис заключается в том, что в новейшую историю литературы можно вполне сознательно и откровенно привнести субъективность — но не личную субъективность того или иного филолога, а некую, так сказать, родовую субъективность настоящего, которую, может быть, правильнее было бы назвать саморефлексией культуры. Ведь саморефлексия — это всегда актуальный процесс, т. е. акт, совершаемый в настоящем.

Не следует бояться, что история литературы, базирующаяся на таком субъективном, изменчивом, подвижном, неустойчивом основании, уже на следующем этапе движения культуры утратит свое значение. Выразительным примером построения такого рода может служить до сих пор ценимый

и изучаемый курс истории драматургии Августа Шлегеля, написанный с опорой на ценности и пристрастия романтизма и в силу этого нацеленный одновременно как в прошлое, так и в будущее. Не случайно именно этот курс содержит самую развернутую и исторически обоснованную романтическую реабилитацию отвергнутого классицизмом Шекспира — реабилитацию, которая не просто восстанавливала прошлое в его правах, но и незамедлительно вводила прошлое в живой контекст современного искусства. С тех пор вот уже два века мы видим Шекспира таким, каким научил его видеть Шлегель.¹

Тезис о необходимости для филолога культурно-исторической саморефлексии требует, разумеется, определения тех черт современной культуры, которые представляются ключевыми.

Культурологами и социологами современность определяется как постиндустриальное или информационное (когнитивное) общество. Если в индустриальном обществе базовой ценностью был технический прогресс, и высокий статус науки объяснялся тем, что она обслуживала техническое усовершенствование человеческой жизни, то в постиндустриальном, когнитивном обществе базовой ценностью становится информация, а технические и технологические разработки из цели превращаются в средство расширения и обслуживания того единого информационного поля, формирование которого обусловливает важнейшие современные процессы, в частности неостановимый уже процесс глобализации. Информация в современном мире становится актантом, непосредственным носителем действия — причем того действия, с которым напрямую сопряжены властные функции и властные полномочия. Информационные потоки превратились в самостоятельную реальность.

Элвин Тоффлер, выделяя в истории культуры три основные фазы: аграрную, промышленную и информационную, считает, что для формирующегося сейчас информационного общества знание станет верховной ценностью, более мощной, чем капиталы, а носители знания, принадлежащие к транснациональному меньшинству, займут вершину социальной иерархии. Когнитивное общество видится ему как творческое, креативное. Эта картина, несомненно, имеющая и свою радужную, и свою теневую сторону, пока что не подтверждается. Ошеломляющее своей скоростью распространение интернет-сетей, за четверть века завоевавших поистине мировые просторы, как кажется, не вывело человеческое знание на новый уровень. Оно лишь дало ему новые способы трансляции.

¹ Для русской культуры, конечно, очень важную роль в этом сыграло усвоение Шлегеля Пушкиным, читавшим «Курс драматургии» во французском переводе (Schlegel A. W. Cours de littérature dramatique, traduit de l'allemand. Paris; Geneve, 1814. Т. 1—3), принявшим многие положения немецкого романтика как руководство к действию при создании «Бориса Годунова» и неоднократно варьировавшим его идеи в собственных критических опытах.

² Символом первой является, по Тоффлеру, мотыга, символом второй — сборочный конвейер, символом третьей — компьютер.

³ См.: Тоффлер Э. Третья волна. М., 2002.

⁴ «Мы вступили не в "общество знаний", озаренное могуществом разума, не в эпоху прогресса, дарующую решение старых проблем, мы вступили в необычное "сетевое общество", в "общество мгновенных контактов", перед которым разум пока бессилен. Мы не стали ни образованнее, ни умнее по сравнению с людьми предшествующих эпох ⟨…⟩ Выяснилось, что информационные технологии, на которые возлагалось столько надежд, вовсе не создают новых знаний. Они лишь тиражируют уже имеющиеся — представляя их в бесчисленных версиях, скрывающих первоначальный источник. Критерии сортировки "по истинности" здесь очень условны, и потому Интернет, всего лет 10—15 назад представлявшийся чуть ли не кладовой общечеловеческой мысли, превратился сегодня в синоним спекулятивной, низкокачественной информации, доверять которой нельзя» (Столяров А. М. Освобожденный Эдем (в печати)).

И тем не менее процесс становления единого информационного поля, как бы его ни оценивать, наверное, и есть ключевая характеристика современности, из которой вытекают все остальные. Поэтому, на мой взгляд, акт культурной саморефлексии в первую очередь связан с проблемами информационного поля, в пределах которого идет сейчас «дикое» накопление, чем-то напоминающее эпоху первоначального накопления капитала. Дело не в том, насколько хорош или плох этот феномен. Дело в том, что он уже существует и в обозримом будущем более неустраним из мира. Проблема, следовательно, заключается в том, каким образом мы будем с ним взаимодействовать, какими могут стать плоды этого взаимодействия. И первый вопрос, который встает в этой связи, — как соотносится текст, этот основной предмет филологического изучения, с пространством информационного поля.

В течение многих веков текст занимал доминантное место в европейской культуре. Навык чтения текста распространялся на самые обширные смежные зоны, разнообразные смысловые области строились по образу и подобию текстовых (икона как текст, храм как текст, мир как текст). Сейчас уже для всех очевидно, что словесные способы выражения уступают позиции визуальным рядам. Сама литература демонстрирует безразличие если не к слову как таковому, то, во всяком случае, к избираемой ею природе слова.

Примером может служить роман известной финской писательницы Йоханны Синисало (Sinisalo) «Герои» (2003). В его основе — сюжет «Калевалы», можно сказать, ремейк «Калевалы». Действие перенесено в современность, но интерес романа вовсе не в том, что эпические герои помещены в злободневный контекст. Главное в том, что современный автор позволяет себе осуществить двойное развоплощение текста. Во-первых, сюжет оказывается изъятым из словесной материи «Калевалы», от которой в романе остались лишь редкие цитатные вкрапления — чаще всего в названиях глав. Во-вторых, сам словесный состав романа свидетельствует о демонстративной индифферентности к единству текста. В авторское повествование то и дело вторгаются подчеркнуто чужеродные фрагменты: отрывки из газетных статей, фельетонов и интервью, из школьного сочинения, киносценария, женского романа и триллера, из теле- и радионовостей, из полицейского протокола и граффити хулиганского содержания, из эстрадных песенок и подписей под рекламой товаров. Каждый такой фрагмент вынут из совершенно постороннего роману контекста, принадлежит какому-то совсем иному целому и потому имеет собственную, не схожую ни с авторской, ни вообще с художественной, стилистику. В некоторых фрагментах герои названы другими именами и предстают в малоузнаваемом виде. И все-таки каждый отрывок по-своему перелагает определенный отрезок сюжета, продвигает вперед его общее развитие, хотя зачастую, казалось бы, не имеет к нему ни малейшего отношения.

Например, из рекламы мужских аксессуаров мы узнаем о сватовстве Илмаринена, из спортивного репортажа — об очередных действиях мстительного Куллерво. Оказывается, что носителем информации о сюжете может служить любой — не важно, какой — словесный субстрат. Единства текста для этого не требуется. Информация существует «в снятом виде», но при этом не утрачивает своих сущностных качеств: эпос «Калевалы» остается архетипическим, черты мифологических культурных героев положены в основу культовых амплуа современности (Вейнемейнен — рок-звезда, Илмаринен — гениальный хакер, Леминкяйнен — олимпийский чемпион и т. д.). Главнейший финский миф продолжает жить на рубеже XX—XXI веков, подчеркнуто не нуждаясь в каких бы то ни было неотчуждаемых от него словесных оболочках.

Можно было бы сказать, что такова вообще жизнь любого мифа — но «Калевала» представляет собой особый случай. В отличие от большинства мифов она получила совершенно конкретную текстовую закрепленность, и роман Синисало намеренно освобождает эпический сюжет от этого его словесного воплощения.

Но в современной литературе существует и прямо противоположная тенденция— не развоплощения слова, а его, так сказать, оплотнения, сращения его с физическими реалиями мира.

В романе Вадима Назарова «Круги на воде» слово имеет запах, фактуру и вкус, его можно съесть, коснуться губами или вытянуть изо рта. Вот несколько примеров: «Ангел выковывал слова и перетирал их в муку, которая, смешиваясь с речной водой, запекалась в горячих ушах дочери, будто пресная лепешка»; «Ангел поймал слово в воздухе и съел его. Слово было на вкус как щавель»; «Вернувшись, я понял, что касаюсь губами слова лукавого в Отче наш». По ходу всего романа достоверная осязаемая трехмерность придается Назаровым тому, что в нашей культуре либо неосязаемо, либо лишено физического объема, либо доступно лишь одному из органов чувств: теням, воспоминаниям, воздуху, ветру, молитве, запахам... Тени путаются в траве и цепляются за колючки, за суровую нитку травянистого запаха можно держаться как за отцовскую руку, воспоминания со слезами вытекают из глаз, капают в чашку с чаем и плавают на поверхности, как пенка на молоке. 6

Все это не является уникальной особенностью русской прозы. В романе сербского автора Горана Петровича (Petrovic) «Осада церкви Святого Спаса» (1997) визуализируется, оплотняется и материализуется мир звуков во всем его объеме — от слова до тишины. Шелест платьев упаковывается в сундук; луна, казалось бы, доступная лишь глазу, поскрипывает на небе, тишина стареет, растет по берегам реки и отбрасывает тень. Так на территории современной прозы справляет свое торжество наивная по меркам Нового времени средневековая убежденность в том, что мир видимый и невидимый равны в своей достоверности, осязаемой конкретности, доступности всем пяти органам чувств. И это не искусственная манерность стиля, не стилизация, не подражание прошлому, а отражение в литературном слове остросовременных процессов, в рамках которых возобновляется — правда, совсем на иных основаниях, чем некогда, — представление о слове как плоти деятельной.

Итак, перед нами две тенденции, одна из которых доказывает доходящую до безразличия свободу реальности от ее словесных оболочек, а другая — их доходящую до неразличимости спаянность друг с другом. Сосуществование столь противоположных устремлений, как правило, говорит о том, что идет процесс расшатывания, переразличения каких-то фундаментальных оснований культуры. В данном случае очевидным образом испытывается на прочность граница между словом и миром, причем каждая из описанных тенденций стремится эту границу снять. Первая трактует текст и мир как две зоны, не прилегающие вплотную друг к другу (т. е. как не имеющие общей границы, определяющей бытие обеих зон). Вторая решительно отказывается выводить слово за пределы физического мира — стало быть, тоже не проводит границ между ними.

Судя по всему, современная культура осуществляет пересмотр отношений между материальным и идеальным. Привычная в течение столь долгого

⁵ *Назаров В.* Круги на воде. СПб., 2001. С. 202, 27, 219.

⁶ Там же. С. 185, 113, 100.

⁷ *Петрович Г.* Осада церкви Святого Спаса. СПб., 2001. С. 268, 17, 57.

времени дихотомия материи и духа, реального и идеального, мира и слова, как кажется, перестает годиться в качестве рабочего инструмента сознания по той простой причине, что она более не описывает координаты современной культуры.

Наивно было бы объяснять совершающиеся процессы современными технологическими возможностями (например, способностью визуализировать, т. е. уподоблять реальности любые воображаемые миры и фантазии). Начало этим процессам было положено задолго до того, как такие возможности появились. Для информационного общества компьютер — только средство (как и машина для общества индустриального). Компьютерные технологии во многом определяют, но ни в коем случае не замыкают на себе картину эпохи. Симптомы тех перемен, которые сейчас стали очевидными, проявились уже в начале XX века. Именно тогда русские мыслители приступили к пересмотру границ между идеальным и реальным.

Когда почти столетие тому назад Вернадский ввел в научный обиход понятие ноосферы, сферы разума, он говорил о реальности, имеющей такую же физическую непреложность, как атмосфера или литосфера. По Вернадскому, ноосфера — это геологическое явление, это то состояние биосферы, при котором человечество, взятое в его целом, становится мощной геологической силой. Хлебников очень близкую по своей природе реальность назвал мыслеземом, что тоже указывало и на геологический, и на физический смысл духовных сущностей. Оба эти определения шли вразрез привычному представлению о дихотомии реального и идеального. Но, быть может, самым решительным борцом с этой дихотомией стал Андрей Белый.

Роман Андрея Белого «Петербург» может быть рассмотрен как великий эпос, задавший координаты того мира, который начал всерьез формироваться через много десятилетий по его написании. Я позволю себе задержать внимание на этом романе, поскольку именно им заложено, на мой взгляд, то понимание природы текста, которое становится актуальным сейчас.

Андрей Белый не случайно был сыном выдающегося математика, недаром учился на естественном отделении физико-математического факультета. Его роман можно изучать не только как литературный феномен, но и как весьма специфическую физико-математическую модель устройства космоса. И в то же время «Петербург» можно квалифицировать как роман семейный, 10 а также как роман исторический и историософский. Все эти тематические пласты предстают в повествовании не поочередно, как это было, например, в «Войне и мире» Толстого, — они вложены друг в друга и друг сквозь друга просвечивают. Определяющей все другие смыслы является модель космоустройства со специфичным для Белого представлением о микрокосме и макрокосме, о физическом мире в его целокупности.

В космосе, как его понимает Андрей Белый, словесное, умственное, принадлежащее области сознания не составляет отдельной от физического мира сферы бытия. Физический мир и сознание не только сообщаются са-

10 См.: Cyxux И. Н. Двадцать книг XX века. СПб., 2004. С. 44—45.

⁸ См., например, последнюю опубликованную работу ученого: *Вернадский В. И.* Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 1944. № 18. Вып. 2. С. 113—120. См. также: *Вернадский В. И.* Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 235—244.

⁹ Собственно, это было напророчено еще Тютчевым: «Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами... Настанет ночь — и звучными волнами Стихия бьет о берег свой...» (Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1987. С. 82 (Библиотека поэта. Большая сер.)). О хлебниковском «мыслеземе» как эквиваленте «пневматосферы» Флоренского, «психосферы» Чижевского или «ноосферы» Вернадского и Тейара де Шардена см.: Дуганов Р. В. Велимир Хлебников: природа творчества. М., 1990. С. 284—297. Там же (с. 123) см. о космологии Хлебникова как снимающей противопоставленность вещественного и духовного.

мым непосредственным образом, но и постоянно обмениваются своим содержанием. Мысль точно так же онтологична, так же бытийственна, как и физический мир. Между идеальным и реальным нет средостений. «Мозговая игра», создающая романный мир и героев, совершается в силу «вторжения в мозг неизвестных нам сил». 11 Извне вторгаясь во внутренний мир автора, в его сознание, силы эти затем извергаются из него, получают бытие вне его. Внешнее становится внутренним лишь для того, чтобы снова стать внешним.

По модели авторского сознания, порождающего действительность, существуют в романе сознания героев. В какой-то момент третье по значимости действующее лицо романа — таинственный революционер Дудкин — появляется как порождение мозговой игры сенатора Аблеухова: «Раз мозгего разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот — есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль — существует» (С. 56). Последнее утверждение: «и мысль — существует» — чрезвычайно важно для Белого. Мысль, создающая романный мир, не заключена ни в сознании автора, ни в рамках романа. Она соприкоснется с сознанием читателя, а затем проникнет в тот мир, который мы привыкли называть реальным. «Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!» (там же).

Мысль не только существует, она чрезвычайно активна, гораздо активнее, чем человек, — будь то автор или его герои. О Дудкине сказано: «И он думал: нет, он не думал — думы думались сами, расширяясь и открывая картину: брезенты, канаты, селедки...» (С. 31). Близкими словами описано сознание Николая Аблеухова: «...мыслил мысли не он, но... себя мысли мыслили...» (С. 313).

Бытийственный статус истекающих из сознания мыслей Андрей Белый неустанно подчеркивает. Реализация мысли порождает действительность, которая предъявляется сознанию, подтверждая, что его порождения не иллюзорны. Центральная метафора романа — взрыв, его возможность и его ожидание — одновременно является реальностью, порожденной сознанием, и реальностью самого сознания. Кроме того, природа взрыва заложена в реальности романного пространства, фрагменты которого стремительно разлетаются из силовой излучающей точки — как циркуляры из головы Аполлона Аполлоновича. Попутно происходит расщепление тех фрагментов реальности, которые должны быть в нормальном состоянии неразъемлемо спаяны и слиты. Например, отщепляется цвет от предмета, тут же становясь самостоятельной субстанцией. Вот с бала убегает Николай Аблеухов, облаченный в маскарадное красное домино: «...и кровавый атлас за ним влекся на лаковых плитах паркета, едва-едва отмечаясь на плитах паркета летящею, пунцовеющей зыбью собственных отблесков; пунцовея, та зыбь, как неверная красная молния, облизнула паркет перед чудовищным бегуном» (С. 167). Став молнией (разряд которой тоже сродни взрыву), красный цвет лижет паркет, превращаясь в огонь, в пожар. Слова едва удерживаются на грани переносного смысла, они уже заряжены смыслом буквальным, и этот динамический заряд то и дело срабатывает в романе, порождая выбросы сюжетных линий.

 $^{^{11}}$ Андрей Белый. Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Л., 1981. С. 56. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Так возникает система подобий: динамика сознания и слова подобна динамике пространства, описанного в романе, т. е. динамике романного космоса. И в свою очередь то и другое подобно взрыву. Знаменательно, что в то время, когда писался «Петербург», в физике разрабатывались идеи, приведшие к созданию теории расширяющейся Вселенной, теории происхождения Вселенной в результате «большого взрыва».

Образ расширения и полета, через который описан предполагаемый взрыв сардинницы («ужасное содержание сардинницы безобразно вдруг вспучится; кинется — расширяться без меры; и тогда, и тогда: разлетится сардинница...» — С. 233), постоянно воспроизводится в романе, ему подчинены и внутреннее пространство героев, и петербургское пространство, и повествовательное слово. Так ширится и в конце концов разлетается превратившееся в багровый шар сердце Николая Аполлоновича (С. 185), так расширяется и воспаряет над своей каретой сенатор Аблеухов, и тогда ему хочется, чтоб «вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект...» (С. 21). Возникая в тексте, образ полета подчеркивается с почти гротескным нажимом, становится неотвязным, тавтологичным, заражает слово: «...мимо шедший поток разночинцев, стиснутый пролетом пролеток, к потоку перпендикулярно летящих, пересекающих Невский, — этот поток теперь просто прижался к карете сенатора...» (С. 25; курсив мой. — М. В.).

Поток и полет, летучее и текучее становятся почти синонимами. 12 То и другое нарушает статику физического мира — в пульсирующем и взрывающемся мире романа ничто не может удержаться в статическом положении. Точно такими же плавящимися могут быть и границы между словами. В одном месте романа сказано: «Два вороногривых коня бледного уносили Плутона» (С. 314). В контексте романа, устремленного к апокалиптической перспективе, синтаксическое строение фразы не удерживает членения между словами «коня» и «бледного», вопреки логике предложения, они сливаются в «коня бледного». Слова, имеющие разные значения, словно бы заражают друг друга: «...от напряжения зрения из-за прорезей маски чувствовал он резь в глазах» (С. 159). Из прорезей («из-за прорезей») рождается резь. Общий корень и сходство звучания стягивают слова, стремясь истребить семантическую границу между ними. А когда сквозь призму сознания сенатора Аблеухова Андрей Белый описывает циркуляцию толп на Невском проспекте, то становится непонятно, то ли «циркуляция» порождена заповедным для Аблеухова «циркуляром», то ли «циркуляр» рождается из «циркуляции».

Еще один важнейший образ, описывающий физическую природу романного космоса, — образ особого ритма пульсации, при котором противоположные состояния поочередно сменяют друг друга. И тому же ритму подчиняются социальные движения: «Все чего-то ждали, боялись, надеялись; при малейшем шуме высыпали быстро на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь; в Архангельске так поступали лопари, корелы и финны; в Нижне-Колымске — тунгузы; на Днепре — и жиды, и хохлы. В Петербурге, в Москве — поступали так все: поступали в средних, высших и низших учебных заведениях: ждали, боялись, надеялись; при малейшем шорохе высыпали быстро на улицу; собирались в толпу и опять рассыпались» (С. 76).

¹² Ср.: «...летели кофточки, носовые платки, платья, шпильки, булавки как попало, куда попало; из ручки Софьи Петровны начинал бить цветной водопад разнообразных предметов» (С. 133). Струение и полет размывают контуры предметного мира, а вместе с ним — контуры человеческого тела, более не отграниченного от связанной с ним реальности.

В этом фрагменте не случайно заложен повтор: «высыпали и рассыпались», «высыпали и рассыпались». Ритм — это то, что воспроизводится, и такого рода повторами заряжен весь роман. А революционер Дудкин толкует Николаю Аблеухову о «пульсации стихийного тела», в результате которого внутренний мир и внешний могут обмениваться содержанием, как и в ходе «мозговой игры». Так границы между внешним и внутренним становятся проходимыми, а явления мира — взаимопроницаемыми.

Владимир Соловьев, провозглашая идею всеединства, в статье «Красота в природе» определял всеединство как всепроницаемость. В поэтике «Петербурга» идея всепроницаемости чрезвычайно активна. Конкретные физические реалии плавятся, теряют контуры и границы, откровенно переходят друг в друга. Но главное — взаимопроницаемыми становятся физическое и духовное, реальность космоса и реальность текста. Текст не описывает мироустройство — он соотносится с космосом как его модель. В тексте непосредственно действуют законы космоса. Можно было бы сказать, что текст Андрея Белого является генетической матрицей космоса — если бы, в соответствии с поэтикой и идеей «Петербурга», не справедливо было и обратное: космос служит генетической матрицей текста. Во всяком случае, духовное и физическое неразъемлемы — так же, как в хлебниковском «мыслеземе». Мысль, слово и текст так же онтологичны, как и материя. В книге «Символизм» это прямо заявлено Андреем Белым: «Как только (...) символ создан $\langle \dots \rangle$, творчество наделяет его онтологическим бытием, независимо от нашего сознания».13

Если теперь мы обратимся к одному из самых популярных явлений (и понятий) современности — к виртуальной реальности, то увидим, что она во многих своих особенностях (разумеется, исключая художественные) соответствует тем установкам, которые были заявлены в начале ХХ века (романный космос «Петербурга» мог бы быть рассмотрен как виртуальная реальность, которая находится в состоянии активной саморефлексии). Сам оксюморон, заложенный в словосочетании «виртуальная реальность», тщится передать единство воображаемого, помысленного с тем, что имеет онтологическую укорененность. Виртуальное не принадлежит трехмерному миру и в то же время оно не отнесено к сфере идеального бытия, оно названо реальностью. Поле вымысла становится средой обитания — новой искусственной средой, в которой реально протекает жизнь. Можно вступать в интенсивное общение с фантомным собеседником, можно становиться участником фантомной истории и фантомной социальной жизни — и все это проживать как действительную погруженность в события, как экзистенциальную подлинность. Телевизионная картинка, постоянно включенный телевизионный экран «и есть мир зрителя как социального существа, как члена социума». 14 Даже испытывая недоверие к преподносимой ему информации, человек переживает эффект соприсутствия, созданный визуальным воздействием, а также эффект сопричастности событиям большого мира, ежедневно протекающим перед его глазами. Аналогичной средой обитания служит и Интернет. Даже финансовые потоки постиндустриального общества получают виртуальный, но оттого ничуть не менее реальный, определяющий экономику характер.

Само по себе погружение в воображаемый мир всегда было доступно человеку. Художественный текст, живописное полотно, музыкальное произ-

¹³ Андрей Белый. Символизм: Книга статей. М., 1910. С. 446.

 $^{^{14}}$ Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М., 2004. С. 192.

ведение или кинофильм — все это воображаемые миры, вполне привычные для нас. Но до сих пор мы их воспринимали как выделенную на фоне общего течения жизни реальность. Современная тенденция ведет к стиранию грани между воображаемым миром и жизнью (и соответственно к стиранию границы между духовным и физическим).

Искусственно созданная материальная среда давно уже не воспринимается нами как нечто необычайное, как особая зона жизни. Когда мы входим в дом или садимся в машину, мы не чувствуем, что пересекаем какую-то значимую границу. Интерьер нашего жилища, где все рукотворно, — не менее (если не более) естественное для нас окружение, чем лес или поле. По-видимому, наступает эпоха, когда точно такой же невыделенной из общего потока жизни становится искусственно созданная интеллектуальная реальность. И это одна из ключевых характеристик формирующегося когнитивного (или информационного) общества.

Я еще раз подчеркиваю, что заведомо исключаю из рассмотрения оценочный подход к этому процессу, поскольку такой подход сегодня уже совершенно бесплоден. Процесс осуществляется вне зависимости от наших оценок, вопрос заключается лишь в том, какую позицию занять по отношению к нему. И тут для филологии могут открыться совершенно новые возможности.

Пока наши штудии продолжаются так, будто ничего особенного вокруг не происходит, филология вполне естественно отступает на периферию культуры. Но мне кажется, это только временное отступление. В новом контексте, в котором хлебниковский мыслезем перестает быть метафорой, а информационные потоки и слово как один из их важнейших носителей становятся новой реальностью, превращаются в среду обитания, почти настолько же осязаемую, как физическая реальность, филология может занять весьма и весьма влиятельное место — просто в силу того, что таково место слова в информационном поле.

Структурирование связей мира — одна из главных задач, неизбежно встающих при формировании информационных потоков. Сейчас мы переживаем период их хаотической экспансии. Но вслед за периодом хаоса и экспансии неизбежно должен наступить период, когда потребность в структурировании станет одной из острейших. И тогда изучение ноосферы окажется важнейшей областью знания. А предмет филологии, художественные тексты представляют собой не что иное, как примеры самой высокой организации ноосферы, и потому изучение их поэтики должно получить такую же практическую значимость, какую имели физические или химические исследования в XX веке.

Когда во второй половине прошлого столетия оживился интерес к поэтике, историко-литературные исследования и так называемый «имманентный анализ» разошлись на разные полюса как две почти не пересекающиеся области. Имманентный анализ потому так и назывался, что казалось, будто он обращен к тому, что замкнуто во внутреннем мире произведения, т. е. к реальности, словно бы отгороженной невидимыми стенами от общего исторического потока. Современности такое представление категорически перестает соответствовать. В рамках единого информационного поля, в рамках единой ноосферы внутренний мир произведения перестает быть замкнутым в границах отдельного текста, он превращается в один из элементов, из которых складывается общая реальность мира. Причем каждый такой элемент является не просто составной частью ноосферы, но моделью космоса культуры, версией ее формирования. Как было показано на примере «Петербурга», подобный взгляд на природу художественного текста сложился еще в начале XX века.

Естественно, что особый интерес в этой связи начинают представлять те законы поэтики, которые остаются актуальными и за пределами словесной материи, потому что описывают текст как космос (открытая и замкнутая композиция, дискретность и континуальность и т. п.). Андрей Белый не случайно так интересовался ритмом¹⁵ — законы ритма являются общими для слова, музыки, скульптуры, архитектуры, живого организма и космоса. Если учесть то значение, которое получает коммуникация на современной стадии формирования когнитивного общества, 6 совершенно новый интерес получают и проблема диалога, и некоторые аспекты нарратологии.

При любом повороте существенным должен стать не замкнутый сам на себя анализ поэтики, а выяснение того, какая картина мира вырастает из заданных тем или иным способом законов организации художественного текста, какой космос структурируется ими, каковы возможности и перспективы жизни в этом варианте космоустройства. Отдельную, самостоятельную проблему составляют тенденции, которые ведут к катастрофическим (энтропийным) последствиям.

До сих пор информационное поле, становящееся полем жизни, спонтанно формировалось по тем законам, которые были обусловлены техническими возможностями, самыми разнообразными идеологическими влияниями и — в своей визуальной части — дизайнерскими усилиями. Но надо думать, что с этого примитивного уровня оно должно перейти к более изощренным уровням организации, и тогда востребованным окажется описанный выше филологический опыт.

Симптоматично, что такие понятия, как «виртуальность» или «симулякр», ставшие ключевыми именно в эпоху становления информационного общества, восходят к античной культуре и имеют, таким образом, как поверхностный общеупотребительный смысл, так и глубокое наполнение, хорошо знакомое специалистам. Сейчас оба эти понятия служат обозначению неких фантомных феноменов. Симулякр (симулакрум), по Платону, — это копия копии, искажающая свой прототип (идею) и потому лишенная онтологического статуса. Мыслители постмодернизма переинтерпретировали этот термин. По Делезу, в симулякре вообще не содержится интенции стать подобием; 17 по Бодрийару, симулякр — замкнутый на самое себя знак, утративший всякую связь с реальностью. При этом оба они считают бытование симулякров универсальной чертой современной культуры. 18

Виртуальная реальность, которой посвящено уже целое море научной литературы, нередко рассматривается как пространство симулякров. Между тем генезис этого понятия указывает на нечто едва ли не противополож-

¹⁵ Ритму он посвятил множество специальных работ: «Лирика и эксперимент» (1909), «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба» (1909), «Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре» (1909), «"Не пой, красавица, при мне..." А. С. Пушкина» (1910), «О ритме» (1920), «К будущему учебнику ритма», «О ритмическом жесте» (1917), «Жезл Аарона» (1917), «Ритм как диалектика и "Медный всадник"» (1920), «Ритм прозы Гоголя» (глава в книге «Мастерство Гоголя», 1934). Об этом см., например: Гречишкин С. С., Лавров А. В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. Вып. 12: Структура и семиотика художественного текста. С. 106; Шталь-Швэтцер Х. Композиция ритма и мелодии в прозе Андрея Белого // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 161—199; Аверин Б. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в автобнографическом контексте. СПб., 2003. С. 141—144.

16 «За словом "информация" кроется именно коммуникация, а не знание. ⟨...⟩ Нетрудно

^{16 «}За словом "информация" кроется именно коммуникация, а не знание. (...) Нетрудно заметить: более информированный человек — это не тот, кто больше знает, а тот, кто участвует в большем числе коммуникаций» (Иванов Д. Общество как виртуальная реальность // Информационное общество. М., 2004. С. 360).

¹⁷ Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 93.

¹⁸ Cm.: Baudrillard J. Simulacra and Simulation. University of Michigan Press, 1994. P. 85.

ное. Прослеживая его от античности, от праформы virtus, E. E. Таратута пишет. что «представление о том, что виртуальное постулирует некую действительно отдельную реальность или другую реальность, (...) широко распространенное по настоящий момент», берет свое начало в сходастической философии, в которой, однако, неявно присутствовали и иные, восхоляшие к античности компоненты семантики, указывавшие на соотношение надэмпирического и эмпирического. «Основная сема virtus может быть обозначена как "потенция (воля плюс возможность) к достройке природы до совершенства" (природа понимается здесь как повседневная эмпирическая ланность реальности)». Примененное в точных и естественных науках ХХ века, понятие виртуального получило несколько вариантов трактовки: «как возможного, как того, что может быть смоделировано или собственно смоделированного, как отраженного, как вероятностного в широком смысле и, наконец (трактовка квантовой теории), как того, что существует только в промежуточных состояниях (малой длительности) и в силу этого не может быть зарегистрировано (о т. н. виртуальных частицах)». В компьютерные науки перешло одно из этих значений: моделирование. Но как только компьютеры стали средством очевидности виртуальной реальности, «грянул настоящий бум»: виртуальное стали распознавать во всех сферах жизни. 19 Популярность этого понятия, поначалу примененного в узкопрофессиональной сфере, как раз и говорит о том, что идет стихийное и почти тотальное переосмысление границ трехмерной реальности.

Эталонный, нормативный характер виртуального почти на всем протяжении бытования понятия оставался завуалированным. 20 Тем не менее он всегда присутствовал, хотя бы и в неявной форме, — сейчас, возможно, в бодее неявной, чем когда бы то ни было. Потому, вероятно, виртуальное в общеупотребительном смысле — это прежде всего фантомная зона, которая становится пространством жизни, вовлекая человеческое существование в некое мнимое бытие. Но фантомный мир если не тождествен миру воображаемому, то по крайней мере близнечно связан с ним. А коль скоро совокупный продукт человеческого воображения мы представим себе как постоянно растущее (и отнюдь не трехмерное) пространство ноосферы, то в этом пространстве особое место займут те эталонные создания, которые порождены художественным творчеством. Они-то и окажутся наделенными той самой исконной виртуальной силой, т. е. потенцией (волей плюс возможностью) к достройке ноосферы если не до совершенства, то по крайней мере до более совершенных способов организации. И именно законы внутренней организации этих эталонных элементов ноосферы и являются предметом, который изучает поэтика.

Обновленный смысл может получить и историческая поэтика. Смена законов организации художественных миров может быть осмыслена как история ноосферы, история трансформаций виртуального пространства. По естественным причинам отвергаемый ныне социологический аспект также может получить актуальность совершенно новой природы. Принципы организации текста имеют определенную соотнесенность с характером социальных межличностных связей. В информационном обществе, где коммуникации выступают на первый план, это становится чрезвычайно важным.

Сказанное о поэтике вовсе не означает, что история литературы теряет свой интерес. Она продолжает поставлять факты, описывать контекстные связи, без которых анализ поэтики существовать не может. Но у истории

²⁰ Там же. С. 66.

¹⁹ Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности. СПб., 2007. С. 29, 24, 47, 50.

литературы может появиться и своя новая модификация, отвечающая современным запросам.

Из поля нашего внимания часто уходит то, что литература и сама является историей и, быть может, в каком-то гораздо более сущностном смысле, чем тексты, создаваемые профессиональными историками. Основная масса средневековой словесности — летописи, патерики, жития, повести, хождения — может быть определена как грандиозное историческое постбиблейское предание, интерпретирующее национальное бытие и свидетельствующее о нем. Это предание является не чем иным, как самоописанием, самоинтерпретацией, собиранием в слове основных жизненных смыслов. И за редкими исключениями это собирание смыслов осуществляется как раз не из метапозиции профессионального историка, а исходя из включенной в описание субъективности настоящего. Но та же характеристика может быть распространена и на более позднюю литературу, будь то воплощение государственной мифологии в поэзии XVIII века или перипетии современности в русских классических романах.

Какое же место займет история литературы в том случае, если саму словесность мы определим как историческое предание? Я думаю, что она займет место герменевтики истории. Но у этой герменевтики в современном контексте будет особая специфика.

Живое течение истории, ежемгновенно превращаясь в прошлое, практически неуловимо в своей непосредственности. Профессиональные историки, восстанавливая последовательность событий и их причинно-следственные связи, осуществляют работу, ценность которой неоспорима, — но им в принципе не дано способов соприкосновения с живой плотью исторического бытия, пребывающей в процессе неостановимой метаморфозы. Между тем словесность именно с нею и взаимодействует. В отличие от публицистики и даже философии она не является высказыванием «по поводу» жизни, а становится ее инобытием, ее эквивалентом, ее полнокровным «вторым Я». На протяжении долгого времени мы толковали это соотношение как «отражение» реальности в литературе. Современному контексту такое толкование более не удовлетворяет, поскольку, как уже говорилось, современный информационный поток, вбирающий в свое русло все виды словесного, перестает быть измерением, отличным от непосредственного, в том числе и физического, бытия. И с этим самым прямым образом связано возникшее в современной литературе представление об «оплотнении» слова, о слове как такой же плоти, как любая другая живая земная плоть.

Из тождества слова и бытия вытекает особое понимание истории. Если история, воплощенная словесностью, трактуется как непосредственное живое измерение истории, как ее живая плоть, то через слово можно стать непосредственным участником прошлого и повернуть состоявшиеся, казалось бы, раз и навсегда события в новом неожиданном направлении. Не случайно в современной прозе все более широкое распространение получает так называемая виртуальная, или альтернативная, история, в рамках которой вымысел вступает в прямую борьбу с тем, что мы привыкли называть фактом. Если в жанре фэнтези сочиняются целые миры и населяющие их существа, то в жанре виртуальной истории именно наш, существующий и имеющий определенную историю мир наделяется вымышленными событиями и эпохами, а реально существовавшие лица получают новые биографии. Жанр виртуальной истории заявляет свободу трактовки исторического материала, свободу оперирования с ним и неприятие однозначно заданного и ставшего необратимым факта. Иначе говоря — он претендует на свободу проникновения в прошлое.

Все это значит, что филология как герменевтика истории получает в современном контексте предмет, весьма необычный с точки зрения историка.

В едином информационном поле становится видно, как некогда гоголевскому колдуну, сразу во все концы света, и вместе с тем сразу во все времена, актуально пребывающие в составе ноосферы, в которой действует что-то подобное закону сохранения вещества. И коль скоро прошлое оказывается расположенным в той же плоскости, что и настоящее, т. е. становится вовлеченным в живой, непосредственно совершающийся исторический процесс, то герменевтика истории очень скоро может превратиться из науки об ушедшем прошлом в науку об актуальном настоящем, об имеющей высокую степень сложности среде обитания современного человека и о законах, динамически формирующих эту среду.

Разумеется, говоря о такого рода актуальности, я не имею в виду популярность — популярными сложные области знания в принципе быть не могут.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

© В. В. ЖИРМУНСКАЯ-АСТВАЦАТУРОВА

ГЕРМАНИЯ И НЕМЕЦКАЯ КУЛЬТУРА В ЮНОШЕСКИХ ДНЕВНИКАХ В. М. ЖИРМУНСКОГО (1903—1905)¹

Среди круга научных интересов академика В. М. Жирмунского первое место бесспорно принадлежит германистике. Историей немецкой литератуученый начал серьезно заниматься еще в студенческие годы (1908—1912), на романо-германском отделении Петербургского университета в семинаре проф. Ф. А. Брауна, а позднее — в рамках семинара Неофилологического общества, где он написал и прочитал доклады о немецких романтиках. После окончания университета, будучи оставлен при кафедре романо-германской филологии для подготовки к профессорскому званию, молодой ученый был командирован в Германию для продолжения обучения, где слушал лекции профессоров Э. Шмидта, Г. Зиммеля, Э. Сиверса, А. Кёстера и др. В результате появилась его первая книга о йенском романтизме «Немецкий романтизм и современная мистика» (1914), а затем и вторая книга «Религиозное отречение в истории немецкого романтизма» (1919). В дальнейшем в круг его деятельности входили исследования по немецкому героическому эпосу; по немецкой диалектологии и фольклору советских немцев (поездки в немецкие колонии во второй половине 1920-х годов); по творчеству И. В. Гете (монография «Гете в русской литературе» и многочисленные статьи); по вопросам германского языкознания. Здесь нет нужды перечислять бесчисленное количество трудов В. М. Жирмунского в области германистики. Задачей настоящей статьи будет проследить процесс зарождения и становления интереса будущего ученого к немецкой культуре, отразившийся в его юношеских дневниках 1903—1906 годов, т. е. еще в подростковом возрасте, в годы обучения в Петербургском Тенишевском училише.

В домашнем архиве семьи Жирмунских хранятся четыре тетради с дневниками будущего ученого: за лето 1903 года, за весну 1905 года, за лето 1905 года, за зиму 1905/06 года. Уже из первых записей, относящихся к лету 1903 года, когда Жирмунскому еще не исполнилось 12 лет, видно, что, при всем достаточно высоком уровне общего культурного развития, интересы мальчика весной 1903 года лежали в области не гуманитарных, а естественных наук. Его отец, Максим Савельевич Жирмунский (1854—1937), был врач-отоларинголог, профессор, известный в Петербурге специалист по ушным болезням, получивший в свое время образование в Европе, имевший постоянные контакты с немецкими клиниками, часто посещавший Герма-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Подготовка к публикации материалов из архивного наследия академика В. М. Жирмунского (1891—1971). Дневники 1903—1906 годов. Вступительная статья, тексты, историко-литературный комментарий» (проект № 07-04-00511а).

нию. Впоследствии В. М. Жирмунский вспоминал, что отец хотел ориентировать его по линии медицинских или естественных наук. Первые дневниковые записи свидетельствуют об увлечении подростка ботаникой и вообще биологией. 14 мая 1903 года он записывает: «Еще вчера вечером я решил, что напишу названия всех высушенных мною растений на листке и каждый день буду готовить по четыре ярлыка для растений. Сегодня я привел этот план в исполнение, но, заинтересовавшись, написал вместо 4-ех ярлыков — 13». 15 мая: «Сегодня я продолжал делать ярлыки». 24 мая: «Сегодня я проснулся очень рано. Прочитав № журнала "Природа и люди", я начал одеваться».

Летом 1903 года семья Жирмунских совершает путешествие в Германию по маршруту Берлин—Тюрингия—Голландия—Берлин. Все подробности этой трехмесячной поездки в мельчайших деталях отражены в дневнике, знакомство с которым позволяет проследить постепенное, но неуклонное изменение направления интересов Жирмунского-подростка от естественных наук в сторону гуманитарных.

По дороге из Петербурга в Берлин Жирмунский детально записывает все, что он видит из окна вагона. В начале путешествия это главным образом подробное описание природы, растительности окружающей местности. Вот поезд только что отошел от Петербурга: «За ст. Александрово² местность подымается. Поезд идет в углублении между двумя возвышенностями, покрытыми ярко-зеленой травой. В одном месте с одного холма на другой перекинут мост, под которым проходит поезд. А дальше опять, опять зеленеющие поля, покрытые нежными цветами, и топкие болота. Потом местность снова слегка подымается, после чего вновь тянутся луга, покрытые мелким кустарником. Вот появилось большое болото с зеленой травой. От болота к полям тянутся канавки для отвода воды» (24 мая). Вот поезд идет по Литве, пересекает Неман: «Флора этой местности резко отличается от нашей северной флоры: леса по преимуществу или только лиственные, или только хвойные. Грунты в них вместо мха покрыты дерном; в лугах преобладают белые или маленькие желтенькие цветочки; вообще лугов больше, чем лесов, и реже встречаются болота, зато чаще речки» (25 мая). Прибыв в Берлин, Жирмунский первым делом отправляется в «Аквариум», своеобразный зоологический сад и музей, где в гротах и клетках помещались рыбы, земноводные, рептилии, птицы и животные. Описание обитателей «Аквариума» с мельчайшими деталями, названиями всех видов фауны занимает несколько страниц дневника.

28 мая (9 июня) Жирмунские покидают Берлин и отправляются в Тюрингию, где останавливаются в отеле в городе Фридрихсроде. Как свидетельствуют дальнейшие записи, они совершают прогулки в горы и посещают старинные тюрингские города — Вартбург, Рейнгардсбрунн, Эйзенах. В горах глазам юного Жирмунского предстают не только величественные горные пейзажи, подробно описываемые в дневнике, но и средневековые монастыри и замки — Тенненберг, Либенштейн, Альтенштейн, старинные мельницы. Некоторые из замков сохранились, от иных остались руины. Здесь он впервые знакомится с многочисленными немецкими народными легендами, связанными с тем или иным замком или монастырем. Все эти легенды он заносит в дневник так же скрупулезно, как незадолго до того за-

² Современное название — Александровская. Разночтение в названии могло быть вызвано либо неточностью в записи, либо не устоявшимся к тому времени названием станции. В частности, Д. А. Засосов и В. И. Пызин в своих воспоминаниях, относящихся к началу XX века, называют станцию «Александровка» (Засосов Д.А., Пызин В. И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX—XX веков: Записки очевидцев. М., 2003. С. 256).

писывал названия растений и животных в коллекции берлинского «Аквариума». Мало-помалу ботанико-зоологические детали начинают вытесняться в дневнике историко-культурными реалиями.

Вот, например, одна из таких записей от 5 (18) июня: «Про Готлоб легенда рассказывает следующее: "Однажды в Тюрингенском лесу Людовик Бородатый устроил пир. Среди приглашенных был сильный, могучий молодой рыцарь и старый бюргер со своей дочерью, возлюбленной рыцаря. Раньше бюргер не хотел выдать свою дочь за рыцаря, но место свата заступил герцог, и он согласился с условием, что рыцарь внесет свою невесту на крутую гору, виднеющуюся вдали. Это и был Готлоб. Тот согласился; с трудом, со своей живой ношей на руках, взобрался он на верхушку горы. Радостно вскричал тот: «Got lob!» («Слава Богу!»), но тут же упал в изнеможении и умер". От его последних слов гора была названа Готлоб». В записи от 7 (20) июля приводится легенда об основании города Вартбурга: «Людовик Самер основывает Вартбург. По сказанию, Людовик, взобравшись на гору, увидал чудный вид вниз и вскричал: "Wart, Berg, du sollst mir eine Burg werden" («Подожди, гора, из тебя сделается замок»), отчего и произошло название Вартбург». Еще одна легенда приводится в записи от того же числа: «Про Драконовое ложе (Драхеншлухт) легенда рассказывает следующее: Около Эйзенаха, в Драхеншлухте появился страшный дракон, бравший с жителей дань девушками. Об этом узнал епископ Винфрид (св. Бонифаций), патрон Тюрингии, и явился к чудовищу. Он стал на одной скале, дракон — на другой. Протянув руку, св. Бонифаций приказал дракону уйти, и тот с тех пор исчез».

Уже вернувшись в Петербург, Жирмунский внимательно перечитывает тюрингенские легенды. 26 августа (9 сентября) он записывает: «Вечером я перечитал Балобановой "Тюрингия в картинках" и собираюсь привести несколько легенд о посещенных мною местах Тюрингии». Вот некоторые из этих сказаний, приведенных в дневнике: «Легенда о Бонифациевой скале, у Альтенштейна. Бонифациева скала, скала с крестом. Отсюда, по преданию, проповедовал св. Бонифаций. Но галки из леса, крича, заглушали его слова. Тогда Бонифаций велел им удалиться, и они улетели». Приводится легенда о развалинах замка Либенштейн: «В 16 столетии владела замком Либенштейн злая баронесса. За малейший проступок жгла своим подчиненным руки раскаленным железом. В Иванову ночь, однажды, одна служанка нашла четырехлистный трилистник и поэтому могла, как говорят, целый день высказывать желания. Баронесса была в этот день особенно жестока и за ничто выругала девушку. Та в отчаянии пожелала, чтобы замок ушел бы в землю вместе с госпожой. Часть Либенштейна немедленно исчезла вместе с баронессой, а несчастная девушка стала появляться у одного из окон руины, когда грозила хоть какая-нибудь опасность хоть отдаленному потомку Штейнов (Штейны — родоначальники Альтенштейнов, Либенштейнов, Фолькенштейнов и др.)». Приводятся легенды из немецкого фольклора о волшебных гномах: «В Трузенталь, по преданию, происходит в Иванову ночь меновая торговля между гномами Тюрингии (приносят медь), Гарца (серебро, железо), Шварцвальда (драгоценные камни) и Одена. Крик петуха всегда застает их врасплох, они убегают, оставляя сокровища тем, кто соберет их до следующей ночи».

В Вартбурге 7 (20) июля Жирмунский посещает средневековый замок, где осматривает «Елизаветинскую галерею» с картинами, посвященными жизни св. королевы Елизаветы, супруги ландграфа Германа Тюрингенского (XIII век), и «Зал певцов», где в 1206 году проходило знаменитое состязание певцов, воспетое впоследствии Новалисом в романе «Генрих фон Офтер-

динген» и Р. Вагнером в опере «Тангейзер». Вот как описан в дневнике этот зал: «Это громадная комната, на одном конце которой находится возвышение с арками. Здесь произошло знаменитое сражение певцов при Генрихе I. Война эта описана на старом немецком языке на стене в возвышении, которое, собственно говоря, называется "беседкой певцов". Здесь сидел ландграф и его жена София. Стены все расписаны. На одной из них картина, представляющая войну певцов. В "беседке певцов" стоит ландграф и София, рядом с ними — рыцарь Варгула и аббат Зейнхардбрунский. Перед ландграфиней на коленях певец Генрих фон Офтердинген. Далее его трубадуры Вольфрам фон Эшенбах, Битерольф, Генрих Писатель, Вальтер фон Фогельвейде и Генрих фон Цветер».

Там же, в Вартбурге, Жирмунский знакомится и с более поздними событиями немецкой истории: «Спустившись опять на двор, мы идем в "Рыцарский дом", где находится комната Лютера. Здесь находятся его портреты, его почерк, стол, стул, ножная скамья, красивенький шкаф и кровать. В стене, в одном месте на стене обломана штукатурка; здесь, по преданию, Лютер сделал чернильное пятно, когда бросил в черта чернильницу. Благочестивые немцы растаскали все кусочки этого пятна».

Так постепенно в сознание подростка Жирмунского входит немецкая культура. Язык он изучал с раннего детства (в училище и с частными преподавателями) и потому знал его хорошо. Теперь его начинает увлекать средневековая история Германии, немецкие народные сказания. Эта история предстала воочию перед ним в тюрингенских замках.

На обратном пути Жирмунские снова ненадолго останавливаются в Берлине. На этот раз здесь подростка интересуют уже не естественные, а историко-культурные музеи. Он посещает «Паноптикум» (музей восковых фигур) и художественный музей «Лустгартен».

Вот как он описывает посещение Паноптикума: «"Паноптикум" — это здание, в котором находятся восковые фигуры в человеческий рост, а также небольшая зоологическая (чучело крокодила, ящерицы, зуб мамонта, аквариум, бегемот и др.), китайская (некоторые китайские принадлежности), археологическая (4 мумии) коллекция, этнографическая (из Камеруна) и историческая (подушка, траурный полог — обе вещи со смертного одра Вильгельма I — и мундир Вильгельма). Статуи можно разделить на 5 частей: обыкновенные фигуры, китайцы, двигающиеся фигуры, ученые Берлина. Монархи и комната ужаса (отдельно от остальных частей)».

О Лустгартене он записывает: «Это большой картинный и скульптурный музей, славящийся по всей Европе. Из картин назовем "Крестьяне спасаются во время наводнения", "Последняя вечеря", "Вильгельм І", "Последний час графа Эгмонта", "Открытие памятника королеве Лизе в Тиргартене", "Битва при Седане", "Солдаты во время битвы замечают Вильгельма". Громадная картина-аллегория "Триумф Вильгельма І". Из картин, нарисованных карандашом, интересны громадные исторические картины и фрески о делах благодеяния, вроде Вартбургских. Все картины новые и отличаются неотделанностью, не так, как голландские. Из статуй упомяну: Умирающий Ахилл, Агарь и Измаил, океаниды защищают Прометея от орла, красавицы, этюд молодого человека, этюд девушки. Голова Бисмарка и др. Вообще скульптура немецкой школы лучше ее же картин и лучше голландской. Стены у самого потолка в одной из комнат, а также лестницы украшены скульптурой и исписаны. Из них назовем: Сцены из Нибелунгов (Зигфрид убивает дракона; поход на Исланд; Брунхильда; Кримхильда; встреча Брунхильды Гунтером; Гунтер и Гаген; Кримхильда прощается с Зигфридом; смерть Зигфрида; Кримхильда оплакивает Зигфрида; Дитрих); Различные знаменитости (около 5. — 1) Оттон I, Карл Великий, Герман Херуск, Виттекинд, Роланд и др. 2) Состязание певцов на Вартбурге — Герман Тюрингенский и трубадуры. — Остальные фрески я не разглядел».

Знаменательно, что автор дневника, как явствует из записи, в свои 12 лет был хорошо знаком с содержанием «Песни о Нибелунгах».

Как следует из дневника, вся поездка в Германию оставила глубокий след в душе подростка и оказала сильное влияние на его дальнейшие интересы. Сразу же после возвращения в Россию он записывает 19 августа (2 сентября): «Утром я с мамой ходил гулять. После Берлина Петербург казался каким-то ничтожным. Низкие дома, грязные улицы, повсюду вывески трактиров, грязные давчонки, словом, все совсем не то, что там...»

* * *

Следующие известные нам дневники Жирмунского относятся к весне и лету 1905 года. Теперь ему четырнадцать лет; он уже почти юноша, много прочитавший, много узнавший и много передумавший за эти два года. Он начинает писать стихи — сначала, под влиянием революционных событий в России, это пафосная, гражданская лирика, затем появляются пейзажные, романтические стихи. У него вырабатывается самостоятельное, порой критическое отношение ко многим вещам, которые еще два года назад воспринимались им традиционно.

В апреле 1905 года родители принимают решение вновь провести лето всей семьей в Германии, и Виктор воспринимает это известие с воодушевлением. 28 апреля он записывает: «Узнал только что от Аннушки, что мама уже отпустила кухарку, Аннушку. \land \land

Германия, как чуден этот звук! Я скоро буду там и весел, и счастлив. Вдали леса, темнеет старый бук. Там, дальше, горы преграждают вид. Тенистый бор и шепчет и шумит. А дальше одинокая скала, Как грозный великан, виднеется одна. Ее остов кремнистый обожжен, Он гол, и хладен, и насквозь прожжен, И дикая сосна, подруга прежних дней, Своей листвой красуется над ней.

Это стихотворение я только что экспромтом сочинил». Как видно из этого полудетского стихотворения, Германия у Жирмунского, по его воспоминаниям двухлетней давности, ассоциируется с таинственной, романтической природой, овеянной легендами. Но не только. Теперь он воспринимает эту страну уже сквозь призму литературы (в том числе и русской). 14 мая, в первый день летних каникул, он мечтает о предстоящем лете: «1-го или 20-го июня мне придется высидеть еще 4—5 дней, и... и тогда мы понесемся к "Германии туманной". Дай Бог, чтоб это было так». Цитируя строки пушкинского «Евгения Онегина», юный Жирмунский невольно погружается в «германский миф» русской классической литературы, вошедший в мир отечественного читателя сквозь призму переводных баллад Жуковского, пушкинского Ленского, тургеневского Рудина.

К моменту второй поездки в Германию в сознание Жирмунского уже прочно вошли Шиллер и Гете.

Тенишевское училище, в котором учился Жирмунский, несмотря на свой формальный статус реального коммерческого училища, было ориентировано на гуманитарные учебные дисциплины. Преподаватель немецкого языка Герман Федорович Линсцер на своих уроках знакомил учеников с творчеством немецких писателей. В записи от 29 апреля Жирмунский называет его «наш любимый преподаватель», а 8 мая пишет: «От него, по-моему, всегда веет Шиллером или чем-нибудь подобным Шиллеру, молодым, здоровым, хорошим. Всегда веселый, остроумный, жизнерадостный, Герман Федорович, наверное, наиболее симпатичный из наших учителей».

Немецкой литературе, в частности Гете и Шиллеру, уделял внимание на своих занятиях и преподаватель словесности Александр Лаврентьевич Липовский. 26 апреля (по старому стилю) было столетие со дня смерти Шиллера. Юбилей отмечался в Тенишевском училище на уроке литературы. В тот день Жирмунский записывал: «Так как сегодня прошло сто лет со смерти Шиллера, то А. Л. Липовский посвятил этот урок бессмертному германскому поэту-мыслителю. Для исполнения этой цели А\лександр\Л\(\rangle\) Даврентьевич) предложил мне прочесть статью Горнфельда о Шиллере (№ 59, Сын отечества). Эта статья оказалась замечательно интересной. В несколько общей форме она охватывает значение Шиллера как обще-человека, как певца свободы (Поза, Карл Моор) и значение Шиллера для всех племен, находящихся, подобно России, под гнетом бесправия. Одна эта статейка сама по себе может научить даже тех ценить Шиллера, кто почти совсем не знаком с его творчеством. Германия уж тем велика, что создала Шиллера и Шиллеров, и за это я ее люблю. Она создала культурную почву для таких умов, и до сих пор, несмотря на старания Бисмарка и его последователя, интеллигентного солдата Вильгельма II, страна эта велика и привлекательна как дентр общечеловеческой цивилизации и культуры. Вторым номером нашей Шиллеровской программы явилась более подробная биография и критика

^{3 «}Тенишевское училище, согласно его уставу [распубликованному в Собрании узаконений и распоряжений Правительства от 26 Сентября 1900 г. за № 112], есть среднее учебное заведение, состоящее в ведении Министерства финансов. Хотя оно и учреждено на основании "Положения о коммерческом образовании", тем не менее во многом отличается от обычных коммерческих училищ Министерства финансов и гораздо ближе подходит к реальным училищам Министерства народного просвещения. В подтверждение сего могут быть указаны нижеследующие обстоятельства: во-первых, Тенишевское училище ставит себе главной целью дать учащимся в нем общее образование, соответственно чему семь классов училища имеют исключительно общеобразовательный характер; для сообщения же необходимых коммерческих знаний при училище состоит восьмой класс, в довольно значительной своей части также преследующий общеобразовательные задачи ⟨...⟩» (Ходатайство директора Тенишевского училища А. Я. Острогорского министру народного просвещения В. Г. Глазову о предоставлении выпускникам училища равных льгот с оканчивающими реальное училище при поступлении в университет. 23 декабря 1904 г. // Начальное и среднее образование в Санкт-Петербурге. XIX—начало XX века: Сборник документов. СПб., 2000. С. 298).

Шиллера. По этой критике (из какой книжки, не знаю) мы узнали о ранней юности поэта и его первых драмах (главным образом мы рассматривали «Разбойников»)».

В этой записи заслуживает внимания ряд моментов. Во-первых, как было отмечено выше, Германия для Жирмунского — это страна Шиллера и русского «шиллеровского мифа», она ценна для него тем, «что создала Шиллера и Шиллеров». Во-вторых, в свете политических событий 1905 года в России Шиллер (в первую очередь ранний Шиллер) воспринимается как «певец свободы» (не случайно упомянуты мятежные герои «Разбойников» и «Дон Карлоса»). В-третьих, здесь впервые обнаруживается двойственное отношение юного Жирмунского к Германии. С одной стороны, «страна эта велика и привлекательна как центр общечеловеческой цивилизации и культуры», с другой — откровенное неприятие германского милитаризма. Эта двойственность обнаружится еще явственнее во время второго посещения Германии. И наконец, из дневника явствует, что уже в эти годы Жирмунский начинает всерьез знакомиться с научно-критическими трудами по истории немецкой литературы.

Продолжая изучать научную литературу по германистике, Жирмунский приобретает книгу А. А. Шахова «Гете и его время», 4 где, в частности, уделяется значительное место анализу шиллеровских драм. Начиная с 10 мая он погружается в мир драматургии Шиллера, и с этого момента дневниковые записи заполнены впечатлениями и подробным разбором текстов. 10 мая он читает «Дон Карлоса». В записи от 12 мая, разбирая драму, он акцентирует идейную направленность, мятежный характер героев раннего Шиллера. Тема свободы и рабства — вот что интересует Жирмунского в этой драме, он соотносит ее с русской современностью. Например, характеризуя окружение Филиппа II, Жирмунский отмечает: « $\langle ... \rangle$ остальные — обыкновенный круг придворных, ничего не ищущих ни во властителе, ни для властителя, а живущие исключительно для себя, для своей выгоды. Их мысли, порывы и желания, или, скорее, отсутствие у них всего вышеупомянутого мастерски характеризуется Шиллером в короткой сцене с адмиралом Мединой Сидонием и в словах относительно этого честного графа Лермы: "Каким богачом вы вдруг сделались, и лишь благодаря двум словам (короля)". Это и есть те самые люди, которые, надев на себя, по словам Позы, рабские цепи и уничтожив в себе достоинство человека, подняли Филиппа на неизмеримую и вместе с тем достойную сожаления высоту тирана-полубога. О таких никогда не меняющих свой облик Розенкранцах (лесть однообразна — признает сам Филипп) и так о таких Розенкранцах будет уже довольно сказано». Эти мысли перекликаются с мрачными размышлениями юного автора в грозные декабрьские дни 1905 года, когда накануне кровавых московских событий, 10 декабря, он записывает: «Сколько жертв, сколько жертв! И из-за чего? Всему виной ничтожная кучка людей, сотая, тысячная часть числа погибших. Смерть им всем, смерть! Этого требует счастье России. Бесчувственные варяги и голштинцы, графы и князья, связанные с родиной лишь высосанной из нее кровью, какое им дело до плача сирот, вдов, семейств, оставшихся без крова и без пищи, что для них человеческая жизнь. Эти Нейдгардты, 5 Бо-

 $^{^4}$ $\it Maxos\,A.A.$ Гете и его время: Лекции по истории немецкой литературы XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве. СПб., 1891; 2-е изд. — 1897; 3-е изд. — 1903.

⁵ Нейдгардт Дмитрий Борисович (1861—?) — градоначальник г. Одессы (1903—1905). В 1904 году получил чин действительного статского советника и был пожалован в камергеры. Осенью 1905 года уволен с должности после еврейского погрома в Одессе. Его деятельность на посту градоначальника стала предметом разбирательства сенаторской ревизии. См.: Немцы России: Энциклопедия. Т. 2. М., 2004. С. 628.

гдановичи, 6 Дурново, эта ничтожная камарилья, знает ли она цену своим поступкам? Понимает ли она, что творит?» Еще один пример такой переклички событий драмы Шиллера с российской политической жизнью: «Альба $\langle ... \rangle$ — это человек, приверженный и монархизму, и монарху, кем бы он ни был, но знающий вместе с тем и свою цену. Купив могущество монархии своей кровью, он хочет властвовать в ней и добивается этой цели и правдой, и кривдой. $\langle ... \rangle$ Вообще он носитель определенных, хотя и превратных идеалов и провидит их так, как это делают, например, Плеве и подобные ему люди».

Говоря об идеях самого Шиллера, выраженных в образе маркиза Позы, Жирмунский отмечает, что последний — «именно тот человек, которого Шиллер предназначает быть вождем революции, которой дышали Stürmer und Dränger, которую проводил Моор во главе шайки разбойников. Это революция бескровная, переворот, совершающийся не с помощью оружия, а с помощью разума. В первый род политических возмущений Шиллер тогда уже изверился на примере французской революции, оставался второй вид, и во главе такой культурной революции автор поставил маркиза. Идеалы последнего, хоть и носят еще характер смутных чаяний, они, однако, выливаются в достаточно определенную форму. Он ищет свободного человека и в его жизни находит залог будущего нравственного совершенства».

Жирмунский пытается осмыслить идейную эволюцию Шиллера от «Разбойников» к «Дон Карлосу», от революционного мятежа — к поиску нравственного идеала: «В начале, в цикле "Разбойников", Шиллер — "Stürmer und Dränger", высоко держащий свое знамя. Впоследствии он человек, ищущий в идеале лишь нравственную свободу и совершенствование, которые, как он говорит, повлекут за собой и все остальное».

Пройдет много лет, позади останется учеба в семинаре Ф. Брауна, увлечение немецким романтизмом, лекции в немецких университетах, прежде чем в 1940 году, когда Жирмунский станет уже знаменитым ученым-германистом, его юношеские размышления об эволюции идейных взглядов Шиллера получат научное развитие в статье «Период Бури и натиска», предназначенной для «Истории немецкой литературы»: «В "Письмах о Дон Карлосе" (1788) Шиллер определяет идейное содержание изображаемой эпохи как "борьбу разума с предрассудками", защиту "прав человека и свободы совести", как столкновение "идеи свободы и человеческого благородства" с "рабством и суеверием". При этом политические лозунги борьбы против деспотизма, защиты свободы и веротерпимости, во всей абстрактности третьесословных идеалов кануна французской революции, превращаются, как обычно для Шиллера, в моральные категории. Философской предпосылкой этих идей является идеализм и оптимизм молодого Шиллера и его героев: вера в нравственное достоинство человека, в его прирожденное душевное благородство, оправдывающее его право на политиче-

⁶ Богданович Евгений Васильевич (1829—1914), генерал от инфантерии. Закончил Морской кадетский корпус, службу начинал во флоте. В 1868 году выдвинул один из ранних проектов Сибирской железной дороги. В его честь в Екатеринбургской губернии названа ж./д. станция (ныне г. Богданович). С 1879 года — староста Исаакиевского собора. С 1888 года — в отставке. Деятель правого толка. Состоял в переписке с Николаем ІІ. В 1909 году император назначил Е. В. Богдановичу «взамен аренды пожизненное негласное пособие по 2000 рублей в год» (из письма П. А. Столыпина от 15.01.1909). Занимался литературной деятельностью, автор книг «Наварин 1827—1877 гг.», «Россия на Дальнем Востоке» и др. (см.: http: // ru.wikipedia.org. / wiki). Жена Е. В. Богдановича Александра Викторовна (урожд. Бутовская) была хозяйкой светского салона с серьезным политическим уклоном, вела дневник, впоследствии частично опубликованный (см.: Богданович А. В. Три российских самодержца. [Дневник]. 1925; 2-е изд. — М., 1990).

скую свободу, героический альтруизм самопожертвования для блага люлей». 7

Начало записей следующего дневника (от лета 1905 года) продолжает разбор драм Шиллера. 18 мая Жирмунский перечитывает «Разбойников»: 21 мая читает «Орлеанскую Деву»; 24 мая — «Мессинскую невесту»; 30 мая — «Вильгельма Телля». Записи этих дней заполнены не только подробным анализом каждой из драм, но и попыткой проследить идейную эволюцию Шиллера от традиции «Бури и натиска» к веймарскому классицизму. 21 мая Жирмунский записывает: «Как известно, в своих первых произведениях («Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и любовь») автор стремился к достижению чисто физической и отчасти политической свободы. Во втором периоде развития своего таланта он стремился уже исключительно к политической свободе, приобретаемой путем постепенного, культурного возлействия на жизнь («Дон Карлос»). Впоследствии певец свободы оставил и этот путь. Он стал искать нравственной свободы в эстетически-нравственном перевоспитании общества. Постепенно такое отношение к жизни превратилось у Шиллера в культ красоты, что привело его вскоре к эллинству и его культуре. И понятно почему: проповедуя жизнь в идеале, отрекаясь и отворачивая лицо от действительности, Шиллер стал искать вдохновения в прошедшем. Конечно, жрец красоты мог усвоить себе исключительно дух Греции; не в варварских Средних веках и не в слишком близком новом столетии он мог найти то, что искал».

Еще большую роль в освоении Жирмунским мира немецкой культуры сыграло знакомство с творчеством Гете. Впервые имя Гете упоминается в записи от 4 мая. На уроке русского языка А. Л. Липовский «объявил, что, закончив курс этого года, он будет читать нам в течение оставшихся четырех уроков или "Грозу" Островского, отчасти соприкасающуюся с изучаемой нами историей драмы, или "Фауста" Гете, как произведение всемирно-исторического характера. Выбор был предоставлен нам». Ученики выбрали «Фауста», и преподаватель начал читать им вслух. Вот впечатления Жирмунского от первого знакомства с «Фаустом»: «Итак, А\лександр\ Л\(aврентьевич) читал нам "Фауста". Ах, что это за глубоко прекрасная вещь! Какие чудные перемены ритма, какие стихи; какой мощью дышат слова Фауста, как резко изображен старый скептик — Мефистофель, какой нежной музыкой звучат песни ангелов. Два часа прошли как в упоенье. Одно время $A\langle nekcandp \rangle J\langle aepentseeuu \rangle$ дал мне самому читать — я не слушал, я упивался. Какой гигантский, неземной гений мог так выразить человеческую душу, так глубоко затронуть все ее струны. Творец "Фауста" был титан. Это был сам Прометей, одухотворивший душу бренного человека своим непокорным божественным огнем!»

Образ Прометея с его бунтарским духом был в то время чрезвычайно близок Жирмунскому. Именно в этот период он читает Байрона, Шелли, восторгается мятежными байроновскими героями, сравнивая Конрада в «Корсаре» и шиллеровского Карла Моора. В том же 1905 году он сам пишет поэму «Прометей», проецируя образы бесстрашных героев на русскую революцию. В записи от 24 мая он упоминает о покупке книги Н. Котляревского «Мировая скорбь» и о плане написать реферат «Великие скорбники, их произведения и значение в культурном развитии человечества». Для подго-

 8 Котляревский H. Мировая скорбь в конце прошлого и в начале нынешнего века. СПб., 1898.

⁷ Статья была впервые опубликована после смерти В. М. Жирмунского. См.: Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. С. 400.

товки к реферату Жирмунский предполагает «основательно познакомиться с Вольтером и Руссо, изучить критику по периоду бурных стремлений, прочесть Гете: "Гец", "Вертер", "Прометей" и "Фауст"; всего Байрона и юношеские поэмы Пушкина, прочитать статьи Белинского о Лермонтове и произведения русских критиков на ту же тему — одним словом, масса работы». Одновременно Жирмунский начинает сам изучать гетевского «Фауста». Он приобретает книгу Куно Фишера. «Последнюю я уже давно ищу повсюду, $\tau\langle a\kappa \rangle$ к $\langle a\kappa \rangle$ чтобы читать летом "Фауста", мне необходимы комментарии, в особенности ко второй части драмы. Хотя у меня имеются примечания П. Вейнберга к его переводу "Фауста", притом примечания довольно подробные, но я все-таки боюсь приступить к изучению "параллипенона истории человечества" без специального обзора, вроде такового у немецкого философа».

4 июня на даче у своих родственников в деревне Рунолино на Сайменском канале (Финляндия) Жирмунский внимательно читает первую спену «Фауста» и дает ее подробный разбор в дневнике. Здесь будет уместно сопоставить этот анализ как с первой главой его ранней книги «Немецкий романтизм и современная мистика», так и с его статьей «Проблема "Фауста"» (1922), где прослеживается эволюция замысла Гете от раннего варианта («Прафауст») к окончательному тексту. В дневнике 1905 года, разбирая первый и второй монолог Фауста, Жирмунский записывает: «Наука не могла удовлетворить его $\langle ... \rangle$ и он разочаровался в науке; что же касается до наивной, эпической веры, то для нее в Фаусте было слишком много критицизма и скептичности. На этой точке колебания и сомнения глубокая натура доктора не могла и не хотела остановиться. Мы видим, как его пытливый ум старается разбить свои оковы, как он, наконец, решается, повелевая духами, постичь мир при помощи мистического экстаза, сообщаемого душе магией. Здесь ученый доктор как будто отрекается от науки. (...) Видно, что им завладевает критицизм, иногда прямо против воли. Фауст любит природу. Он не буквоед-схоласт, всю жизнь прогнивший в своем кабинете. Нет, он знаком с разнообразными проявлениями Великой Матери, он легко постигает чувством их разные образы, но это самое останавливает ход его разума перед бесконечной и всеединой природой. Сравнивая свои сухие и знакомые книги, свою сухую и далекую от жизни науку со всем необъятным макрокосмом, он предается отчаянью еще сильнее».

Разбирая первую сцену «Фауста» в дневнике, Жирмунский, как он сам и упоминает, ориентируется на ее анализ в книге А. А. Шахова «Гете и его время». Он цитирует слова Шахова: «В этих двух монологах... воссоздается образ Фауста в его существенных чертах. Уже здесь даны главные мотивы его характера и обозначена главная причина его "мировой скорби": это отчаянное столкновение критики с традицией. Анализ подрывает цельность предания (веры), и в то же время сила предания не дает полного простора научной критике. Согласить оба начала нет возможности (Гете и его время, лекция XII, с. 172)».

Эти заметки перекликаются со страницами первой главы книги «Немецкий романтизм и современная мистика» («Источники романтического чувства»): «Знает Фауст очень много и больше знать он не хочет; но он ищет безумного счастья, счастья жизненных, живых прикосновений, счастья переживания в себе всей полноты существования. Помимо умственных разде-

 $^{^9}$ Фишер К. «Фауст» Гете. Возникновение и состав поэмы / Пер. И. Д. Городецкого. М., 1885; 2-е изд. — М., 1887.

лений и соединений. Вот отчего содержанием трагедии Гете является выход Фауста в жизнь $\langle ... \rangle$ ». 10

В статье 1922 года Жирмунский напишет: «Разочарование в науках лежит в самой традиции "Фауста". У молодого Гете это традиционное разочарование приобретает новый смысл. Как "бурный гений", Фауст разочарован не ограниченностью знания, доступного человеку: знание как таковое отвергается им, даже знание бесконечно обширное, ибо всякое знание, как совокупность отвлеченных суждений, есть обеднение богатства и многообразия конкретной жизни. Поэтому пустому и бедному отвлеченному знанию в первом монологе Фауста противопоставляется полнота жизни, воспринятая целостным и неразделенным непосредственным чувством, природа, еще не обедненная абстрактной мыслью. (...) Противоположение науке, отвлеченному знанию, от которого отказывается Фауст, природы, непосредственной полноты жизни, принадлежит Гете и его эпохе». 11

Можно также сравнить разбор диалога Фауста и Вагнера в дневниковой записи 1905 года и в статье 1922 года. В дневнике читаем: «Его критический ум, забывая только что испытанные противоречия реальной действительности и идеала, снова крепко устанавливается на скептический лад. В этом смысле на него повлиял прежде всего Вагнер, этот тип немецкого ученого, заядлого бюргера-буквоеда, признающего только книги и пергаменты, и то ради удовольствия в них рыться. Сам он, конечно, вполне удовлетворен циклом своих познаний и своими умственными способностями. Он с необыкновенным удовольствием изучает историю, т\(a\) к\(a\) его интересует, как наивно думали древние и до каких познаний докопались он, Вагнер, и его современники. "Zwar weiß ich viel, — произносит он с самодовольством, — doch möcht ich alles wissen!" Фауст, несомненно, знает больше своего ученика, но после долголетней работы он кончает тем, что говорит:

Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.¹³

Зато самонадеянный умишко Вагнера делает его неспособным биться над теми высокими вопросами, над которыми бился его учитель».

В статье 1922 года, анализируя тот же диалог, Жирмунский напишет: «Фауст — гениальный ученый, неудовлетворенный ограниченностью своих познаний и стремящийся к знанию безусловному. \langle ...\rangle Вагнер же, напротив, — типичный представитель отвлеченного знания вообще, науки как таковой, ученый — непременно сухой и безжизненный, лишенный непосредственного чувства. \langle ...\rangle Фауст \langle ...\rangle в ответ на ученые увлечения Вагнера: "В пергаменте ль найдем источник мы живой? Ему ли утолить высокие стремленья?"». 14 Но в статье зрелого ученого-германиста, придерживавшегося сравнительно-исторического подхода, здесь же отмечается и тенденция эпохи: «В эпоху Бури и натиска любили изображать ученого-рационалиста, представителя Просвещения XVIII века, в образе, сходном с образом Вагнера». 15

¹⁰ Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика / Предисл. и комм. А. Г. Аствацатурова. СПб., 1996. С. 12.

¹¹ Жирмунский В. Проблема «Фауста» // Гете И. В. Фауст. Ч. I / Пер. Н. А. Холодковского; Под ред. М. Л. Лозинского. Пг.; М., 1922. С. 18.

¹² Хоть много знаю я, но все хотел бы знать (пер. Н. А. Холодковского).

¹³ И не умней я стал в конце концов,

Чем прежде был... Глупец я из глупцов! (пер. Н. А. Холодковского).

¹⁴ Жирмунский В. Проблема «Фауста». С. 20.

¹⁵ Там же.

12 июня Жирмунский вместе с родителями и сестрой уезжает из Петербурга в Германию. Там он продолжает читать «Фауста» и книгу Шахова. 23 июня (6 июля) он разбирает в дневнике вторую сцену гетевской трагелии «У ворот», изображающую пасхальное народное гулянье. Вот как осмысляет в те годы Жирмунский гетевское мировосприятие через описание этих сцен: «Все это явление II сцены написано замечательно живо. Гете сумел угадать чувства и порывы современной ему буржуазии. Он нарисовал их сквозь дымку легкого юмора, но это нисколько не уменьшает реальности картины. Толпа и ее жизнь нашли здесь такое выражение, как ни в каком произведении, ни до, ни после разбираемого». И далее Жирмунский раскрывает характер героя в его отношении к народной культуре: «Какую яркую противуположность массе и ее настроению являет Фауст в его следуюшем монологе. Видно, что Гете еще не вполне отрешился от индивидуализма бурных гениев. Для него толпа — животное, хоть и животное, имеющее свой мозг и свое сердце. (...) Фауст выходит на народное гулянье. (...) Среди веселья толпы, среди радости воскрешающей природы доктор забывает на время свой душевный разлад. Тихое, мягкое настроение, как после только что прошедшей бури, звучит в его словах. В них слышны еще пасхальные песни, в них чувствуется какое-то эпическое спокойствие. Здесь Фауст не страшится более стать Прометеем; сверхчеловеческие порывы становятся ему $_{\text{чуждыми}} \langle ... \rangle$ Действительно, деревенская идиллия очеловечивает каждого, не дает никому резко индивидуализироваться. И герой здесь прежде всего человек, мирный, счастливый человек, внутренняя буря которого затихла на мгновение и покрылась пеленой наружного спокойствия». И далее: «Он чувствует, как его душа раздваивается, как его раздирает внутренняя борьба земного и небесного, плоти и духа. Его титанический ум стремится разбить оковы беспомощности».

Спустя много лет, в статье «Проблема "Фауста"» Жирмунский, находясь под влиянием увлечения романтизмом, уже после написания «Немецкого романтизма и современной мистики», несколько изменит свой юношеский взгляд на эту сцену. Он будет искать в своем герое предтечу будущих немецких романтиков: «Фауст тоже знает о романтическом томлении: радостное весеннее волнение, созерцательное настроение при закате солнца, птицы, пролетающие в воздухе, и для него обозначают возникновение этой тоски по далекому. В разговоре с Вагнером, в сцене прогулки в Светлое Воскресенье, Фауст описывает это переживание в ряде образов, напоминающих немецких романтиков». 16

Как уже говорилось, Жирмунский в эти годы пишет стихи. Увлеченный трагедией Гете, он пытается создать собственный перевод начальных стихов «Пролога на небесах» (знаменитый гимн трех архангелов):

Рафаил:

Светило дня с времен рожденья
В раю подобных сфер звучит.
Свое законное движенье
Оно громами завершит.
В нем ищут силы духов взоры,
И вид тот не для смертных глаз.
Созвездий гармоничных хоры
Прекрасны, как в творенья час!

¹⁶ Там же. С. 29.

Гавриил:

В движенье быстром утопая, Земли мелькает красота, И вслед за дивным блеском рая Приходит ада глубина. Вушует море, плещут волны, Сверкает пена на скале, И в хоре сфер, гармоньи полны Скала и волны, что во сне!

Михаил:

И вихри бурю подымают С морей на землю и назад, В цепи убийственной блистают, Сгоняя туч суровых ряд. И за сверкающей дорогой Вслед раздается страшный гром. Но мы, послы живого Бога, Мы любим свет, мы мощны днем.

Все трое:

Тот вид дает нам силу взора, Тот вид лишь для бессмертных глаз. Творений гармоничных хоры Прекрасны, как в рожденья час.

Находясь в Германии, 18 (31) июля Жирмунский посещает музей Гете во Франкфурте-на-Майне. В описании этого посещения мы видим, с каким волнением взирал будущий ученый на обиталище своего любимого поэта. как он ощущал весь мир гетевского сознания: «Вот мы, наконец, и в доме великого поэта. Со священным трепетом вступал я в те покои, где родился и жил Гете-мальчик, где развился Гете-юноша и куда великий учитель, уже согбенный старостью, так часто любил заглядывать к своей сестре. Дом довольно небольшой; по современным понятиям, он даже прямо-таки бедно обставлен. Но тогда жить, как жили родители Гете, считалось большой роскошью. Все сохранилось нетронутым в покоях, где жил и творил гениальнейший ум двух столетий. Его письменный стол, на котором он написал "Вертер" и "Гётц", лучшие и задушевнейшие произведения молодого гения, его библиотека, откуда он почерпал свои энциклопедические знания, его рояль — одним словом, все, все, точно хозяин только что отлучился куда-то на час или на два. Все дышит простою задушевностью немецкой бюргерской жизни, которая породила в своих недрах величайшие умы Германии. Вот комната, где Гете родился, голая комната, стены оштукатурены, никакой мебели, никаких украшений. Но зато здесь впервые увидало свет крошечное создание, которому суждено было впоследствии озарить весь мир блеском своего гения. Это большее и более драгоценное украшение, чем золото и пурпур дворца Römer или рельефы Майнцского собора».

* * *

Жирмунский отправляется во вторую поездку в Германию, весь погруженный в мир Шиллера и Гете, в мир немецких народных легенд, услышанных еще два года назад, и немецкого Средневековья, представшего перед ним в тюрингенских замках. В это время Германия для него — «центр общечеловеческой цивилизации и культуры». Но теперь он уже не прежний двенадцатилетний мальчик, воспринимавший действительность как разумную данность, по-детски радовавшийся торжественно-имперскому празднованию 200-летия Петербурга, с уважением произносивший имя государя императора. Шел 1905 год, год Первой русской революции. Россию сотрясали политические события. Армия позорно проигрывала японскую войну; власть теряла авторитет; по стране катилась волна мятежей, забастовок. Полгода назад на глазах у всего Петербурга произошло страшное Кровавое воскресенье. Вчерашние подростки быстро взрослели, с волнением читали ежедневные газеты; в них созревало гражданское самосознание, формировалась политическая позиция.

Это не могло не отразиться и на восприятии Жирмунским феномена Германии. Неприятие российской самодержавной власти порождает в нем отталкивание и от германского юнкерского милитаризма. Образ Германии как бы двоится в его сознании, и эта двойственность проходит через страницы дневника, посвященные поездке в Германию. С одной стороны, это страна таинственных легенд, героического средневекового прошлого, страна Гете, Шиллера, поэтов-романтиков, с другой — страна имперских амбиций, шовинизма и юнкерского милитаризма. 14 и 15 июня, описывая свои впечатления о Берлине, Жирмунский восхищается Пергамским музеем, музеем Народоведения, как всегда скрупулезно описывая экспонаты; он издали любуется зданием университета, называя его «храмом науки». Но тут же иронически замечает: «Унтер-ден-Линден кончается королевским дворцом, большим черным зданием, чем-то смахивающим на казарму. Но это неудивительно при современном юнкерском направлении его германского величества. Напротив дворца стоит прекрасный памятник Фридриха Великого. Идеал Вильгельма помещен под его же окном. (Это одно из преимуществ монарха: он может поставить себе свой идеал под самым окном дворца!)».

Эта двойственность образа Германии в сознании Жирмунского еще более усиливается при описании Гарца. В первый же день приезда Жирмунский видит высокую гору Бургберг. На ее вершине стоит, обозреваемый отовсюду, $15\frac{1}{2}$ -метровый обелиск — памятник Бисмарку, с высеченной надписью «Nach Canossa gehen wir nicht!» («Мы не пойдем в Каноссу!») — слова, произнесенные Бисмарком 14 мая 1872 года. Памятник был воздвигнут в 1877 году, в 800-летнюю годовщину покаянного «пути в Каноссу» германского императора Генриха IV к римскому папе Григорию VII. Там же стоял когда-то средневековый замок Гарцбург. Прошлое и настоящее сошлись на этой вершине и вызвали горькие строки в дневнике Жирмунского: «Замок Гарцбург играл значительную роль в истории Священной Римской империи при Гогенцоллернах. Всегда опора феодализма против народа, он был главной защитой Генриха IV, но в его царствование был срыт и вновь построен несколько раз. Теперь он пал, как верный часовой на своем посту, и его могилу попирает самодовольный бюргер, как Вагнер (в Гетевом «Фаусте»), любитель старины. Чудный вид на окружающие горы имели рыцари со своего орлиного гнезда. Перед ними как на ладони расстилался Гарц. Вдали чернел двуглавый Броккен, а с противоположной стороны необозримые поля спускались в северную равнину. И здесь, среди этой дикой красоты, немцы воздвигли памятник своему Бисмарку, этому отцу юнкерства и шовинизма. Он гордо царит над равниной, и над дивной природой, и над старой мшистой замковой стеной, и над стадом чернеющих вокруг гор. Это победный столп ассирийского Ассурбанапала, пишущего кровавыми буквами 70-го года».

И все же юноша верит в победу светлых, гуманистических сил немецкого народа. В нем по-прежнему жив Шиллер. Он мысленно призывает: «Проснись, Германия, или лучше не засни. Помни об идеалах Позы, и пока они будут твоими, семя добра не погибнет и за твоими штыками, и в самом чугуне твоих смертоносных орудий». Эту веру в нем поддерживает память о немецких романтиках: «В тенистом уголке леса, на той же вершине прижился другой камень. Он изъеден лишайником, как та старая крепостная стена, и вместо хвастливого возгласа нарождающегося милитаризма на ней красуется скромная, простая надпись: "В 1846 году эту вершину посетил Лудвиг Уланд". Не знаю, как другим, но моему сердцу эти слова говорят гораздо больше, чем самодовольно-буржуазное: "Nach Canossa gehen wir nicht" Бисмарка».

Эта же двойственность восприятия Жирмунским образа Германии отражена и в записях о путешествии по Рейну, когда с парохода он смотрел на город Рюдесгейм: «На заднем плане виднеется старинный замок Иоганнесберг, темный, насупившийся, почти сливающийся со скалами. Несколько далее гора Niederwald. На ее верхушке виднеется гигантская статуя "Освобожденной Германии". В одной руке она держит императорскую корону, другая грозно сжимает боевой меч. Статуя видна на несколько верст расстояния. Она осеняет всю историческую долину Рейна, тот путь, по которому новоизбранные римские императоры ехали в Вормс, чтобы там короноваться на престол. Здесь, у подножья аллегорического изображения новорожденной федерации, впервые были высечены слова "Wacht am Rhein", впоследствии ставшие гимном германской шовинистической партии. В этом изображении, под рукой его гениального автора, можно сказать, совокупились все добродетели и пороки возрожденной Германии, ее положительная и отрицательная историческая роль. С одной стороны, свежесть и величие молодой страны, сумевшей благодаря трудолюбию своих граждан занять первое место среди культурных стран Европы! С другой стороны, недостатки в новом виде, милитаризм, мозолящий цивилизации глаза со времен основания в только что испеченной форме немецкого юнкерства и Wacht am Rhein».

Раздвоение образа Германии в сознании Жирмунского проходило и в другом плане. На протяжении всего путешествия его поражает резкий контраст между величественной природой, овеянной легендами, и пошлостью современного немецкого бюргерства. Это напоминало романтическое двоемирие у Гофмана или Блока. Вот он описывает впечатления от прогудки по Гарцу: «Рабенклиппе в дословном переводе обозначает Вороний Утес. Но это не один, а целых два утеса, круто подымающихся над долиной на несколько десятков метров. Это даже скорее бесчисленное множество скал, нагроможденных друг на друга и соединенных в живописную группу. Действительно, такое дикое, чарующее впечатление, как в какой-нибудь древнегерманской или скандинавской саге. Так и ждешь, что сейчас прилетит стая белых воронов и, стряхнув свои перья, превратится в статных рыцарей. Жаль, что наш человеческий язык так слаб и немощен; мне положительно не хватает слов. Такое соединение дикого горного ландшафта с лесной идиллией, мирного, чарующего вида с подавляющей красотой этого утеса. Едва ли даже стихи или музыка способны передать такое настроение, полное чарующих контрастов. И опять немцы поставили здесь свой несносный Hotel und Restaurant! Правда, мы им воспользовались без зазрения совести (что делать, таковы все люди), но все-таки стыдно за себя и за хваленую германскую эстетику. Хороша эстетика в Wienenschnitzel'е и в стакане Bier Pilsner».

Те же мысли приходят ему в голову при созерцании искусственного водопада, сооруженного на ручье Ромкер, впадающем в реку Оккер: «Зато сколько прелести, сколько наслаждения доставил нам искусственный водопад ручья Römkehr, впадающего в Оккер. Правда, дело человеческих рук может иногда превзойти творение природы. Вода Ромкер срывается вниз со скалы в 65 метров. Сперва сплошная белая струя, она скоро разбивается об уступы утеса и ниспадает вниз миллионами живописных струек. Все это так прозрачно, так воздушно, как мираж или мечта. В действительности трудно предположить эту легкость водяных брызг. Эти веселые переливания серебристых струек; этот неумолкаемый мелодичный говор, который клонит к волшебному сну, полному счастливых сказочных грез. Ах, как хорошо здесь забыться, отдохнуть от земной тревоги и, склонив отяжелевшую голову на влажный камень, улететь в волшебную страну фантазии, где и зимой цветут цветы, а на самых голых утесах произрастают роскошный плющ и золотистая лилия.

К сожалению, приходится от поэзии снова вернуться к прозе. Я хотел на примере Römkehrfall'а еще раз показать немецкую практичность; например: стоит скала, и невдалеке протекает ручей. Отчего бы не направить ручей на скалу и не устроить живописный водопад? А додумается до этого только немец. К группе Käste, Mausefalle и т. д. отовсюду стекаются туристы. А из ближайшего места пешком надо идти часа три-четыре; следственно, для туристов требуется ресторан. А такой найдется только в Германии. И много там этих ресторанов. При этом каждый из них торгует очень бойко, набивая себе карман на счет двух свойств любителей природы: аппетита, с одной стороны, и доверчивости — с другой. Первое свойство эксплуатируют хозяева, второе — кельнера, за которыми рекомендуется следить при расплачивании. Что ж! у каждого барана своя фантазия!»

При этом Жирмунский с большой теплотой и сочувствием пишет о рядовых, трудовых немцах. Вот 28 июня, во время прогулки в горы, простой кучер любезно, доброжелательно показывает туристам дорогу: «Здесь кучер посоветовал нам слезть и пойти пешком до гостиницы Romkerhall, причем он отечески объяснил нам весь путь: "Best gehen hin rechts nach der Käste und kehren alsdann links zurück durch die Mausefalle, Hexenküche, Feigenbaumklippe und Grotte nach der Romkerfalle" и т. д. и т. п. Очень любезный вообще господин, наш извозчик. Он знает, кажется, все сказания Гарца наизусть и, главное, верит в них, что улучшает, я уверен, качество его рассказа».

Уважением к немецкому трудолюбию и дисциплине проникнуты и рассказы Жирмунского-отца, практиковавшего в то лето в берлинской клинике: «Папа восхищен немецкой работоспособностью. Операции назначаются обыкновенно в 7 часов утра, и это в больнице, где больной находится во всякую минуту в распоряжении врачебного персонала. И так с 7 часов утра продолжается весь день до самого вечера, каждый месяц, каждый год. Действительно, поразительное трудолюбие!»

Как и в первую поездку, Жирмунский заносит в дневник все услышанные им народные легенды, связанные с местами, которые он видит. Вот как

 $^{^{17}}$ «Лучше всего пойти направо к Кесте, затем вернуться налево через Мышеловку, Кухню ведьмы, утес Фейгенбаум и Грот к водопаду Ромкер» (нем.).

6 (19) июля он описывает утес «Чертова Стена»: «Много легенд сложилось в уме простого народа про эту таинственную стену из старых, сумрачных утесов. Говорят, что давным-давно, когда тюрингский король явился насаждать в Гарце огнем и мечом свою христианскую веру и когда одно за другим языческие племена горцев приняли новую религию, демон зла решил среди самой природы воздвигнуть препятствие враждебному ему нашествию. И вот по его приказанию стали слетаться со всех сторон духи тьмы и искушения. Из земли выползли гномы, повелители каменного царства, таща за собой громадные обломки камней и утесов. Под покровом темноты закипела неутомимая работа; в одну ночь выросла громадная стена, подобной которой по высоте дотоле не было на всем земном шаре. Гордо прогуливался сатана, посматривая с любовью на свое детище. (...) Наконец первый луч солнца прорезал тьму; еще несколько минут, и на голубом небосклоне засияло светило дня во всей своей красе. Но что сделалось со стеной и с его титанической работой! У ног духа зла лежали остатки этой работы в виде бесформенных утесов; творение ночи не вынесло яркого света дня! Так гласит преданье, которое до сих пор живо в устах народа». 18

7 (20) июля Жирмунский в одиночестве поднимается на утес Ростраппе, возвышающийся над рекой Бода. Стоя возле скалы, он вспоминает народную легенду о рыцаре Бодо, преследовавшем Брунгильду, которая спешила на коне к своему возлюбленному Конраду: «Верный конь вынес Брунгильду на своей спине; он спас жизнь и честь своей госпожи. Он не дрогнул, не испугался! Он перескочил! А там, в глубине долины, где серебристая речка, пенясь, пролагает себе путь среди камней, там разбилось тело прекрасного Бодо. Там он нашел себе смерть и могилу, среди неумолкаемого ропота водяных струй. Говорят, душа мрачного витязя переселилась в тело отвратительного дракона. Он осужден до трубного дня сторожить золотую корону, единственное, что ему оставила спасенная Брунгильда». 19

Вся запись от 7 (20) июля 1905 года, включающая легенду о Бодо, была впоследствии опубликована В. Жирмунским в журнале «Тенишевец» (февраль 1907 года, с. 84—86) под заголовком «Страница из дневника путешествия по Гарцу (В долине Боды)» за подписью «Не-Гейне».

Brocken—Panorama. Leipzig; Wien, 1903. S. 53. (Bibliographisches Institut).

¹⁸ Легенда о происхождении названия «Чертова Стена» (Teufelsmauer) изложена несколько иначе в путеводителе «Führer und Sagen von Blankenburg» (Harz: Bad Haarzburg. S. 37—43).

19 Легенда изложена по: Der Harz: Grosse Ausgabe: Mit 21 Karten und Plänen und einem

Знакомится Жирмунский и с легендами более нового времени. 13 (26) июля, в Висбадене, Жирмунские побывали на экскурсии в пещере Лейхтвейсса. Их сопровождал местный проводник, сторож. «Его наружность не была из внушающих доверие. Это был настоящий немецкий медведь по внешности, по походке, по всему. Его голос, довольно неестественный, звучал как-то замогильно. Стуча своей деревянной ногой, он кивнул нам головой, и вслед за ним мы спустились в первое зало пещеры». Проводник рассказывает туристам легенду о разбойнике Лейхтвейссе. «Сто лет тому назад», так звучал рассказ сторожа, «здесь жил разбойник Лейхтвейсс со своей женой. Заманивая к себе прохожих, он грабил и убивал их, причем обыкновенно выходил на свои похождения ночью. Днем он скрывался в пещере. Висбаден и окрестности никогда не были спокойны, и каждую минуту приходилось быть настороже. Наконец, однажды логовище разбойника было открыто. Его самого арестовали и отправили на каторгу, и его жену тоже! С тех пор пещеру сделали доступной для посещения!»

15 (28) июля, во время водной прогулки по Рейну на пароходе «Барбаросса», Жирмунский с родителями проплывает мимо скалы Лорелеи. Здесь он, конечно, вспоминает Гейне: «Лорелея почти каждому известна по стихотворению Гейне того же имени. Из произведений великого скорбника это мое любимое стихотворение, в особенности в его музыкальной переделке. По-моему, на всем течении Рейна нет другой такой красивой скалы, как эта. Недаром легенда выбрала ее для трона владычицы Рейна. Я воображаю, как красив этот утес ночью при лунном освещении, когда все время имеешь в голове таинственную сагу и жадными глазами ищешь, что вот-вот в лунном сиянье блеснет серебристое покрывало русалки, и она появится во всей своей красе там, наверху, под облаками. Я думаю, что в волшебные лунные ночи, какие только бывают здесь, на юге, не один рыбак погибал, забывшись перед красотою картины. Сказка права. Лорелея — олицетворение этой красоты природы, может быть, может быть, принесшее смерть. Но что может быть краше подобной смерти!»

Немецкие народные легенды и сказания, записанные Жирмунским в юношеских дневниках 1903 и особенно 1905 года, оказали сильное влияние на его восприятие немецкой культуры и впоследствии сыграли важную роль в его дальнейших исследованиях по фольклористике. Во второй половине 1920-х годов он неоднократно ездит в экспедиции в немецкие колонии на Украину и в Ленинградскую область, где записывает песни, баллады и сказания со слов немецких колонистов. Результаты этих исследований нашли отражение в его научных трудах по немецкому фольклору конца 20-х—начала 30-х годов, опубликованных в СССР и в Германии. 20

* * *

Подводя итог обзору юношеских дневников Жирмунского, можно со всей очевидностью утверждать, что, когда после окончания Тенишевского училища он остановил свой выбор на романо-германском отделении Петер-

²⁰ См.: Жирмунский В. М. 1) Die deutschen Kolonien in der Ukraine: Geschichte. Mundarten. Volkslied. Volkskunde. М., 1928; 2) Проблемы формы в германском эпосе // Поэтика: Сб. ст. Л.: Academia, 1928. С. 90—113; 3) Die Ballade von «König aus Mailand» in den Wolga-Kolonien // Jb. Für Volksliedforschung. 1928. Jg. 1. С. 160—169; 4) Das kolonistische Lied in Russland // Ztschr. Des Vereins für Volkskunde. 1928. Jg. 37/38, H. 4/5. С. 182—215; 5) К вопросу о странствующих сюжетах: Литературные отношения Франции и Германии в области песенного фольклора // Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук. 1935. № 9. С. 775—811.

⁴ Русская литература, № 1, 2008 г.

бургского университета для продолжения образования, выбор его был предопределенным и осознанным. К этому времени в его сознание прочно и глубоко вошла немецкая культура. Он читал всего Шиллера, прекрасно разбираясь в проблематике его драм, в его идейной эволюции; знал и любил Гете; делал попытки самостоятельного анализа сцен «Фауста»; читал о нем научно-критическую литературу. Он был прекрасно знаком с немецкими народными легендами, со средневековой историей Германии; он видел эту историю и слышал эти легенды во время своих путешествий. В семинар Ф. А. Брауна он пришел блестяще подготовленным, что и обусловило дальнейшее направление его студенческого обучения, а позднее и научной деятельности.

МОИ ВСТРЕЧИ С В. М. ЖИРМУНСКИМ

В июне 1968 года в связи с подготовкой пятого тома «Истории всемирной литературы» я организовал научную сессию по проблемам просветительского реализма в ИМЛИ. Директор института Борис Леонтьевич Сучков отказался председательствовать на сессии, заявив, что он не согласен с концепцией Тураева, но не возражает против проведения сессии. Возглавить сессию он поручил Р. М. Самарину. Народу собралось довольно много. Приехали из Ленинграда западники и востоковеды. Появился и Виктор Максимович Жирмунский с женой Ниной Александровной. Он сказал мне: «Я пришел, чтобы поддержать Вас». Было время открывать заседание. Я предложил В. М. Жирмунскому, Д. Д. Благому и другим видным ученым занять места в президиуме. А Самарин не появлялся. Я пошел его разыскивать. Он раздраженно сказал, что не хочет сидеть рядом с Жирмунским. Я спрашиваю, что же делать. Открывайте сами — был ответ. Я сказал, что не могу, потому что выступаю с первым докладом. Наконец, мы договорились, что Роман Михайлович откроет заседание, выслушает мой доклад и передаст мне руководство. Больше он на сессии не появлялся.

В чем же была причина столь острого конфликта? Об этом я скажу позже. А сейчас вернемся на три десятилетия назад.

Ленинград. Университетская набережная, 11. Трехэтажное здание, весьма скромное на фоне архитектурных шедевров города на Неве. В 30-е годы здесь размещался Ленинградский институт истории, философии, литературы и лингвистики (ЛИФЛИ). Московский аналог — МИФЛИ — существенно уступал ленинградскому, прежде всего по диапазону изучаемых языков. В те годы было неспокойно на Дальнем Востоке, и в ЛИФЛИ училась большая группа переводчиков с японского. Им платили повышенную стипендию и на завтрак давали белый хлеб. На литературном факультете работали многие выдающиеся ученые. Было что-то от актерского мастерства в лекциях Стефана Стефановича Мокульского по литературе XVIII века. В другой манере выступал Наум Яковлевич Берковский. Он двигался по аудитории, как бы про себя размышляя, не обращая внимания на слушателей. Темпераментный Григорий Александрович Гуковский рассказывал о русских писателях XVIII века в таком тоне и с такими деталями, что казалось, будто он вчера побывал в гостях у Державина.

Выдающемуся филологу Г. А. Гуковскому были органически чужды догматические установки сталинского времени. Когда в 1948 году в Москве была созвана Общероссийская конференция по литературе в свете известных постановлений ЦК КПСС по идеологическим вопросам, Григорий Александрович остроумно выступил против тех, кто пытается судить классиков прошлого с позиций социалистического реализма: «Ведь что получается: Бальзак — большой писатель, но ему чего-то не хватает в сравнении, например, с Фадеевым, не "вышел" он на должный уровень». Такие смелые высказывания могли закончиться только одним — арестом. У него

было больное сердце, и Григорий Александрович не выдержал тюремного режима.

В сентябре 1935 года в аудитории, где собралась небольшая немецкая группа западного отделения литфака, студенты впервые встретились с Виктором Максимовичем Жирмунским. Ему в это время было 44 года: он родился 21 июля (2 августа) 1891 года в Петербурге. Жирмунский начал читать курс средневековой немецкой литературы, но успел прочесть только четыре или пять лекций — и в конце сентября был арестован. К сожалению, в те годы мы не раз в такой форме расставались со своими учителями. Бесследно исчез доцент Лев Львович Раков, который читал историю античного общества. Он работал в Эрмитаже и по совместительству в ЛИФЛИ. Читал он в приподнятом тоне и восхищался Периклом, который, по его словам, был бдительным без подозрительности. Я думаю, что в этом усмотрели намек на нашу тогдашнюю действительность. На пять лет был осужден профессор Сергей Арсеньевич Малахов (1902—1973) — за то, что голосовал за троцкистов. Его красивая, умная и энергичная жена дошла в Москве неизвестно до каких высоких чинов, но добилась его освобождения. Бывало и такое.

Рассказывали, что кто-то из высокопоставленных людей заступился за Жирмунского — по-видимому, это был Н. И. Бухарин, с которым Жирмунский встречался в Академии наук и имел постоянный контакт во время юбилея Гете в 1932 году. В январе Жирмунский снова появился в институте. Читал он академически строго, сидя за столом и перебирая маленькие листочки с цитатами. Вскоре он прочел нам курс «Гете и его время». В центре его внимания был молодой Гете. Именно об этом периоде он обстоятельно рассказывал. Он подробно характеризовал окружение Гете и так часто употреблял слова «друг молодого Гете», что мы стали воспринимать это выражение с какой-то веселостью. Странно, но я совершенно не помню, что он говорил о позднем Гете. Во всяком случае, об отношениях поэта с романтиками говорилось как-то мимоходом, может быть, потому, что в это время Н. Я. Берковский читал спецкурс по немецкому романтизму. Незадолго до окончания пятого курса Виктор Максимович устроил проверку знаний немецкого языка. Всем нам были розданы немецкие тексты, предоставлено минимальное время для подготовки без словарей. Каждый должен был перевести страничку предложенного текста. Иностранные языки на литфаке — их было два — изучались только пассивно, так что мы могли читать и понимать текст. Преподаватель говорил с нами только по-русски. Считалось, что разговаривать с немцами нам не придется: в Германии у власти были фашисты. И вообще разговаривать с иностранцами не разрешалось.

ЛИФЛИ в последние месяцы моего пребывания в нем (1937 год) был включен в состав университета, и дипломы мы уже получили университетские. Все окончившие ЛИФЛИ были отправлены на работу в периферийные вузы. Я читал курс западной литературы в Чувашском пединституте. Осенью 1938 года по договоренности с Виктором Максимовичем я сдал аспирантские экзамены и, со скандалом уйдя из Чувашского пединститута, начал учиться в аспирантуре. Виктор Максимович был строгим руководителем, но никогда не навязывал аспиранту своих взглядов. Он вкратце рассказал мне, как он оценивает творчество Вакенродера, на что я ему ответил, что это общее мнение немецких ученых и диссертация не должна его механически повторять. «У меня другая точка зрения, — сказал я ему, — иначе незачем пи-

¹ В. М. Жирмунский был арестован трижды: в 1933, в 1935 и в 1941 году. В 1935 году его освобождению содействовала Н. К. Крупская, лично знакома с которой была первая жена В. М. Жирмунского, Т. Н. Жирмунская (Яковлева).

сать диссертацию». И когда мы с ним встречались, как правило, раз в месяц, он мне обычно говорил: «Если стать на *Вашу* точку зрения, то Вам делесообразно прочесть то-то и то-то». В частности, он рекомендовал всерьез заняться историей живописи. Он договорился с руководством Эрмитажа, чтобы мне выдали полугодовой пропуск, и я ходил туда, как на работу: в замечательной эрмитажной библиотеке можно было познакомиться не только с трудами искусствоведов, но и увидеть репродукции картин, о которых писал Вакенродер.

Виктор Максимович строго следил за сроками выполнения плана работы над диссертацией: она должна быть готова к апрелю, чтобы ее можно было защитить до конца учебного года. По тогдашним правилам, никаких обсуждений не было: научный руководитель сам решал вопрос о готовности диссертации. И мне очень повезло: защита была назначена на 24 июня 1941 года, на тот день, когда я должен был, согласно мобилизационному листку, явиться на призывной пункт. Авторефератов тогда не было, печатались только тезисы на четырех страничках. Защита прошла хорошо, на эмоциональном подъеме. Виктор Максимович трогательно со мной простился, и я сразу же, не заходя домой, отправился на призывной пункт.

Жирмунский эвакуировался не в Саратов с университетом, а с Академией наук в Ташкент. Виктор Максимович никогда не терял зря времени и скоро оказался в составе группы, изучавшей персидский язык. В группе было всего четыре человека, в том числе и Нина Александровна Сигал. Как мне рассказывала одна из участниц этих курсов, вскоре стали заметны взаимные симпатии Виктора Максимовича и Нины Александровны. И стихи Хафиза о любви обрели особую интонацию. По возвращении в Ленинград Виктор Максимович развелся со своей первой женой и женился на Нине Сигал.

Нина Александровна была крупным ученым, специалистом по французской и немецкой литературе XVII—XVIII веков. Выступала она и как переводчица. В частности, заново перевела «Ундину» Фуке, соревнуясь с В. А. Жуковским. «Ундина» была опубликована в серии «Литературные памятники» в 1990 году. Ей принадлежат предисловие и комментарии к трактату Буало «Поэтическое искусство» (М., 1957). Нина Александровна подготовила к изданию, была автором статьи и комментария к трагедиям Расина (Л., 1977. Сер. «Лит. памятники»). В издании «Фантастические повести» «Влюбленный дьявол» Жана Казота дан в ее переводе. После кончины Виктора Максимовича она отодвинула в сторону все свои научные планы и несколько лет посвятила себя изданию его трудов: как известно, под ее редакцией вышло семь томов собрания сочинений Жирмунского (1974—1981). Нина Александровна погибла 31 октября 1991 года в возрасте 72 лет, попав под колеса машины перед зданием своей аlma mater на Университетской наб., 11.

Но вернемся к конфликту между Жирмунским и Самариным, который возник в связи с подготовкой «Истории немецкой литературы». Дело в том, что работа над этим изданием началась еще до войны в Пушкинском Доме под руководством В. М. Жирмунского. Насколько помнится, были готовы рукописи уже двух томов. В 1948 году, в связи с начавшейся кампанией против «космополитизма», Роман Михайлович Самарин добился перевода этого издания в Москву под предлогом, что рукопись Жирмунского не отвечает требованиям времени. Это вызвало шок в Ленинграде.

На Ученом совете в ИМЛИ ленинградская рукопись была подвергнута резкой критике. В обсуждении принял участие известный ленинградский ученый Б. Я. Гейман. Какие-то замечания высказал и я. Самую непримири-

мую позицию занимал Р. М. Самарин, его отношение к В. М. Жирмунскому было бестактным.

Разумеется, Виктор Максимович был очень обижен, когда его отстранили от издания «Истории немецкой литературы». Где-то в кулуарах он сказал: «А какое, собственно, отношение к немецкой литературе имеет Самарин?» Дело в том, что кандидатская диссертация Романа Михайловича была посвящена французской литературе XVI века, а докторская — Мильтону.

Только по просьбе директора института И. И. Анисимова Виктор Максимович согласился принять участие в нашем издании, вошел в состав редколлегии. Уже в 1972 году Нина Александровна совместно с М. Л. Тронской опубликовала главы из ленинградского варианта «Истории немецкой литературы» в книге под общим названием «Очерки по истории классической немецкой литературы».

Находясь в составе редколлегии «Истории немецкой литературы», В. М. Жирмунский оказывал нам серьезную помощь. Вспоминаю одну любопытную встречу. Я навестил Виктора Максимовича в номере гостиницы «Москва». Разговор зашел об Эйхендорфе, которого тогда было принято относить к реакционным романтикам. Виктор Максимович вспомнил свою молодость, годы учебы в Германии, и рассказал о традиции странничества, когда в каникулы студенты странствовали по стране, о чем мы имели представление по «Путевым картинам» Гейне. При этом он схватил трость, запел песню Эйхендорфа и прошелся по комнате, вызвав улыбку у меня и у Нины Александровны. Так Жирмунский напомнил, что песни Эйхендорфа стали народными песнями, и это надо иметь в виду при создании «Истории немецкой литературы».

В послевоенные годы я как-то встретился с Виктором Максимовичем и задал ему довольно наивный вопрос: как он думает, стоит ли писать докторскую о творчестве Ленау, над которым я начал работать. На это Виктор Максимович строго отпарировал: «Сейчас многие молодые кандидаты ставят в план кафедры тему своей будущей докторской диссертации. Это несерьезно и несолидно, и не имеет ничего общего с подлинным научным исследованием. Тема докторской диссертации формулируется лишь после многих поисков, публикаций, каких-то отдельных открытий...» Так Виктор Максимович продолжал меня воспитывать. Я не стал с ним спорить, хотя изучение творчества Ленау тоже было для меня поиском.

В 1948 году Сталин развернул кампанию против так называемого «космополитизма». Последствия этой кампании были поистине трагическими. Многие литературоведы еврейской национальности были репрессированы. Некоторые крупные ученые были сняты с работы, например в МГУ и Институте мировой литературы, и откомандированы в другие вузы. Так, известный горьковед Б. А. Бялик был направлен в Воронеж, а профессор Рубинштейн из МГУ и Т. Л. Мотылева, только что защитившая докторскую диссертацию о мировом значении Л. Толстого, были направлены в Библиотечный институт. Это был, конечно, наилучший вариант в условиях того времени.

В Ленинграде на западном отделении ЛИФЛИ училась Т. В. Вановская. Она защитила кандидатскую диссертацию по творчеству А. Дюма и развернула кампанию против Жирмунского. Никакие заслуги Виктора Максимовича, автора многих солидных трудов, не принимались во внимание. Виктор Максимович был освобожден от обязанностей заведующего кафедрой зарубежной литературы, а на его место была назначена Вановская. Изгнанный из университета, Виктор Максимович впоследствии стал работать

в Институте языкознания, где заведовал Сектором индоевропейских языков вплоть до своей кончины в 1971 году.

Борьба против космополитизма сказалась не только на личных судьбах ученых. Стало модным и актуальным критиковать все западное. И нам, литературоведам, навязывали совершенно антинаучную позицию. Как это практически выглядело, могу сослаться на собственный пример. В Библиотечном институте, где я читал лекции по западноевропейской литературе, против меня выступила одна из высокоидейных дам кафедры марксизма. Она заявила на Ученом совете, что Тураев «восхваляет Шиллера». К счастью, заведующий кафедрой не поддался этой идеологической истерии и заставил даму замолчать, сославшись на Белинского и Чернышевского, которые высоко ценили творчество великого немецкого поэта и драматурга.

Были случаи отмены уже защищенных диссертаций под предлогом «преклонения перед Западом».

В своих мемуарах «Мои учителя, мои старшие коллеги»² я подробно рассказал о той непростой ситуации, которая сложилась при подготовке «Истории всемирной литературы» (пятый том, посвященный XVIII веку). В нашем большом авторском коллективе произошел раскол: одни авторы стояли на позиции академика Конрада, который пытался доказать, что страны Востока прошли в XVIII веке через этап Просвещения, как и страны Запада. Другие авторы считали теорию Конрада необоснованной, механически переносившей термины и понятия западной культуры на культуру Востока. Редколлегия пятого тома после ряда дискуссий отказалась принять концепцию Конрада. И тут мы получили неожиданную поддержку: видный специалист по китайской литературе профессор Л. З. Эйдлин опубликовал обстоятельную статью, в которой буквально разгромил Конрада. Виктор Максимович был связан с Конрадом многолетней дружбой, однако его идеи восточного Просвещения не разделял. В этот спор он не вмешивался, так как не занимался литературой Востока и потому не считал себя компетентным в этом вопросе. Но статья Эйдлина встревожила его, он понимал, что Николай Иосифович не переживет этого удара. И в самом деле, вскоре Конрад скончался. На похоронах Жирмунский выступил с гневной речью, в которой обвинял профессора Эйдлина. Ситуация была сложной. «Ведь прав все-таки Эйдлин», — говорил я Виктору Максимовичу. Он соглашался со мной, но считал, что академические споры следует вести в достойной форме. Привожу письмо В. М. Жирмунского от 7 ноября 1970 года, в котором он подробно останавливается на трагической ситуации: «На Ваше откровенное письмо считаю себя обязанным ответить так же откровенно. Нет, дорогой Сергей Васильевич, это не "научный спор", как Вам по чистоте душевной кажется, а подлое убийство из-за угла. Вот смысл статьи Эйдлина: существуют ученые, которые знают материал и изучают факты и из этих фактов строят свои выводы; и существуют другие ученые, которые плохо знают факты, не считаются с теми фактами, которые знают, создают безответственные, ничем не доказанные и недоказуемые гипотезы и своим авторитетом декретируют в качестве истины свои собственные домыслы, идущие во вред науке и ничего общего с наукой не имеющие. К этому последнему типу принадлежит акад. Конрад со своей высосанной из пальца теорией "Восточного Возрождения"; к первому типу принадлежал покойный акад. В. М. Алексеев, который ему противопоставляется как образец глубоких знаний и проникновения в научную литературу. Просто надо знать, что по-

 $^{^2}$ Typaes C. В. Мои учителя, мои старшие коллеги // Литература и общество. Взгляд из XXI века. Тюмень, 2002. С. 236—254.

койный В. М. Алексеев, с которым я был в очень добрых, приятельских отношениях, принимал Н. И. Конрада недоброжелательно и до самой своей смерти препятствовал его избранию в академики.

Если Вы внимательно прочитаете статью г-на Эйдлина, Вы убедитесь, что я прав. Если Вам не хочется этого делать, прочитайте хотя бы на двух последних страницах о "синологической грамотности" в БСЭ и выводах из цитирования В. М. Алексеева, которые делает автор статьи. Эйдлин доставил себе особое удовольствие, называя каждый раз без всякой необходимости "Запад и Восток" не "книгой", а "собранием статей". Возможно, что Н. И. Конрад не получил Ленинской премии, потому что Келдыш в двух своих выступлениях в Ленинском комитете сказал о труде Н. И. Конрада: "Это — собрание статей, а за собрание статей Ленинской премии не дают".

Разбирать те интриги, которые привели к смерти Н. И. Конрада, я не могу и не желаю. Вам, однако, известно, что главным действующим лицом был во всем этом деле член-корр. Федоренко, которому Николай Иосифович решительно отказал в поддержке на выборах в Академию — четыре года назад, как и сейчас. Разумеется, задача, которую выполнял Эйдлин, заключалась не в том, чтобы убить Конрада, а чтобы инвалидировать его, снять с него авторитет, вывести его из игры. К сожалению, Николай Иосифович был человек пожилой и легко ранимый — да и что он мог ответить на статью Эйдлина, такую "вежливую" и "академическую": доказывать, что он знает китайскую литературу не хуже Эйдлина и что он ученый не легкомысленный и безответственный, а такой же умный и серьезный, как В. М. Алексеев и как г-н Эйдлин?

Вы правильно напоминаете мне о моих идейных разногласиях с погибшим Н. И. Конрадом. Я был с ним очень дружен, хотя его идеи "мирового ренессанса" никогда не разделял. Но наши разногласия лежали в другой плоскости — плоскости "научных споров", о которых Вы говорите, а не хулиганских нападениях из-за угла».

Конечно, это очень грустно, говорил я Виктору Максимовичу, но все-таки научная истина принадлежит Льву Залмановичу, который завершает свою статью словами известного китаеведа В. М. Алексеева: «Когда появится статья "Китай" в БСЭ, я точно так же буду ее рекомендовать, если только синологическая грамотность в ней (или в них) достаточно соблюдена и если установленные истины не будут смешаны с личными воззрениями, предположениями, теориями».³

В 1971 году научная общественность готовилась отметить 80-летний юбилей Виктора Максимовича, но сборник, подготовленный в его честь, пришлось посвятить его памяти. В статье-некрологе в Известиях ОЛЯ АН СССР Ефим Григорьевич Эткинд писал: «Пример многогранной научной деятельности Жирмунского-литературоведа свидетельствует о том, насколько плодотворно соединение различных и, казалось бы, далеких друг от друга областей филологии, насколько важно для историка литературы быть теоретиком, для теоретика — историком, для того и другого — лингвистом». 4

³ Эй∂лин Л. Идеи и факты. Несколько вопросов по поводу китайского Возрождения // Иностранная литература. 1970. № 8. С. 228.

 $^{^4}$ Эткинд Е. Г. Путь В. М. Жирмунского — исследователя литературы // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1971. Т. ХХХ. Вып. 4. С. 297.

ПОЛЕМИКА

© Д. М. Буланин

ДУХ ПРАЗДНОСЛОВИЯ

(В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ КНИГИ А. Л. ЮРГАНОВА «УБИТЬ БЕСА»¹)

Мандрагоры имманентные Зашуршали в камышах.

Владимир Соловьев

Мысли, которыми я решаюсь здесь поделиться, сосредоточены вокруг одной-единственной книги. Спешу заверить, что такое ограничение, ограничение разбором одной книги, — всего лишь удобный композиционный прием. Допускаю, что кого-нибудь привлечет ее интригующее — на американский манер — заглавие: «Убить беса: Путь от Средневековья к Новому времени». Но мною книга выбрана не по той причине, что ей дано название, более уместное для приключенческого романа или детектива. И не по той еще, что она представляет собой заметную веху в творчестве довольно-таки плодовитого автора А. Л. Юрганова. И не по той, разумеется, что это выдающийся памятник современной историко-литературной науки. Дело в том, что книга А. Л. Юрганова является характерным представителем некоего класса, весьма значительного раздела книжной продукции России за последние годы, класса, состоящего из произведений, которые облечены в форму научных исследований, а по содержанию весьма далеко отстоят от гуманитарных наук в классическом их понимании. Да и от наук вообще как особого направления творческой деятельности человека. Рассматриваемая книга содержит много материала, который помогает выделить и сделать предметом анализа расхождения между традицией, представленной совокупностью прежних научных исследований, с одной стороны, и новациями, реализованными в книгах, которые принадлежат к упомянутому классу и имитируют научные исследования, с другой стороны. Рассматриваемая книга репрезентативна и симптоматична. Она не предназначена для чтения, автору не нужен читатель — нечто неизвестное книжной культуре прошлого и, вероятно, с трудом постигаемое разумом для тех, кто оперирует категориями этой культуры.

Начнем по порядку. Сначала договоримся, кого мы разумеем под словом читатель. Писатель и читатель — это два полюса, которые не могут существовать один без другого. При здоровом состоянии науки и культуры сказать, что писатель не может писать за отсутствием удовлетворяющего его требованиям читателя, столь же бессмысленно, как сказать, что читателю нечего читать, ибо никто не пишет сообразно его требованиям. Но у тех, кто поражен болезнью, бывают странные, порой извращенные вкусы... Конечно, читать книги по гуманитарным наукам не станет кто попало. Да книги эти и не нужны тем, кто вообще чужд научной деятельности. В то же время подлинное научное исследование должно быть понятно — по крайней мере, в своих конечных выводах — не только узкому специалисту, но и любому широко начитанному профессионалу. То есть профессионал должен иметь

¹ Юрганов А. Л. Убить беса: Путь от Средневековья к Новому времени. М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2006. 434 с. В дальнейшем ссылки на книгу даются в тексте.

возможность оценить, как автор той или иной книги приблизился к истине — конечной цели научной работы. То есть знатоку древнерусской литературы должно быть понятно, для чего написана книга о фольклоре папуасов, а у специалиста по африканскому диалекту должна быть возможность оценить труд по общему языкознанию. Если книга непонятна даже профессионалу, о читателе говорить не приходится, даже в узком смысле.

Когда-то все ученое сословие пользовалось своим языком — латынью, который помогал сословию отгородиться от неакадемического окружения. И это было хорошо: у понимающих свое дело писателей были понимающие их читатели. А посторонние не нужны ни тем, ни другим. Однако общий кризис науки привел к тому, что на месте общирного клана избранных возникли кружки и секты, а на месте единого ученого языка — жаргон, находящийся в употреблении у нескольких сбившихся в стаю отщепенцев. Кружковщина и сектантство суть симптомы болезни, нездоровой реакции на наступление все унифицирующей массовой культуры. Одним из проявлений болезни является разрыв между составляющими двуединство — писатель / читатель. Член кружка или секты — человек, неизбежно зашоренный, он не может быть полноценным читателем, так как любую книгу примеряет к катехизису для ограниченного контингента единоверных. Кружковщина и сектантство характеризуются однозначностью оценок, неумеренным восхвалением своих подельников («кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку») и столь же неумеренным отрицанием незавербованных. Здесь любят «неширокие по составу участников беседы», «обсуждения без оглядки на некоторые академические условности». 2 Представители секты крайне болезненно воспринимают проникновение в их замкнутое пространство непосвященных, которые могут совершенно некстати раскрыть глаза на очевидное: «Король-то — голый!» С такой примерно целью я обращаюсь к книге «Убить беса».

И еще одно предварительное замечание. Корректность следующих далее примеров и сделанных на их основании выводов зависит от того, имеем ли мы право рассматривать сочинение А. Л. Юрганова в одной плоскости с научными трудами.

Согласно более или менее стандартной дефиниции, под наукой понимается деятельность, заключающаяся в описании, объяснении и предсказании процессов и явлений действительности. Следовательно, и книги, опознаваемые как научные, должны отражать результаты соответствующей деятельности. Сколь оно ни прискорбно, это единственный объективный признак научных книг как особого разряда печатной продукции. Все прочие атрибуты научной литературы суть лишь выражения условной договоренности (конвенции) между создателями и потребителями данной литературы. В частности, считается, что научному труду пристало быть новым словом в своей специфической области. Однако условие это необязательное, так что реферативный обзор или научно-популярный очерк не перестают быть книгами интересующего нас разряда. Далее. Авторы научных книг обыкновенно опираются на труды своих предшественников, причем такого рода преемственность может быть выражена в разной форме — в виде историографического введения, списка использованных книг и статей, ссылок на соответствующие тексты в подстрочных примечаниях и т. д. Однако условие это тоже необязательное, так что кто-то, настаивающий на беспрецедентности сделанного им научного открытия, вполне может сознательно игнорировать в своем изложении разыскания предшественников. Наконец, в научных книгах часто называют имена людей, у которых весь текст или его части получили апробацию. Апробация тоже принимает разную форму — от консультаций по отдельным вопросам до рецензирования или даже редактирования всего текста, причем имена рецензентов и редакторов нередко вы-

 $^{^2}$ *Юрганов А. Л.* Обращение к читателю // Одиссей: Человек в истории. За 2001 г.: Русская культура как исследовательская проблема. М., 2001. С. 42.

ставляются в самом издании. Книга получает апробацию не только у физических лиц, но и в учреждениях. Своеобразной формой апробации является согласие участвовать в работе над книгой авторитетного издательства (это особенно касается книг, выходящих во всемирно известных университетских издательствах на Западе). В России привилась другая, пришедшая из бюрократических кругов форма апробации книги — постановка на ее титульном листе так называемого «грифа», т. е. названия учреждения, которое санкционирует издание, одновременно ручаясь за доброкачественность (по академическим меркам) предлагаемого читателю сочинения. Однако и апробация научной книги не есть ее обязательный признак: ситуация, когда ученый выступает в печати, ни с кем не советуясь и ни от кого не ожидая поддержки, на свой страх и риск, сейчас не столь уже редкая.

Автор книги «Убить беса» заявляет о ее принадлежности к разряду научных трудов всеми возможными способами. Уже в кратком вступлении (С. 7-8) цель сочинения определяется как «реконструкция смыслов древнерусской культуры переходного периода». Цель эта вполне укладывается в рамки, очерчивающие научное исследование как самостоятельную область занятий. Юрганов замахивается и на то, что в книге будет развернута совершенно новая интерпретация культуры переходного периода, причем провозглашается принципиальное «непонимание» этой культуры прежними исследователями. Мало того: как говорится в аннотации, обещанные открытия сочинитель совершает в процессе разработки новой — им же придуманной научной дисциплины, — «источниковедения культуры» (иначе — «исторической феноменологии», последнее название используется чаще). При всей новизне конечных выводов, на которую автор выражает поползновение, он если и не всегда пользуется, то хотя бы упоминает работы наиболее известных своих предшественников. Так называемый «справочный аппарат» книги много способствует тому, что при первом же с ней знакомстве читатель воспринимает ее как относящуюся к разряду научных. Хотя официальные редакторы и рецензенты издания нигде не фигурируют, в названном кратком вступлении Юрганов благодарит своих коллег за советы и помощь. Не пропущена и более красноречивая форма апробации: книга «Убить беса» опубликована под «грифом» одного из крупнейших в столице высших учебных заведений — Российского государственного гуманитарного университета. Этот же университет явился издателем книги. Как видим, в своей внешней организации обсуждаемый труд заведомо, скажем даже — демонстративно консервативен, он соответствует сложившимся представлениям о форме научной монографии.

Делаем вывод: обсуждая сочинение А. Л. Юрганова «Убить беса» как научную книгу, мы не нарушаем ни субъективных представлений автора, ни конвенции, принятой (во всяком случае, до недавнего времени) у пишущих и читающих подобную литературу. Каков же предмет исследования в научной книге, предлагаемой к разбору? Для того чтобы ответить на этот естественный вопрос, нужно, казалось бы, немногое — прочесть и понять то писание, которое называется «Убить беса». Как это ни удивительно, добраться до смысла рассуждений Юрганова бывает трудно, порой невозможно. По разным причинам, из которых раньше всего бросается в глаза неумение сочинителя писать по правилам русского литературного языка, ярко выраженное косноязычие его письменной речи. Обыкновенно замечания, касающиеся способов подачи материала, тем более стиля и языка, помещаются в конце отзывов и рецензий как нечто второстепенное. Но это лишь тогда, когда обсуждаются единичные погрешности, досадные явления lapsus linguae. Наш случай другой: поскольку язык есть единственный носитель мыслей, неправильное обращение с этим инструментом — расстройство устной или письменной речи — приводит к несостоявшейся коммуникации. Проще говоря, трудно бывает поделиться своими мыслями, когда функция речи находится в неудовлетворительном состоянии. В книге Юрганова расстройство этой функции приняло такие размеры, что некоторые пассажи приходится переводить на русский язык, как если бы мы держали в руках иностранный оригинал. На самом деле задача труднее: перевести с одного языка на другой можно, догадаться о развитии чужих мыслей, не получивших надлежащего языкового оформления, как правило, нельзя.

Вот пример, один из многочисленных. Речь идет о двух редакциях Жития Прокопия Устюжского, из которых одна XVI, а другая XVII века, причем наш автор задается вопросом о целях, преследовавшихся при составлении позднейшей редакции. Чтобы ответить на этот вопрос, считает он, «требуется реконструкция объяснительных процедур источниковой реальности, относящейся как к ранним текстам, так и к позднему Житию. Словом, необходим анализ различий в объяснительных мотивах агиографии середины XVI и конца XVII в. Именно столь разные тексты Жития Прокопия Устюжского дают почти уникальную возможность исследовать принципиальные расхождения в интенциональных агиомотивах средневековой и переходной эпох» (С. 107). Для начала переведем непонятные слова. «Интенциональный» — прилагательное, восходящее к латинскому intentio, которое означает, в числе прочего, «намерение», «замысел». «Интенция» и производные от него слова образуют едва ли не самое любимое Юргановым лексическое гнездо, так что это заимствование встречается на каждой второй странице книги. Многочисленные контексты позволяют констатировать, что в словоупотреблении автора семантика заимствованного слова расширилась до неузнаваемости и что в книге «Убить беса» «интенция», «интенциональный» указывают на голос автора вообще, на авторское начало в широком смысле, как оно обнаруживается в тексте соответствующего произведения. «Агиомотивы» — неологизм Юрганова, созданный посредством сращения слова «агиография» (точнее, первой его части) и слова «мотив». Новообразование, нужно признаться, крайне неуклюжее, поскольку сам исходный термин «агиография» представляет собой сложное слово, построенное из двух восходящих к греческому компонентов — «святой» и «писание». Юргановские «агиомотивы» следовало бы употреблять в значении «святые (в отличие от греховных) побуждения», по крайности, в смысле «мотивы (т. е. побуждения) святого», в то время как изобретатель слова понимает его как «литературные мотивы в писаниях о святом». Мое замечание в полной мере касается и другого, параллельного, неологизма «агиоканон» (С. 363). Кажется, словотворчество вообще любимый конек нашего сочинителя. Вот некоторые из его довольно адяповатых изобретений, словесных уродцев: «топосный» (С. 72), «нормотворящий» (С. 73), «выводной» (С. 113), «юродственный» (С. 138), «кажимость» (С. 173), «смыслопорождение» (С. 180) и дальше в том же духе.

Продолжим толкование. Хотя посредством вводного элемента «словом» принято проще или короче формулировать ранее сказанное, в цитированном фрагменте первое и второе предложения идентичны и по содержанию, и по внешнему выражению. Установив этот факт, делаем вывод, что термин «процедура» используется автором в том же значении, что и термин «мотив», а загадочное словосочетание «источниковая реальность» (почему не сказать по-русски «реальность источника»?) означает всего лишь «текст источника», в данном случае памятник агиографии. На самом деле, если привыкнуть к замысловатому словоупотреблению автора (его, так сказать, licentiae poeticae), если убрать странные в научной прозе, иногда прямо-таки комичные образы («опыт переваривался в собственных категориях» — С. 113, «погрязал в скверное» — С. 241), если избавить текст от неловких оборотов (например, галлицизмов) и просто громоздких синтаксических конструкций (например, от нанизанных одно на другое существительных в родительном падеже), наконец, от не поддающегося подсчету повторения одного и того же, — если все это проделать, соображения Юрганова оказываются простыми до банальности. В частности, в цитированном фрагменте он хочет сказать, что, пытаясь понять смысл переработки раннего Жития Прокопия Устюжского, исследователь обязан восстановить причины, побудившие приняться за дело писателя-агиографа XVI века и его преемника XVII века. При этом исследователю предписывается соблюдать историческую дистанцию и не допускать модернизации.

В сущности, к данному завету сводится хваленая «историческая феноменология», преподносимая Юргановым как прежде не известная научная дисциплина. Признаемся, впрочем, что такое «просветление» в отношении «идей» книги «Убить беса» наступает лишь после завершения нелегкого дела, каковым является ее прочтение. Я имею в виду, что понять смысл выражений «объяснительные пропедуры источниковой реальности» (см. цитированный фрагмент) или «единство текстуальных планов выражения содержания и формы» (С. 113) в рамках ближайшего контекста не представляется возможным. Особенно обескураживает то и дело встречающийся обрыв логической связи между отдельными предложениями или частями предложений: союз «однако» вводит фразу, не несущую противительного значения (С. 27); после слов «кроме того» следует почти буквальное повторение сказанного (С. 44); посредством оборота «иначе говоря» автор приступает к характеристике Жития Прокопия Устюжского, хотя до этого шла речь о других памятниках (С. 46), и т. д. Некоторые высказывания полностью лишены смысла, как например ссылка на житие, «иллюстрирующее свою литературную технику» (С. 44). Не буду утомлять читателя примерами стилистических промахов. До стиля ли здесь, когда трудно восстановить даже общий смысл.

Неряшливости языка соответствует беспорядок в мыслях. Не приходится поэтому удивляться, что автору не удалось ясно и точно сформулировать свои постулаты, последовательно развернуть обосновывающую их аргументацию, систематизировать материал выигрышным для себя образом, создать продуманную композицию монографии. То есть замысел Юрганова, насколько его можно восстановить на основании получившегося результата, был не так уже плох и заключался в последовательном привлечении новых фактов, а затем — с их помощью — в планомерном расширении контекста, в переходе от одного уровня обсуждаемых вопросов к другому уровню. Начав с отдельного эпизода «Повести о Соломонии бесноватой», наш автор обращается к данному литературному памятнику XVII века как цельному произведению; затем, коль скоро Повесть сочинялась как одно из чудес Прокопия Устюжского, он планомерно переходит к Житию этого святого. Потом, поскольку устюжский святой прославился как юродивый, взор автора обращается к другим русским святым, принявшим на себя подвиг юродства, а дальше и ко всему сонму подвижников старой Руси. От размышлений по поводу древнерусских святых как особого явления в истории христианской религии и христианской культуры мысль естественно переходит к судьбе русского средневекового спиритуализма, в том числе к перерыву традиции, симптомы которого явственно обозначились уже в XVII веке. К сожалению, костяк этот, который мог бы придать изложению недостающую ему прочность, в самом тексте едва угадывается, он выявляется лишь в конце книги — в своеобразном резюме, где Юрганов пытался подытожить написанное (С. 359—366). Что же касается основной части книги, там читающему приходится, как в лесной чаще, с трудом продираться к мыслям сочинителя через удручающее многословие, через рыхлую композицию и не вытекающие одни из других главы и разделы, через нагромождение лишних цитат и фактов, через обширные отступления, обремененные столь же обширными примечаниями, никак не связанными с существом разбираемого вопроса.

Что касается экскурсов в посторонние области, мы, наверное, никогда не узнаем, для чего они понадобились нашему сочинителю — для того ли, чтобы продемонстрировать свою разностороннюю начитанность, или для того, чтобы довести свой труд до заданного кем-то объема. И правда, зачем, спрашивается, нужен подробный пересказ Книги Товита (С. 69—71)? Или доскональное сравнение двух списков (Юрганов называет их редакциями) раннего Жития Прокопия Устюжско-

го, никак не используемое по ходу дальнейшего повествования (С. 77—100)? Или история устюжской иконы Благовещения (С. 134-135)? Слабые попытки приискать повод для очередного углубления в посторонние предметы никого не убеждают: вставка из книги Иннокентия Гизеля «Мир з Богом человеку» в одной из редакций Повести никак не связана с выдержкой, которую Юрганов извлекает из другой части той же книги; и никак не мотивирует появление развернутой справки о жизни и творчестве украинского писателя (С. 310-313). Совершенно ненужными являются сопровождающиеся более или менее подробными энциклопедическими справками перечни всех известных нашему автору юродивых (С. 165-170) и святых, равно византийских и русских, упоминаемых в Житии Прокопия Устюжского (С. 209-229). Эти перечни представляются в контексте монографии тем более избыточными, что они в буквальном смысле слова переполнены фактическими ошибками. Вообще, по самой приблизительной калькуляции, за счет подобных «интерполяций» труд Юрганова увеличился в объеме примерно на четверть. Ясно, что такие длинноты сделали и без того неудобочитаемую книгу «Убить беса» еще менее пригодной для использования.

Какова же ключевая мысль книги «Убить беса», насколько ее может уловить внимательный читатель, привыкший, наконец, к непростому повествовательному аллюру Юрганова и терпеливо повторивший зигзаги авторской мысли? Мысль эта подсказывается названием книги и связана с заключительным эпизодом «Повести о Соломонии бесноватой» — рассказом о том, как святые Прокопий и Иоанн Устюжские расправлялись с бесами, жившими в утробе героини. Расправа оказалась делом долгим и растянулась на два дня, потому что в Соломонии поселилось, по подсчетам самой Богоматери, ни много ни мало тысяча семьсот семьдесят бесов. Уничтожение нечистой силы, размножившейся в таком количестве, происходило в два этапа. В первый день преподобный Иоанн вынимал бесов из утробы недужной, передавал их Прокопию, а тот закалывал их своими кочергами (три кочерги обычный атрибут устюжского юродивого). Так изъята была половина бесов. На другой день способ уничтожения врагов человеческого рода изменился: по-прежнему принимая их от Иоанна, Прокопий давил бесов ногой. На этом исцеление Соломонии завершилось. Выяснив, что в древнерусской агиографии нет сходных сцен, Юрганов заявляет, что пересказанный эпизод демонстрирует пролегающую между средневековой культурой и Повестью «мировоззренческую пропасть» (С. 364). Возможность физической расправы с бесом указывает, по мнению нашего ученого сочинителя, на изменившееся радикальным образом понимание природы зла. Если средневековые богословы определяли зло как отсутствие добра, то «новая культура, представленная Повестью о Соломонии бесноватой, показала, что Добро утверждается путем материального уничтожения зла, а значит, теперь Добро делит свое существование со злом» (С. 364—365). Путь от Средневековья к Новому времени, о котором говорится в подзаголовке к книге Юрганова, начинается с этого именно поворота в человеческом сознании.

Решительный переход от отдельного эпизода отдельного произведения к выводам, касающимся целой эпохи, прямо скажем, ошеломляет читателя, не подготовленного к таким прыжкам мысли. И заставляет внимательнее отнестись к произведению, откуда этот эпизод извлечен. На счастье, «Повесть о Соломонии бесноватой» стала предметом всестороннего исследования в новейшей монографии А. В. Пигина, что заметно облегчает нашу задачу. Начать нужно с того, что культурные симпатии автора Повести неоднозначны, а потому она вообще едва ли может служить надежным ориентиром при раздумьях о мировоззренческом перевороте в

³ Пигин А. В. Из истории русской демонологии XVII века. Повесть о бесноватой жене Соломонии: Исследование и тексты. Köln; Weimar; Wien; СПб., 1998. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen. N. F. Bd 22).

России на рубеже XVII и XVIII веков. Уже на первом этапе изучения Повести отмечена была ее художественная неоднородность, в том числе очевидные художественные изъяны. Эти изъяны заключаются в не всегда умелом соединении при вполне _{трад}иционном сюжете сугубо книжных деталей, в том числе не известных прежней русской письменности, с одной стороны, и многочисленных мотивов фольклорного происхождения — с другой. Наиболее броским из нововведений Повести в восточнославянской книжности является подробно развиваемая в произведении тема плотского сожительства с бесами. При этом нет оснований говорить о непосредственном влиянии на памятник какого-то неправославного, западного источника. По словам Пигина, «в Повести ощущается не столько прямое воздействие западных источников, сколько опосредованное, связанное с основными закономерностями литератур- $_{
m horo}$ развития этого времени». 4 Непривычность для автора Повести новой темы обнаруживается в том, что он — в каждом отдельном случае — не может окончательно решить, какого рода несчастье случилось с Соломонией — является ли она бесоодержимой («бесноватой») или жертвой насилия со стороны бесов. А может быть, той и другой одновременно? Те бесы, которых убивали святые, — самостоятельно ли они в нее вселились или это были плоды от сожительства с инкубами?

Исследователи произведения не преминули заметить также, что составитель его не всегда успешно справлялся со своей задачей — описать мучения и наступаюшее в финале исцеление героини. Стремлением к нагнетению ужасов объясняются смысловые неувязки и искусственное торможение в развитии сюжета, в том числе необоснованная художественно редупликация отдельных эпизодов. Мотивы разного происхождения плохо корреспондируют друг с другом. И все же, подыскивая жанровые аналогии к Повести, Пигин в первую очередь останавливается на произведениях устного народного творчества, причем выделяет жанр былички. Эти былички, подобно истории о Соломонии бесноватой, строятся линейно — как ожерелье из маленьких рассказов о нечистой силе, один другого страшнее. Исследователь Повести цитирует Э. В. Померанцеву: «Обычно одна быличка влечет за собой цепь аналогичных рассказов, так как содержание былички, в отличие от сказки, не исчерпывается рассказанным, не ограничивается рамками одного сюжета, а выплескивается за их пределы, настраивая слушателей на восприятие дальнейших впечатлений от неизвестного, таинственного и страшного мира». 5 Многие характеристики и повадки бесов, какими рисует их составитель Повести, не были известны русской средневековой письменности, но находят более или менее точные соответствия в фольклоре. Следует признать, что Пигин, как впоследствии и Юрганов, не отыскал точных параллелей к рассказу о массовом избиении бесов Прокопием и Иоанном ни в средневековой агиографии, ни в устной словесности. И все же нет сомнений, что сама мысль о смерти представителей нечистой силы фольклорного происхождения. Это одно из проявлений антропоморфности беса, качества, которым его наделяет народная фантазия: если он рождается, как человек, если его можно заставить молоть жито и таскать бревна на гору (Сказание о преподобных Феодоре и Василии в Киево-Печерском патерике) или совершить на нем путешествие в Иерусалим (Житие Иоанна Новгородского), — понятно, что такое существо смертно. Против того глубокого философского смысла, который вкладывает Юрганов в заключительную сцену Повести, говорит и такая деталь: устюжские юродивые расправляются не с Антихристом — олицетворением зла, а с мелкой нечистью, с бесенятами. Будучи повторена тысячу семьсот семьдесят раз, процедура убийства беса становится явлением быта, чем-то вроде резания курицы. К ломке мировоззрения эта процедура, разумеется, не имеет отношения. Чтобы рассматривать развязку Повести как отражение новой онтологии и новых этических понятий, чтобы

⁴ Там же. С. 85.

⁵ Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 20.

подчеркнуть разрыв со средневековой эпохой, Юрганову следовало бы подыскать аналогии к толкуемому эпизоду среди литературных памятников более позднего времени. Поскольку такие аналогии не найдены, эпизод Повести приходится определять как сюжетный гапакс. Не более того. 6

Впрочем, сама мысль об изменившемся понимании зла, точнее, о его всесилии как характерной черте переходной эпохи не столь уж беспочвенна. Однако она не столь уж и нова. Эта мысль принадлежит не Юрганову, а А. М. Панченко, который определил XVII век как век «русского пессимизма». 7 Развивая наблюдения ученого применительно к «Повести о Соломонии бесноватой», Пигин пишет об авторе произведения: «Поп Ияков хотел рассказать о силе и славе святых, а показал бессилие человека, ужасающее могущество зла. Пожалуй, никогда еще мир дьявола не казался русскому человеку столь агрессивным и враждебным, как в XVII в. Злые духи многочисленны и вездесущи: ими наполнены леса и поля, реки и болота, они проникают в самого человека, овладевают его телом, порабощают его волю. Люди же слишком слабы и грешны, чтобы противостоять бесовской стихии».8 Вывод об оживлении в переходный век демонологических представлений, на основе которых составлена Повесть, предшественники Юрганова сделали и без его чудо-науки, не будучи историками-«феноменологами». Правда, «пессимистическая» интерпретапия произведения в определенном смысле противоположна той, что предлагается в книге «Убить беса». Ведь если убийство беса имеет то значение, которое ему придает наш автор, т. е. если зло материально — значит не все так плохо. Потому что в итоге святые со своей задачей успешно справились. Зло уничтожено.

Для тех, кто не согласен видеть в развязке Повести глубокий философский смысл, у Юрганова есть про запас и другое толкование. Сугубо эстетического свойства. Отметив как одну из примет литературы переходного века появление в ней права автора на вымысел, наш ученый сочинитель заявляет, что автор «Повести о Соломонии бесноватой» в полной мере воспользовался этим правом: «Убить беса возможно только в художественной реальности литературного произведения» (С. 322). Развязка Повести, при таком понимании вещей, — лишь выдумка, забавная шутка, плод разыгравшейся фантазии автора. Этот тезис, который никак не обосновывается в книге «Убить беса», должен быть решительно отвергнут. Все, кто изучал Повесть, сходятся на том, что автор ее был консерватором, приверженцем отмирающей старины. А значит, он свято верил в истинность описываемых событий. Между прочим, отличительным свойством фольклорного жанра былички, с которым сопоставляют рассказ о Соломонии, также является установка на достоверность. Процесс обмирщения, который переживала русская культура, почти не коснулся Повести. «Среди беллетристических сочинений XVII в., — подводит итоги своих разысканий А. В. Пигин, — Повесть, таким образом, — одно из самых древнерусских произведений, тесно связанных со старой традицией».9

Итак, взяв «Повесть о Соломонии бесноватой» своим проводником на пути от Средневековья к Новому времени, А. Л. Юрганов сделал далеко не самый удачный выбор. На роль индикатора, показывающего весь спектр новаций, которые сопровождали переход русской культуры на новые рельсы, менее всего годится заключи-

⁶ В Повести есть и другой эпизод, где говорится о массовой гибели бесов, собравшихся было утопить Соломонию на болоте. В критическую минуту разразилась гроза: «И начат их молниею палити и убивати, и уби множество. И бяше их блато и езеро исполънено, аки смолою». Это побоище является проходным эпизодом в развитии сюжета, вниманию читателя здесь не на чем надолго задержаться. Но отсюда следует принципиальный вывод: очевидна искусственность предложенной Юргановым философской интерпретации, которая касается другой расправы над бесами — той, что происходит в развязке, т. е. в композиционно маркированном месте.

⁷ Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 108.

⁸ Пигин А. В. Указ. соч. С. 120.

⁹ Там же.

тельный эпизод Повести, где рассказывается о расправе устюжских святых с бесами, угнездившимися в утробе Соломонии. Связанный с мотивами русского фольклора, он никак не позволяет прийти к тем глобальным выводам, которые делает наш сочинитель. Между тем мы видели, что вся несуразная композиция монографии «Убить беса» имеет лишь одну точку опоры в виде этого именно эпизода. Как только дезавуирована многозначительность рассказа об уничтожении бесов, вся конструкция рассыпается, как карточный домик. Ибо, за вычетом рассуждений о заключительном эпизоде Повести и о Повести в целом, рассуждений, с которыми трудно согласиться, — каковы еще наблюдения Юрганова, отмечающие пройденный Россией «путь от Средневековья к Новому времени»? Только лишь отдельные замечания о различиях между ранним и поздним Житиями Прокопия Устюжского, о разночтениях между тем и другим, разночтениях, между прочим, еще нуждающихся в систематизации. Что же касается деклараций относительно агиографической топики как элемента их поэтики или указаний на секуляризацию культуры переходного века как главную его тенденцию — эти декларации отнюдь не являются плодами настойчиво пропагандируемой нашим сочинителем «беспредпосылочной герменевтики» (кто выдумал это чудовищное прилагательное с тремя приставками?). Ибо они благополучно перешли сюда из трудов юргановских предшественников, которые и послужили их подлинной «предпосылкой». Цитаты и ссылки на философов (из тех, что вошли в обиход после наших «великих реформ»), которыми Юрганов обильно сдабривает свои статьи и книги (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, А. Ф. Лосев и др.), не искупают скудости оригинальных мыслей.

* * *

Читатель, появление которого при издании книги «Убить беса» очевидным образом не ожидалось, закрывая ее, остается в недоумении. Для чего писался и печатался этот довольно пространный труд? В поисках ответа прибегнем к тому ходу, который был использован в книге Юрганова, хотя использован не слишком удачно. Именно, попробуем расширить контекст, обратившись к другим писаниям нашего автора. Несложные библиографические разыскания показывают, во-первых, исключительную активность Юрганова-писателя, опубликовавшего в течение каких-то десяти-двенадцати лет не менее шести книг (не считая стереотипных переизданий), во-вторых, на удивление пристойное начало его научной карьеры: наставничество почтенного В. Б. Кобрина; кандидатская диссертация, посвященная политической истории России XVI века и защищенная в Московском государственном историко-архивном институте в 1987 году. 10 Насколько можно судить по автореферату, — добротная работа, без языковых изысков, отличающих печатное наследие позднего Юрганова.

А дальше капризные волны жизни понесли человека... В первой половине 1990-х годов, в трудное для выживания время, когда каждый из советских ученых спасался, как мог, мы встречаем своего героя в роли... школьного методиста. Совместно с Л. А. Кацвой он написал два школьных учебника по истории России: первый — VIII—XV веков, 11 второй — XVI—XVIII веков. 12 Более того, обе книги были признаны пособиями для средних учебных заведений вполне официально, на самом высоком уровне, так что названные при первом тиснении «эксперименталь-

¹⁰ *Юрганов А. Л.* Политическая борьба в годы правления Елены Глинской, 1533—1538 гг.: Автореф. дис. . . . канд. ист. наук. М., 1987.

¹¹ Кацва Л. А., Юрганов А. Л. История России VIII—XV вв.: Экспериментальный учебник для VII класса средних учебных заведений. М., 1993. Переиздания: 1995, 1996, 1997, 1998 годы.

¹² *Юрганов А. Л., Кацва Л. А.* История России XVI—XVIII вв.: Экспериментальный учебник для VIII класса средних учебных заведений. М., 1994. Переиздания: 1995, 1996, 1997, 1998 годы.

ными учебниками» они до конца 1990-х годов перепечатывались по нескольку раз в год, и каждый из них вышел (во всяком случае, второй, оказавшийся более востребованным) в общей сумме миллионным тиражом. Любопытное открытие: не так прост наш сочинитель, как могло показаться на первый взгляд. Тот, кто прочел книгу «Убить беса», пожалуй, подумает: бедные отроки и отроковицы седьмого и восьмого класса, какое для них испытание! Ничуть не бывало. В отличие от последнего, только что прочитанного нами писания Юрганова, учебники, подготовленные при его участии, не нуждаются в адаптированном переводе, их могут понять не только взрослые, но и дети, которым адресованы эти книги. Предлагаю на выбор три гипотезы, объясняющие сие чудо: 1) в миру Юрганов превосходно владеет родным языком и переходит на воляпюк, который используется в его академических сочинениях, потому что считает воляпюк инструментом науки; 2) косноязычные оригиналы полностью переписаны редактором, готовившим учебники к печати; 3) в заглавии учебников выставлено имя нашего ученого героя только как «титульного» автора, 13 на самом же деле книги составлены Л. А. Кацвой, являюшимся, кажется, профессиональным методистом. ¹⁴ Как бы то ни было, педагогические разработки остались случайным эпизодом в развитии Юрганова в качестве деятеля русской историко-литературной науки.

Во второй половине 1990-х годов наш герой выбрал другую стезю, подавшись в теорию культуры. Свое место на этой стезе он забронировал увесистым фолиантом, вышедшим в 1998 году под названием «Категории русской средневековой культуры», книгой большого формата, на четырех с половиной сотнях страниц. 15 Книга впечатляет не только объемом, но и многообещающим заглавием. соотнесенным с названием известного исследования А. Я. Гуревича. 16 Читатель вправе ожидать, что он найдет здесь разностороннюю характеристику древнерусской культуры. Понимая, кажется, что он посулил больше, чем смог дать, Юрганов уже в предисловии стремится размежеваться со своим маститым предшественником: если тот сам задает вопросы средневековым источникам, то наш теоретик полагает, что импульс к постановке вопроса должен возникнуть раньше, в процессе знакомства с материалом, по ходу изучения источников. Эти последние полнее раскроют свои тайны, если исследователь углубится в них без априорно выработанных идей и схем. Здесь и приходит на помощь «феноменологический» принцип, которому в сочинениях Юрганова предстоит в дальнейшем пышно расцвести, но который еще, слава Богу, на рассматриваемом этапе не превратился в новую науку.

Каковы же категории русской средневековой культуры, которые автор книги считает главнейшими и которые, считает он, выражены ключевыми для этой культуры словами? В первой главе Юрганов рассматривает понятия «веры» и «правды», важнейшие для любых сфер жизни средневекового человека, во всем многообразии их значений, не раз пересекавшихся, а потом — в процессе модернизации русской культуры — далеко разошедшихся. Во второй главе через глаголы «благословить» и «пожаловать», которые, по мнению автора, определяют существовавшее в Древней Руси отношение к власти и к собственности, проясняется — в ее

¹³ Обращаю внимание, что в заглавии первого учебника имя Юрганова стоит в конце (по алфавиту), а в заглавии второго учебника — в начале. Семантику этой метатезы может определить лишь тот, кто ближе знаком с творческой лабораторией сочинителей.

¹⁴ См. полностью или частично подготовленные им школьные пособия: *Кацва Л.А.* 1) История России VIII—XV вв.: Рабочая тетрадь. М., 1996. Ч. 1—2; 2) Изучение истории России в средней школе: Пособие для учителя к учебнику Л. А. Кацвы, А. Л. Юрганова «История России VIII—XV вв.». М., 1998; Уколова И. Е., Кацва Л. А. СССР в годы перестройки: (Экспериментальное учебное пособие для средней школы). М., 1999.

¹⁵ Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. Кажется, эта книга выдержала второе издание, 2003 года (см. с. 397, прим. 166), которого, впрочем, мне не удалось разыскать по каталогам больших библиотек.

 $^{^{16}}$ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд.: М., 1984.

динамике — структура государственного устройства и ее влияние на культурные ценности. В третьей главе, анализируя сочетаемость элементов в двух парах антонимов («Бог и раб Божий» и «государь и холоп»), наш теоретик восстанавливает эволюцию средневековых представлений о принуждении и «самовластии». И в последней, четвертой главе, справедливо заметив, что людям средневековья были присущи взгляды на историческое время и пространство как на конечные свойства мироздания, Юрганов разбирает эсхатологические страхи и надежды, распространявшиеся на Руси вплоть до Петровской эпохи.

И это все? — законным будет вопрос читателя, осилившего обширное творение нашего сочинителя. А где же категории, касающиеся Бога? Определяющие равновесие между добром и злом? Отделяющие священное от мирского? Относящиеся к православной церкви? Или к теории образа? И т. д. Конечно, труд Юрганова с его претендующим на полноту охвата заглавием весьма уязвим для критики. Пытаясь себя обезопасить, автор исключает из числа «категорий» те понятия, которые, по его мнению, существовали до зарождения христианской культуры. Например, святость. 17 Ограничение довольно-таки странное, так как оно ставит под сомнение правомерность выделения и тех немногих категорий, которые рассмотрены в книге. Все они — в разной форме — соотносятся с дохристианскими и внехристианскими понятиями. Вообще «Категории» нетрудно критиковать, даже если не выходить за пределы тем, в них обсуждаемых: правомерно, например, будет указать, что при определении семантического поля каждого из слов-символов необходимо начинать с библейских и богослужебных книг;18 странно отсутствие ссылок на работы М. М. Бахтина и его последователей при обсуждении пространства и времени как явлений поэтики. Продолжать можно долго.

И все же мы не будем задерживаться на принципиальных недочетах и тем более заниматься мелочной критикой. Для нас в настоящем контексте довольно отметить черты сходства и различия между двумя сочинениями — книгой 1998 года и новейшей книгой «Убить беса». Приходится признать, что некоторые родовые признаки налицо уже в первой из них. Здесь и волюнтаризм в использовании языковых ресурсов, особенно в терминологии (чего стоит определение на с. 28 темы всей работы как «самооснов смыслополагания»), здесь и бесконечные и совершенно лишние экскурсы с обязательными в таких случаях фактическими ошибками, ¹⁹ здесь и утрата автором нити повествования, переход от одной темы к другой. Вихрь мыслей. И все же гонора в 1998 году у Юрганова было меньше (если забыть о широковещательном заглавии), он не стеснялся тогда пользоваться соображениями других ученых; написанные с учетом этих соображений разделы монографии изложены доступно и читаются не без интереса (ср. хотя бы фрагмент, посвященный влиянию монголов на древнерусскую концепцию власти). Потому, в частности, что «беспредпосылочная» наука, считающая зазорным прислушиваться к мнению коллег, еще не заявила во весь голос о своих правах.

Хуже обстоит дело со следующей в хронологическом порядке книгой, увидевшей свет в 2003 году. 20 Данная книга — сборник статей, принадлежащих Юргано-

¹⁷ Юрганов А. Л. Категории... С. 26.

¹⁸ Пропуск этих, для средневековой эпохи первых по значению, книг особенно бросается в глаза в перечне источников, который дается в диссертации, написанной на основе «Категорий». См.: *Юрганов А. Л.* Самосознание средневековой Руси: Категории культуры. Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 1999. С. 19—24.

¹⁹ На счастье, некоторые из экскурсов выделены петитом, так что могут быть безболезненно пропущены; жаль, что этот прием не используется в книге, явившейся поводом для данной статьи. Примеры ошибок, на мой взгляд, не самые выразительные, см.: *Кром М. М.* Герменевтика, феноменология и загадки русского средневекового сознания ∥ Отечественная история. 2000. № 6. С. 94—95.

 $^{^{20}}$ Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевидности. М., 2003.

ву и А. В. Каравашкину, имя которого стоит запомнить, потому что оно постоянно встречается в трудах, являющихся предметом наших размышлений. Этот Каравашкин — едва ли не самый ревностный последователь «исторической феноменологии», достославной науки, открытой его соавтором. 21 Правда, не такой бойкий на перо. Надобно еще заметить, справедливости ради, что он, в сравнении со своим коллегой, несравненно ловчее управляется с русским языком и не столь категоричен в заявлениях о безграничных возможностях новооткрытой науки. Если наш сочинитель без ложной скромности называет свою «историческую феноменологию» новой исторической «дисциплиной», то Каравашкин более осторожен, определяя ее как «метод» или всего лишь «историко-феноменологический путь исследования»: спешит оговориться, что этот «метод», или «путь», не претендует на исключительность, оставляя место и для других принципов интерпретации источника.²² Ясно все же, что главным застрельщиком в пропаганде «исторической феноменологии» выступает Юрганов, он же безусловно главный в дуэте авторов. Примечательно, что именно его перу принадлежит теоретическое введение к «Опыту». Хотя введение не подписано, своеобразный стиль, до боли знакомый по книге «Убить беса», позволяет безошибочно атрибутировать этот текст.

Некоторые из статей, составивших сборник, уже были опубликованы, другие печатаются в сборнике впервые. Посвящены они весьма широкому кругу вопросов: новая интерпретация идеологии опричнины; мифы русской публицистики XVI века; русские юродивые как культурное явление; мнение по поводу альтернативной истории; исторический комментарий к эпизоду «Войны и мира»; несколько рецензий. И наконец, программные статьи каждого из соавторов, раскрывающие перспективы переосмысления русской истории в свете «беспредпосылочной» науки. Она и только она объединяет разноречивый материал книги, в самой подаче которого (сначала рецензия на книгу о Барклае де Толли, потом этюды по философии культуры и т. д.) налицо «лирический беспорядок», столь характерный для творческой манеры Юрганова. «Слова вылетают из уст его совершенно неожиданно», — определил эту манеру наш классик. «Размышления привели нас к мысли», пишет составитель с обычным для него чувством стиля, что все эти статьи роднит использование при интерпретации разных фактов «историко-феноменологического контекста». Они, эти статьи, заключает он, «могут заинтересовать читателя». ²³ Кажется, это один из немногих случаев, когда в трудах позднего Юрганова возникает тема читателя. Не пытаясь сосчитать заинтересованных читателей «Опыта», отметим, что пропаганда новосозданной науки становится здесь более настойчивой (в аннотации о ней уже говорится как о «недавно сложившейся гуманитарной дисциплине»), изъяны языка и логики, которыми будет отмечена книга «Убить беса», более ощутимыми. Положение спасает лишь то обстоятельство, что это не монография, что каждая статья посвящена своему собственному предмету. относительно легко обозримому.

Два года спустя, в 2005 году, те же поклонники «беспредпосылочной» науки порадовали читателя еще одним опусом.²⁴ Допуская, что их новаторство в теории

²¹ Впрочем, в собственном монографическом труде Каравашкина, вышедшем в 2001 году, о требованиях «нового» метода (в том числе о необходимости «преодолеть дистанцию» между историческими эпохами) говорится только в предисловии. См.: Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика: Проблема творческой индивидуальности (Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей Курбский). М., 2001. Выгодно отличаясь от книг Юрганова отсутствием у автора гипертрофированного самомнения, эта книга — типичный представитель рассматриваемой здесь наукоообразной литературы, без малейшей попытки со стороны сочинителя внести что-то новое в осмысление выбранных для анализа текстов.

²² См.: Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт... С. 373—375.

²³ Там же. С. 22—23.

 $^{^{24}}$ Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Регион Докса: Источниковедение культуры. М., 2005. На этой стадии сотрудничества стиль двух ученых писателей утратил различия, и выде-

культуры, как оно было изложено в предыдущих публикациях, не все поняли и не все оценили по заслугам, наши авторы решили подробно изложить методологические основания своей науки. Основная часть работы посвящена критике исторической антропологии и «российского позитивизма» (почему именно российского?), тех направлений в историографии, которые наши «феноменологи» признают ближайшими предшественниками их науки. Если же отвлечься от терминологических упражнений Юрганова—Каравашкина, главенствующий пафос книги можно определить как апологию индуктивных методов исследования. При этом, конечно, совершенно непонятными и беспочвенными становятся нападки наших ученых теоретиков на «позитивистов», каковыми оказываются все, кто когда-либо занимался разработкой исторических и литературных источников. До того, разумеется, как была изобретена «историческая феноменология», за последователями которой резервируется исключительное право оценивать и толковать материалы, добытые усилиями источниковедов. Последние, не рукоположенные в «беспредпосылочную» науку, по определению не способны сделать правильные выводы из своей работы.

Представленный здесь ряд венчает вышедший в 2006 году труд «Убить беса», с анализа которого мы начали свой обзор. Не повторяя сказанного, отметим, что в этой последней книге наиболее полно развернулись все характерные качества Юрганова-теоретика; некоторые из них могут быть подмечены и в его предшествующих трудах, но обычно в более или менее зачаточной форме.

Позволяет ли наш краткий очерк творческой эволюции А. Л. Юрганова прийти к каким-то умозаключениям? Позволяет, хотя ни одно из них с точки зрения будущего историко-филологической науки не настраивает на оптимистический лад. Начнем с производительности труда нашего сочинителя. Если между выходом «Категорий», первой теоретической разработкой Юрганова в форме монографии, и выходом следующей книги — «Опытов» — прошло пять лет, то между изданием этой последней и очередной монографии — «Регион Докса» — всего два года, а «Регион Докса» от предмета нашего разбора, книги «Убить беса», и вообще отделяет только один год. Очевидное из приведенных расчетов ускорение в выработке конечного продукта — монографий — делает не слишком рискованным предположение, что автор будет выдавать очередной свой труд в виде книги по меньшей мере ежегодно. Таково наше первое умозаключение.

Основываясь на тех же расчетах, мы вправе задаться вопросом: как же ухитряется наш герой обеспечить скорость, необходимую для функционирования этой своеобразной мануфактуры по производству наукообразных книг? Высокие показатели выработки достигаются, помимо прочего, благодаря тому, что Юрганов полностью или частично воспроизводит в каждом очередном своем труде тексты, уже публиковавшиеся ранее, единожды или многажды. Например, первая глава «Категорий» («Вера христианская и правда») одновременно с монографией вышла в сборнике статей, на этот раз в соавторстве с И. Н. Данилевским (не столь преданным единомышленником, как Каравашкин, но близким Юрганову по некоторым из развиваемых им идей). 25 Вторая глава этой книги («Благословить или пожаловать?») несколькими годами раньше была напечатана в журнале. 26 И т. д. В боль-

лить принадлежащие каждому из них разделы— задача едва ли реалистичная. Модели языка и мысли, знакомые нам по рассмотренным уже книгам, выдают доминирующую роль Юрганова.

 $^{^{25}}$ Ср.: *Юрганов А. Л.*, *Данилевский И. Н.* «Правда» и «вера» русского средневековья // Одиссей: Человек в истории. За 1997 г.: Культурная история социального. М., 1998. С. 144—170; *Юрганов А. Л.* Категории... С. 33—116.

 $^{^{26}}$ Ср.: $_{OP}$ ганов А. Л. 1) Удельно-вотчинная система и традиция наследования власти и собственности в средневековой России // Отечественная история. 1996. № 3. С. 93—114; 2) Категории... С. 117—215.

шинстве своем уже издавались статьи и рецензии, составившие «Опыт» Юрганова—Каравашкина; один из разделов — «Опричнина и Страшный суд» — репродуцируется в третий раз — после журнальной публикации и соответствующего раздела юргановских «Категорий». 27 В разбираемую книгу «Убить беса» помещено отступление о древнерусских юродивых, совершенно не относящееся к теме (С. 145—200), но повторяющее то, что уже было напечатано в «Опыте». 28 Кажется, не может быть сомнений, что Юрганову нужно одно: издать как можно больше книг — независимо от того, чем они будут наполнены, безразлично, будут их читать или нет. Значение имеет самый факт. Почему? Отложим свои комментарии, пометив пока наш вывод как второе умозаключение.

Третье и главное умозаключение сводится к тому, что с течением времени творчество нашего героя претерпевало не только квантитативные, но и квалитативные метаморфозы. Каждая из книг Юрганова — это очередная ступень вниз, очередной уровень в процессе деградации: с каждым писанием все более непричесанным становится язык, все более причудливой терминология, все больше вихрятся мысли, все меньше остается логических связей, все более загадочно содержание в целом. В итоге, как результат этого процесса, выходит в свет книга «Убить беса» — своего рода шедевр: его не только невозможно читать, его, с точки зрения составителя, читать нежелательно. Да, в сущности, его никто и не будет читать, за исключением нескольких сектантов. Впрочем, этим последним читать книгу тоже необязательно: они и без чтения («беспредпосылочным» способом) знают, что хорошо и что плохо. И здесь уже разговор должен идти не об отдельном авторе или представителях отдельного кружка, к которому он принадлежит. Разговор должен коснуться культуры в целом. Мой главный тезис сводится к тому, что путь, проделанный Юргановым-историком в его профессиональной деятельности за последние двадцать лет, не является результатом его личного выбора. Этот путь соответствует магистральному направлению, по которому двигалась в течение тех же лет вся русская историко-филологическая наука. И продолжает двигаться сейчас. Состояние науки, когда в ее недрах сочиняются книги, не предназначенные для обмена мнениями между специалистами, негодные для чтения, — такое состояние однозначно квалифицируется как смертельная болезнь.

* * *

Пожалуй, кто-то не без основания задаст вопрос: а стоит ли метать бисер перед свиньями? Если «Убить беса» сродни другим книгам А. Л. Юрганова, если все они с научной точки зрения несостоятельны, если сходные творения сходных творцов легко обособляются из всего моря научной литературы — нужен ли в таком случае мой подробный разбор? Не много ли чести? Оправдываясь, подчеркну два момента. Во-первых, уже в самом начале статьи говорилось, что книга «Убить беса» имеет значение не сама по себе, а как яркий репрезентативный представитель определенного класса литературы, не принимающей во внимание читателя. Данный класс неумолимо набирает силу, все время пополняясь новыми единицами. Он состоит из книг, оформленных как научные исследования, а по существу лишь имитирующих последние. Если же ставить вопрос шире — эти книги суть одно из проявлений имитации научной деятельности вообще как яркой особенности современной культуры. Особенности, осмысление которой является конечным результатом моих заметок. Во-вторых, те, кто брезгливо игнорируют сочинения, подобные юрганов-

 ²⁷ Ср.: Юрганов А. Л. 1) Опричнина и Страшный Суд // Отечественная история. 1997. № 3.
 С. 52—75; 2) Категории... С. 356—411; Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт... С. 68—115.
 28 См.: Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт... С. 211—290.

ским, жестоко ошибаются, полагая, что таким путем им удастся сохранить свое ученое целомудрие.

Надеюсь, что нижеследующие объяснения покажут обоснованность каждого из пунктов моего оправдания. Не подлежит сомнению: издания того класса, к которому относится «Убить беса», являются плодами графомании. Но графомания слишком неопределенная характеристика, чтобы можно было ею удовлетвориться. Графомания графомании рознь. В основе разных ее проявлений находятся одинаковые или неодинаковые социальные и культурные причины, а сами проявления проходят одинаковые или неодинаковые циклы развития. Например, в СССР в читающем обществе (а сюда относилась тогда большая часть населения) существовал устойчивый спрос на стихи. Поэтому велик был и престиж сочинителя стихов. Всем котелось стать поэтами, но лишь немногим удавалось пройти строгий многоуровневый отбор и увидеть свои стихотворные опыты в печати. Когда потом отменили цензуру, в поэзию неожиданно получил пропуск любой и каждый. Невиданное число стихотворных сборников мгновенно затопило книжный мир. Это был настоящий разгул поэтической графомании. Прошло несколько лет, и свежеиспеченные стихотворцы (как, впрочем, и признанные мастера стихотворного искусства) убедились, что в новом, «демократическом», обществе поэзия не нужна никому. Включая поэзию корифеев... Тогда графомания современных виршеплетов медленно, а потом все быстрее пошла на спад.

Тенденция прослеживается отчетливо. Не приходится сомневаться, что начавшийся процесс будет продолжаться и дальше, т. е. поэзии как самостоятельной форме словесного искусства предстоит в ближайшее время окончательно исчезнуть из культурного обихода. Во всяком случае поэзии, вооруженной сложной стихотворной техникой, которая разрабатывалась со времен древности. Здесь все понятно: стихосложение и даже восприятие стихов требуют специальных навыков, которыми в эпоху, когда способности и силы людей направлены на то, чтобы максимально упростить обмен информацией, никто не хочет овладевать.

Если обратиться к книгам, похожим на разобранное сочинение Юрганова, нужно говорить о существенно отличающейся от стихотворной научной графомании. Цикл ее развития совсем другой — на сегодняшний день научная графомания безусловно находится на взлете. В силу каких обстоятельств? Чтобы разрешить эту загадку, попробуем провести анализ, с одной стороны, общих причин распространения графомании в данную историческую эпоху, с другой стороны, причин, обусловленных спецификой научной деятельности.²⁹

Особенностями новейшей русской истории — головокружением от снятия идеологических рогаток — удовлетворительно объясняется взрыв графомании во всех ее формах, включая научное книгоиздание. Однако только этим нельзя объяснить, почему плоды произошедшего взрыва остались невостребованы читателями. Как случилось, что всего за несколько лет число наших писателей, в широком смысле этого слова, включая сюда ученых, удвоилось, если не утроилось, а число читателей одновременно сократилось во много раз? Дело в том, что политический переворот в России пришелся на самый апогей революции в области информации, которая охватила не только Россию, но и весь мир. В этом, по сути дела случайном, совпадении и заключена вся соль переживаемого сейчас момента в истории нашей культуры. Получается, что многотысячная армия писателей взялась за перо, ориентируясь на сложившуюся в советские годы конъюнктуру, а предложила свои творения публике с полностью обновленной системой ценностей. Речь идет не только о резком падении интеллектуального, морального и эстетического уров-

 $^{^{29}}$ Некоторые общие мысли о графомании в современной России, в том числе о графомании в гуманитарных науках, см. в кн.: *Буланин Д. М.* Эпилог к истории русской интеллигенции. СПб.. 2005.

ня развития у большинства населения России, падении, сопровождавшем внедрение в страну массовой культуры западного образца. Речь идет о коренном перерождении тех традиционных форм, которые до сих пор обеспечивали нормальное функционирование языка и связанных с ним мыслительных процессов, о пересмотре, который происходит на наших глазах как следствие резкого скачка в разработке технологий, специализирующихся на распространении информации.

Неслыханные еще недавно возможности, позволяющие в кратчайшие сроки аккумулировать любую информацию, легко менять ее форму и содержание, генерировать на основе добытых данных новую информацию любой степени сложности и моментально размножать и распространять ее среди неограниченного количества реципиентов, причем распространять в каком угодно виде, будь то текст, аудиозапись или видеоряд, — таковы завоевания информационной революции. Информационная революция отнюдь не означает обогащения человека информацией в абсолютном измерении. Неправильно было бы праздновать победу, рассматривая эту революцию как сплошное торжество человеческого разума. За всякое достижение техники приходится платить: если прежде люди искали источники информации, то теперь они не знают, куда от нее деться, как справиться с ее избытком, ибо освоение и переработка ее ограничены физическими, природными ресурсами человека, бесконечно отставшими от развития технологий, причем без надежды наверстать разрыв; все более осложняется сортировка информации на предмет достоверности; и пр. Неправильно было бы, с другой стороны, настаивать на отмененных этой революцией стереотипах, пытаться их удержать или возродить. Ее необходимо принять как свершившийся факт и по возможности осмыслить обусловленные ею изменения в организации и стиле человеческой жизни.

Нас сейчас интересуют новшества в сфере языка и мышления. Одним из бросающихся в глаза и наиболее выразительных новшеств является установление специфических отношений между письменной и устной речью. Со времен изобретения письменности в основе их противопоставления лежал технологический барьер: для создания письменного текста и дальнейших с ним манипуляций, в сравнении с устным высказыванием, всегда и везде требовалось больше труда, больше умения, больше знаний и т. д. Отсюда возникал облекавшийся в разные формы — в зависимости от культурного окружения — дополнительный смысловой вес, который приходился на памятник письменности. В частности, в религиозном обществе этот памятник мог наделяться особыми сакральными свойствами, создатели или хранители памятника могли маркироваться как приближенные к сфере сакрального и т. д. Вариантов много.

Однако и в обществе, далеко отошедшем от традиционного взгляда на мир, оппозиция устная / письменная речь вполне сохраняет силу. Оппозиция заключается в том, что в любом отдельно взятом языке устная речь заключает в себе динамическое начало, в то время как письменная речь по природе своей консервативна. Язык как особая система знаков реализуется и в устной, и в письменной речи, но первая обеспечивает соответствие этой системы меняющейся жизни, а вторая отвечает за ее относительную устойчивость. В устной речи быстрее обновляется лексика, используется упрощенная грамматика, с анаколуфами и эллипсисами, ослаблены внутритекстовые связи, минимизирован словарный запас и т. д. Кроме того, устная и письменная речь сопровождаются разными экстратекстовыми атрибутами, несущими большую или меньшую семантическую нагрузку. В случае с устной речью смыслообразующее значение имеют интонация говорящего, его мимика, жестикуляция. Но и у письменной речи есть свои собственные внетекстовые атрибуты, например почерк (или шрифт), которым сделана запись, ее цвет, материал для письма и т. д. Устная и письменная речь при некоторых культурных предпосылках так далеко расходятся друг с другом, что лингвисты определяют языковую ситуацию в отдельных цивилизациях как использование разных языков (пиглоссия).

Неверно было бы ограничивать область действия оппозиции устная / письменная речь только лишь языковыми явлениями. Она исключительно важна как сила, организующая мышление: принимаясь за письмо, человек как бы приобщается к вечности, а потому невольно дисциплинирует поток своего сознания, стремится преодолеть те промахи в языке и мысли, которые неизбежно сопутствуют устной речи и, не будучи зафиксированы, часто проходят незамеченными. Копиист выводит буквы каллиграфическим почерком, стараясь избежать ощибок и описок, писатель оттачивает свой стиль, создавая один за другим многочисленные черновики, ученый добивается ясности изложения, чтобы сделать свою мысль прозрачной. Наконец, после изобретения И. Гутенберга, книгопечатник борется с техническими огрехами — с опечатками; так, знаменитый парижский типограф Робер Этьенн прибивал к дверям мастерской корректурные листы и платил золотой всякому, кто находил в них ошибку. Все это явления одного порядка. Именно с консервативным началом в языке, с письменностью — связано накопление культурного опыта человечества. Противопоставление двух форм существования языка и выраженных с помощью этого языка мыслей запечатлелось в пословицах разных народов и стран («verba volant, scripta manent», «что написано пером, того не вырубишь топором» и др.).

А теперь представим себе положение вещей, создавшееся после информационной революции. Точнее, создающееся, ибо результаты большинства процессов, которые набрали полную силу пару десятилетий назад, еще далеки от завершения. Соответственно и выводы, касающиеся культурных последствий этой революции, остаются пока предварительными. Открывшиеся в результате случившегося переворота гигантские возможности производить с информацией сколь угодно сложные операции целиком и полностью уничтожили технологический барьер между устной и письменной речью, который был обусловлен большей трудоемкостью последней. Теперь создать письменное сообщение ничуть не труднее, чем устное, т. е. в языке уничтожена консервативная, сдерживающая сила. Образовавшийся перекос вызвал лишнюю и непосильную нагрузку на динамические элементы языка, нагрузку, не предусмотренную в традиционной культуре. Нагрузка не может не привести к ломке, к необратимым структурным изменениям. Первым, разумеется, должно исчезнуть то, что принято называть литературным языком, предполагающим наличие специальных субъектов — хранителей языковой парадигмы (писатели, журналисты, лекторы и т. д.) и специальных носителей этой парадигмы (художественная литература, газеты и журналы, сценическая речь и т. д.). Те и другие признавались каждым членом существовавшего прежде общества в качестве гарантов языкового порядка. Непризнание их таковыми ведет к хаосу, который распространяется постепенно на всю языковую реальность. С исчезновением общепризнанных хранителей и носителей языковой нормы само это понятие становится условным, примитивизируясь и примеряясь к новым технологиям, ориентированным на самого неразвитого пользователя. Это значит, что языку предстоит подвергнуться максимальному упрощению на всех уровнях — его звуковому / графическому оформлению, грамматическому строю, словарному фонду, синтаксису. Собственно говоря, будущее время здесь неуместно: такому упрощению язык уже подвергается, и подвергается довольно быстро. (Ср. вытеснение из быта курсивного письма, несоответствие учебников грамматики реальному языковому узусу, резкое сокращение набора лексики, находящейся в активном употреблении, преобладание паратаксиса.)

Наблюдая за ходом разрушительных процессов в языке, вызванных информационной революцией, мы отмечаем не только примитивизацию элементов, составляющих язык, но и ограничение его конструктивных возможностей. Налицо ослабление парадигматических и синтагматических связей, сокращение комбинаторного потенциала, которым располагают отдельные элементы языка, этой само-

регулирующейся системы. Каждая частица внутри системы стремится от нее высвободиться, стремится обособиться. Усиление центробежных тенденций влечет за собой распад языка и распад мыслей, то и другое мельчится до независимых другот друга монад.

Обратим еще внимание на следующее: новейшие технологии часто избавляют пользователя от необходимости формулировать мысли, предоставляя в его распоряжение функции и шаблоны, которые можно назвать эрзацами мыслей. Предложение, нужно сказать, очень заманчивое: действительно, зачем создавать сложные периоды, когда ту же идею, пускай урезанную и стандартизованную, можно передать с помощью двух-трех находящихся в машине функций? Это и есть завоевание информационной революции — новейшие средства обмена информацией с минимальным использованием языковых ресурсов и с ограниченным набором мыслей, включающим самые из них элементарные. Мысли человека кроятся по определенному лекалу, придуманному для удовлетворения потребностей тех, кто находится на предельно низком уровне интеллектуального развития, потребностей, соотносящихся с убогим умственным стандартом, на который ориентировано устройство персонального компьютера. Или, если воспользоваться иным образом: сколь угодно сложные мысли пропускаются через фильтры, соотнесенные с интеллектуальными возможностями самого неспособного носителя массовой культуры. Технологические завоевания заключаются как раз в изобретении и усовершенствовании подобных фильтров. Фильтров для языка и фильтров для мыслей.

С другой стороны, неверно видеть причину происходящего распада языка и деградации мышления в технологических нововведениях. Последние суть не причина, а следствие, результат действия тех причин, которые надлежит искать в истории культуры. Не техника деформирует культуру, а напротив — культурные потребности определяют направление технических разработок. Технологические нововведения лишь резко приблизили человечество к тупику, в который логика культурного развития завела бы и без них, они стали (в лучшем случае) своеобразными катализаторами процесса. Что же это за процесс? В ходе информационной революции он раскрылся в полной мере, хотя грозные симптомы кризиса наметились двумя столетиями раньше. Если же охватить взглядом историю в целом, нельзя не увидеть потери, сопоставимые с приобретениями, которые сопровождали эволюцию человека как биологического вида с самых ранних стадий его возникновения. Процесс, о котором идет речь, можно определить как девальвацию слова. Имеется в виду, что количественный прирост всего, что относится к набору и функциям слов, происходит одновременно с утратой этими словами некоторых качественных характеристик, пока, наконец, опустошение не достигает критической точки, так что новую стадию в развитии языка и речи приходится описывать с помощью новых терминов антропологии.

Начать придется издалека.

Для первобытного человека слово было тождественно вещи, назвать вещь значило вызвать ее к бытию, получить над ней власть. Отсюда страх перед испорченным словом, порча его, как считали, сама собой переходит на вещь. Соответственно бескомпромиссно было и неприятие лживого слова как стихии, противной жизни. Если подлинное слово творит мир, фальшивое ведет к его уничтожению. В христианской мифологии ненастоящими словами оперирует дьявол, разрушающий то, что было создано Богом при помощи настоящего логоса, который, как известно, отождествлялся с одной из божественных ипостасей. Вспомним, кто и как искушал прародителей. «В онь же день снесте от него, — соблазнял он плодами древа познания, — отверзутся очи ваши, и будете, яко боги, ведяще доброе и лукавое». Вот она — древнейшая ложь, пришедшая в мир: от плода прародители вкусили, но богами, разумеется, не стали! Конечно, люди обманывали друг друга всегда, но на первых порах истинные и неистинные слова не находились в таком удручающем

смешении, в каком они оказались позднее. Между тем развитие и усложнение общества пробивало одну брешь за другой в этой благотворной для человечества поляризации. Уроки истории научали, что с помощью лживых слов скорее можно достигнуть успеха. Люди все больше убеждались, что вербальные средства воздействия на мир вообще небеспредельны. В каком-то смысле отношение человека к языку разворачивается в исторической перспективе как сплошная вереница горьких разочарований. Воистину у мифа об утраченном «золотом веке» больше прав на существование, чем у мифа о «светлом будущем».

Решающий удар по престижу слова был нанесен в результате формирования буржуазного общества с его демонстративной бездуховностью, с его фетишизацией вещей и денег. При новых обстоятельствах развиваемая философами идея о вторичности языка по отношению к явлениям действительности стала выражением относительной ценности того и другого. На самом деле значение веши оценивается в деньгах, а слова лишь допускаются в качестве украшения этого значения на правах слуг: verba ancilla pecuniae. Лживое слово допускается охотнее, чем истинное. Позволительно даже сделать такой вывод: с утверждением денежных отношений любое слово становится отчасти лживым, потому что предлагает участникам коммуникации непрямую референцию, отсылая не к вещи, а к ее условному денежному заменителю. Для тех, кто сочтет этот вывод преувеличением, позволю себе привести высказывание автора, который сейчас вышел из моды, — Карла Маркса: «На самых оживленных улицах Лондона теснятся магазины, в витринах которых сверкают все богатства мира: индийские шали, американские револьверы, китайский фарфор, парижские корсеты, русские меха и тропические пряности; но все эти вещи мирского наслаждения носят на лбу роковые беловатые бумажные знаки с арабскими цифрами и лаконичными надписями L, s., d. Таков вид товаров, вступающих в обращение». 30 Вещи, у которых нет цены, как-то не вызывают интереса. Скажут, пожалуй, что политэкономия Маркса устарела. Что ж, социологи нового столетия тоже пишут о трансформации предметов и даже абстрактных понятий окружающего нас мира, как только они становятся предметами потребления.³¹

Степень неразличения истины и лжи есть та кратчайшая формула, которая позволяет градуировать этапы человеческого регресса. Здоровое отношение к лжи великолепно иллюстрирует знаменитая басня Эзопа («Пастух-шутник»; перевод М. Л. Гаспарова): «Пастух выгонял свое стадо от деревни подальше и частенько развлекался вот каким образом. Он кричал, будто волки напали на овец, и скликал поселян на помощь. Два-три раза крестьяне пугались и прибегали, а потом возвращались по домам осмеянные. Наконец, волк и в самом деле появился: он стал губить овец, пастух стал звать на помощь, но люди подумали, что это его всегдашние шутки, и не обратили на него внимания. Так и потерял пастух все свое стадо».

С моей стороны не будет большой смелостью сравнить невинный обман пастуха с грандиозными, но столь же лживыми воззваниями, посредством которых Наполеон побуждал своих гренадеров перекраивать карту мира («Songez, que du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent!»). Французы, потерявшие в войнах императора целое поколение, оказались более легковерны, чем односельчане Эзопова пастуха. Лживое слово перестало уже восприниматься как однозначно лживое, что и обеспечило установление национального, а скорее, интернационального культа Наполеона. Упоминание этого имени в данном случае не совсем произ-

 $^{^{30}}$ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. С. 71 («К критике политической экономии»).

³¹ См., например: Baudrillard J. La société de consommation: Ses mythes, ses structures. Paris, 1970.

вольно. Дело в том, что его походы знаменовали собой окончательное утверждение в истории человечества новой, буржуазной эпохи, решительно трансформировавшей патриархальное общество. Одной из главных ее тенденций является интеграция прежде автономных людских объединений и унификация их социальной структуры. Предпосылкой наполеоновской авантюры послужило успешное преодоление, по крайней мере развитыми странами, прежней социальной разобщенности населения. Капитал связывает мир в единое целое, но одновременно предельно сокращает сектор свободы у любого индивидуума, являющегося элементом социума. Стратификация общества утверждена раз и навсегда, изменение статуса каждого допускается только в границах этой стратификации. Через социальную унификацию мира стали возможны социальные эксперименты, в том числе исторические авантюры, охватывающие не только страны, но и континенты. Со времен великого переселения народов человечество не знало войн, подобных наполеоновским, когда в противоборство вовлекались целые нации.

Между тем за такими мировыми потрясениями было будущее. Такие войны стали приметой буржуазной эпохи, причем каждая очередная из этих войн становилась все более беспощадной, все более бесчеловечной, пока, наконец, мир не погрузился в состояние перманентной войны. Правда, люди стали хитрее: война теперь чаще ведется не пушками и танками, а политическими и экономическими средствами. Однако ведется она не менее «эффективно»: количество наших соотечественников, самых из них незащищенных, «переселенных» на кладбища в результате бескровных «реформ», — это количество, конечно, не меньше урожая жизней, собиравшихся на полях битвы в страшных войнах минувшего столетия. Все нынешние войны, какие бы формы они ни принимали, сопровождались и сопровождаются лживой фразеологией, единственной целью которой является сокрытие истинной цели соответствующего конфликта, соответствующего столкновения. А цель у войн всегда одна — движение денег, тех соков и той крови, которой питается буржуазный мир. В жертву этому Молоху уже принесены и всегда будут приноситься миллионы жизней.

На самом деле войны буржуазного мира и сопутствующая им пропаганда представляют собой лишь самые ужасные выражения массовой культуры, утверждением которой на Земле ознаменованы два последних столетия человеческой истории. Поскольку я не встречал удовлетворяющее меня определение массовой культуры, позволю себе указать ее отличительные черты с помощью нескольких аксиом. Первая. Если под буржуазным обществом понимать социальную организацию, в фундаменте которой лежат товарно-денежные отношения, массовая культура есть культура, основанная на товарно-денежных отношениях. То есть последние в их развитой, капиталистической форме не могут породить иную культуру, кроме как массовую. И наоборот: данный термин неприменим к внешне сходным явлениям, получившим массовое распространение в культуре традиционного толка. Культура масс не тождественна массовой культуре, для возникновения последней требуется качественный сдвиг в социальном развитии. Вторая. Будучи неотделима от коммерции, массовая культура характеризуется максимальной степенью вариабильности. Люди не ценят того, что у них есть под рукой изо дня в день. Однообразие притупляет восприятие, поэтому идея последовательного развития в одном направлении всегда будет неприемлема для тех, кто наживается, дирижируя психологией масс. Третья. Массовая культура по природе своей эфемерна. В том смысле, что ни один из ее феноменов не имеет самостоятельного значения, если он не соотнесен с товарно-денежными отношениями. Пожалуй, неэфемерны только банки, оперирующие деньгами, — той субстанцией, которая насыщает и приводит в движение по-новому организованный мир (показательно, впрочем, что и эта субстанция становится все менее осязаемой, заменяясь чеками, кредитными картами и пр.). Четвертая. Универсальный характер массовой культуры особенно отчетливо вилен в том, что внутри нее снимаются бинарные оппозиции творца и толпы, создателя и потребителя, изобретателя и пользователя. Все носители этой культуры добавляют свою лепту в ее воспроизводство и поддержание. Взамен они получают ее частицу, пропорциональную своему положению в иерархии социума. Массовая культура не является коварным изобретением кучки злодеев, она есть неизбежный итог культурной эволюции homo sapiens. Это общее достояние современного человечества, платить за которое придется тоже сообща, всем без изъятия.

Историю распространения массовой культуры можно очень приблизительно разделить на три периода: период формирования (до конца XVIII века), когда буржуа — подлинные носители этой культуры — находились в тени общества, остававшегося в основном сословным; период распространения (XIX век), когда массовая культура, постепенно набирая силы, прочно утвердилась во всех развитых странах; период торжества (ХХ-ХХІ века), историческая эпоха, все значительные события которой во всех уголках земного шара могут быть объяснены законами. определяющими бытие массовой культуры. Впрочем, последний период еще не завершился: торжество пока не привело к полной монополии, что объясняется неравномерностью эволюции разных народов и разных культур. На местном уровне кое-где еще сохранились патриархальные порядки. Однако, учитывая неуклонно нарастающий темп, непрерывный процесс ускорения в распространении и внедрении в жизнь массовой культуры, мы можем предположить, что до исчезновения последних островков, придерживающихся традиции, осталось уже ждать недолго. Этот короткий период, период до окончания истории — по крайней мере такой человеческой истории, какой мы ее знаем сегодня, — дает последний шанс осмыслить происходящее. Ибо грядущая безраздельная монополия массовой культуры означает, что ни у кого не будет возможности взглянуть на нее со стороны. Все окажутся вовлечены в общий круговорот. Зрителей не останется, все переоденутся актерами.

Как было сказано, с зарождением товарно-денежных отношений слово, с его непрямой референцией, медленно, но верно пропитывается ложью. И одновременно теряет свой творческий заряд. Пропорционально этому возрастает его разрушительное действие, которому повсеместное распространение массовой культуры придает космические масштабы. Культура такого типа есть не только порождение товарно-денежных отношений, она одновременно выступает как движущая сила этих последних. Все зависит от точки отсчета, так что ход новейшей истории легко разбить на изоморфные циклы, внутри которых культура и деньги действуют, как педали велосипеда. Почему, например, одновременно с упрочением социального единообразия мира его потрясают ужасные по разрушительности войны, самые варварские национальные конфликты? Ответ ясен. Их провоцирует ложное слово. Ложь, облеченная в фальшивые слова, внедряется через массовую культуру в сознание каждого, и вся многомиллионная толпа, одержимая навязчивой идеей, порождает катаклизмы, ввергающие человечество в пучину бедствий. Между тем скрытая цель этих катаклизмов до безобразия проста: они провоцируются искусственно (хотя не всегда сознательно) для того лишь, чтобы изменить направление денежных потоков. Массовая культура является таким же маховиком истории, как деньги: для поддержания своей жизни буржуазное общество требует не только безостановочного оборота денег, но и постоянного обновления основанной на деньгах культуры. Поэтому, как было сказано, одной из главных ее примет приходится считать текучесть, вариабильность. За первым ложным словом последует второе, за одним катаклизмом другой. И это до бесконечности.

Не ошибется и тот, кто скажет так: история как череда событий, производных от массовой культуры, сводится к удачным манипуляциям с ложью разных оттенков. Любопытно, что специалисты по социальной психологии далеко не сразу оценили потенции, которые приобретает ложь, своевременно предложенная людям в

условиях господства коммерциализованной культуры, культуры буржуазного свойства. Идиотизм людей, утративших индивидуальные желания и превратившихся в толпу, поначалу вызывал удивление. Яркие проявления одержимости масс на бытовом уровне встречали у первых наблюдателей снисходительную улыбку. Еще в начале прошлого века, размышляя о рычагах воздействия на сознание потребителя, автор соответствующего исследования счел нужным подкрепить свои соображения авторитетом парижского профессора: «По уверению известного экономиста и парижского профессора Ш. Жида, нет другой социальной категории более невежественной, более легковерной и глупой, чем потребители. Потребитель верит всякому, переносит и поглощает все, как в материальном, так и в других смыслах. Ему внушают мысль, что в его интересах, чтобы правительство обложило пошлиной, например, пшеницу, и он покорно платит за хлеб гораздо дороже, чем прежде. Его приучают пить виноградное вино из сушеных фиг или кампешевого дерева, и он находит его лучшим из натуральных вин. Один год портные убеждают его, что нужно носить короткие брюки и длинный сюртук, а на другой год — наоборот, и он простодушно меняет покрой своей одежды, чтобы дать заработать торговцу платьем или портному».32

В цитированных строчках многое подмечено верно, и многое по сию пору сохраняет свое значение, иногда даже в утрированной форме. Например, в случае с одеждой разного фасона — полная бессмысленность капризов моды, выгодных, однако, обслуживающим моду производителям и торговцам. Одновременно, как в случае с «натуральным» вином, — беззастенчивый обман покупателя. Наконец, как в случае с ростом цен, — политическая демагогия, жонглирующая словами о «государственной» необходимости. В одном только парижский профессор и его русский последователь допустили промах: напрасно они противопоставляют наглого спекулянта и простоватого потребителя. Ведь и в те времена ясно было, что хлеб по завышенной цене послужит пищей одинаково и спекулянту, и жертве спекуляции. Потребителями-то являются все, включая умного профессора. Ну, а сейчас, сто лет спустя, разделить общество на обидчиков и обиженных стало совсем трудно. Как было сказано, одной из примет массовой культуры является равноправие ее носителей, каждый из которых в чем-то обманывает своих ближних, а в чем-то другом обманываем этими самыми ближними. Новое общество едино и однородно. Оно не знает, что такое духовная элита, возвышенная над толпой и чуждая ее вкусам: творцы вневременных ценностей как особый социальный слой уходят в прошлое по мере повсеместного утверждения массовой культуры с органически присущим ей обманом. Ложью пропитана вся атмосфера, так что человек, по счастливой случайности натолкнувшийся на нечто подлинное, не сможет даже оценить свою удачу.

Квинтэссенцией коммерциализованной культуры является такая «классическая» форма буржуазной лжи, как реклама. Любопытно, что русские купцы, с чувством обвешивавшие и обмеривавшие своих покупателей, долгое время скупились тратиться на рекламу. З Для них, воспитанных в патриархальных семьях, эта форма надувательства оставалась дикой и непонятной. Они еще не стали полноценными носителями массовой культуры, каковая немыслима без рекламы. Последняя есть узаконенный способ обмана, причем, какими бы средствами ни пользовались рекламодатели, ударной силой неизменно выступает слово. Лживое слово, находящее наиболее адекватное выражение именно в рекламе. Ее я, конечно, понимаю расширительно, поскольку не вижу принципиальных различий между

 $^{^{32}}$ Тотомианц В. Ф. Теория, история и практика потребительской кооперации. 4-е изд., доп. М., 1918. С. 5. (Библиотека кооператора. № 60).

³³ См.: Плиский Н. Реклама: Ее значение, происхождение и история. Примеры рекламирования. СПб., 1894.

обманом, посредством которого сбывается некондиционный товар, обманом, на который не скупятся рвущиеся к власти политики, обманом шарлатанов-врачей и шарлатанов-фармацевтов, промышляющих на здоровье и недугах своих ближних, обманом тех, кто наставляет юношество в псевдонауках, и многими другими разновидностями обмана. Полагаю, что все эти разновидности прекрасно покрываются термином «реклама», широта распространения которой есть прямое следствие нездорового состояния человеческого слова.

Мертвящая сила рекламы обеспечивается превосходством кривды над правдой — лжи, влекущей за собой распад социума, распад, так сказать, второй степени. В торгашеском мире люди относятся друг к другу с недоверием, с презумпцией вины. Каждый за себя. Засилие коммерции привело к взаимному отчуждению и взаимной обособленности: homo homini lupus est. Буржуазный мир, утверждение которого сопровождалось ломкой сословных перегородок, социальной унификапией общества, возбуждавшей всяческие восторги (liberté, égalité, fraternité), одновременно разорвал существовавшие прежде социальные узы, не мотивированные интересами коммерции, — родственные, дружеские, эстетические и др. А значит, в числе прочего, ограничил функции языка как средства взаимодействия между людьми. Массовая культура, по природе своей, вводит языковую коммуникацию в строго очерченные границы: язык для дела плюс (иногда) язык для развлечения. В подобных условиях безмолвие действительно становится добродетелью, как то считали отцы-пустынножители. А массовая культура, куда приведет ее тенденция регламентировать языковое взаимодействие людей нуждами потребления? Не случится ли так, что в недалеком будущем диапазон применения слов будет сведен к узкому кругу прагматических потребностей, в остальном это будут знаки с нулевым значением? Речь в таком ее употреблении, наверное, перейдет из ведомства лингвистики в ведомство физиологии. (Кстати, не следует недооценивать физиологическую потребность человека в речи: экзистенциальное молчание не противоречит распространению словоблудия, компенсирующего ущемленную функцию организма.)

Представленный здесь исторический процесс девальвации слова был поднят массовой культурой на принципиально новую высоту. Спровоцированная той же массовой культурой информационная революция придала данному процессу дополнительное и мощное ускорение. Достаточно напомнить отмеченный мною результат, к которому привело внедрение новых технологий, а именно — тенденцию к смешению свойств устной и письменной речи. Одним из последствий технологических различий между ними в «дореволюционный» период являлось большее доверие людей к написанному, нежели к произнесенному. Таким же образом — дополнительными технологическими трудностями, необходимыми для производства, объясняется хорошо известный феномен, называемый верой в печатное слово. Можно сказать, что до недавнего времени процесс девальвации слова происходил в письменности, в сравнении с устной речью, заторможенно, а в произведениях печати еще медленнее. По ходу информационной революции эти три мутных потока слились. Не будем гадать, куда вынесет человеческий язык и обслуживаемую языком человеческую мысль их бурное течение, сошедшееся в одном русле. Очевидно, во всяком случае, что уже сейчас утрачена не только способность делить слова на истинные и ложные, утрачено и само желание производить такое разделение.

На сегодняшний день самым грандиозным средоточением информационного мусора безусловно является интернет. Вопрос об очистке данного продукта информационной нечистоплотности даже не ставится. Вместе с тем превосходящая наиболее смелые прогнозы интенсивность роста интернет-свалки позволяет считать отнюдь не схоластическим следующий вопрос: что раньше приведет человеческую цивилизацию к апокалиптической катастрофе — загрязнение окружающей среды или накопление этого самого информационного мусора?

* * *

Одна из операций, которую люди проделывали и проделывают со словом (понимаемым в ланном случае не слишком узко), — это научная деятельность. Если определять науку только как поиск истины (а всякие иные дефиниции вносят в эту простую формулу лишние, необязательные детали), то придется, конечно, решительно заявить, что для нее нет места в построенной на товарно-денежных отношениях буржуазной цивилизации. Ибо этой последней истина не нужна. Однако, во-первых, занятия науками суть сложный набор действий, а сами науки образуют сложную иерархию, причем отдельные действия и отдельные уровни в иерархии лалеко отклоняются от прямой задачи, обозначенной в определении. Во-вторых, ценности буржуазной цивилизации лишь постепенно утверждались на планете, а отдельные очаги сопротивления этим ценностям остались и до сих пор. Так или иначе, с переходом мира на рельсы всеобщей коммерции научная деятельность до поры до времени не только не была объектом гонений, но даже — некоторые ее направления — приветствовалась и поощрялась. Во всяком случае, вплоть до кризиса, разразившегося вместе с информационной революцией. Кризис, собственно, лишь выставил на всеобщее обозрение, обнажил несовместимость двух вещей, которые, по природе своей, никогда не могли ужиться, — массовой культуры и истины. Раз так, в условиях господства первой, ставшего с некоторых пор единоличным, не нужны оказались и науки вместе с подвизающимися в них и ищущими истину учеными. Парадоксальным образом именно они, эти ученые, обеспечили интенсивное формирование буржуазного общества — обеспечили через познание макрокосмоса и микрокосмоса, через научно-технический прогресс, через непрекращающееся воспроизводство квалифицированных кадров, без которых невозможно существование индустриального мира. И дальше — столь же парадоксальным образом — именно ученые подготовили информационную революцию, в ходе которой равнодушие к лжи достигло кульминации. Равнодушие, которое распространяется, как эпидемическое заболевание, и которое должно закономерным образом завершиться полной ликвидацией наук в классическом смысле этого слова. Зависимость наук от коммерции оказалась для них фатальной, они сами вырастили своего могильщика.

Упрочивающееся вместе с новыми технологиями безразличие к выбору подлинных слов из их неподлинного окружения, углубляющаяся девальвация слова вообще и обусловленное такой девальвацией сокращение диапазона мысли — все это подводит к законному вопросу: кому и для чего нужно расширение и углубление человеческого знания о природе и обществе? Во всяком случае, классических форм знания с их классической задачей — поиском истины. Вопрос риторический, так как ответ ясен без каких-либо доказательств. Не приходится поэтому удивляться, что в последние годы идет планомерное и интенсивное наступление на так называемые фундаментальные науки. Причем наступление идет во всем мире, и ведется оно по всему фронту. Через коммерциализацию университетского образования и академической системы. Через неоправданный перенос термина «наука» на сферы деятельности, не имеющие отношения к поиску истины, в частности связанные с разработкой и внедрением этикета всевозможных разновидностей, правил поведения для разных категорий людей, умением извлечь выгоду из любой ситуации (нюансы политической конъюнктуры, воспитание государственных чиновников, обучение менеджеров, бухгалтеров и др.). С последующей терминологической подтасовкой — применением определения «ученый» к специалистам-политологам, юрисконсультам, менеджерам и др. Через перераспределение дотаций, которых лишаются науки традиционного круга. Через сокращение кадров, допущенных к профессиональной разработке последних. В целом — через пересмотр относительной ценности наук, причем коэффициент ценности высчитывается в зависимости от того, насколько возможно практическое применение определенного раздела знаний, в зависимости от пользы этих знаний в поддержании массовой культуры. Большего не требуется. По таким же параметрам сортируются произведения литературы, искусства, музыки.

Впрочем, ошибется тот, кто сочтет ущемление наук и ученых (как и небрежение изящными искусствами) случайной и необоснованной административной причудой. Чем-то преодолимым с помощью административных же мер обратной направленности. На самом деле этот разрыв с традицией во многом обусловлен объективными причинами. Справедливее будет сказать так: административные меры являются реакцией на обновление культурных ориентиров, произошедшее в ходе более или менее стихийных процессов. Если, конечно, считать стихией коммерцию, постепенно обращающую в свою веру весь ученый мир. Подчеркиваем еще раз: это не какие-то злостные гонители знаний, это сами ученые подвели мир к мысли о ненужности таких знаний. Как было сказано, они сами — в угоду массовой культуре — подготовили информационную революцию. Поскольку вместе с этой революцией позиции массовой культуры заметно усилились, поскольку она нагло и беспардонно проникает в храм, куда дотоле впускались лишь фундаментальные знания, — поскольку все это произошло, постольку вынесен уже и приговор времени. Осталось произнести его вслух. Пора подводить итоги: каждому из ученой братии следует задаться вопросом, для чего нужна его отрасль знаний самому примитивному из потребителей массовой культуры. Задаться таким вопросом как нельзя более своевременно, ибо не может быть сомнений, что все науки и искусства, не приносящие пользы или удовольствия этому самому примитивному потребителю, в недалекие уже времена прекратят свое существование.

Необратимое (чем дальше, тем больше) забвение основного смысла своего существования, именно — поиска истины, — является тенденцией, свойственной всем направлениям научной деятельности, независимо от их места в классификации знаний. И все же у меня не вызывает сомнения, что профанация науки особенно заметна, особенно далеко продвинулась в гуманитарных ее отделах. И это по понятным причинам: используемый материал, методы и конечные выводы здесь менее точны, а значит, вульгаризация научной деятельности со стороны как злоумышленников, так и просто равнодушных происходит быстрее и свободнее.

Засорение недостоверной информацией различных направлений и исследований осуществляется на всех уровнях. Начиная с языкового. Например, на уровне лексики. Я имею в виду следующий факт: нетрудно заметить, что научные тексты, использующиеся в гуманитарных разделах знания, гораздо меньше, нежели технические тексты, наполнены терминами. Между тем диффузия подлинных и фальшивых слов, приводящая к их девальвации, легче происходит, когда мы имеем дело с общеупотребительными словами, нежели когда мы оперируем терминами. Следовательно, внутреннее опустошение языковых средств, выражающих некие научные суждения, зашло в технических дисциплинах не так далеко, как в гуманитарных. Предоставляем специалистам по теории научного творчества описывать аналогичные явления на всех остальных уровнях. Для данной работы сказанного достаточно: именно гуманитарные дисциплины я подразумеваю прежде всего остального, когда констатирую интенсивное развитие (параллельно с собственно научными разработками, которые встречаются все реже) деятельности, которую можно определить как мимикрию научного творчества. Какую бы форму ни принимала эта мимикрия, суть ее остается одной и той же: это лишь видимость науки, соблюдение ее оболочки без воспроизведения ее содержания. Наука заменена наукообразием.

И здесь встает вопрос, центральный в контексте наших рассуждений: в чем смысл наукообразной деятельности? Для чего люди пишут книги, подобные рассмотренной монографии «Убить беса»? Не будем спешить в поисках виноватых.

Уверен, что дело здесь не сводится к «интенциям» сочинителей (пусть простит нам Юрганов, что мы однажды воспользовались его любимым словечком). В бытии современного общества, в частности в распространении порожденной им массовой культуры, одним из проявлений которой являются книги вроде «Убить беса», для свободного волеизъявления индивидуума вообще осталось немного места. Все и вся социально детерминировано. Зло, которое сейчас входит в мир, редко проникает в него происками вредителей. Во многом это касается и наукоообразных книг, составленных по рецепту быстрого приготовления. Отчасти (или в значительной степени) они появились как побочный продукт информационной революции. многократно упростившей процедуру производства письменных текстов, а также принципиально изменившей баланс между устной и письменной формой выражения. Это с одной стороны. С другой стороны, те инстанции, которые определяют внутреннюю жизнь академической среды, не позаботились своевременно — вслед за информационной революцией — пересмотреть сравнительный статус устного и письменного текста и сделать необходимые организационные выводы. То есть создание письменного сообщения по-прежнему оценивается «дореволюционными» мерками — как операция, технологически более сложная, чем создание сообщения устного. Шкала оценок не изменилась, а получение «лучшего» результата стало проще. Такова одна из предпосылок для рождения книг, подобных юргановской. которые стали появляться одна за другой. Ученая среда не успела адаптироваться к новым условиям, организм был ослаблен, действие вируса облегчено.

Задумаемся: для чего еще совсем недавно писали и издавали научные книги? Если исходить из того, что наука — это поиск истины, всякую подлинно научную книгу можно назвать очередной ступенью в восхождении к истине. Для преодоления каждой ступени требовалась предельная концентрация сил и со стороны пишущего книгу, и со стороны людей из его профессионального окружения. Действительно, работа над такой книгой занимала годы и даже десятилетия. Дальше. Иногда нелегко было получить апробацию законченного труда, в том числе добиться издания его под эгидой авторитетной организации. И наконец, приходилось специально заботиться, чтобы изданный труд как можно скорее прочли другие специалисты. Покритиковали, но оценили. Чтобы к истине, хотя бы на одну ступеньку, поднялись все заинтересованные люди.

Никто, конечно, не идеализирует ученых недавнего прошлого, немало было среди них самых бесстыдных карьеристов, для которых смысл составления книг заключался в подъеме по другой лестнице — лестнице чинов и званий. И все же труд, вложенный в книгу автором, издателем и читателем, обеспечивал ей уважение в ученой среде. Будучи символом приближения к истине, книга, в известном смысле, являлась целью научных занятий. Отсюда та вера в печатное слово, о которой шла речь. Отсюда же чисто организационные выводы — оценка достижений какого-то ученого по количеству составленных и напечатанных им научных текстов. От этого количества зависел авторитет ученого, а иногда и его материальное благосостояние.

Однако жизнь не стоит на месте. Последовательно нарастающее равнодушие к истине повлекло за собой утрату словом его первобытной силы и, как следствие, утрату первоначальной идеальной цели научных трудов — поиска истины. Ученый, смешавшись с другими слоями буржуазного общества, благополучно забыл о столь возвышенной цели. Эта цель была непонятна носителю массовой культуры, а значит, непонятна стала и самому ученому как одному из представителей массы. Закономерным образом он потерял всякий интерес к научным разработкам своих коллег, бросил следить за ходом их мыслей и за трудами, которые сочиняют и издают эти коллеги. Сигналом распространения зла является то, что у книги, научной книги, исчез читатель — в том понимании этого слова, какое было сформулировано в начале моей статьи. С другой стороны, этикет научной среды и протекаю-

щей в этой среде научной деятельности, ставшей теперь видимостью, почти не претерпел изменений в новых условиях, условиях минимального взаимодействия между субъектами, участвующими в данной деятельности (точнее, создающими ее видимость). Пускай и в непрерывно сокращаемом виде, некоторые привилегии у носителей ученых чинов и званий все еще сохраняются. Мерилом научных заслуг по-прежнему служит количество сочиненных и напечатанных ученых или псевдоученых текстов. С третьей стороны, благодаря информационной революции, вызванной многократно упоминавшейся причиной — девальвацией слова, создание текстов, в том числе текстов, сохраняющих приметы академического этикета, стало делом элементарно простым. Достигнуть того, что прежде давалось трудами, стало возможным почти без всяких усилий.

Таковы предпосылки появления лавины книг, сходных с книгой А. Л. Юрганова. Поскольку наша задача — осмыслить феномен, а не составить Index librorum prohibitorum, не будем приводить перечень соответствующих сочинителей и соответствующих сочинений. Nomina sunt odiosa. Достаточно сказать, что перечень подучился бы очень длинный. И все-таки одно небольшое замечание по поводу этого пропускаемого здесь перечня я себе позволю. Просмотрев в уме означенный перечень, мы обязательно заметим одно свойство, роднящее большинство творцов псевдонауки и большинство созданных под ее эгидой творений. Оказывается, значительная их часть связана с Москвой, прямо или косвенно, будто оттуда именно пошел гулять по русским просторам исследуемый нами вирус. (Пожалуй, кто посмелее, отметит даже внутри Москвы некоторые зоны, зараженные более других; но не будем, что называется, «переходить на личности».) Это, конечно, закономерный результат того, что политики всех оттенков превратили за последнее столетие первопрестольную в какое-то чудовище, паразитирующее на теле России. Будто мы попали на заросшее мхом болото, на котором не могут закрепиться здоровые деревья. Достигнув некоторой высоты, все они гибнут. Правду сказать: удивляться нужно не тому, что наша столица стала столицей самой низкопробной культуры, между прочим и паранауки как частного проявления такой культуры, а тому, что в столь гиблом месте осталось нечто подлинное. В том числе подлинная наука и подлинные ученые. А они в Москве остались.

Вернемся, однако, к нашим имитаторам и вышедшим их трудами имитациям, которые объединяет вот что. Написание книги, бывшее дотоле целью, превращается (пускай иногда бессознательно) в средство. Издание ее, при отсутствии каких-либо требований к содержанию и при современных технических возможностях, осуществляется в два счета. Далее: на читателей особенно не приходится рассчитывать, поскольку чтение у нынешних ученых не в чести. Когда пишутся такие книги, как «Убить беса», никто не предполагает, что у нее будут читатели. А если кто-то все же прочтет да еще начнет ругать — ну, и Бог с ним, «брань на вороту не виснет». Слова-то, в том числе бранные, все равно обесценились. Логика безупречная. Безразличие автора научного сообщения и тех, кому адресовано это сообщение, к его достоверности, легкость, с которой, при помощи новейших технологий, может быть создано сообщение такого рода, незатейливость того наукообразного орнамента, которым приходится украшать свое сообщение сочинителю, — все это позволяет предсказать, что книгам рассматриваемого класса принадлежит будущее.

Это книги будущего хотя бы потому, что они суть «научные» книги в том понимании данного слова, которое соответствует духу времени, т. е. написанные как квалификационные труды — для получения чина, звания, должности, вспомоществования или для чего-то еще. Но только пе для читателя! Не для ученого читателя. Наука здесь вообще ни при чем. Раз книги пишутся не для читателей, критика читателей, ученых читателей, последних ученых читателей, пока еще оставшихся на свете, — эта критика сама по себе никогда не прекратит распространения

такой заразы. Встает законный вопрос: можно ли надеяться, что в ученых кругах, в соответствии с требованиями времени, т. е. в соответствии с последствиями информационной революции, будет сочтено возможным изменить академический статус произнесенного и особенно написанного научного текста? Полагаю, что эти надежды несбыточны, так как желание изменить status quo может появиться только у тех представителей ученой братии, которые понимают трагический смысл переоценки ценностей и которые согласны до последнего держать круговую оборону против напора массовой культуры. Также и против ученого сектантства, которое, при ближайшем рассмотрении, есть порождение этой же массовой культуры. По моим наблюдениям, число тех, кто готов подобным образом держать оборону, невелико, а их общественный вес и вообще ничтожен. Впрочем, неизбежность поражения не оправдывает сложивших оружие без боя.

Наивность ожидающих, что по отношению к псевдонаучной графомании образуется в академической среде сколько-нибудь влиятельная оппозиция, явствует. между прочим, из следующего весьма многозначительного факта. Насколько мне известно, ни одно из довольно многочисленных уже сочинений того класса, к которому принадлежит монография «Убить беса», не получило со стороны действующих еще пока серьезных ученых надлежащей оценки. Никто не назвал абракадабру абракадаброй открытым текстом. Это относится и ко всем без исключения писаниям нашего ученого героя. Не предлагая здесь исчерпывающего обзора относящейся к ним критической литературы, которая в основном вышла из-под пера людей небеспристрастных, ангажированных, с удивлением встречаем среди апологетов Юрганова специалистов старой закваски. Таких, например, как А. Я. Гуревич или В. М. Панеях, высоко оценивших юргановские «Категории». «Автор счастливо соединяет вкус к теоретико-методологическим вопросам с исследовательским мастерством, что делает его работу крайне интересной и стимулирующей», пишет один. «Его монография — существенный вклад в нашу историографию и важный ускоритель дальнейшего поступательного движения нашей науки», вторит ему другой.³⁴ Что это, требование этикета или инфекция «беспредпосылочной герменевтики»? Строже отнесся к изобретателям злополучной «исторической феноменологии» М. М. Кром, подвергший ее проверке на прочность и показавший, после скрупулезного анализа, методологическую несостоятельность новоизобретенной науки. По вердикту рецензента, она представляет собой довольно дикое смешение отдельных принципов, восходящих к позитивизму, исторической антропологии и постмодернизму.³⁵ Все это, может быть, и так, но все это называется стрелять из пушки по воробьям. Как если бы педантичный учитель стал проверять свои педагогические приемы на забранных в участок выпивохах. При всей своей учености Кром не понимает (или делает вид, что не понимает), что «феноменологам» дела нет до методологической выдержанности их дисциплины, что звучные имена классиков философской и исторической науки выполняют в их трудах функцию орнамента. Что «историческая феноменология» представляет собой рекламу — двигатель прогресса. Прогресса массовой культуры. Перед нами очередной парадокс: ширпотребом (предметом к широкому употреблению) становятся книги, непригодные для чтения.

Любопытно, в свете сказанного о рецепции книг Юрганова в академической среде, вот что. Откровенный вздор, вроде апологетических домыслов о пресловутой «Велесовой книге» или о столь же пресловутой «новой хронологии» А. Т. Фомен-

³⁴ Гуревич А. Я. Из выступления на защите докторской диссертации А. Л. Юрганова // Одиссей: Человек в истории. За 2000 г.: История в сослагательном наклонении? М., 2000. С. 301; Панеях В. М. [Рец.] Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998 // Вопросы истории. 2000. № 10. С. 165.

³⁵ См.: *Кром М. М.* «Зрячий миф», или Парадоксы «исторической феноменологии» // Новое литературное обозрение. 2004. № 4 (68). С. 309—319.

ко. — такой вздор нашел уже немало дотошных и придирчивых судей. 36 Потому. прежде всего, что этот вздор проникает в гуманитарную науку извне. Ученые-обличители реагируют на запах чужака, а не на масштабы исхоляшей от него угрозы. Угроза же в случае с «Велесовой книгой» и с «новой хронологией» невелика, так как демонстративно неакадемический характер подобных измышлений делает их для развития серьезной науки вполне безопасными. Безобидным курьезом, даюшим, кому надо, возможность поиграть с пойманной мышкой (как показывает литература вопроса, желающих поиграть оказалось немало). Добыча сама идет в руки. . В отличие от изданий, подобных книге «Убить беса», представляющих собой внутреннюю диверсию, ибо, как должно быть ясно из сказанного, этикет академического исследования соблюден автором в полной мере. Среди связанных круговой порукой читать и критиковать такие труды считается делом неприличным. Kvмовство — вот забытое, но точное определение рассматриваемого явления. Последствие распада ученого сообщества, приведшее к тому, что научные труды смешиваются с наукообразными. Об авторах же последних сказано: «Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хишницы».

Поговорим, однако, не о сектантах, а о последних блюстителях чистой науки, с презрением отворачивающихся от книг, подобных юргановской. За их презрением стоит наивное убеждение в том, что подлинные ценители, которые будут способны отделить пшеницу от плевел, никогда не переведутся. Что пускай, дескать, гуляют себе вороны в павлиных перьях, все равно настоящие павлины не примут их за своих сородичей. Это убеждение безосновательно: наука — дело общественное, и в общественном сознании наряженные вороны и павлины занимают одну и ту же нишу. Коль скоро наука составляет часть современной культуры, ей, в том числе научной элите (в корошем смысле этого опошленного слова), не удастся уберечь себя от свойственных культуре самоубийственных настроений, главное из которых — неразличение правды и лжи. Со смешения их и начнется первый этап отмирания науки как особой точки приложения творческой энергии человека. Ученые-пуристы забывают, что опорой массовой культуры является единая и однородная социальная среда, интенсивный процесс унификации которой, не прекращающийся ни на один день, мы имеем несчастье наблюдать вокруг себя.

Применительно к науке и научным книгам это значит, что большей жизнеспособностью обладают те из них, которые по своей природе лучше подходят к общему шаблону, которые принимают в расчет вкусы толпы. Как, например, сочинение Юрганова «Убить беса». Поддержанные соответствующими кружками и сектами, они быстро заглушат нежизнеспособные начинания ученых-пуристов. На месте науки останется псевдонаука. Нетрудно, впрочем, предречь, что этой последней тоже недолго придется торжествовать победу. Наука — в любой ее форме — требует капиталовложений, жертв, на которые никогда не пойдут носители массовой культуры, потому что псевдонаука нужна им немногим больше, чем наука подлинная. Итак, прогноз наш сводится к следующему: сначала научная деятельность сольет-

³⁶ См.: Что думают ученые о «Велесовой книге»: Сб. статей / Сост. А. А. Алексеев. СПб., 2004; История и антиистория: Критика «новой хронологии» акад. А. Т. Фоменко / Сост. А. Д. Кошелев. М., 2000 (Studia historica. Малая серия); 2-е изд., доп. М., 2001 (Studia historica. Малая серия); «Антифоменко»: Критика «новой хронологии» // Сборник Русского исторического общества. Т. 3 (151) / Под ред. И. А. Настенко. М., 2000. С. 7—196; Бегунов Ю. К. Русская история против «новой хронологии». М., 2001; Астрономия против «новой хронологии» / Под ред. И. А. Настенко. М., 2001; Антифоменковская мозаика / Науч. ред. И. А. Настенко. М., 2001; Антифоменковская мозаика-3 / Науч. ред. И. А. Настенко. М., 2002; Антифоменковская мозаика-4 / Сост. С. А. Фатюшкин. М., 2003; Шмидт С. О. «Феномен Фоменко» в контексте изучения современного общественного исторического сознания. М., 2005; Антиистория, вычисленная математиками: О «новой хронологии» Фоменко и Носовского / Отв. ред. С. О. Шмидт. М., 2006.

ся с наукообразной, потом наукообразная останется в единственном числе, чтобы, в конечном итоге, и ее смела с лица земли безразличная толпа.

Стоит ли в этом случае ломать копья — воевать с «научными» книгами нового поколения, книгами не для чтения? В конце концов все зависит от того, хотим мы приблизить или отсрочить развязку. А пока подчеркну лишь следующее. Пуристам, полагающим, что одним своим презрением они обезвредят Юрганова и иже с ним, следовало бы лучше знать исторические факты. В числе прочего факты, которые показывают, что подлинные жрецы никогда не пускали в храм профанов. И что при этом размежевание с последними никогда не обходилось без крови. Поскольку «служенье муз не терпит суеты», труженики науки во все времена стремились отделиться от окружения, образовать собственную корпорацию, собственный цех. Со своей корпоративной честью. Замечательно, что они этого иногда добивались. На каком-то витке истории трудящиеся на ниве наук действительно обладали значительной социальной и культурной автономией. Так было в Европе эпохи средневековья, когда ученые укрывались за стенами монастырей и университетов, причем последние были устроены по образу и подобию монастырей. Когда ученые объяснялись друг с другом с помощью латыни — своего собственного корпоративного языка, непонятного неискушенным. Когда они отчасти вели самостоятельную экономическую политику, пользуясь гарантированными корпоративными льготами. Когда они находились под покровительством власть имущих, причем власть имущие освобождали их от общей юрисдикции. Такая независимость, конечно, не очень понравилась пришелшим к власти заправилам новой, буржуазной эпохи, которые стали лишать «свободные науки» одной свободы за другой. Постепенно труженики науки растворились в окружающей их социальной среде, смешались с другими сословиями. Их язык со временем стал тем же, что и язык окружения. Теперь они лишены иммунитета, у них отсутствуют экономические послабления и преимущества в правовом статусе. Последние жалкие остатки академической автономии исчезли на нашей памяти. В итоге в современном мире нет признаков, которые бы маркировали ученого как не совсем ординарного члена общества. Кружковщина и сектантство, поощряющие размножение таких книг, как «Убить беса», это не подлинная эмансипация, это лихорадка, вызванная ущемлением свобод. Теперешний ученый превратился в обыкновенного государственного чиновника, живущего на казенном довольствии. Ничем не отличающегося от какого-нибудь работника почты или транспорта.

Впрочем, отличия есть, и отличия очень серьезные. В глазах тех, кто распределяет довольствие, работник почты или работник транспорта — клетки, полезные в общественном организме, а вот представители ученого мира — дармоеды, клетки злокачественной опухоли. И самое обидное заключается в том, что распределяющий довольствие в значительной степени прав: он оперирует общими социальными категориями и поэтому не отделяет нарядившихся в павлины ворон от природных павлинов. Те и другие, с социологической точки зрения, действительно составляют единое целое. В этом, во всяком случае, начальство не грешит против истины. Достижения информационной революции широко открыли ворота имитаторам, спешащим присоединиться к ученому сословию — быть на равных с прежними его представителями, благо для этого есть все культурные предпосылки, благо никто не потрудился придумать средства, способные затормозить приток проходимцев. Напрасно будет ученый-пурист оправдываться и твердить, как нужна человечеству та истина, поисками которой он занимается. И которая (между нами говоря) мало заботит распределяющего земные блага. Впрочем, даже если предположить невозможное — что этот последний подойдет к науке с идеальных позиций, — не вправе ли он спросить: как же вы, члены корпорации, допустили в мастера тех, кто не прошел испытание? Где их chefs-d'œuvre? Или: почему, при молчаливом попустительстве мастеров, в число chefs-d'œuvre попали такие книги, как «Убить беса»?

* * *

Вот общие соображения, касающиеся истоков научной графомании, полноценным продуктом которой является книга «Убить беса», как, впрочем, и другие монографические сочинения А. Л. Юрганова. Разумеется, я не столь наивен, чтобы, поделившись этими соображениями, надеяться образумить самих производителей литературы подобного рода. Феномен параллельного существования науки и паранауки и постепенного разбухания второй за счет первой зависит не только от доброй или злой воли индивидуума, будучи закономерным продуктом эволюции «культурного» человечества. И все же, возвращаясь в заключительных строках к книге «Убить беса» как характерному представителю выделенного нами класса — книг не для читателя, — позволю себе привести еще один довод, который мог бы, вопреки всем противопоказаниям, убедить автора закрыть его мануфактуру по серийному изготовлению научной бутафории. Надежда моя основывается лишь на том, что поводом для формулировки следующего далее довода послужили собственные заявления нашего героя. Соблюдая правила дискуссии, назову этот довод агдитептит аd religionem.

Среди немногих критических замечаний, оброненных в академических кругах в отношении «новой» дисциплины Юрганова, изобретателя этой дисциплины рассердило следующее. С. А. Иванов, известный знаток истории византийских юродивых, не без ехидства писал об адептах юргановской науки, будто эти адепты «рассчитывают, что, разорвав путы субъектно-объектной дихотомии, они благодаря исповедуемой ими исторической феноменологии напитаются духом источников, как дельфийская Пифия — серными испарениями, а потом превратятся в дельфийских же жрецов и переложат бессвязные выкрики прорицательницы в правильные гекзаметры». 37 Составителю книги «Убить беса» такая насмешка, разумеется, не понравилась. Поскольку строгую научную полемику наш сочинитель не способен развернуть в принципе, он поступил по-военному просто, решив дискредитировать основания, на которых Иванов вообще строит свое исследование о юродивых (см. с. 399-403, прим. 12). Между прочим, это довольно распространенный софизм, запрещенный прием, называемый в соответствующих руководствах отступлением от задачи спора или отступлением от тезиса. 38 В числе прочего наш автор отвергает заявление Иванова, что для успешного изучения религиозной культуры средневековья современному исследователю этой культуры вовсе не обязательно отказываться от присущего ему внецерковного мировосприятия.

Не углубляясь в полемику, позволю себе — в поддержку Иванова — выразить сомнение, что современный человек может вообще в полной мере проникнуться религиозным сознанием, свойственным людям столь отдаленной эпохи. Религия всегда примеряется к окружающей действительности, она чутко реагирует на изменения последней. Набожность нынешнего человека имеет мало общего с конфессиональным мировоззрением наших предков. Верно, однако, и то, что феномен средневековья останется неразгаданным, пока мы не научимся интерпретировать исторические факты с позиции человека, который наделял жизнь во всех ее проявлениях провиденциальным смыслом. Здесь — признаем это — прав А. Л. Юрганов. Но раз так, раз он полагает, что лучше других понял менталитет человека Древней Руси, человека религиозного, ему следовало бы знать некоторые азы духовной дисциплины, регламентировавшей жизнь этого человека. И с пользой для себя употребить такие знания. Известно ли автору, что благочестивому христианину, в его

 $^{^{37}}$ Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005. С. 21 (прим. 26).

³⁸ См., например: *Поварнин С. И.* Спор: О теории и практике спора. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 73—83.

вечном борении с греховными мыслями и побуждениями, нужно остерегаться столь соблазнительного занятия, как *празднословие?* Если не известно, смеем напомнить ему, что от этого соблазна уберегает, а если кто не устоял перед соблазном — то и врачует от недуга знаменитая великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина. Та самая, которая переложена в чудесных стихах Пушкина:

Владыко дней моих! Дух праздности унылой, Любоначалия, змеи сокрытой сей, И *празднословия* не дай душе моей.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© С. А. Фомичев

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»: ПОЭТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИСТОРИЧЕСКОГО СЮЖЕТА

Память о неудачном походе в 1185 году русичей на половцев сохранилась наряду со «Словом о полку Игореве» в составе общерусских летописных сводов. Особенно близка по сюжетной канве к «Слову» повесть, включенная в Ипатьевскую летопись, которая в этом фрагменте восходит к личной летописи Игоря Святославича. Допустимо предположить, что Игорь Святославич вместе с летописной версией заказал также и поэту-певцу создать особый (но на основе официальной, летописной версии!) рассказ о походе, непосредственно адресованный местным жителям, пострадавшим от неудачного похода куда в большей степени, чем сам князь. Упрочить пошатнувшуюся власть над подданными князю в ту пору было просто необходимо, так как в сражении погибла целиком не только его дружина, но и все ополчение, доверенное ему по заведенному порядку народным вече. 2

В походе 1185 года Игорь выступил против Кончака. В «Слове» совершенно умалчивается о прежних доверительных отношениях между ними. Однако могущественный половецкий хан в обстановке непрекращающейся междоусобной войны на Руси прагматически вступал в союзы с враждующими между собой князьями. Особенно близки были его взаимоотношения с Ольговичами, прежде всего с Игорем Святославичем. В 1180 году, потерпев поражение от дружинников Мономаховича, Рюрика Ростиславича (через год он станет соправителем киевским), Игорь и Кончак спаслись, вскочив в одну ладью, в то время как брат половецкого хана погиб, а два его сына попали в плен. После этого Кончак, вероятно, гостил в Новгороде-Северском, где было заключено соглашение о сватовстве малолетнего сына Игоря, Владимира, к дочери половецкого хана. Однако уже в 1184 году полчища Кончака напали на русские города и были разбиты. Очевидно, в ходе этой войны были нарушены какие-то личные обязательства половецкого хана перед Игорем. Впрочем, попав в плен, Игорь пользовался покровительством своего свата. «Тогда же, — отмечает летописец, — на полъчищи Кончакъ поручися по свата Игоря, зане бышеть раненть» (БЛДР, с. 242), а пребывание в плену князя описывается так: «Половци же, аки стыдящеся воевъдъства его, и не творяхуть ему, но приставища к нему сторожовъ 15 от сынов своихъ, а господочичевъ пять, то тъхъ всихъ 20, но волю ему даяхуть: гдъ хочеть, ту ъздяшеть и ястрябомъ ловяшеть, а

¹ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985. С. 145—175; Зимин А. А. Ипатьевская летопись и «Слово о полку Игореве» // История СССР. 1968. № 6. С. 43—64; Яценко Б. И. Лаврентьевская повесть о походе Игоря Святославича в 1185 году // Русская литература. 1985. № 3. С. 31—42. Повесть о походе Игоря 1185 года в составе Ипатьевской летописи представляет собою вполне самостоятельный текст, который, по всей вероятности, был создан непосредственно после побега Игоря из половецкого плена. Не исключено, что впоследствии этот фрагмент летописи подвергался редактуре.

² В летописном рассказе особо отмечено, что князь своих подданных не забывал: «...вси сосъдоша с коний, хотяхуть бо бьющеся доити ръкы Донця; молвяхуть бо, оже побъгнемь — утечемь сами, а черныя люди оставимъ, то от Бога ны будеть гръхъ: сихъ выдавше, поидемь. Но или умремь, или живи будемь на единомь мъстъ» (Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 4. С. 238. Далее это издание обозначается сокращенно: БЛДР; ссылки даются в тексте).

своих слугъ съ 5 и съ 6 с ним ъздяшеть. Сторожевъ же тъ слушахуть его и чьстяхуть его, и гдъ послашеть кого — бесъ пря творяхуть повелъное им. Попа же бящеть привелъ из Руси к собъ со святою службою, не въдяшеть бо Божия промысла, но творяшеться тамо и долъго быти. Но избави и Господь за молитву хрестьяньску, имже мнозъ печаловахуться и проливахуть же слезы своя за него» (БЛДР, с. 244). Поэтому и побег Игоря из плена не нарушил брачных обязательств: Владимир Игоревич в 1188 году вернулся домой с Кончаковной и с сыном.

Вообще говоря, участие половцев в княжеских междоусобицах было в ту пору явлением вполне заурядным (так же как и участие венгров и поляков на западных русских границах), но все они были ненадежными союзниками. За их помощь нужно было платить военной добычей и рабами, которых они время от времени добывали и в самостоятельных набегах на Русь. Можно понять, насколько двусмысленные взаимоотношения собственных князей с пришельцами вызывали возмущение простого люда, в наибольшей степени страдавшего от непрерывных браней.

Повторяя событийную канву княжеской летописи, автор «Слова», однако, в процессе вдохновенного творчества осмыслил историческую ситуацию, при всем сочувствии к Игорю, с позиций общерусских патриотических чаяний. На наш взгляд, следует принять во внимание импровизационный характер художественного произведения, которое в процессе творческого акта далеко отошло от «социального заказа».

О походе Игоря автор рассказывает в манере очевидца. Не обязательно, конечно, считать его непосредственным участником этого события, хотя воинский быт ему досконально знаком. Вначале автор обещает вести повествование «по былинам сего времени», ориентируясь на официальную версию события, сохранив основные сюжетные вехи летописного рассказа. Разительной приметой именно такой трактовки служит описание солнечного затмения в «Слове», как и в летописи, — в самом начале Игорева похода. По современному исчислению, солнечное затмение в действительности произошло позже, 1 мая, на девятый день похода Игоря, после его поражения.³

В летописном рассказе было важно подчеркнуть, что поход был изначально предварен грозным божественным предзнаменованием, которое Игорь якобы неверно истолковал — во зло половцам. В «Слове» же подобная картина задает тревожный тон всему дальнейшему повествованию, но христианский Бог не упомянут: решение князя начать поход объясняется его молодеческой отвагой («...съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону»). И в дальнейшем, в отличие от летописи, вспоминаются прежде всего народные языческие поверья и божества, что вызвано, несомненно, иной адресностью произведения: оно обращено, как бы мы сказали сейчас, к широкому кругу читателей, для которых в то время были ближе древние верования.

Важно отметить, что в летописи передано покаяние Игоря в момент поражения: «И тако во день Святаго Воскресения наведе на ня Господь гнъвъ свой, в радости мъсто наведе на ны плачь, и во веселиа мъсто желю на ръцъ Каялы. Рече бо дъи Игорь: "Помянухъ азъ гръхы своя пред Господомь Богомъ моимъ, яко много убийство, кровопролитье створихъ в землъ крестьяньстъй, якоже бо азъ не пощадъхъ хрестьянъ, но взяхъ на щитъ городъ Глъбовъ къ Переяславля. Тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьяни: отлучаеми — отець от рожений своихъ, братъ от брата, другъ от друга своего, и жены от подружий своихъ, и дщери от материй своихъ, и подруга от подругы своея..."» (БЛДР, с. 240).

³ Игорь выступил в поход 23 апреля, во вторник. Победоносная его битва на реке Сюрлий произошла в пятницу, 26 апреля. Разгром русичей на реке Каяле завершился в Святое Воскресение, 29 апреля.

⁴ Слово о полку Игореве / Вступ. статья и подг. древнерусского текста Д. Лихачева; сост., статья и комм. Л. Дмитриева. М., 1983. С. 28. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Это событие оценивается как личный и единственный подобный Игорев грех. Вспоминается здесь лишь какая-то маловажная битва, в которой участвовали русские воины, а может быть и половцы. Но, отталкиваясь от упоминания междоусобицы в официальном повествовании, автор «Слова» дает широкую панораму гибельных раздоров на Руси, осмысляя неудачный поход 1185 года в контексте предшествующей русской истории:

Тогда, при Олзѣ Гориславличи, сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука; въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась. Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче, а галици свою рѣчь говоряхуть хотять полетѣти на уедие.

(c. 34)

П. В. Владимиров предполагал, что данный фрагмент является вставкой в текст «Слова» из песни Бояна. Б. А. Рыбаков считает в особенности этот эпизод основополагающим для своего утверждения о том, что якобы «Слово» не могло возникнуть в среде сторонников князя Игоря уже потому, что здесь недвусмысленно осужден родоначальник «Ольгова хороброго гнезда». Но, как уже отмечалось выше (относительно реальных взаимоотношений Игоря с половцами), в тексте «Слова», в отличие от летописного рассказа, нет никаких упоминаний об участии князя в междоусобицах. Внук Олега Святославича здесь изображен исключительно как вдохновитель героического (хотя скороспелого, а потому и трагичного по результатам) похода на половцев. По художественной логике произведения Игорь как бы искупает прегрешения своего деда перед Русью. Недаром фрагмент об Олеге Святославиче вторгается в повествование о «яром туре Всеволоде», о его упоении боем и о том, как «Игорь плъки заворочаетъ: жаль бе ему мила брата Всеволода» (с. 35). В рассказе же об «Ользе Гориславличи» вспоминалась его распря с черниговским князем (его дядей) Всеволодом.

Намеченная при описании неудачного похода картина внутренних раздоров на Руси по логике художественного замысла вызвала необходимость выразить чаяния общерусского единства, что и составило центральную часть произведения. Автор и здесь отталкивался от официального летописного рассказа, где описана реакция князя Святослава на весть о поражении войска Игоря: «Святослав же, то слышавь и вельми воздохнувъ, утер слезъ своих и рече: "О, люба моя братья, и сыновъ, и мужъ землъ Рускоъ! Дал ми Богъ притомити поганыя, но не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю. Воля Господня да будеть о всемь! Да како жаль ми бяшеть на Игоря, тако нынъ жалую болми по Игоръ, братъ моемь"» (БЛДР, с. 242). Вина Игоря в «Слове» ограничена тем, что он выступил в поход, не дождавшись союза с другими могущественными русскими князьями, которые, впрочем, как об этом сказано в «златом слове» Святослава, вовсе не спешили объединяться в общей борьбе с половцами, занятые своими делами.

В произведении «злато слово» Святослава предварено его пророческим сном, поэтика которого, казалось бы, неожиданно сближена со свадебными песнями о сне невесты, снившемся ей накануне свадьбы. «В песнях этого типа, — как отмечает Роберт Манн, — певшихся чаще всего в утро венчального дня, упоминаются

 $^{^5}$ Владимиров П. В. Древняя русская литература Киевского периода XI—XIII веков. Киев, 1900. С. 298—299.

⁶ См.: Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.

почти все приметы, о которых рассказывает Святослав: вино, жемчуг, птицы, развалившиеся части дома.

Разгадай-ка, моя мамынька, Мой диўный сон, Што мне снилася сяводня у ва снах: Прилитали ясны сокылы, Яны садились на вакошички, На сиребрину ряшетачку, Яны сыпали крупен земчуг, Распухлили яны чорный шоўк (...) Мне не много ночесь спалося, Мне во снях грозно казалося: Будто ночесь во темной ноченьке, Что у вас, мои родители, Что у вас, мои сердечные, Все тыночки раскатилися, Все столбы да пошатилися, С теремов верхи повынесло».7

Ср. в «Слове»:

А Святъславь мутенъ сонъ видъ въ Киевъ на горахъ. «Си ночь съ вечера одъвахуть мя, — рече, чръною паполомою на кроваты тисовъ; чръпахуть ми синее вино, съ трудомъ смъщено; сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великый женчюгь на лоно и нъгуютъ мя. Уже дьскы безъ киъса в моемъ теремь златовръсъмъ. Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плъсньска, на болони бъща дебрь Кияня и несошася къ синему морю».

(c. 38)

Добавим к наблюдению Р. Манна, что и начало сна Святослава воскрешает атрибуты свадебного обряда: «Черная одежда невесты, — замечает В. И. Еремина, — называется часто "печальной". $\langle \ldots \rangle$ Для ранних представлений, которые были связаны с главным действующим лицом свадебного обряда — невестой, важно не то, что ее фата была черной, а то, что невеста покрывается фатой, прячет свое лицо. $\langle \ldots \rangle$ Этот обычай скрывать лицо невесты зафиксирован во многих записях прошлого века». В свою очередь, исследовательница справедливо сближает свадебную церемонию сватовства с ритуалом перехода в иной мир, т. е. с погребением. Именно в связи с этим обрядом, как нам представляется, в конце сна появляется до сих пор четко не растолкованное выражение, в первопечатном тексте воспроизведенное так: «Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плъсньска на болони, бъша дебрь Ки # саню и не сошлю къ синему морю». Ворон, своим карканьем предвещающий смерть, — обычный образ пророческого сна невесты. Чужая же

 $^{^7}$ Манн Р. Заметки к тексту «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 133.

⁸ Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991. С. 85.

сторона, куда уходит невеста, в свадебном обряде характеризуется следующим образом: «Ехали мы не путем, не дорогою, а зелеными лугами, чистыми полями, поволочными местами, дремучими лесами, зыбучими болотами, через грязи топучие, через тихие озера глубокие, через быстрые реки широкие, через ручьи ребиновы, через мосты калиновы, через узкие переулки». Допустимо поэтому предположить, что во сне Святославу привиделись «дебрьски сани», те эпитет имеет переносное значение, зафиксированное в русских говорах: «дебрьский — из дебрей, неведомо откуда», т. е. в данном случае из потустороннего мира. Сани — также атрибут погребального и свадебного обрядов.

Использование в «златом слове» традиционной поэтики семейного и свадебного обрядов было в кудожественной ткани произведения предварено еще речью буй тура Всеволода («А мои ти куряни свъдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы взълълъяни, конець копия всъкръмлени» — с. 29)¹² и метафорическим описанием проигранной русичами битвы:

Бишася день, бишася другый; третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезъ быстрой Каялы; ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: свата попоиша, а сами полегоша за землю Рускую.

(c. 35)

Бояре Святослава в «Слове» разгадывают сон князя в качестве предвестия отторжения Игоря и Всеволода («двух соколов») от «отчего престола золотого». В «Слове», как мы увидим далее, за этим конкретным событием раскрывается и более широкий, символический план всего повествования, в полной мере возобладавший в заключительной части.

Qui est li gentis bachelers?
Qui d'espée fu engendrez,
Et parmi le hiaume aletiez
Et dedenz son escu berciez,
Et de char de lyon norris,
Et au grant tonnoirre endormis,
Et au visage de dragon,
Iex de liepart, cuer de lyon,
Denz de sengler, isniaus com tygre,
Qui d'un estorbeillon s'enyvre
Et qui fet de son poing maçue,
Qui cheval et chevalier rue
Jus à laterre comme poudre,

⁹ См.: Там же. С. 92.

 $^{^{10}}$ Так же расшифровывал эти слова А. Югов; см.: Слово о полку Игореве / Пер. и комм. А. Югова. М., 1945. С. 80.

¹¹ Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 424.

¹² Вероятно, такое описание восходит к топике средневековых хроник, что подчеркивает широкий культурный кругозор автора «Слова». Поразительно сходный текст обнаружен во французской рукописи XIII века:

в переводе на русский язык звучащий так: «Кто юноша-рыцарь? Тот, кто под мечом был рожден, и в собственном щите взлелеян, и среди шеломов молоком вспоен, и мясом льва вскормлен, и средь страшного грома убаюкан...» (см.: Михайлов А. Д. Об одной старофранцузской параллели «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». С. 88).

Поэтическое взывание Ярославны «въ Путивлѣ на забралѣ» ¹³ начинается как традиционный плач, похоронное причитание — ср., например:

Кабы были у меня, у многобедушки, Были б крылышки гусиные, Были б крылья лебединые, Так слетала бы я, беднушка, Как за лесушки дремучие, За болота за топучие. Как взяла бы я, беднушка, Бессмертной этой водушки, Сошла бы я, беднушка, Как на буевку спасительску Ко родителю, ко батюшке; Как смазала бы я, беднушка, Его да тело мертвое, Тело мертвое да личико блеклое, Может от сна он не пробудится ль Да от смерти не воскресится ль.¹⁴

Продолжена же речь героини, однако, по иному образцу — как заклинание. Ярославна, скорбя о воинах своего лады, магическим даром своим вызволяет мужа из царства мертвых, ибо всякий переход бытийственной границы (плен, утрата власти, отторжение от земли Русской) равен смерти. 15

С символикой перехода бытийственной границы связано и описание диалога Игоря с пограничной рекой Донцом. Здесь, на первый взгляд, опять же неожиданно вспоминается давняя гибель князя Ростислава в реке Стугне и причитание его матери: «Днъпрь темнъ березъ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславлъ». ¹⁶ А потом в разговоре Гзака с Кончаком ¹⁷ возникает тема женитьбы Владимира Игоревича на Кончаковне:

Рече Кончакъ ко Гзъ:
«Аже соколъ къ гнъзду летитъ,
а въ соколца опутаевъ
красною дъвицею».
И рече Гзакъ къ Кончакови:
«Аще его опутаевъ красною дъвицею,
ни нама будетъ сокольца,
ни нама красны дъвице,
то почнутъ наю птици бити
въ полъ Половецкомъ».

(c. 51)

Жена, мать, невеста вспоминаются одна за другой, развивая отмеченную выше свадебную символику, которая в поэтической образности «Слова» подчеркивает

¹³ Возможно, известие о сокрушительном поражении, дошедшем до Новгорода-Северского, побудило жену князя ради безопасности перебраться в Путивль.

¹⁴ Русские плачи Карелии. Петрозаводск, 1940. С. 155.

¹⁵ См.: Клейн И. Донец и Стикс (Пограничная река между светом и тьмою в «Слове о полку Игореве») // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 64—69.

¹⁶ В «Повести временных лет», где описана гибель князя, также отмечено: «...плакася по нем мати его, и вси людье пожалиша си по немь повелику, уности его ради» (Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI—начало XII века. М., 1978. С. 230). Возможно, как и в «Слове», данный фрагмент восходит к народному преданию.

¹⁷ В летописи также воспроизведен диалог половецких ханов, но там речь идет лишь о разных их маршрутах нападения на русские земли.

нерушимую, органическую связь (обручение) Игоря с землей Русской, необходимость блюсти ее целостность и безопасность. Автор «Слова» выявляет — в духе народного мировосприятия — хранительную роль женщины, по-особому освященную в концовке произведения образом Богородицы: Игорь после освобождения в едет в Киев, к церкви Успения Богородицы Пирогощей. Допустимо предположить, что отвечающий поэтике произведения смысл определения тут: Богородица, «пиром угощающая». Ведь один из самых чтимых на Руси праздников, Успение, по народному наименованию Госпожинка, Спление, Спожинки, Оспожинки, Дожинки. Может быть, и Пирогощая из того же ряда (на Успенье по случаю окончания жатвы устраивали праздник, угощали, пекли пироги). Отсюда и «Страны ради, гради весели». Ср. в заклинании Ярославны: «Чему, господине, мое веселие по ковылю развѣя?» 19

Стилистика заключительной части «Слова», на наш взгляд, в наибольшей степени несет в себе черты Бояновой поэтики, о чем мы можем судить по прямым стилизациям под Бояна:

Боян бо въщий, аще кому хотяше пъснь творити, то растъкашется мыслию по древу, сърымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.

(c. 26)

Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галицы стады бъжать къ Дону великому.

(c. 28)

Ср. с этим, например, описание бегства Игоря из плена:

А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и бълымъ гоголемъ на воду. Въвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него бусымъ влъкомъ. И потече къ лугу Донца, и полетъ соколомъ подъ мыглами, избивая гуси и лебеди

завтроку, и к объду, и ужинъ.

Коли Игорь соколомъ полеть, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня.

(c.49)

Если о походе Игоря в первой части произведения автор рассказывает «по былинам сего времени», если «златое слово» Святослава складывается в основном из

¹⁸ Возвратившись из плена, Игорь отправился, согласно летописи, сначала к Ярославу в Чернигов («помощи прося на Посемье» — с. 246) и лишь после — к Святославу в Киев. Ясно, что в ту пору без их поддержки положение Игоря в собственном уделе было неустойчивым.

 $^{^{19}}$ В принципе это не противоречит гипотезе, развитой Д. С. Лихачевым, о том, что *исторически* церковь названа Пирогощей по иконе Одигитрии из Влахернского монастыря, название которой «наиболее вероятно следует производить от греческого слова $\pi \circ \rho \gamma \circ \tau \circ \tau$ башенная» (Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 222). Все дело, на наш взгляд, в народной этимологии — переосмыслении непонятных речений.

традиционных славословий (здесь, правда, с упреком в бездействии) могуществу конкретных русских князей, то в заключительной части автор древнерусской поэмы излагает события поэтически, вольно или невольно подпадая под манеру своего великого предшественника, а может быть и предшественников, которые недаром здесь вспоминаются: «Рекъ Боянъ и Ходына...».

Образ же Богородицы в финале «Слова» обусловлен постоянным, нарастающим символическим уподоблением «земли Русской» (этот топоним в произведении упоминается более двадцати раз) с матерью, хранительницей своих сынов, обязанных в свою очередь оберегать и защищать ее. Ср. в духовном стихе:

Первая мать — Пресвятая Богородица, Вторая мать — сыра земля, Третья мать — как скорбь приняла. 20

Представление об уникальности «Слова о полку Игореве» в репертуаре литературы Древней Руси возникает прежде всего потому, что богатейшая традиция витийственной (устной) словесности раннего средневековья, не предполагавшей письменного воплощения, оказалась впоследствии забытой. Вне этой традиции невозможно было бы создание «Слова». Почему же оно было сохранено? Письменная литература того времени могла фиксироваться лишь в духовной или княжеской среде. Понятно, что в церковной или монастырской библиотеке такой памятник о походе был бы инородным телом. Записать «Слово» можно было только по княжескому заказу и распоряжению. Личная же авторская инициатива такого рода маловероятна по многим причинам, в том числе и потому, что тогда автор «Слова» непременно назвал бы читателям свое имя.

© С. А. Семячко

СТАРЧЕСТВО И СБОРНИК «СТАРЧЕСТВО» НА РУСИ

Традиция наставления новоначального инока опытным старцем имеет глубокие корни. Уже Антоний Великий, считающийся основателем монашества, имел старца. Золотым веком в истории старчества традиционно считается эпоха скитских монастырей в Египетской пустыне, рассказы о подвижниках которой донесли до нас переводные патерики. Как древнейший, так и византийский период старчества был хорошо исследован еще в конце XIX—начале XX века. При этом среди историков церкви и филологов, занимающихся духовной литературой конца XVIII—начала XX века, укрепилось мнение, что на Руси до второй половины XVIII века старчество если и было развито, то крайне слабо, и уж во всяком случае не получило словесного оформления. В. И. Экземплярский в докладе 1917 года, специально посвященном старчеству, отмечал: «В последнее долгое время, целый ряд столетий, был основательно забыт завет древнецерковного подвижничества о необходимости в монашеской жизни старческого руководительства. Возрождение старчества на Руси связывается с именем Паисия приснопамятного Величковского». Эта точка зрение оставалась непоколебленной вплоть до недавнего времени.

²⁰ Федотов Г. Стихи духовные. М., 1991. С. 78.

 $^{^1}$ Экземплярский В. И. Старчество // Путь к совершенной жизни: О русском старчестве. М., 2006. С. 154—155.

Столь запоздалое развитие старчества на Руси В. И. Экземплярский связывал с формами организации монашеской жизни. Рассмотрев три таких формы — анакоретство, или отшельничество, скитские монастыри и киновии, — исследователь пришел к выводу, что скитничество в наибольшей степени способствует развитию старчества, замечая при этом: «Господствуют пока у нас, бесспорно, традиции общежительных монастырей, неблагоприятные для старчества». Обратим внимание на то, что В. И. Экземплярский выделял два типа старчества: «специальное руководство на пути иноческой жизни» и другой тип, который он называл русским старчеством — «новый вид монастырского послушания в деле служения Церкви народу», когда «умудренные опытом жизни старцы-подвижники» выступают «яркими светочами на пути искания народом нашим религиозной правды». 3

Толчком к изучению русского старчества как историко-культурного явления послужила деятельность монахов Оптиной пустыни. В поисках начальной точки развития русского старчества исследователи уходили все дальше и дальше в глубь веков. Если В. И. Экземплярский начинал русскую старческую традицию с Паисия Величковского, то И. К. Смолич возводил ее к Нилу Сорскому, не отрицая, впрочем, существование старчества на Руси до преподобного Нила, но делая оговорку, что «богатый материал по истории монастырей Древней Руси содержит, к сожалению, слишком мало... чтобы понять каковы основные формы старчества и пути аскетического воспитания». 4 Пересказав в своей работе некое поучение о взаимоотношениях старца и новоначального монаха, извлеченное им из рукописи XV века,5 исследователь не придал ему особого значения: «Только что изложенный документ регулирует внешнее поведение монаха, и притом в монастыре». 6 Гораздо важнее для него были те «совершенно новые взгляды и особенный образ жизни, прокладывающий новые пути древнерусскому аскетизму», 7 которые он обнаружил у Нила Сорского и которые, как он полагал, были забыты на долгое время: «Только в XVIII в. старец Паисий Величковский извлек писания преп. Нила на свет Божий и положил их в основу своих собственных творений, имевших целью возрождение старчества».8

Составитель антологии сочинений, посвященных русскому старчеству, и автор превосходного обзора исследовательской литературы по этому вопросу А. Л. Беглов справедливо оспорил утверждение И. К. Смолича и указал на то, что уже в монастыре Сергия Радонежского «существовала сложившаяся практика старческого руководства» и «что старчество преподобного Сергия — это именно иноческое старчество, адресованное монахам, и в этом смысле оно полностью находится в русле византийского старчества». Принципиален вывод, к которому пришел А. Л. Беглов: «Практика исповедания помыслов упоминается здесь (в Житии Сергия Радонежского. — С. С.) как нечто само собой разумеющееся, а это говорит о распространении старчества, причем в достаточно развитых формах. То, что мы не находим в древнерусской литературе специальных сочинений, посвященных старчеству, еще не может служить доказательством его отсутствия. Скорее, напротив, появление таких сочинений, попытка осознать старчество как самостоятельное явление и

² Там же. С. 164.

³ Там же. С. 193.

⁴ Смолич И.К. Жизнь и учение старцев: Путь к совершенной жизни // Путь к совершенной жизни. С. 226. (Впервые эта работа была опубликована на немецком языке: Leben und Lehre der Startzen. Wien, 1936.)

⁵ В работе не указано никаких данных относительно пересказанного текста и рукописи, из которой взят этот текст.

⁶ Смолич И. К. Жизнь и учение старцев. С. 231.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 232.

 $^{^9}$ Беглов А. Л. Старчество в трудах русских церковных ученых и писателей // Путь к совершенной жизни. С. 23.

замкнутое в самом себе духовное делание, сделать его предметом рефлексии — косвенный признак того, что духовное руководство покинуло естественно присущее ему место одной из аскетических практик, воспитывающих православного инока, что традиция утратила свою целостность и вступила в период кризиса. Кроме того, отсутствие оригинальных произведений по этой теме могло объясняться тем, что потребность в таких текстах вполне удовлетворялась переводными сочинениями». 10

Пействительно, достаточно обратиться к житиям преподобных, чтобы обнаружить в них одну общую деталь: молодой монах, только что пришедший в монастырь, или новопостриженный инок отдается под начало опытному старцу и остается у него в послушании довольно долгое время. Что это такое, как не старчество? Да и как можно представить себе историю монашества без института передачи навыков монашеской жизни от более опытного, искушенного инока, старца, новопостриженному? И. М. Концевич начинает русскую старческую традицию с Антония Печерского, причем приводит примеры не только старческого наставления новоначальных (и не только новоначальных) монахов, но и старческого окормления мирян, 11 демонстрируя наличие в средневековой Руси обоих типов старчества. Находясь в эмиграции и будучи, по сути, лишенным доступа к первоисточникам, И. М. Концевич опирался в основном на жития преподобных, известные ему по изданиям или пересказам в исследовательской и популярной литературе. Единственное специальное сочинение, которое он упоминает, — все то же приведенное И. К. Смоличем поучение. С одной стороны, казалось бы, справедливость восстановлена — доказано наличие старческой традиции на Руси с момента появления у нас монашества, но, с другой стороны, «бессловесность» (точнее, невыявленность словесного сопровождения) этой традиции как будто бы ставит под сомнение и сам факт ее существования.¹²

Однако старчество в Древней Руси не просто имело место, но и было словесно оформленным. И свое словесное оформление оно нашло в сборнике, так и называвшемся «Старчество». Попутно следует отметить, что уже в то время духовное водительство называлось старчеством. Именование старцем наставника, духовного руководителя совершенно естественно для древнерусской книжной традиции, которая унаследовала его от традиции византийской через посредство переводных житий, и в первую очередь патериков. 13 Поэтому представляется крайне странной позиция В. А. Кучумова, отрицающего какое бы то ни было духовное содержание у слова «старец» вплоть до второй половины XVIII века: «Старчество... В русской истории этот термин не относится к разряду древних. Действительно, его можно встретить преимущественно в изданиях XIX в., и означает он не столько официально признанный церковный институт, сколько явление русской истории. Именно с этого времени словом старчество стали обозначать высшую степень духовного водительства, наставничества, не совокупность старцев, но род призвания. Ранее старцами назывались старшие по возрасту или по положению монахи, и сам по себе этот термин иначе не истолковывался. Старцами именовались строители мо-

¹⁰ Там же. С. 23—24.

¹¹ Концевич И. М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М., 2002 (1-е изд.: Париж, 1952).

¹² Книга И. М. Концевича не помешала С. С. Хоружему утверждать, что «все труды и исследования о русском старчестве едины меж собой в том, что основателем его традиции является святой преподобный Паисий Величковский» (Хоружий С. С. Духовные основы русского старчества // Феномен русского старчества: Примеры из духовной практики старцев. М., 2006. С. 10; то же см.: Хоружий С. С. Русское старчество в его духовных и антропологических основаниях // Православная община. 2002. № 11(23), 12(24)).

¹³ См., например, текст Синайского патерика по рукописи, традиционно датируемой XI—XII веками: Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.

настырей, распорядители работ в обителях, начальствующие над какими-либо монастырскими службами (конюший старец) и т. п. Старцы в древнерусских обителях принимали деятельное участие в управлении монастырем, являя собой скорее алминистративную власть, нежели духовную». 14 Не вдаваясь в полемику с этой абсурдной точкой зрения, укажу только, что уже в одном из наиболее ранних русских житий, Житии Феодосия Печерского, Антоний Печерский, выступающий по отношению к Феодосию как наставник, именуется старцем (например, в сцене пострижения Феодосия: «Таче благослови и старець и повель великому Никону остръщи и...» 15). Старцем именуется и Димитрий Прилуцкий по отношению к великому князю Димитрию Ивановичу: «Слышав же и вседержавный прежепомянутый благовърный князь великий Димитрие, идъже пребывает преподобный его старець». 16 Более того, в древнерусской агиографии нередко словосочетание «духовный старец»: «И призвавъ к себъ въ прежереченную пустынку нъкоего старца луховна...» (Житие Сергия Радонежского; речь идет о человеке, который должен постричь Варфоломея, будущего Сергия Радонежского);17 «...и одъвается во святый иноческий образъ. И нарекоша имя ему Иоасаф. И предаетъ его старцу духовну Григорию именемъ...» (Житие Иоасафа Каменского); 18 «Игумен же Дионисий... одъваетъ его во иноческий образ, и нарече имя ему Александръ, и дастъ его духовну старцу и благоговъйну сущу» (Житие Александра Куштского).¹⁹ Количество примеров можно увеличить в несколько раз и при этом нужно отметить, что, как правило, старцем именуется тот, кто окормляет новоначального монаха или приволит человека к постригу.

Итак, «Старчество» — это нравственно-дисциплинарный сборник относительно устойчивого состава, предназначенный для старца-наставника новоначального монаха и являющийся своего рода методическим руководством для старца в обучении новопостриженного инока основам монашеской жизни. К настоящему моменту выявлено более 30 списков сборника, представляющих различные его типы и находящихся, как правило, в монастырских собраниях рукописей. В основе сборника лежит «Предание старческое новоначальному иноку», излагающее основные правила монастырской жизни в форме поучения новоначальному монаху. К этому тексту, являющемуся самым значительным по объему, в разных вариантах сборника добавляются, как правило, во фрагментах, различные произведения уставного характера и тексты, опять же фрагментарные, касающиеся аскетической практики (о молитве, посте, искушении, страстях, добродетелях и т. п.). В состав сборника также включаются отдельные рассказы из переводных патериков, служащие фактически иллюстративным материалом к его «теоретической» части.

Как удалось установить, «Предание старческое новоначальному иноку», по всей вероятности, является наиболее ранней фиксацией устава преподобного Кирилла Белозерского.²⁰ Возникновение текста Предания и его редактирова-

¹⁴ *Кучумов В. А.* Русское старчество // Монашество и монастыри в России. XI—XX века: Исторические очерки. М., 2005. С. 229.

 $^{^{15}\,\}mbox{Житие}$ Феодосия Печерского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1: XI—XII века. С. 364.

¹⁶ Житие Димитрия Прилуцкого // Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: Тексты и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2003.

¹⁷ Житие Сергия Радонежского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 6: XIV—середина XV века. С. 294.

¹⁸ Прохоров Г. М. Житие Иоасафа Каменского // Святые подвижники и обители Русского Севера: Усть-Шехонский Троицкий, Спасо-Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александров Куштский монастыри и их обитатели / Изд. подгот. Г. М. Прохоров и С. А. Семячко. СПб., 2005. С. 59.

¹⁹ Семячко С. А. Житие Александра Куштского // Там же. С. 246.

 $^{^{20}}$ Подробно об этом см.: Семячко С. А. Устав преподобного Кирилла Белозерского и его отражение в письменных памятниках // ТОДРЛ. 2009. Т. 60 (в печати).

ние,²¹ равно как и формирование и развитие сборника «Старчество», теснейшим образом связано с Кирилло-Белозерским монастырем и находится в прямой зависимости от развития и трансформации формы жизни в монастыре.

Кирилло-Белозерский монастырь Успения Богородицы, основанный преподобным Кириллом на берегу Сиверского озера в 1397 году, стал признанным духовным центром. Преподобный Кирилл Белозерский, происходивший из знатного рода Вельяминовых, был пострижеником московского Симонова монастыря, где были введены строгие общежительные нормы. Он провел в нем не менее 17 лет (кстати, первое время находился под началом у старца по имени Михаил) и некоторое время даже был архимандритом этого монастыря. Житие Кирилла Белозерского рассказывает о неоднократных беседах Кирилла с приходившим в Симонов монастырь Сергием Радонежским, активным поборником введения общежительного монастырского устава, и об особой расположенности Сергия к Кириллу. Отказ от поста архимандрита и впоследствии уход из монастыря был вызван стремлением Кирилла «безмолвствовать» и нежеланием ввязываться в распри с занявшим пост архимандрита после Кирилла Сергием Азаковым, ревновавшим к славе и популярности своего предшественника.

Вряд ли Кирилл оставил Симонов монастырь для того, чтобы сразу же основать новый. Однако отшельничество Кирилла продолжалось совсем недолго. К нему стали приходить другие братия, в том числе и из Симонова монастыря; приходили и те, кто хотел принять у Кирилла монашеский постриг. Вскоре вокруг него образовалась монашеская община. Относительно форм организации жизни внутри этой общины среди исследователей нет единого мнения. Скорее всего, прав Г. М. Прохоров, который, учитывая наличие в двух сборниках, принадлежащих Кириллу Белозерскому, Скитского устава, сделал вывод, что кирилловская община жила сначала по Скитскому уставу и лишь с течением времени перешла на общежительный: «Кириллова обитель эволюционировала обычным тогда путем от пещеры отшельника к скиту, или лавре, и далее — к общежитию». 22

Трудно сказать, кем был записан Кириллов устав, самим Кириллом или его непосредственными учениками. Важно то, что он был изложен в форме типового поучения, с которым должен был старец обращаться к новопостриженному иноку, только что отданному под его начало. Интересно, что в одном из списков, ²³ единственном, где назван автор, этот текст называется «Поучение старца къ ученику Кирила Белозерска Чюдотворца» (т. е. не поучение Кирилла Белозерского к ученику, а написанное Кириллом поучение любого старца к ученику). Таким образом, институт старчества должен был стать институтом передачи устава. ²⁴ И это был устав общежительного монастыря.

Еще Н. К. Никольский писал: «Здесь (в Кирилло-Белозерском монастыре. — $C.\ C.$) силен был обычай старчества, т. е. продолжительного руководства старца новоначальным иноком, который поручался ему для научения при пострижении. Пу-

²¹ Об основных редакциях и вариантах текста Предания см.: Семячко С.А. История текста «Предания старческого новоначальному иноку» и ранняя история сборника «Старчество» // Книжные центры Древней Руси: Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008 (в печати).

²² Энциклопедия русского игумена XIV—XV вв.: Сборник преподобного Кирилла Белозерского. Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собрание, № XII / Отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2003. С. 28.

²³ Прохоров Г. М. «Поучение старца къ ученику Кирила Белозерска Чюдотворца» // Книжные центры Древней Руси: Кирилло-Белозерский монастырь.

²⁴ Этот механизм сохранялся в Кирилло-Белозерском монастыре и в XVII веке, что засвидетельствовал Иона Соловецкий, описавший приход в Кириллов монастырь нового инока (*Морозов Б. Н.* «Приход в Кирилов монастырь» Ионы Соловецкого // Книжные центры Древней Руси: Кирилло-Белозерский монастырь; *Семячко С. А.* Устав преподобного Кирилла Белозерского и его отражение в письменных памятниках).

тем этого старчества в монастырях через преемство монашеских наставлений поддерживались одни и те же идеи». 25

Однако в Кирилло-Белозерском монастыре устав основателя вскоре был нарушен и основы общежительства поставлены под угрозу. Исследователи не раз описывали ситуацию, возникшую в монастыре при третьем после преподобного Кирилла игумене, Трифоне (первый, Иннокентий, назначенный самим Кириллом и названный в его Духовной грамоте, был игуменом в течение 5 месяцев, а второй, Христофор, — 5 или 6 лет). Трифон был первым игуменом, пришедшим со стороны, не бывшим пострижеником и воспитанником Кирилло-Белозерского монастыря, и не случайно именно при нем начались нарушения Кириллова устава. Борьба с Трифоном и с его стремлением приобрести большие владения монастырю и укрепить монастырь экономически привела к тому, что во главе монастыря стал игумен Кассиан, постриженик Спасо-Каменного монастыря, который в большей степени следовал принципу нестяжательности, но, по словам Н. К. Никольского, «свободнее относился к правилам общежительного иночества». 26

Не стоит думать, что пришедшие со стороны настоятели пренебрегали авторитетом основателя монастыря. Именно игумен Кассиан был инициатором приглашения Пахомия Логофета для написания жития Кирилла Белозерского, которому был показан устав Кирилла Белозерского, и показан был именно в «Старчестве», как это демонстрирует сопоставление «Старчества» с Житием Кирилла Белозерского. По свидетельству Паисия Ярославова, игумен Кассиан знал и самого Кирилла.²⁷

Вероятно, именно в период ослабления общежительных норм и была составлена в Кирилло-Белозерском монастыре Распространенная редакция «Предания старческого...», читающаяся в некоторых вариантах «Старчества». Эта редакция была увеличена вдвое по сравнению с тем, что читалось ранее, и ее дополнительная часть содержала правила, в большей степени подходящие для жизни не в общежительном монастыре, а, скорее, в ските, и практически полностью была составлена из фрагментов Скитского патерика и дополнений к нему.²⁸ Появление такого текста кажется вполне естественным — оно отражает настроение и той части иноков Кирилло-Белозерского монастыря, которых не устраивало расширение земельных владений монастыря, его активная хозяйственная деятельность, и тех, кто стремился к большей личной самостоятельности. Начиная с конца XIV века делались неоднократные попытки вырваться из-под власти кирилловского игумена, освободиться от давления большого монастыря, но только одну попытку можно признать удачной — выходцем из Кирилло-Белозерского монастыря был создан Нило-Сорский скит, ставший признанным центром духовной жизни и религиозных исканий. Однако именно в этом ските сборник «Старчество» оказался совершенно не востребованным. 29 Нило-Сорский скит не занимался воспроизводством монашест-

 $^{^{25}}$ Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в.: В 2 т. Т. 2: Управление. Общинная и келейная жизнь. Богослужение. СПб., 2006. С. 154.

²⁶ Там же. С. 143.

 $^{^{27}}$ «Игумен Касьанъ Каменской и в Кирилова монастыри игуменил много лът, и житию Кирила чюдотворца свъдътел» (Прохоров Г. М. Сказание Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре # Святые подвижники и обители Русского Севера. С. 42).

 $^{^{28}}$ Подробно об этом см.: $\it Семячко C. A.$ Патерик и Старчество // ТОДРЛ. 2009. Т. 61 (в печати).

²⁹ Поскольку старчество как явление традиционно связывалось со скитской формой жизни, то и возникновение сборника «Старчество» поначалу так или иначе связывалось с Нило-Сорским скитом. См., например, точку зрения архимандрита Леонида: «Собственно так называемое Старчество, судя по древнейшим его спискам, в которых всегда встречаются произведения пр. Нила Сорского, должно быть составлено или им самим, или кем-либо из его учеников — заволжских старцев» (Леонид, архим. Систематическое описание славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова. М., 1893. Ч. 1. С. 515). Эту же мысль повторил и современный исследователь: «Первые сборники "Старчество" составлялись, видно, среди сторон-

С. А. Семячко

ва, в нем не было пострижений, туда принимались иноки, прошедшие изрядный путь подвижничества в общежительном монастыре. Поэтому «Старчество» как сборник, посвященный наставлению новоначального монаха, оказалось там ненужным. Но ненужным этот сборник оказался и как носитель кириллова устава, так как жизнь в Нило-Сорском ските была устроена по Скитскому уставу, тому самому, который дважды переписан в личных сборниках Кирилла и по которому, вероятно, жила община Кирилла до того времени, когда в ней было установлено общежительство. Сохранился список Скитского устава, переписанный рукой самого Нила Сорского. Причем переписал он его, еще находясь в Кирилло-Белозерском монастыре. И, судя по всему, именно Скитский устав сорские скитяне воспринимали как кириллов.

Все прочие попытки некоторых иноков Кирилло-Белозерского монастыря поставить отдельные кельи и ввести независимый от монастыря уклад были вызваны не столько стремлением к уединению и духовной жизни, сколько своеволием или желанием сохранить в какой-то мере свои мирские богатства. Они вовсе не стремились к «жестокому» и уединенному скитскому житию. Фактически они разрушали киновию, по сути создавая на ее основе идиоритм. Им также сборник «Старчество» оказался не нужен. С одной стороны, они не окормляли новоначальных, с другой — хотя дополнительная часть Распространенной редакции «Предания старческого...» не противоречила их образу жизни — сборник в целом этому образу жизни совершенно не соответствовал.

Пострижение и старческое наставление новоначальных происходило в рамках деятельности киновии, одной из задач которой было воспроизводство монашества. «Старчество», возможно, еще в XV веке вышло за пределы Кирилло-Белозерского монастыря и к XVII веку широко распространилось практически по всем крупным монастырям (замечу, монастырям общежительным). И в этих монастырях могли формироваться свои варианты «Старчества». Причем формирование новых вариантов сборника и их распространение связано, как правило, с именами весьма авторитетных монахов, книжников, известных своей организаторской и наставнической деятельностью, таких как келарь Кирилло-Белозерского монастыря Матфей Никифоров, келарь Троице-Сергиева монастыря Симон Азарьин, книжники, работавшие в Соловецком монастыре с Сергием Шелониным, игумен Антониево-Сийского монастыря Феодосий. 30 Интересно, что «Предание старческое...» в них могло читаться как в Основной (т. е. общежительной), так и в Распространенной (т. е. скитской) редакции. Более того, в «Старчество» могли включаться и другие статьи уставного характера. Так, в поздних кирилло-белозерских «Старчествах» встречаются статьи, описывающие порядки в Нило-Сорском ските или Иосифо-Волоколамском монастыре, ³¹ а одно из «Старчеств» Соловецкого монастыря, помимо Распространенной редакции «Предания старческого...», содержит почти полностью Устав Евфросина Псковского, также общежительный. 32 Вероятно, к этому времени

ников идей Нила Сорского, в кон. XVI в.» (Смирнов Д. Д. Статьи «От Старчества» в рукописных сборниках XVII—XIX вв. // Русская книга в дореволюционной Сибири: Рукописная и печатная книга на Востоке страны: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1992. С. 163). Невозможность связи сборника «Старчество» с Нилом Сорским или его последователями рассмотрена в статье: Семячко С. А. Был ли Нил Сорский составителем сборника «Старчество»? // ТОДРЛ. 2008. Т. 58 (в печати).

³⁰ См.: Семячко С. А. 1) Сборник «Старчество»: вариант Соловецкого монастыря // ТОДРЛ. 2004. Т. 55. С. 343—357; 2) Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина: Описание состава // От Средневековья к Новому времени: Сб. статей в честь Ольги Андреевны Белобровой. М., 2006. С. 218—245; 3) Сборник «Старчество» в Кирилло-Белозерском монастыре // Книжные центры Древней Руси: Кирилло-Белозерский монастырь (в печати); 4) Сборник «Старчество» в Соловецком монастыре // Книжное наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2008 (в печати).

³¹ Семячко С. А. Сборник «Старчество» в Кирилло-Белозерском монастыре.

³² Описание этого сборника см. в приложении к статье С. А. Семячко «Сборник "Старчество" в Соловецком монастыре».

«Старчество» стало восприниматься еще и как некий справочник, с помощью которого можно было познакомить новоначального инока с разными формами монашеской жизни (общежительной и скитской) и с разными формами организации жизни внутри киновии.

Традиция старчества, т. е. окормления старцем новоначального инока, существовала на Руси с момента появления у нас монашества. С конца XIV—начала XV века эта традиция — отметим, традиция общежительных монастырей — имела оригинальное словесное сопровождение. Естественно возникает вопрос, что же было до конца XIV века, до Кирилла Белозерского и его учеников. И в данном случае нельзя не согласиться с А. Л. Бегловым: «потребность в таких текстах вполне удовлетворялась переводными сочинениями». Следует учитывать, что помимо отдельных сочинений, посвященных теме наставничества, воспитания новоначального инока, существовали сборники, почти исключительно посвященные взаимоотношениям старцев со своими учениками — переводные патерики, с которыми «Старчество» связано генетически. 33

В XVII веке история сборника «Старчество» имела свое продолжение. В первой половине XVII века был создан «Цветник священноинока Дорофея». ³⁴ В качестве его источника мог быть использован один из вариантов «Старчества». В свою очередь, Цветник послужил основой для создания другого «Старчества», которое стало одним из источников «Старчества» Матфея Никифорова и сборника «Крины сельные». ³⁵

«Цветник священноинока Дорофея» и «Крины сельные» не имели такой узкой направленности, как «Старчество», ориентированное почти исключительно на наставление новоначального инока. Они практически не затрагивали уставных вопросов и потому могли использоваться и мирянами. Если вспомнить выделенные В. И. Экземплярским два типа старчества, то необходимо будет отметить, что сборник «Старчество» как раз и был приспособлен для нужд «специального руководства на пути иноческой жизни». «Цветник священноинока Дорофея», созданный монахом и рассчитанный, судя по всему, на иноков общежительного монастыря, ³⁶ получил распространение по преимуществу совсем в другой среде. Из порядка пятидесяти известных на настоящий момент его списков считаные единицы находятся в монастырских собраниях. Сборник «Крины сельные», продукт эпохи барокко, изначально имел более широкое назначение, и хотя в нем есть статья «Что есть инок?», все прочие рассматривают общие проблемы аскетической практики, и потому сборник мог использоваться как при наставлении монахов, так и при духовном руководстве мирянами.

Посредством этих сборников — «Цветника священноинока Дорофея» и «Кринов сельных» — «новая» старческая традиция (традиция Паисия Величковского и его последователей) оказалась связанной с древнерусским старчеством.

«Цветник священноинока Дорофея» был чрезвычайно высоко оценен святителем Игнатием (Брянчаниновым): «Цветник — одна из возвышеннейших аскетических книг; этим достоинством она приближается к знаменитой книге Исаака Сирского. Два писателя Русской Церкви писали об умном делании: Нил Сорский и

³³ Подробнее об этом см.: Семячко С. А. Патерик и Старчество.

³⁴ Не останавливаюсь на весьма сложном и требующем специального рассмотрения вопросе датировки и атрибуции этого сборника. Различные варианты его датировки см.: Систематическое описание славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова / Сост. архим. Леонид. М., 1893. Ч. 1. С. 516; Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII—начала XIX века: Введение в изучение. СПб., 1996. С. 148—151; Симонов Р. А. О зашифрованной записи в «Цветнике священноинока Дорофея» // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2003. № 4 (14). С. 67—68.

³⁵ Вопрос взаимоотношения этих сборников подробно рассмотрен в статье С. А. Семячко «К истории сборников XVII в. (Старчество, Цветник священноинока Дорофея, Крины сельные)» (ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 216—247).

³⁶ См., в частности, его главу 54, где речь идет об основании общежительного монастыря.

С. А. Семячко

священноинок Порофей. Книга первого — весьма полезное руководство для начинающих подвиг безмолвия, а второго — для преуспевших и приближающихся к совершенству. Учение об умной молитве изложено в Цветнике с необычайной ясностию, простотою, окончательностью. Повсюду видны обильное духовное преуспеяние и здравый смысл русского человека, упрощевающий мудреное, излагающий возвышеннейшее духовное учение с необыкновенною естественностью, чрезвычайно внятно и — изящно! В особенности таковы его поучения: о чистоте сердечной, умной и душевной, о бесстрастии, о помрачении ума, о трезвении ума, о святой чистой молитве. По возвышенности и святости этих предметов, для которых есть свое время и место, мы не дерзаем делать выписок; желающего познакомиться с ними отсылаем к самой книге. Сказывают уже много заглавия поучений. Для таких-то духовных упражнений преуспевшие иноки переходят от общежития к жизни скитской и отшельнической». 37 Важно подчеркнуть, что святитель Игнатий воспринимает «Цветник священноинока Дорофея» как сочинение учительное, исходящее от наставника (мы можем назвать его старцем) и обращенное к окормляемому им человеку, прежде всего иноку, но возможно, и мирянину: «С самых первых слов священноинок ставит читателя на стези правые, святые, безопасные, предписанные и благословенные Церковию, дает ученику своему (курсив мой. — C.C.) характер определительный сына Восточной церкви...». 38 При этом святитель Игнатий полагал, что священноинок Дорофей — «наш соотечественник, нами забытый». 39 «Забытость» Цветника была им сильно преувеличена — в последней четверти XVIII века он издавался 11 раз⁴⁰ (одним из таких изданий пользовался и сам епископ Игнатий⁴¹), при том что в XVIII-XIX веках не прекращалась и рукописная традиция Цветника. В силу всего этого «Цветник священноинока Дорофея» был очень широко распространен. Правда, следует признать, что распространялся он, судя по всему, в совсем другой социальной и конфессиональной среде. Хотя создание Цветника никак не связано со старообрядческим движением⁴² и появился он за несколько десятилетий до раскола, наибольшее число сохранившихся экземпляров, как печатных, так и рукописных, происходит из старообрядческой среды.⁴³

Сборник «Крины сельные», созданный в 1692 году Диомидом Яковлевым сыном Серковым, 44 был весьма популярен в среде последователей Паисия Величковского и часто приписывался самому Паисию. 45 Разумеется, Паисий никоим обра-

 $^{^{37}}$ Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. М., 2001. Т. 1. С. 415 (очерк «Посещение Валаамского монастыря»).

³⁸ Там же. С. 412.

³⁹ Там же. С. 411.

⁴⁰ Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII—начала XIX века. С. 151.

⁴¹ Однако при этом он путает выходные данные, указывая «Гродно, 1687» вместо «Гродно, 1787» (Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. 1. С. 411 (прим. 1)). О другой неточности епископа Игнатия, полагавшего, что преподобный Иоасаф Каменский по «Цветнику священноинока Дорофея» обучался Иисусовой молитве, см.: Семячко С. А. Вологодские жития «второго поколения» // Жития Иоасафа Каменского, Александра Куштского и Евфимия Сянжемского: Тексты и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2007. С. 8—9.

⁴² Все обращавшиеся к Цветнику, в том числе и святитель Игнатий, отмечали его 54-ю главу, в которой, в частности, идет речь и о том, что при организации общежительства следует испросить благословения патриарха.

⁴³ См.: Семячко С. А. Цветник священноинока Дорофея в собрании Древлехранилища им. В. И. Малышева // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 224—233.

 $^{^{44}}$ Об этом сборнике и его создателе см.: *Буланин Д. М., Турилов А. А.* Серков Диомид Яковлев // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3: П—С. С. 351-354; *Семячко С. А.* Об автографах Диомида Серкова и сборнике «Крины сельные» // ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 613-622 (см. воспроизведение титульного листа сборника с подписью его составителя // Там же. С. 615-616). См. также: *Хромов О. Р.* Русская лубочная книга XVII—XIX веков. М., 1998. С. 96-99.

⁴⁵ История атрибуции сборника Паисию Величковскому изложена в предисловии к его изданию «Крины сельные, или Цветы прекрасные, собранные вкратце от Божественного Писания.

зом не мог быть составителем «Кринов сельных», сборник существовал задолго до него, но, судя по всему, Паисий активно им пользовался и, возможно, переложил на современный ему язык. А его ученики и последователи, сделавшие сборник основой своей аскетической и наставнической практики, воспринимали это переложениие как авторский сборник Паисия.

Авторитетность сборника «Крины сельные» среди представителей «нового» старчества подтверждает и то, что в рукописном собрании Оптиной пустыни сохранились четыре полных списка этого сборника и его фрагмент 46 (при том, что наличие «Кринов сельных» в монастырских собраниях — большая редкость). В этом же рукописном собрании есть и список «Цветника священноинока Дорофея»,⁴⁷ и (что самое замечательное!) три списка «Предания старческого новоначальному иноку». 48 То есть монахи Оптиной пустыни как минимум были хорошо знакомы с древнерусской старческой традицией. Попутно обратим внимание на то, что «Предание старческое новоначальному иноку» в собрании Оптиной пустыни находится в отдельных списках и все эти списки датируются XIX веком. На раннем этапе бытования «Предание старческое новоначальному иноку» читалось почти исключительно в составе сборников: не обязательно «Старчества», оно попадало и в сборники неустойчивого состава. В Новое время это произведение приобретает самостоятельное значение и может переписываться отдельно. Более того, оно получает предисловие, что окончательно превращает его в самостоятельную книгу, которая так и называется «Предание старческое». 49 В сборниках же XIX века «Предание старческое новоначальному иноку» могло читаться в контексте статей, связанных с Паисием Величковским, Саровской пустынью и т. п.⁵⁰ Наибольшее количество списков сборника «Старчество» приходится на XVI—XVII века. Редкость более поздних его списков объясняется, возможно, тем, что само понятие «старчество» в это время чаще употребляется не в смысле «специального руководства на пути иноческой жизни», нуждам чего служил сам сборник, а как обозначение «нового вида монастырского послушания в деле служения Церкви народу» — руководства мирянами на пути духовного совершенствования, на пути поисков истины.

Кстати, и то, что представители старчества Нового времени обращались в своих духовных поисках к Афону, вовсе не означает, что движение было однонаправленным. Русские паломники не только заимствовали афонский опыт, но и привозили на Афон сборники, порожденные древнерусской старческой традицией. В Свято-Ильинском ските, основанном на Афоне Паисием Величковским, находился список «Кринов сельных», 51 возможно привезенный туда самим Паисием. В афонском русском Пантелеймоновом монастыре сейчас хранится два списка «Кринов сельных» XVIII века и список «Цветника священноинока Дорофея» конца XVII—начала XVIII века. 52 То есть процесс взаимодействия с Афоном в XVIII—XIX веках был несколько более сложным, чем это представлялось ранее.

О заповедях Божиих и о святых добродетелях. Архимандрита Паисия Величковского» (Одесса, 1910. С. I—II).

 $^{^{46}}$ РГБ. Ф. 214 (собр. Оптиной пустыни). № 563 1693 года; № 564 и 565 второй половины XIX века; № 566 1867 года. В рукописи № 620 первой половины XIX века есть выписка из «Кринов сельных».

⁴⁷ Там же. № 713 1878 года.

 $^{^{48}}$ Там же. № 597 1807 года (рукопись писана рукою Тимофея Иванова Путилова, впоследствии настоятеля Оптиной пустыни Моисея); № 633 середины XIX века; № 634 второй половины XIX века.

⁴⁹ См., например, список: РГБ. Ф. 304/II (доп. собр. Троице-Сергиевой лавры). № 6.

⁵⁰ См., например: *Попов Н*. Рукописи Московской Синодальной (патриаршей) библиотеки. М., [Б. г.]. Вып. 2: Симоновское собрание. С. 71—76. № LII; С. 76—79. № LIII.

⁵¹ Крины сельные, или Цветы прекрасные. С. І.

⁵² Славянские рукописи афонских обителей / Сост. А. А. Турилов и Л. В. Мошкова; Под ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999. С. 124 (№ 287); С. 289—290 (№ 737); С. 417—418 (№ 1066).

Итак, подводя некоторые итоги, можно сказать, что оторванность «нового» старчества от древнерусской старческой традиции не более чем миф. Точно так же как мифом является и отсутствие старчества в средневековой Руси. Точно так же вполне мифологичны представления о «бессловесности» древнерусской старческой традиции.

© **Н. В. Понырко**

житие боярыни морозовой — литературный памятник и историческое свидетельство

Памяти А. М. Панченко

Среди глубоких и ярких сочинений А. М. Панченко есть одна маленькая жемчужина — его статья о боярыне Морозовой, которая была написана в качестве предисловия к книге А. И. Мазунина «Повесть о боярыне Морозовой». К маленьким это сочинение может быть отнесено только в связи с его объемом, в действительности же, как всегда у Александра Михайловича, в этой статье представлена крупная концепция крупного философа и историка русской культуры, для которого ключевым был материал словесности. Русская словесность для Панченко — концентрированное проявление духа нации. Он и сам был, как никто в наше время, ярчайшим носителем этого духа, и потому так много его высказываний, очерков и творений попадают в самое сердцевину русской ментальности.

В своей статье Александр Михайлович показывает, почему боярыня Морозова стала «"вечным спутником" всякого русского человека». Читая его эссе, мы понимаем почему, и немалую роль в этом понимании играет тот факт, что «вечным спутником» она была для самого Панченко.

Представляя изданную в 1979 году книгу А. И. Мазунина, где впервые была осуществлена научная публикация всех известных на сегодняшний день вариантов Жития боярыни Морозовой, А. М. Панченко заключил свою вступительную статью-эссе таким коротким абзацем: «Повесть о боярыне Морозовой — основной источник сведений об этой замечательной женщине $\langle \ldots \rangle$. Но Повесть ценна не только историческим материалом. Это — произведение высокого художественного качества. Этот памятник древнерусской литературы безусловно будет по достоинству оценен современным читателем». 3

В настоящей статье я хочу пойти, как ученица, по следам высказанной Александром Михайловичем мысли и путем «медленного чтения» (он любил этими словами характеризовать особый вид исследовательской работы) показать, что Житие боярыни Морозовой — один из ярчайших литературных памятников XVII века как раз в силу того, что оно являет собой историческое свидетельство, адресованное современникам и потомкам.

Начнем с цитаты из заключительной части Жития. Речь идет о последних днях сестер Федосьи и Евдокии, умирающих от голода и мучений в боровской земляной тюрьме: «И в таковой великой нужи святая Евдокия терпеливно страда, благодарящи Бога, месяца два и пол, и преставися сентября в 11 день. И бысть

 $^{^1}$ Панченко А. М. Боярыня Морозова — символ и личность // Повесть о боярыне Морозовой / Подг. текстов и исследование А. И. Мазунина. Л., 1979. С. 3—14.

² Там же. С. 3.

³ Там же. С. 14.

преставление ея слезно. Егда бо изнеможе от великаго глада и невозможно ей бе стоящи молитися, ни чепи носити, ни стула двизати, возляже. $\langle ... \rangle$ Егда же виде себе Евдокия нарочито изнемогшу, глагола великой Феодоре (иноческое имя боярыни Морозовой. — H. Π .): "Госпоже мати и сестро! Аз изнемогох и мню, яко к смерти приближихся, отпусти мя ко Владыце моему, за егоже любовь аз нужду сию возлюбих. Молю тя, госпоже, по закону християньскому, — да не пребудем вне церковнаго предания, — отпой мне отходную, и еже ты веси — изглаголи, госпоже, а еже аз свем, то аз сама проговорю". И тако обе служили отходную, и мученица над мученицею в темной темнице отпевала канон (имеется в виду канон на исход души. — H. Π .), и юзница над юзницею изроняла слезы». 4

Вряд ли найдется в литературе XVII века, а быть может, и во всей русской литературе, сцена более произительная по своему содержанию. Что перед нами историческое свидетельство, тому порукой весь фактографический строй Жития, написанного, по убеждению многих (в том числе и по моему убеждению), родным братом Феодосьи Прокопьевны Морозовой и Евдокии Прокопьевны Урусовой Федором Прокопьевичем Соковниным. 5 Не стану здесь останавливаться на многочисленных примерах приводимых в Житии сведений, в первую очередь должных быть известными самым близким людям из окружения боярыни, — от царского кравчего князя Петра Урусова, мужа Евдокии, сидевшего среди бояр в Грановитой палате в ту ночь, когда был дан царский приказ об аресте сестер («Князь же Петр ту стоя и слышав сия словеса (слова царского приказа. — Н. П.), оскорбися, а помощи делу не возможе» — С. 135), до старицы Мелании, духовной наставницы сестер, жившей перед самым их арестом в доме Морозовых и посещавшей их в московских узилищах (С. 128, 134, 145—146). В боровском остроге сестер навещали инокиня Мелания с братией, в том числе и с родным их братом Федором (С. 148-149); о том, что там происходило, знали окружавшие их сидельцы, такие же, как они, мученики за старую веру (поначалу камеры не были одиночными и сообщались между собой). Когда царь ужесточил условия тюремного пребывания и двух сестер перевели в отдельную земляную тюрьму, отобрав у них все, от икон до последней смены одежды, свидетелями их мучений все же оставались стерегущие их стрельцы, один из которых так и не посмел дать боярыне куска хлеба или хотя бы «огурчика», а другой все же, таясь и обливаясь слезами, исполнил ее последнюю волю — «измыл» на реке ее сорочку («завеску», «малое платно»), чтобы надеть ей чистое перед смертью (С. 152-153). Эти «огурчик» и «завеска» лучше многих других деталей передают подлинность описываемого.

После смерти Евдокии в яму к Федосье Прокопьевне привели их сострадалицу Марию Данилову. При Марии боярыня и скончалась. Так что о подробностях кончины обеих сестер было кому свидетельствовать и кроме стрельцов. Боярыня наверняка рассказала Марии об их совместном с Евдокией пении отходной. Мария в свой черед стала свидетельницей последнего часа боярыни. А уж сама она умерла в земляной яме в полном одиночестве, и о ее кончине некому было рассказать. Не потому ли в Житии осталась необозначенной точная дата ее смерти: «декабря в (далее в рукописях оставлено место для числа. — H. Π .) день преставися она ко

⁴ Повесть о боярыне Морозовой / Подг. текстов и исследование А. И. Мазунина. Л., 1979. С. 150. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

⁵ См.: Понырко Н. В. О том, кто был автором Жития боярыни Морозовой // Жития протопопа Аввакума, инока Епифания и боярыни Морозовой / Подг. текстов и исследование Н. В. Понырко. СПб., 1993. С. 212—218.

⁶ Муж Марии, стрелецкий голова Иоакинф Данилов, находясь в Москве, задабривал посылаемых в Боровск «на караул» стрельцов, благодаря чему на первых порах оставалась возможность внешних сношений с узницами; многократно бывал в Боровске племянник Иоакинфа Иродион; есть основания предполагать, что он оставался в Боровске и после перевода узниц в земляную тюрьму.

Господу» (С. 153), в то время как и для Евдокии, и для Федосьи эти числа отмечены: 11 сентября и ночь с 1-го на 2-е ноября.

В сцене совместного пения отходной поражает мастерство автора. Легче всего его оттенить, приведя описание кончины сестер из так называемой Краткой редакции Жития, созданной в первой четверти XVIII века представителем Выговской литературной школы. Составитель Краткой редакции уже довольно далеко отстоял от описываемых в Житии событий. Многие исторические детали не были ему точно известны или, быть может, не были важны. Он путает даты и имена (жену стрелецкого головы Марию Данилову называет девицей Марией; по его версии первой скончалась в тюрьме Федосья, а за ней — Евдокия и т. д. — С. 204—206).

В изложении автора Краткой редакции так кончалась боярыня Морозова в темнице: «...разболевшися убо болезнию, уже к тому к здравию не чаемою, и тако в цепи у стула на земли сълежа, псаломская словеса припоминая: "Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти". И паки: "Человек яко трава, дние его яко цвет селный — тако отцвете, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего". И паки: "Изыдет дух его и возвратится в землю свою". И паки: "Одержаща мя болезни смертныя и потоцы беззакония" и прочее. По сем: "Увы мне, душе грешная! Колик подвиг во время скончания", и прочее, молитву Исусову во устех присно содержаще. Блаженная же княгиня Евдокия горце плачущи, рыдаше неутешно, всяческими умилными гласы стоняше и причиташе. И ту сущии с ними — многотерпеливая и преудивителная в ревности учителница их, старица Иустина, и в целомудренном девстве сияющая Мария девица. (...) И последним целованием целоваше ю: блаженная трудница и страдалица блаженную свою душу Господеви предаде» (С. 204—205).

Под пером составителя Краткой редакции описание кончины боровской узницы наполняется обильным цитированием псаломских стихов, влагаемых в уста Федосьи Прокопьевны. Но о совместном пении канона на исход души речь здесь вовсе не идет; убирается обращенная к сестре прямая речь Евдокии Урусовой с ее психологической мотивацией и индивидуальной словесно-интонационной формой («Госпоже мати и сестро...», «да не пребудем вне церковнаго предания...», «то аз сама проговорю») — в результате снимается эффект исторического свидетельствования.

В Житии боярыни Морозовой этот эффект во многом достигается через воспроизведение речи персонажей, представляемой не в стерто-нейтральной форме, а с индивидуально-интонационными особенностями. Воспроизведение таких реплик, монологов и диалогов способствует осуществлению того художественного приема, который Н. С. Демкова проследила на материале прозы протопопа Аввакума и назвала приемом драматизации повествования.⁷

Как можно убедиться, этот прием (обладающий свойством создавать эффект достоверности) присутствует и в художественной ткани Жития боярыни Морозовой. Вот автор Жития, рассказывая об аресте сестер в доме боярыни, описывает драматургически зримую сцену с репликами, жестами, позами, монологами и диалогами: «И се во вторый час нощи отворишася врата болшия. Феодора же вмале ужасшися, разуме, яко мучители идут, и яко преклонися на лавку. Благоверная же княгиня, озаряема Духом Святым, подкрепи ю и рече: "Матушка-сестрица, дерзай! С нами Христос — не бойся! Востани, — положим начало". И егда совершиша седмь поклонов приходных (т. е. произнеся «начальные» молитвы с поясными и земными поклонами. — Н. П.), едина у единой благословишася свидетельствовати истину. Феодора возляже на пуховик свой, близ иконы Пресвятыя

 $^{^7}$ Демкова Н. С. Драматизация повествования в сочинениях протопопа Аввакума // Демкова Н. С. Сочинения Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества. СПб., 1998. С. 210-230.

Богородицы Феодоровския. Княгиня же *отиде* в чюлан $\langle ... \rangle$ и тамо $\langle ... \rangle$ возляже» (С. 134).

Мы ощущаем, что перед нами историческое свидетельство не только потому, что здесь упоминаются и пуховик, и чулан, и лавка, на которую упала охваченная ужасом Федосья-Феодора, а более даже потому, что здесь уловлен именно этот жест падения («преклонися на лавку»), увидено именно это совершение сестрами седмипоклонного «начала» и взаимного благословения, — а мы знаем, что и до сих пор у христиан-старообрядцев водится такое обыкновение — полагать перед решительными, серьезными или торжественными событиями своей жизни седмипоклонный «начал». Тем убедительнее для нас свидетельство, что так поступили в свое время Феодосья и Евдокия.

Все, что нам внятно сегодня, что продолжает жить в духе наших дней, обладает эффектом достоверности. Когда мы читаем в Житии, как вслед за только что описанной сценой, на ночном допросе (тогда тоже любили допрашивать ночью: ночным был первый допрос, о котором у нас идет речь, ночью возили сестер на допросы в Чудов монастырь — С. 142, 144), оказавшись перед ворвавшимся в ее спальню чудовским архимандритом Иоакимом, на его вопрос «Како крестишися и како еще молитву твориши?» боярыня, «сложа персты по древнему преданию святых отец и отверзши преосвященная уста своя, и воспе: "Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас!"» (С. 134), — мы за одним только словечком этой сцены угадываем историческое свидетельство (а следовательно, и за всеми остальными). «И воспе»! Это значит, что боярыня произнесла слова Исусовой молитвы с погласицей, как это сделает и сегодня любая старообрядка, будь ей задан с вызовом такой же точно вопрос. Мы даже можем представить явственно, что тон этой погласицы был высок, об этом оставил свидетельство сам протопоп Аввакум, вспоминая о том, как однажды, во время великого пожара в Москве, они вместе «молебствовали» тайно об избавлении ее дома от огненной стихии. Аввакум пишет о боярыне: «...быша бо слезы от очию ея, яко река $\langle ... \rangle$ глас же тонкий изо уст ея гортанный исхождаше, яко ангельский: "увы, — глаголаше, — Боже, милостив буди мне, грешнице!"»8

Мы угадываем все эти детали потому, что Федосья Прокопьевна Морозова — наш «вечный спутник». Многое нам близко и понятно в ней по духу. И слишком многое нам близко и понятно в истории русского «ГУЛАГа XVII века» потому, что после XVII века был век XX с его собственным ГУЛАГом. Духовный поединок боярыни Морозовой с царем и его подручными нам доступен в его психологических деталях потому, что нам понятны психологические детали духовных поединков, свершавшихся в застенках ГУЛАГа в наш век, — если не на собственном опыте, то через таких свидетелей, как Солженицын и Шаламов.

У А. И. Солженицына в романе «В круге первом» есть эпизод с ночным допросом инженера Бобынина в приемной министра госбезопасности Абакумова. Бобынин отказывается стоять в момент допроса. Усевшись с вызовом в удобное кресло (опешивший министр даже не успел крикнуть ему: «Встать!»), Бобынин на вопрос Абакумова «Но вы представляете, кем я могу быть?» — юродствуя знакомым нам образом, я бы сказала, по-аввакумовски, отвечает: «Ну кем? Ну кто-нибудь вроде маршала Геринга?» И затем герой Солженицына произносит свой потрясающий монолог о том, что лишенный всего — жены, ребенка, родителей, всякого имущества, вплоть до одежды, внешней свободы, — человек делается «снова свободен».

Житие боярыни Морозовой — это повесть о духовном поединке боярыни Морозовой с царем в борьбе за старую веру.

⁸ Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Под общей ред. Н. К. Гудзия. М., 1960. С. 297.

Чем больше лишалась боярыня всего, что может иметь человек в земной жизни, тем свободнее делалась она перед своим соперником. Сына ее уморили (это было нетрудно: Иван с детства был болезненным), пытками на дыбе лишили ее красоты и здоровья, несметные богатства ее имений конфисковали, под конец отобрали даже лестовку (четки) и почти всю одежду. Наконец она лишилась самого дорогого, что у нее еще оставалось, — любимой младшей сестры.

После кончины Евдокии царь сделал последнее предложение боярыне покориться и принять новые обряды, надеясь, что в нынешней ситуации, «от великаго глада снедаема», она выкажет хотя бы «малое повиновение». Первую попытку соблазнить ее он делал еще в Москве, после пыток на дыбе, когда передавал через своего посланца обещание возвести ее «в первую честь», лишь бы она хотя бы только показала всенародно руку с троеперстием, занесенную для крестного знамения («не крестися треме персты, но точию, руку показав, наднеси на три те перста!»). Тогда он сравнивал ее с великомученицей Екатериной и обещал прислать за ней свою царскую карету и множество бояр, чтобы они на головах своих несли ее домой. Боярыня тогда пригрозила, сказав посыльному, что если это сбудется, «то аз, на главах несома боляры, воскричю, яко аз крещуся по древнему преданию святых отец!» (С. 146). Тем дело и закончилось.

Теперь снова пришел к боярыне в темницу царский посланец, «никонианский» монах, и сообщил, что царь повелел увещевать ее «поне мало покоритися». И вот тут, в гневной отповеди боярыни искусителю, мы видим всю великую меру свободы человека, у которого можно отнять все, но нельзя отнять Христа.

Царь рассчитывал, что на грани последней потери она сдастся. А она взметнулась всем своим существом («Оле глубокаго неразумия, о, великаго помрачения!») из-за того, что от нее ждут уступок в тот момент, когда она уже претерпела все возможные муки и лишения, когда уже «предпослала» к Господу возлюбленную свою Евдокию, обвив мертвое ее тело тремя нитями «по церковному преданию»; ей предлагают погубить все это, когда она стоит на грани обретения полной свободы! И она отвечает: «Прочее убо вы $\langle \dots \rangle$ к тому ми о сем отнюдь не стужайте (Впредь больше никогда мне о том не досаждайте. — $H. \Pi$.). Аз бо о имени Господни умрети есмь готова» (С. 152).

Рассказывая об этом подлинно патетическом моменте, автор Жития, как и многократно прежде, прибегает к приему драматизации повествования. Мы снова видим как бы маленькую сценку: как приходит старец-монах к темничному входу, как несколько раз творит Исусову молитву по-новому («оставя сыновство Христово к Богу», т. е. не произнося слов «Сыне Божии» в Исусовой молитве. — $H.\ \Pi.$) — и не получает ответа; в конце концов он произносит молитву правильно — и слышит из подземелья «Аминь!»; как входит он в темницу, спрашивает, почему прежде не было «аминя» (употребляется форма прямой речи), боярыня объясняет: «Егда слышах глас противен, молчах, егда же очютих не таков — отвещах». Монах исполняет царское поручение; в ответ слышит страстный монолог боярыни.

В этой сцене эффект достоверности достигается за счет описания старинного этикета (по сию пору бытующего в монастырской Руси), связанного с правилами прихода посетителя в чужой дом или келью. Но еще больший эффект достигается за счет психологической достоверности монолога боярыни, потому что нам близка психологическая мотивировка ее ответа мучителю — для доказательства этой мысли я приводила параллель из Солженицына.

Но у Солженицына его герой лишен Христа (вернее, его образ представлен автором вне христианского контекста). Поэтому я закончу другой параллелью.

Когда в боровской темнице у сестер отобрали лестовки, то «мученицы навязали пятьдесят узлов ис трепиц и по тем узлам, аки по небесовосходной лествице, обе напеременах молитву Богу возсылали» (С. 150). Их молитвенный подвиг был не-

разрывной частью духовной брани с гонителями. И потому эта маленькая деталь — навязанные из тряпиц четки — говорит о многом.

В 30-е годы XX века арестованный за веру старообрядческий епископ Петроградско-Тверской епархии Геронтий, сидя в одиночной камере, поступил точно так же: лишившись четок, он постепенно разорвал на ленточки оставленное ему полотенце и по изготовленной лестовке молился. В начале 50-х годов, после выхода на свободу, епископ Геронтий написал свои воспоминания о десятилетии, проведенном им в ГУЛАГе. Там мы читаем: «Лестовку и крест у меня отобрали. Из спичек я сделал крестик $\langle ... \rangle$ а лестовку сделал из полотенца: оторвал кромку вдоль и навязал узелков 50 штук — это было пол-лестовки. Но это изобретение мое тоже отбирали. От полотенца осталась только узенькая ленточка. Было еще одно полотенце в запасе...» 9

Поистине боярыня Морозова — это «вечный спутник» всякого русского человека.

© А. Л. Львов

«ПЕРВОЕ УЧЕНИЕ ОТРОКОМ» ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА И ГЕНЕЗИС РУССКОГО СЕКТАНТСТВА

Как образуется смысл прочитанного или услышанного текста? В какой мере он определяется свойствами и структурой самого текста, а в какой — замыслом автора и/или ожиданиями читателей? Эти вопросы оказываются важными для целого ряда научных дисциплин. В литературоведении ответами на них определяются методологические основания различных школ — от ориентированных на автора и его позицию биографического и социологического направлений, через внимание к тексту sui generis со стороны «русских формалистов» и «новой критики», до провозглашенного постмодернизмом равноправия читательских интерпретаций. В истории и антропологии теоретические модели чтения и смыслообразования являются (или, по крайней мере, должны являться) скорее результатом анализа и обобщения конкретных практик, нежели априорной методологической предпосылкой.

Данная работа посвящена анализу одного случая «народного чтения». В 60-е годы XVIII века крестьяне нескольких сел Воронежской губернии, оказавшиеся под следствием по обвинению в сектантстве, упоминали как один из источников своей веры некую «новую книжицу», читавшуюся в церкви. Есть основания утверждать, что этой «новой книжицей» было сочинение Феофана Прокоповича «Первое учение отроком». Соответственно материалы следствия предоставляют нам довольно редкую возможность — увидеть результаты осмысления крестьянами прочитанного (прослушанного) книжного текста.

Использование такого определения, как «народное», применительно к чтению (равно как и к религии, культуре и т. п.) нуждается хотя бы в кратких пояснениях. В рамках этой работы «народное чтение» понимается прежде всего как способ усвоения или апроприации (appropriation) литературной продукции. Смыслы книжных текстов, порождаемые такой апроприацией, могут быть достаточно далекими от замыслов их производителей.

Классическим примером «народного чтения» стал описанный Карло Гинзбургом случай мельника Меноккио, жившего в XVI веке, читавшего ученые книги и

⁹ Воспоминания епископа Геронтия // Духовные ответы. М., 1997. Вып. 8. С. 75.

А. Л. Львов

создавшего свое собственное, признанное еретическим мировоззрение. Согласно Гинзбургу, Меноккио вычитывал в книгах мифологемы, свойственные скорее архаичной устной традиции, а не развитой книжной культуре. После Гинзбурга, пишет Роже Шартье, «возникает сильное искушение описать народное чтение исходя из того, как читал Меноккио, — обрывочно, бессвязно, расчленяя тексты, вырывая из контекста слова и фразы и ограничиваясь их буквальным смыслом». 2

Однако было бы ошибкой, как справедливо замечает Шартье, считать подобные читательские практики специфически «народными»: они могут встречаться также и в культуре образованных людей. Возможным выходом из методологического тупика, связанного с попытками определить специфику «народного чтения», является анализ полного цикла литературного процесса — от авторского замысла и создания книги до ее распространения и осмысления читателями. При этом исчезает необходимость приписывать практикам «народного чтения» какие-либо особые свойства, отличающие их от некой подразумеваемой нормативной практики, ведущей к «правильному» пониманию текста. Вместо этого мы получаем возможность рассматривать функционирование книжного текста в различных сообществах. «Народным» в этом случае оказывается такое понимание текста, которое возникает в сообществах, максимально удаленных от власти, а «нормативное» прочтение может рассматриваться с тех же позиций, что и «народное» (т. е. как возникающее в социальном контексте, а не свойственное самому тексту). Положение текста между двумя сообществами — авторским и читательским, каждое из которых осмысляет его по-своему, — определяет наше внимание к структуре самого текста и к его роли в процессах смыслообразования.

Такой подход позволяет избавиться еще от одной имплицитной связи, чреватой методологическими опасностями: отождествления «народной» культуры с устной традицией, а «официальной» или «ученой» — с письменной. Деконструкция этих тождеств особенно важна в нашем случае, когда читательские сообщества состоят в основном из неграмотных крестьян. Теоретические основания для такой деконструкции предложил Брайен Сток, заменивший бинарные оппозиции типа «письменные/бесписьменные культуры» (literate/non-literate cultures) «устные/письменные тексты» (oral/written texts) системой, состоящей из трех ключевых терминов: текстуальность (textuality), грамотность (literacy), устность (orality). Первый из них может быть определен как относящийся к использованию текстов (uses of texts). Этим обусловливается его отличие от второго — грамотности: «Грамотность — это не текстуальность. Можно быть грамотным без явного использования текстов, а широкое использование текстов не является свидетельством подлинной грамотности». 4 Действительно, история сектантских движений (как в Европе XI—XII веков, так и в России XVIII—XIX веков) дает множество примеров использования текстов в сообществах неграмотных или полуграмотных людей. Сток называет такие сообщества «текстуальными» (textual communities).5

¹ Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке. М., 2000.

² Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006. С. 205.

³ «Например, две эмблемы ученой культуры Возрождения — книжное колесо, позволяющее держать открытыми сразу несколько книг, сравнивая и извлекая наиболее важные отрывки, и тетрадь "общих мест", где под разными рубриками собраны цитаты, примеры, изречения, наблюдения, — также подразумевают такое чтение, когда письменный текст членится, дробится на фрагменты, вырванные из контекста, а его буквальный смысл вытесняет все остальные» (Там же. С. 206).

⁴ Stock B. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton: Princeton University Press, 1983. P. 7.

⁵ По Стоку, этот термин указывает на сообщества неграмотных или малограмотных людей, «организованные вокруг общего понимания некоего текста (a script). (...) Минимальное требование — это хотя бы один грамотный, interpres, который понимает некоторое множество текстов и способен устно передать другим свое сообщение» (Stock Brian. Listening for the Text: On the Uses of the Past. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990. P. 23). При этом в сооб-

Итак, предметом нашего анализа оказывается непредусмотренное властью (авторским сообществом) использование текстов в сообществах читателей/слушателей. Как это часто бывает, методологические проблемы здесь тесно переплетаются с идеологией и политикой. Стремление власти сделать письменные тексты одним из своих инструментов подсказывает исследователям очевидные, казалось бы, связи: «правильного» использования текстов — с грамотностью и системой образования, а «народного чтения» — с отклонением от нормы. Однако зачастую именно эти, предназначенные для воспитания дисциплинированных граждан тексты оказывались опорой для многочисленных русских диссидентов в их противостоянии власти и официальной культуре. Простонародное религиозное диссидентство XVIII века было, вероятно, одним из первых случаев такого противостояния.

Рассматриваемый случай интересен еще в одном отношении: в книге Феофана Прокоповича воплотилась попытка властей модернизировать традиционные способы восприятия и осмысления письменных текстов. Этот важнейший аспект петровской культурной реформы ускользает, кажется, от внимания исследователей.

* * *

Массовый выпуск религиозной литературы для просвещения народа был начат по инициативе Петра I. Свои намерения царь изложил в собственноручной записке, переданной через Феофана Прокоповича в синод 19 апреля 1724 года. Эта короткая записка, полный текст которой приведен ниже, остается, кажется, незаслуженно обделенной вниманием исследователей петровской церковной реформы: «Святейший Синод! Понеже разговорами Я давно побуждал, а ныне письменно, дабы краткие поучения людям сделать (понеже ученых проповедников зело мало имеем), также сделать книгу, где бы изъяснить, что непременный закон Божий и что советы, и что предания отеческие, и что вещи средние, что только для чину и обряду сделано, и что непременное, и что по времени и случаю переменилось, дабы знать могли, что в каковой силе иметь. О первых кажется мне, чтоб просто написать так, чтоб и поселянин знал, или на двое, поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется, в которых бы наставления, что есть прямой путь спасения, истолкован был, а особливо веру, надежду и любовь (ибо о первой и последней зело мало знают и не прямо что знают, а о середней и не слыхали): понеже всю надежду кладут на пение церковное, пост и поклоны и прочее тому подобное, в них строение церквей, свечей и ладов. О страдании Христовом толкуют только за один первородный грех, а спасение делами своими получат, как выше писано. О втором же, чтоб книгу сочинить, Мне кажется, не лучше ль оную катихизисом начать, и к тому и прочие вещи последовательно что в церкви обретаются, внесть с пространным толком, тако ж приложить: когда и от кого и чего ради в церковь что внесено».6

Прежде всего обратим внимание на то, что в записке речь идет о двух разных вещах, из которых лишь вторая дважды названа «книгой» («также сделать книгу...»; «о втором же, чтоб книгу сочинить...»). Однако первая вещь, о которой пишет Петр, называется в записке не «книгой» (хотя и она, очевидно, должна быть напечатана), но «краткими поучениями» и «наставлениями».

ществах устанавливается общее понимание текста, которое хранится и передается устной традицией. В отличие от привычной для фольклористики модели взаимодействия письменного и устного, предполагающей независимое от книжного источника бытование устного текста, однажды усвоенного традицией, возникающее в текстуальных сообществах устное «общее понимание» сохраняет непосредственную связь с источником, выражающуюся в представлениях о том, что разделяемое сообществом знание где-то (например, в Библии) написано.

⁶ Полное собрание законов Российской империи с 1659 года. СПб., 1830. Т. VII. № 4493. С. 278. Далее сокращенно: ПСЗ.

⁶ Русская литература, № 1, 2008 г.

А. Л. Львов

Функции двух упомянутых в записке вещей также различны. Первая должна внушить прихожанам правильное представление о вере, противопоставленное обрядовой стороне религии. Вторая же, напротив, должна служить введением в церковные практики, а также объяснять их происхождение и смысл. Заметим, что такое разделение веры и практик хотя и не является отрицанием обрядовой стороны религии, но радикально изменяет их роли в культуре. Как отметил В. М. Живов, «в допетровской Руси богослужение оставалось основой мировоззрения... Петр ни в какой степени не покушался на богослужебную реформу, а лишь стремился вытеснить богослужение на периферию культурного пространства, усиленно противопоставляя веру и обряды как явления, соединенные лишь условной связью». 7

Способ реализации второй функции не вызывает у царя сомнений. Он предполагает систематическое описание церковных обычаев как отдельных объектов, каждый из которых имеет свою историю («когда и от кого и чего ради в церковь что внесено») и может быть классифицирован как «закон Божий» или «советы», как «непременный» или менявшийся «по времени и случаю» и т. п. Такое описание относится, безусловно, к сфере письменной, ученой культуры и не случайно названо в записке «книгой».

Значительно больше трудностей вызывает реализация первой функции — формирование представлений о вере. Текст записки оставляет впечатление, что Петр хотел бы непосредственно донести до своих подданных идеи, для него самого настолько понятные, что выразить их логически ему не удалось. Он лишь перечисляет новые ценности, которые должны быть усвоены народом («вера, надежда и любовь»), не раскрывая их содержания, и противопоставляет их ценностям старым, основанным на богослужении («всю надежду кладут на пение церковное, пост и поклоны и прочее тому подобное»).

Более определенную позицию в вопросе о новых, не опирающихся на богослужебные практики мировоззренческих основаниях занимал Феофан Прокопович, главный проводник петровских идей в деле церковной реформы. В «Духовном регламенте», написанном четырьмя годами ранее, сказано: «самое Священное писание содержит в себе совершенные законы и заветы ко спасению нашему нужные. (...) Того бо ради пастырский чин от Бога уставлен, дабы от Священного Писания научал вверенное себе стадо».8

Однако Петр, кажется, не поддерживал эту важнейшую для Феофана идею — хотя и не возражал против нее. Можно согласиться с В. М. Живовым, утверждавшим, что роль этой новой мировоззренческой основы, по замыслу Петра, должен был играть другой «текст»: не Библия, но создаваемая в ходе культурной реформы семиотическая система ритуалов и норм поведения, в которой «церковный культ переплетался с гражданским, а гражданский — с пародийно-кощунственными церемониями». Однако расхождение во взглядах не помешало Петру использовать Феофана (и, соответственно, авторитет Писания) для достижения своих целей. Очевидно, его интересовали не столько базовые предпосылки, сколько результат — утверждение новых представлений и нравственных норм.

Не будучи профессиональным ученым или клириком, Петр не пытался искать основания этих усвоенных им в юности представлений и норм в Писании или в церковной традиции. Свою задачу он видел в другом — в передаче своих представлений народу. Однако форма этой передачи оставалась для него не совсем ясной.

Вероятно, непосредственная — без логической экспликации — трансляция идей и ценностей была бы возможна в рамках устной коммуникации. Автор записки, кажется, понимает, что использование для этой цели письма является вынуж-

⁷ Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII—начало XVIII века). М., 1996. С. 533.

⁸ ПСЗ. Т. VI. № 3718. C. 321.

⁹ Живов В. М. Указ. соч. С. 532.

денной мерой — «понеже ученых проповедников зело мало имеем». Поэтому предполагаемые «наставления» должны быть максимально приближены к устной речи,
ориентированной на конкретного адресата: «просто написать так, чтоб и поселянин знал, или на двое, поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости
слышащих». Вероятно, по той же причине эти «наставления», хотя их и предлагается «написать», не названы в записке «книгой».

Между тем письменная коммуникация имеет свои особенности, сыгравшие роковую роль в реализации петровского замысла. В отличие от устной речи интерпретация письменного текста его читателями/слушателями не скована непосредственным присутствием автора, который мог бы, как в случае устной коммуникации, по ходу дела вербальными или невербальными средствами уточнять свою мысль и направлять интерпретацию в нужное ему русло. Письменный текст, который должен был передать подданным «правильное», царское понимание религии, оставаясь при этом незаметным и безымянным посредником между автором и его аудиторией, конечно же, не мог не стать самостоятельным объектом — «книжицей», совершившей путешествие из культуры ученой в культуру неграмотных крестьян, существующей независимо от представлений породившего ее авторского сообщества.

* * *

Само по себе разделение двух функций начального образования — формирование представлений и обучение молитвам и обрядам — было новшеством чрезвычайной важности. Обучение грамоте традиционно строилось на изучении богослужебных текстов. Содержание «букварей, известных нам до начала XVIII века», как заметил П. П. Пекарский, «достаточно показывает главную цель, которая имелась при обучении грамоте в России допетровской, это — приготовление учащихся из духовных к занятию церковно-служительских должностей и ознакомление мирян с молитвами и обрядами церковнослужения». 10

Напечатанные московской типографией букварь Федора Поликарпова (1701 год) и «Букварь языка словенска, сиречь начало учения детям, хотящим учитися чтению писаний» (1704 и 1708 годы) лишь немногим отличались от своих предшественников. В 1717 году в Петербурге был издан первый «светский» букварь — «Юности честное зерцало», содержавший, помимо религиозных наставлений, правила поведения в обществе. Однако единственным претендентом на роль заказанных царем «наставлений» оказался букварь Феофана Прокоповича «Первое учение отроком, в нем же буквы и слоги, таже: краткое толкование законного десятисловия, молитвы господней и девяти блаженств», впервые напечатанный в Петербурге в 1720 году.

В 1723 году синодский указ «О чтении в церквах в великий пост...» предписал «вместо прежних от книг Ефрема Сирина и от соборника и прочих чтения, читать новопечатные буквари с толкованием заповедей Божиих, распределяя оное умеренно, дабы приходящие в церковь Божию и готовящиеся ко исповеди и Святых Таин причастия люди, слыша заповеди Божии и толкование их, и осмотряся в своей совести, лучше могли ко истинному покаянию себя приуготовить». 12 Двадцать лет спустя указом «О рассылке по епархиям катихизисов для надлежащего употребления» предписывалось «как буквари, так и катихизисы производимым во священство должно не только знать в твердости чтением, но наипаче разуметь добре чтомое» и «напечатать каждого звания до 17000», чтобы обеспечить этими

 $^{^{10}}$ Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862. С. 174.

¹¹ Там же. С. 174-178.

¹² ΠC3. T. VII. № 4172. C. 26.

А. Л. Львов

книгами каждого священника и церковнослужителя. ¹⁸ Месяцем раньше другой указ, констатируя, что «российские дворяне и прочих чинов люди детей своих обучают российских книг только читать Часовника и Псалтыри», обязал их, чтоб «обучали бы прямого знать толкования букваря и катихизиса, в коих истинное христианской должности и нашей православной веры ясное показание есть». ¹⁴

В том, что речь во всех этих указах идет о «Первом учении отроком», убеждают огромные тиражи этой книги. По данным каталогов русских книг кириллической печати, в Петербурге в 1720—1723 годах вышло 8 изданий сочинения Феофана, тираж которых неизвестен, а в 1764 году было напечатано еще 1200 экземпляров. В 1758 В московской типографии было напечатано в 1738 году 2400, в 1745 — 4800, в 1758 — 4800, в 1759 — 1200, в 1762 — 4800, а в 1768, 1771 и 1774 годах соответственно 1200, 2400 и 2400 экземпляров. Только известные тиражи этой книги с 1738 по 1764 год (т. е. в период, непосредственно предшествующий появлению сектантов в Воронежской губернии) составляют в общей сложности 19 200 экземпляров. Никакие другие «буквари» и «катихизисы» не издавались в то время в таких количествах, ясно свидетельствующих о намерении властей обеспечить ими каждый приход.

Впрочем, по мнению П. П. Пекарского, сочинение Феофана не вполне удовлетворяло запросам русских царей. Действительно, рассмотренный выше указ Петра о сочинении новых «наставлений» и «книги» был написан в 1724 году, т. е. уже после выхода в свет «Первого учения отроком». Более того, ответом на прямой вопрос: «Что сделано по тому повелению Петра?», поступивший в 1727 году из кабинета Екатерины I в синод, стало не менее прямое признание: «Всего того еще не исполнено». 17 Также не совсем понятно, почему в цитированных указах 1743 года говорится как будто бы о двух разных книгах — «букваре» и «катихизисе», в то время как «Первое учение отроком» издавалось как одна книга, хотя и состоящая из двух частей. Наконец, неясно, на чем основана уверенность правительства в том, что простое чтение этой книги способно внушить слушателям правильное понимание веры.

По всей видимости, хорошо сознавая отличие реальной книги Феофана от идеальных религиозно-просветительских сочинений, обрисованных Петром в записке 1724 года, авторы указов впадали в своеобразное двоемыслие, предписывая издавать несуществующие книги, на практике подменявшиеся «Первым учением», и наделяя книгу Феофана структурными и функциональными свойствами оставшегося невоплощенным идеала. Надо заметить, что смешение образов книги Феофана и петровской церковной реформы было свойственно не только ее сторонникам, но и противникам, не решавшимся критиковать царя, но позволявшим себе нападать на Феофана. 18

Вероятно, «Первое учение отроком» могло выполнять идеальную функцию просвещения народа в рамках системы образования, похожей на современную, т. е. нацеленной на извлечение смысла из книжного текста с помощью различных его перекодировок (в изложениях, сочинениях, устном анализе и т. п.). Такой способ обучения позволил бы лучше контролировать процесс смыслообразования, распространяя непосредственное (устное) влияние авторского сообщества на всю чита-

¹³ Там же. Т. ХІ. № 8743. С. 817.

¹⁴ Там же. № 8726. С. 793—794.

 $^{^{15}}$ *Выкова Т.А.* Каталог русской книги кирилловской печати Петербургских типографий XVIII в. Л., 1971.

¹⁶ Каталог изданий кириллической печати московской типографии XVIII века (1701—1800) / Сост. Т. А. Афанасьева. Л., 1986—1987. Вып. 1—2.

¹⁷ Пекарский П. П. Указ. соч. С. 182.

¹⁸ См., например: Д. И—в [Извеков Д. Г.]. Один из малоизвестных литературных противников Феофана Прокоповича // Заря. 1870. № 8. С. 16—35.

тельскую аудиторию. Однако традиционная система образования была ориентирована прежде всего на заучивание текстов наизусть и пересказам «своими словами» предпочитала дословное воспроизведение. Именно такое использование «Первого учения отроком» предполагалось указами и самим Феофаном: «А церковники отроков учащии, сами должны суть сии толкования наизусть изучити, дабы могли дучше учити отроков, и научив их, вопрошать ответа» (Л. 57). 19

* * *

Насколько сам текст «Первого учения отроком» был способен донести до своей — весьма обширной, как мы видели, — аудитории желаемое властью и автором понимание религии? Источником для ответа на этот вопрос могут служить материалы следственных дел о сектантах, объявившихся в середине 1760-х годов, — духоборцах Тамбовского и Козловского, 20 субботниках Бобровского и Павловского уездов 21 Воронежской губернии.

Тамбовским духоборцам посвящены работы П. Г. Рындзюнского²² и С. А. Иниковой,²³ выполненные в более-менее традиционном сектоведческом ключе, т. е. нацеленные на реконструкцию вероучения, обрядов, истории и социальной организации секты. Такой подход, широко используемый современными учеными, был разработан, как показал Б. Сток, церковными иерархами XI—XII веков для борьбы с диссидентскими текстуальными сообществами. «Создание ересей» (the making of heresies, по выражению Стока) позволяет обнаружить организованную секту там, где ее нет, и, наоборот, игнорировать явные случаи народного использования текстов, сводя их к влиянию образованных ересиархов.²⁴ Действительно, и Рындзюнский, и Иникова оставляют без внимания многочисленные упоминания книг в показаниях тамбовских духоборцев — или же дают им не слишком убедительные интерпретации.

Например, в 1768 году четверо доставленных в Петербург крестьян показали на допросе, что священник читал им по «незнамо какой книге», где напечатано будто бы, «чтоб христиане в храмы не входили» и иконам не поклонялись. Рындзюнский объясняет эти показания ссылкой на другого обвиняемого, дьячка Кирилла Петрова, — лишь его, как наиболее образованного и к тому же церковнослужителя, могли иметь в виду сектанты, говоря о читавшем книгу священнике. ²⁵ Это объяснение, несмотря на его очевидную натянутость, принимается также Иниковой, превратившей Кирилла Петрова в «одного из главных духоборческих учителей» ²⁶ и в то же время поместившей в своей статье еще одно свидетельство внимания сектантов к читаемым в церкви книгам: в 1767 году, когда во время пасхальной службы несколько крестьян с. Лысые Горы «произносили непристойные слова», один из них требовал «новой книжицы». ²⁷

 $^{^{19}}$ Здесь и далее ссылки на текст «Первого учения отроком» приводятся по московскому изданию 1758 года (РНБ. Отдел редких книг. Шифр XX.6.7).

²⁰ Высоцкий Н. Г. Новые материалы из раннейшей истории духоборческой секты // Рус-

ский архив. 1914. С. 66-86, 235-261.

²¹ Былов М. Раскол в Воронежской епархии при епископе Тихоне I (Святителе). 1763—1767 гг. // Воронежские епархиальные ведомости. 1890. № 4. С. 151—152. Былов также первый указал на возможную связь между тамбовскими духоборцами и воронежскими субботниками (Там же. С. 152—154).

 $^{^{22}}$ Pындзюнский П. Г. Антицерковное движение в Тамбовском крае в 60-е годы XVIII в. //

Вопросы истории религии и атеизма. М., 1954. Т. 2. 23 *Иникова С. А.* Тамбовские духоборцы в 60-е годы XVIII века // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 1997. Вып. 1. С. 39—53.

²⁴ Stock B. The Implications of Literacy. P. 145-151.

 $^{^{25}}$ Рындзюнский П. Г. Указ. соч. С. $174{-}176$.

²⁶ Иникова С. А. Указ. соч. С. 48.

²⁷ Там же. С. 43.

Между тем совсем не обязательно искать среди сектантов грамотных толкователей книг и назначать их на роль ересиархов — создателей распространяемого устно учения. Даже неграмотные крестьяне вполне могли услышать читаемые в церкви книги и обсуждать услышанное между собой и воплощать его в своих практиках. Принимая во внимание политику правительства в распространении «Первого учения отроком», естественно предположить, что именно оно было той самой «новой книжицей», которую сектанты слышали в церкви и с которой они связывали свои неортодоксальные воззрения и практики.

Общая схема восприятия крестьянами услышанных от представителей власти письменных текстов укладывается в известную концепцию «наивного монархизма». Крестьяне устойчиво подозревали местные власти в своекорыстном искажении подлинной царской воли, и всякий читавшийся им документ готовы были воспринимать как послание от высшей власти, адресованное им через головы местного начальства для борьбы со злоупотреблениями последнего. «Первое учение отроком» прекрасно вписывалось в модель такого послания из высших сфер, позволявшего крестьянам восстать против местного духовного начальства и ожидать покровительства от царя. Этим, вероятно, и объясняется обращение сектантов к правительству в 1768 году с просьбой о защите от притеснений. В Такие обращения, абсолютно незаконные с точки зрения властей и весьма опасные для самих просителей, не прекращались в течение всего XIX века.

Мы рассмотрим два документа из материалов дел о тамбовских духоборцах, позволяющих судить о связи книги Феофана с идеями и практиками сектантов. Первый — это описание секты, поступившее в синод в 1768 году от Тамбовского епископа Феодосия, составленное по результатам начатого в 1767 году епархиального расследования²⁹ (далее — «донесение Феодосия»). Второй документ — это «Записка о содержании секты, объявленная в 1769 г. в Воронежской духовной консистории Степаном Кузнецовым»³⁰ (далее — «записка Кузнецова»). Курсивом выделены «цитаты» и прямые ссылки на книгу Феофана, называемую сектантами «заповедями Божиими». В левой колонке для сравнения приведены выдержки из «Первого учения отроком» — фрагменты толкования десяти заповедей, цитируемые сектантами, выделены курсивом.

Вопрос: Что есть закон Божий?

Ответ: Закон Божий есть Божие повеление, чрез Моисея людям преданное в десяти заповедях (Л. 1).

Вопрос: Что есть идолослужение?

Ответ: Идолослужение есть, когда кто честь Божию воздает образу или подобию койлибо вещи небесной, или земной, или водной, или подземной, то есть, когда кто покорение души своей некоему образу приносит, бояся его, и надеяся на него, аки бы некую в сбе невидимую силу имущего: тако боготворили и почитали древние еллины изваяния, и писанные разных вещей подобия, которые христиане ругательно нарицаем идолы, то есть образишки.

Вопрос: А о христианских иконах что разумети подобает?

²⁸ Ср. там же. С. 44.

30 Там же. С. 259—261.

Закон Божий, преданный в десяти заповедях, приемлют и почитают, кроме написанного во оных заповедях о почитании писанных на досках обра-306, которых-де они не приемлют, и не почитают, и не поклоняются им, затем, что в них нет Божества и святости, а вседе то сделано человеческими руками. (...) В пречистую Божию Матерь они веруют, и исповедуют и Ее чтут, точию вместо поклонения телом покоряются, как пред Нею, так и пред Апостолы, Пророки и всеми Угодниками Христовыми, кото-

²⁹ Высоцкий Н. Г. Указ. соч. С. 67—69.

Ответ: Не есть идолы, понеже не к Боготворению, но к воспоминанию дел Божиих делаются. $\langle ... \rangle$ Но учит той же собор, како не подобает почитать иконы Святых истинным служением, еже бывает верою, духом и истиною, с прошением, и упованием: но почитание и поклонение иконы, той же Собор толкует в пазуме любителного объятия и целования, и иное се бытии сказует о поклонении верою и духом, которое единому достодолжное есть Богу. Того ради знай сие, что когда пред иконою поклоняешися, тогда покорение души твоей приносится Богу, и на него единого вепою возлагатися должны еси, а икону любителным токмо благоприятием чествуй и лобзай, како вещь честную и святую, ради изображения Лица Христова, при Святых его.

Вопрос: Кто грешит против второй сей заповеди?

Ответ: Все тии, которые иконам святым воздают честь Боголепную, каковую запрещает Собор Селенский седмый, како же выше речено. И нетрудно можешь рассудить по вышеписанному соборному толкованию, кто неправильную и запрещенную честь иконам творит. Например: нецыи в церковь приносят свою икону, и к ней поклоняются. Иные икону больше почитают, когда видят златом обложенную, нежели когда была она без оклада; иные и молитися Богу не хотят, где иконы не видят. Все таковые, и сим подобные знатно непростым люблением иконы объемлют, како творити учит Собор седмый Селенский, но верою и духом говеют к иконам, то есть упование на иконы возлагают, что запрещает помянутый Собор Святый (Л. 4 об.-6).

рых-де они только почитают (Донесение Феодосия).

(...) ни в чем рукотворенном спасения не обретается, да и в заповедях Божиих изъяснено: рукотворенным образам почитания никаковаго не положено да и Божественное Писание запрещает: не сотворите себе образов рукотворенных в подобие тленного человека, мужеск или женск пол. $\langle ... \rangle$ о чем изъясняет именно в заповедях Божиих, ибо образа бездушные чему уподоблены, да и задние уверяет имянно, что прежде были верующие им Еллины, (...) и потом же слышим в Божественном Писании про муку вечную: аще кто покланяетца зверю, образу его, приемлет начертание на челе своем или на руце своей, 31 той будет пить от вина ярости Божия, вина нерастворенна в чаши гнева Его, и будет и мучен огнем и жупелом пред ангелы и пред агнецами, и дым мучения их восходит во веки веков покланяющиеся иконе зверя приемлющие начертание 32 (Записка Кузнецова).

Посмотрим прежде всего на источники цитат в записке Кузнецова. В приведенном фрагменте цитаты вводятся следующими выражениями: «в заповедях Божиих изъяснено», «Божественное Писание запрещает», «изъясняет... в заповедях Божиих», «слышим в Божественном Писании». Очевидно, автор записки различает два текста: вопреки тому, как мы привыкли думать, исходя из наших представлений о Библии и десяти заповедях, «заповеди Божии» не являются для Кузнецова частью «Божественного Писания». Оба этих текста узнаются без особого труда: после соответствующих вводных слов в записке более или менее точно цитируются соответственно «Первое учение отроком» и Библия.

В другом фрагменте записки Кузнецова упоминаются «заповеди Господни», в которых узнается все та же книга: «Нас видя мир уклонящихся от таких злых дел, да и возненавидит, потому что мы с ними никакого дружелюбия в пьянстве не сообщаемся, также с ними в беседы нечестивые никакие не прикасаемся, понеже за-

³¹ Ср.: Откр. 13: 16—17.

³² Ср.: Откр. 14: 10—11.

А. Л. Львов

поведи Господни весьма оное, как пьянство, так ссор и драки, запрещает». В толковании четвертой заповеди (о субботнем отдыхе) Феофан пишет: «Наипаче противен заповеди сей есть злый обычай в народе, день праздный препроводить пианством, боем кулачным, и иными бесчинии и соблазнами, то ли есть прославляти Бога» (Л. 9).

Вероучение секты, изложенное в донесении Феодосия, очевидно, представляет собой некоторое обобщение показаний сектантов, и явные ссылки на какие-либо авторитетные тексты сведены здесь к минимуму. Все же одно указание на источник здесь имеется: «кроме написанного во оных заповедях о почитании писанных на досках образов». И снова можно было бы подумать, что речь идет о библейской второй заповеди, о запрете на изображения, которые устойчиво отождествлялись русскими иконоборцами с православными образами. ЗОднако в данном случае сектанты, очевидно, полагают, что «во оных заповедях» не запрещено, а разрешено почитание икон. На роль таких «заповедей», предписывающих, хотя и с некоторыми ограничениями, иконопочитание, никак не годится Библия, зато вполне подходит «Первое учение отроком».

Еще две особенности этого документа могут быть поняты как скрытые цитаты из книги Феофана. Выражение «Закон Божий, преданный в десяти заповедях» подразумевает не вполне обычное отождествление «закона Божия» и «десяти заповедей», присутствующее также у Феофана: «Закон Божий есть Божие повеление, чрез Моисея людям преданное в десяти заповедях». За На другое странное выражение: «вместо поклонения телом покоряются» обратил внимание еще Н. Г. Высоцкий: «Сектанты строго различают термины: поклонение и покорение; сами они не дают объяснения этих терминов и не объясняют различия их». За Между тем именно эти термины использует Феофан в своем ученом объяснении различий между разрешенным и запрещенным почитанием икон.

В очень кратком описании вероучения воронежских субботников — «субботу почитать, а воскресенье не почитать, затем что оно установлено по новой благодаmu»³⁶ — также имеется дословное совпадение с текстом Феофана: «День таковой в ветхом завете был субботний, а в новой благодати вместо оного определен первый по субботе день, в честь воскрешения Христова» (Л. 8 об.). Наконец, саму идею главенства Моисеева закона, весьма важную для субботников на протяжении всей их истории, хотя и не зафиксированную ранними документами, можно было вычитать из следующего пассажа Феофана, завершающего толкование десяти заповедей: «Ведати подобает, что закон Божий в Десятисловии сем заключенный пребывает непременный: и не жидам токмо, но и христианам, и всем человекам положен есть, и всех одолжает до скончания мира. А когда слышишь, что закон Моисейский до времени был, а по пришествии Христове оставлен есть: разумей то, не о сем Десятисловии, которое содержит в себе прямый и истинный закон вечной правды; но был еще иной закон, на время жидам поданный, о неких внешних и телесных обрядах, каковые быша жертвы кровавые, различные приношения, кропления, омовения, и иные хранения, которые все никакой в самих себе силы не имели, ни угождали Богу сами собою: но прообразовали таинства Христова пришествия, и нашего чрез него избавления, тот обрядовый закон по исполнении всего того, что он прообразовывал, стал непотребен, того ради и отставлен. Был и закон

³³ См.: Львов А. Л. Чтение Библии и риторика начетчиков (по материалам православных миссионеров конца XIX—начала XX в.) // Сны Богородицы: Исследования по антропологии религии. СПб., 2006. С. 53—69.

 $^{^{34}}$ Это утверждение Феофана было замечено также и в авторском сообществе: сго резко критиковал Димитрий Кантемир (см.: \mathcal{J} . \mathcal{J} . \mathcal{J} . \mathcal{J} . \mathcal{J} . \mathcal{J} . \mathcal{J} . Указ. соч. С. 19—20).

³⁵ Высоцкий Н.Г. Указ. соч. С. 68.

³⁶ *Былов М.* Указ. соч. С. 152. Курсив мой. — А. Л.

гражданский от Моисея преданный, и той како собственно роду иудейскому и тогдашнему времени приличный отставлен есть: а сей Десятисловный нравоучительный закон непреложный есть и непременный» (Л. 29 об.—30 об.).

* * *

Конечно, в сектантских прочтениях «Первого учения отроком» присутствует та фрагментарность и склонность к вырыванию из контекста отдельных слов и фраз, о которой писали К. Гинзбург и Р. Шартье. Например, в записке Кузнецова, очевидно, предполагается, что «заповеди» не одобряют почитание икон. Чтобы прийти к такому выводу, автор записки должен был обращать внимание лишь на те слова в тексте Феофана, которые подтверждают его прочтение, игнорируя другие, пусть и стоящие рядом. Можно, конечно, предположить, что Степан Кузнецов, будучи хотя и грамотным, но малообразованным, попросту не смог правильно понять этот довольно трудный для восприятия пассаж. Однако из донесения Феодосия следует, что другие сектанты все же сумели понять тот же сложный текст об иконах целиком, не вырывая из контекста нужные им выражения, и даже вопреки своему желанию найти в «заповедях» полное подтверждение своим взглядам. Да и в записке Кузнецова, строго говоря, нет расхождения с общим смыслом всего фрагмента: использование в качестве синонима «идолов» такого слова, как «образишки», и следующий сразу после него вопрос о христианских иконах вызывали негодование еще у Димитрия Кантемира, обвинявшего Феофана в отрицании православного иконопочитания.37

Вполне усвоенной сектантами оказалась и важная для Феофана идея Писания как главного источника и критерия правильности веры. Возможно, эта идея была знакома крестьянам и раньше, однако они уловили ее, выраженную новыми для них словами, в тексте книги и взяли эти новые слова на вооружение.

Наконец, ключевая для петровской церковной реформы и Феофана идея борьбы с суевериями отчетливо прослеживается также и у сектантов. Правда, в разряд «суеверий» у них попадают не только порицаемые властью народные обычаи, но и практически все церковные обряды, которые сектанты стремятся заменить поклонением (крещением, причащением и т. п.) «духом и истиной». Источником этой формулы является, конечно, не книга Феофана, а Евангелие от Иоанна (4: 23—24), однако сектанты сумели правильно уловить связь между этими стихами и исходящим от власти призывом к переменам.

Таким образом, нам не удается обнаружить никаких формальных особенностей «народного чтения», отличающих его от чтения образованных людей. Полуграмотные крестьяне оказались способными связывать свои устные представления не только с выхваченными из контекста словами и выражениями, но и с достаточно крупными фрагментами и даже с главными темами услышанного/прочитанного текста. Конечно, их восприятие было выборочным, они замечали в тексте лишь то, что было им нужно, — но точно так же воспринимают книги и образованные читатели.

С другой стороны, результатом «народного прочтения» книги Феофана стало не социальное дисциплинирование, на которое рассчитывало авторское сообщество, а, напротив, усиление диссидентства. Здесь напрашивается расхожий постмодернистский вывод о нетождественности книги, прочитанной разными читателями, самой себе и, в конечном счете, о нулевом вкладе самого текста в образование смысла. Однако я не спешил бы делать такой вывод. Как мы видели, некоторые смыслы, возникающие по обе стороны текста — в авторском и читательском сообществах, — оказались явно близкими друг другу, если не совпадающими. Означа-

³⁷ См.: Д. И—в [Извеков Д. Г.]. Указ. соч. С. 22—26.

ет ли это, что данные смыслы жестко вписаны в текст и способны транслироваться вместе с текстом из одного социального контекста в другой? Этой структуралистской крайности мне тоже хотелось бы избежать. Вероятно, золотая середина находится на пути исследования текстуальных сообществ, позволяющем связывать смыслообразование не с текстом самим по себе и не с устным знанием самим по себе, но с их парадоксальным отождествлением, возникающим в таких сообществах.

© Н. Д. Кочеткова

КРУЖОК Н. И. НОВИКОВА КАК ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Высоко оценив значение деятельности Н. И. Новикова и его сподвижников, А. И. Герцен в 1850 году писал: «Каким великим делом оказалась эта смелая мысль — объединить во имя нравственного интереса в братскую семью все, что есть умственно зрелого, от крупного сановника империи, как князь Лопухин, до бедного школьного учителя и уездного лекаря!» Благодаря Новикову, ставшему главой русского масонства, литература, по мнению А. И. Герцена, впервые начала оказывать влияние на общество.

Когда речь идет о кружке Новикова, имеется в виду не состав той или иной масонской ложи, членом или основателем которой он был, но круг лиц, связанных не только с его масонской, но литературной, издательской, филантропической деятельностью, людей творческих, близких по своим убеждениями, и связанных узами дружбы, а частично даже родства. Среди них наиболее замечательны М. М. Херасков, А. М. Кутузов, И. В. Лопухин, И. П. Тургенев, Н. Н. Трубецкой. З Каждый из них, сохраняя неповторимую индивидуальность, сумел внести свой вклад в то общее дело, которое возглавил Новиков. Разумеется, их объединяли масонские интересы, учрежденное в 1782 году Дружеское ученое общество, а затем созданная на его основе в 1784 году Типографическая компания. Хотя Херасков не стал членом Компании, 4 его роль в кружке Новикова первостепенна: он был самый старший (на одиннадцать лет старше Новикова), имел удачный издательский опыт уже в 1760-е годы (его журналы «Полезное увеселение» (1760—1762) и «Свободные часы» (1763)), обладал незаурядными организаторскими способностями, которые вполне проявились, когда он стал директором Московского университета, и еще более, когда с 1778 года — его куратором. Действуя совместно, Новиков и Херасков как бы разделили сферы своего влияния.

Кружок начал формироваться еще в конце 1770-х годов в Петербурге, где Новиков в 1777 году предпринял издание журнала «Утренний свет», в котором при-

 $^{^1}$ *Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 190.

 $^{^2}$ О жизненном и творческом пути Новикова см.: Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867 (переизд.: СПб., 2000); Макогоненко Г. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.; Л., 1961; Monnier A. Un publiciste frondeur sous Catherine II. Nicolas Novikov. Paris, 1981; Jones W. G. Nikolay Novikov. Enlightener of Russia Cambridge, 1984; Некрасов С. Апостол добра. Повествование о Н. И. Новикове. М., 1994.

³ Херасков и Трубецкой были сводными братьями, в большой дружбе были их супруги Е. В. Хераскова и В. А. Трубецкая. Обе семьи долго жили и вместе в одном доме в Москве и в подмосковном имении. Новиков был женат на племяннице Трубецкого Александре Егоровне.

⁴ Вопрос об участии Хераскова в Дружеском ученом обществе вызывал разногласия среди исследователей. Однако наиболее убедительными представляются аргументы тех, кто считал его членом общества. См.: Лонгинов М. Н. Сочинения. М., 1915. Т. 1. С. 453—454.

_{ним}али участие и Кутузов, и Тургенев, и Херасков. В 1779 году по приглашению Хераскова Новиков получает в аренду университетскую типографию, начинается «золотое десятилетие» его издательской деятельности, кружок расширяется за счет университетской молодежи, поощряемой к литературной работе. В 1770-е годы Херасков, после появления его «Россиады» (1779) пользовался большим автопитетом среди писателей, и его дом сначала в Петербурге, а затем в Москве стал . своеобразным центром литературной жизни, к которой постоянно привлекалась и молодежь. Одновременно с Новиковым Херасков пригласил в университет в качестве профессора немецкого языка И. Е. Шварца, сыгравшего значительную роль в истории русского масонства, а также в сближении русской и немецкой культур.⁵ В тесном сотрудничестве с Новиковым и при поддержке Хераскова он стал осуществлять образовательную программу, предусматривавшую совершенствование преподавания, расширение круга учащихся и, что особенно важно, подготовку русских учителей. По его проекту при университете были учреждены педагогическая (1779) и переводческая (1782) семинарии. Новикова, Хераскова и Шварца связывали и масонские интересы, и стремление к практической общественной и образовательной деятельности. Их нравственные искания имели много точек соприкосновения, хотя у каждого был свой путь к масонству, свои предпочтения в сфере масонских и литературных интересов.6

Новиков вступил в масонство в 1775 году; Херасков уже в 1773—1774 годы был мастером одной из масонских лож. Они стали участниками масонского движения, когда каждый из них имел уже большой опыт издательской и литературной работы. Обращение к масонству не было для них данью моде — это явилось продолжением их нравственных исканий и стремлений принести пользу обществу.

В XVIII веке масонство широко распространилось в европейских странах и на других континентах. Оно развивалось как широкое религиозно-философское движение, включавшее весьма разнообразные, а иногда и противоборствующие течения: здесь были и поиски «истинного христианства», и обращение к древним гностикам, и увлечение алхимией, и попытки подчинить деятельность лож политическим целям, и стремление объединить человечество в одну братскую семью. Созданная масонами система понятий и символов интерпретировалась очень по-разному. В каждой стране масонское движение имело свои специфические черты, обусловленные и общим ходом исторического развития и особенностями национальных традиций. В лекциях о славянских литературах (1842) А. Мицкевич высказал суждение, имевшее, возможно, полемический характер, но представляющее несомненный интерес: «Мартинисты — люди безвестные, остающиеся в тени, оказали на Россию влияние, значительно более сильное и плодотворное, чем все

⁵ См. о нем: Тихонравов Н. С. Профессор Шварц // Тихонравов Н. С. Соч.: В 3 т. М., 1898. Т. З. Ч. 1. С. 60—81; Rauch G. Johann Georg Schwarz und die Freimaurer in Moskau // Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa. Freimaurers, Gesellschaften, Clubs. Berlin, 1979. S. 212—224.

⁶ См.: Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической компании. Пг., 1921; Светлов Л. Б. Издательская деятельность Н. И. Новикова. Л., 1964; Мартынов И. Ф. Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981; Marker G. Publishing, Printing and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700—1800. Princeton, 1985. P. 122—134

⁷ См.: Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 594—595, 851. Этот фундаментальный труд дает представление о широте и многообразии масонского движения в России.

⁸ См.: Масонство в его прошлом и настоящем. Сб. под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. М., 1914—1915. Т. 1—2 (переизд.: М., 1991); Пыпин А. Н. Русское масонство (XVIII и первая четверть XIX в.). Пг., 1916; Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины ІІ. Пг., 1917; (изд. 2-е, испр. и расшир. / Под ред. М. В. Рейзина и А. И. Серкова. СПб., 1999); Смит Д. Работа над диким камнем: Масонский орден и русское общество в XVIII веке. М., 2006.

могущество Петра Великого и заботы о просвещении Екатерины II». Здесь имеется в виду, конечно, деятельность Новикова и его сподвижников.

Новиков рассказывал о своем вступлении в масонство: «Находясь на распутии между вольтерианством и религией, я не имел точки опоры или краеугольного камня, на котором мог бы основать душевное спокойствие, а потому неожиданно поплыл в общество». 10 Эта неожиданность фактически была подготовлена его предшествовавшей деятельностью, стремлением исправить пороки общества в период издания сатирических журналов, привлечь внимание мыслящих людей к отечественной истории, к прошлому и настоящему русской литературы. Между ранним и последующим этапами жизни Новикова была глубокая внутренняя связь: выступая как сатирик, он оставался моралистом, подобно его предшественникам — европейским издателям моралистических журналов. 11 Новикова могли лишь оттолкнуть те ложи, в которых только «ужинали и веселились; принимали всякого без разбору, говорили много, а знали мало». 12 Та настороженность, с которой он вначале отнесся к масонству, сменилась упорными исканиями масонства истинного, соответствовавшего его духовным запросам, такого, в котором «все обращено на нравственность и самопознание». 13 Встреча и сотрудничество с Херасковым, очевидно, укрепили доверие Новикова к масонству. 14 Еще в «Опыте словаря о российских писателях» (1772) Новиков дал высокую оценку литературному творчеству Хераскова: «...он по справедливости почитается в числе лучших наших стихотворцев и заслуживает великую похвалу». 15 Здесь же дважды упоминался его нравственно-философский роман «Нума Помпилий» (1768), опубликованный анонимно. В этом произведении Новиков мог найти многое, что оказывалось созвучно его собственным мыслям и представлениям. Так, например, о главном герое сообщалось: «Праздные часы посвящал Нума испытанию сокровенных таинств Божества, познанию истинных правил добродетели, истреблению суетных мыслей, нечувствительно заражающих сердце приятными пороками, уничтожению прелестей ложного счастья и приманчивых блистаний богатства, без чего и мудрым не был бы Нума». 16 При всей своей ориентации на образцы (Плутарх, Фенелон и др.) Херасков создавал образ не только идеального правителя, заботящегося о благе подданных, но также мудрого философа, размышляющего о темах, оказавшихся вскоре в центре внимания участников новиковского кружка: внешним благам противопоставлялись нравственные ценности. Те же мотивы были характерны для лирики Хераскова 1760-х годов (его журнальные публикации, сборники «Новые оды» и «Философические оды, или Песни»). В этих произведениях обнаруживается не только связь с некоторыми традициями творчества Сумарокова, но и с масонской проблематикой. 17 Одним из непосредственных и до сих пор еще недостаточно оцененных источников знакомства с этой проблематикой для литераторов XVIII века

⁹ Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1948—1954. Т. 4. С. 390—391.

¹⁰ Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000. С. 118.

 $^{^{11}}$ См.: Клейн \ddot{H} . «Немедленное искоренение всех пороков»: о моралистических журналах Екатерины II и Н. И. Новикова // XVIII век. СПб., 2006. Сб. 24. С. 153—165.

¹² Новиков Н. И. Избранные сочинения / Вступ. статья, подгот. текста и комм. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1951. С. 627.

¹³ Там же. С. 607.

 $^{^{14}}$ См.: Левицкий А. А. Н. И. Новиков и М. М. Херасков. Масонская тема в творчестве. (Предпосылки для дальнейшего исследования) // Новиков и русское масонство. Материалы конференции 17—20 мая 1994 г. Коломна. М., 1996. С. 19—29.

¹⁵ Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о русских писателях // Материалы для истории русской литературы. Изд. П. А. Ефремова. СПб., 1867. С. 116.

¹⁶ [Херасков М. М.] Нума, или Процветающий Рим. [М.], 1768. С. 3.

 $^{^{17}}$ См.: Сахаров В. И. Русская масонская поэзия (к постановке проблемы) // Масонство и русская литература XVIII—начала XIX в. М., 2000. С. 66—118; Давыдов Г. А. Поэзия М. М. Хераскова и религиозные искания русских масонов // Там же. С. 130—143.

были масонские песни, получившие широкое распространение уже в 1750—1760-е годы.

Не говоря уже о масонских лидерах, и рядовые участники движения вносили в него что-то свое, определявшееся не только уровнем их гуманитарной культуры и литературным даром, но и их личностными качествами. В масонских песнях, бытовавших в дворянских кругах, важное место занимали нравственно-философские темы, связанные как с масонской обрядностью, так и с традициями русской просветительской литературы: поиски «правды без покрова», прославление добродетели, осуждение суетности, корысти, погони за богатством и чинами, презрения к нижестоящим. А. В. Позднеев, глубоко исследовавший сборники масонских песен XVIII века, называет одной из самых популярных песню «Если честности кто знает...», в которой воссоздается нравственный идеал масона:

Есть ли честности кто знает. Всегда правду наблюдает, Притом скромен может быть, Тот масоном может быть. Тот, кто гордости стыдится, И тщеславным быть не тщится, Честь единую хранит, -Тот масоном может быть. Суету кто презирает, Лихоимства убегает, Никого кто не вредит. — Тот масоном может быть. Тот, кто бедным помогает И от бед их защищает. Добродетелей хранит, — Тот масоном может быть. 18

Подобные песни получили достаточно широкое распространение и в 1770—1780-е годы: о знакомстве с ними упоминают, например, такие мемуаристы, как С. Н. Глинка¹⁹ и С. А. Тучков. Рассказывая о своем пребывании в Сухопутном кадетском корпусе, Тучков вспоминал, как молодые офицеры «приносили с собою разные сочинения и читали оные вслух один другому». По его признанию, больше всего ему понравились сочинения Ломоносова и масонские песни, сочиненные на русском языке.²⁰

Херасков, Новиков и их ближайшие сподвижники, очевидно, знали и ценили масонские песни, мотивы которых непосредственно соотносятся с поэзией Хераскова. В одной из его эпистол даже появляется образ Диогена, встречающийся в масонских песнях как олицетворение истинного мудреца, умеющего проникнуть в сердца людей:

Подай, о Диоген, подай светило мне, Которым бы я мог проникнуть мрак сердец 21 ...

¹⁸ Позднеев А. В. Ранние масонские песни // Scando-Slavica. 1962. Vol. 8. P. 39—40.

¹⁹ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 19. Здесь приводится текст песни «Имея матерь на престоле...» с интересными разночтениями по сравнению с текстом, опубликованным А. В. Позднеевым (Ранние масонские песни. С. 54).

²⁰ Тучков С. А. Записки. СПб., 1908. С. 6-7.

²¹ М. Х[ерасков]. Эпистола («Нет ни единого на свете человека...») // Полезное увеселение. 1760. Май. С. 189. Об образе Диогена в масонских песнях см.: Поз∂неев А. В. Ранние масонские песни. С. 39; Мартынов И. Ф. Ранние масонские стихи и песни в собрании Библиотеки Академии наук СССР. (К истории литературно-общественной полемики 1760-х гг.) // Russia and the World of the Eighteenth Century. Columbus (Ohio), 1988. Р. 440.

Показательно, что И. В. Лопухин много масонских песен напечатал в изданном им в 1784 году первом томе журнала «Магазин свободнокаменщический». В опубликованных здесь текстах можно заметить постоянное противопоставление масонского братства порочному миру, чтущему ложные ценности. Характерна в этом отношении песня «Кого на свете власть прельщает»:

Кого на свете власть прельщает, Грабеж к стяжанию влечет, Кто веры, честности не знает, Путем порочным кто идет, Кто бедных ищет притеснять, Тому нельзя в сей храм предстать!²³

Масонская этика, сопричастная христианскому учению, стала объединяющим началом Новиковского кружка. Эта важная особенность была очень верно отмечена итальянской исследовательницей русского масонства XVIII века Р. Фаджонато: «...усвоение масонских текстов принимает в кружке Новикова особый характер: в них московские масоны воспринимают именно то, что им кажется принадлежащим к православной духовной традиции. Это не простое усвоение чужих идей, а скорее открытие через чужие идеи культурных и духовных сокровищ своего собственного наследия». ²⁴ При всем различии общественного положения, склонностей к тому или иному виду деятельности, наконец, характеров, члены кружка единодушно осуждали стяжательство и праздность, ценили способность к бескорыстной помощи и искренней дружбе. В одной из своих речей А. М. Кутузов сформулировал важнейшие принципы, на которых масоны стремились строить свои отношения: «взаимность между человеками», «стройность и согласие, которые должны царствовать между нами». ²⁵

Литературная, по преимуществу переводческая деятельность каждого из членов сообщества вызывала интерес и участие многих. Иногда они совместно работали над переводом, при этом спорили и даже ссорились. Тем не менее они сознавали, что делают одно общее дело, полезное для общества. И. П. Тургенев предпослал одному из самых значительных своих трудов, переводу книги Дж. Мейсона, изданному под названием «Иоанна Масона познание самого себя», пространное посвящение — «приношение благодетелям и друзьям». «Внимая учению вашему, — писал переводчик, — нашел я вкус в предлагаемой здесь материи, (...) решился и я споспешествовать видам вашим, клонящимся к пользе и благу сограждан наших». 26 Далее Тургенев говорил о ценности этой книги, которая помогает «проницать в сокровеннейшие сгибы и теснейшие углы неисповедимого человеческого сердца и видеть тамо, как слабости наши от глаз наших укрываются». Заключал он свое «приношение» словами о том, что его труд является «знаком благодарения за благодеяния», полученные от друзей. «Не престану, — писал он, — быть вашим всепокорным и верным слугою». Спустя семь лет, к 3-му изданию этой книги Тургенев приложил рукописное послание своим сыновьям, в котором писал: «Я нрав-

²² В печати появилось лишь две части первого тома этого издания. С. В. Аржанухин, детально исследовавший это издание, приводит также роспись последующих рукописных томов, хранящихся в Российской национальной библиотеке (О.III/ 39/1—5) и датируемых началом XIX века. См.: Аржанухин С. В. Философские взгляды русского масонства по материалам журнала «Магазин свободнокаменщический». Екатеринбург, 1995. С. 74—77. В отличие от первото тома, последующие не включают песен; их основное содержание составляют речи и рассуждения.

²³ Магазин свободнокаменщический. 1784. Т. 1. Ч. 1. С. 137—138.

 $^{^{24}}$ $\Phi a\partial ж$ онато P. Розенкрейцерский кружок Новикова: Предложение нового этического идеала и образа жизни # Новиков и русское масонство. С. 38.

²⁵ Кутузов А. М. Речь, говоренная в X степени / ИРЛИ. 4880/ XXV б. 47. Л. 325. ²⁶ [Мейсон Дж.] Иоанна Масона познание самого себя. М., 1783. Ч. 1. С. 3 (ненум.).

ственностью своею много должен сей книге. Мне указал на нее друг мой, я вам на нее указываю $\langle ... \rangle$ Вы учинитесь способными ко чтению в сердцах не только ваших, но и в сердцах других людей, вам подобных». 27

Идеальные стремления неизбежно сталкивались с реальной действительностью. Тема денег постоянно привлекала к себе внимание масонов-литераторов. К ней неоднократно обращался Херасков еще в своих одах 1760-х годов («Богатство»; два стихотворения с названием «Злато» («Злато прельщает / Разумы всех...» и «Кто хочет, собирай богатства...»), и др.). При этом поэт не просто порицал стремление к богатству, но размышлял о том, какой мощной силой становятся деньги в современном мире: они могут принести с собой много зла, но они необходимы людям, поэтому с их помощью можно сделать и много доброго:

Счастья источник, Корень всех бед, В нуждах помочник, К бедности след.

Смертных спасает, Смертных губит: Мир утверждает. Брани творит. ²⁸

Эта тема получила свое развитие на страницах новиковского журнала «Утренний свет». В анонимной сатирической «Повести о полуполтиннике» рассказывалось о многочисленных приключениях монеты, переходившей из рук в руки от одних людей к другим, постоянно попадавшей к пьяницам, картежникам, распутникам и очень редко к беднякам и «ученым людям». Полуполтинник заявляет: «...я же и мне подобные имеем честь быть единственною или паче главнейшею побудительною причиною почти всех человеческих деяний». 29 Полуполтинник оказывается, наконец, у книгопродавца, у которого мальчик, получивший монету от отца, покупает первый выпуск журнала «Утренний свет». Эта повесть непосредственно связана с объявлением о подписке на журнал. Издатели сообщали, что их целью будет «общественная польза, благонравие и просвещение»; «сверх сего издатели вознамерились пользу от трудов своих распространить далее, определяя все вырученные деньги от продажи сего журнала на заведение школ для бедных и сиротствующих детей, равномерно и для содержания бедных и престарелых людей...» 30 Замысел удался, число добровольных жертвователей становилось все больше, в журнале публиковались имена тех, кто платил выше указанной цены от 5 до 100 рублей за экземпляр. Сообщалось также об успехах учеников училищ, открытых в Петербурге на собранные деньги. Используя опыт немецких пиетистов, прежде всего А. Г. Франке (1663-1727), основавшего близ города Галле школу для сирот,³¹ русские масоны через издававшиеся ими журналы и книги стремились представить читателям примеры благотворения. В статье «О достоинстве человека в отношениях к Богу и к миру», автором которой считается Новиков, говорилось, что «всякое благодеяние чинят не из какого другого намерения, как только из единого удовольствия творить добро», поскольку это дает человеку сознание

²⁷ Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 24.

²⁸ М. Х[ерасков]. Злато // Полезное увеселение. 1760. Апр. С. 161.

²⁹ Утренний свет. 1778. Ч. 3. Июль. С. 264.

³⁰ Там же. 1777. Ч. 1. Окт. С. VIII.

³¹ См.: Кочеткова Н.Д. Пиетизм и русское масонство // Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia. Wittenberg, 2004 / Ed. R. Bartlett, G. Lehmann-Carli. Berlin, 2007. S. 229—236.

того, что он поступает «по величию своего достоинства». ³² Известным примером бескорыстия был один из ближайших друзей Новикова С. И. Гамалея, который отказался от пожалованных ему 300 душ крестьян, говоря, что не знает, как управиться с собственной душой. ³³

Свойственная многим участникам масонского движения склонность к филантропии, ³⁴ приобрела в кружке Новикова целенаправленный характер и самые широкие масштабы. Во время следствия, когда Новикова стремились обвинить, помимо прочего, и в корыстолюбии, он отвечал об использовании собиравшихся денег: «Во всех масонских ложах, с нами бывших, по возвращении профессора Шварца заведенных (т. е. с 1782 года. — Н. К.), при вступлении в ложу и при повышении в градусы совсем никаких поборов не было от вступающих, кроме предписанного, чтоб во всяком собрании ложи собиралось на бедных в кружку, кто что хочет дать, и таковые деньги, сколько их собиралось, оставались в той ложе в распоряжении мастера ложи и членов, и что в течение года собиралось, то и раздаваемо было не нищим, которые ходят по улицам, но осведомлялись о бедных и больных; других же поборов в ложах не было никаких, кроме когда содержаны были студенты, то сколько кто смог и хотел, давали в помощь их содержания…». ³⁵

«На свой кошт» Новиков отправил учиться за границу М. И. Багрянского и ежегодно посылал ему по 500 рублей. Более трех лет он обучался в европейских университетах, по возвращении жил у Новикова. Двух пенсионеров, посланных за границу, В. Я. Колокольникова и М. И. Невзорова, содержал И. В. Лопухин. Эта материальная поддержка была сопряжена с духовным наставничеством, которым питомцы дорожили в течение всей своей жизни.

Проповедовавшиеся участниками кружка моральные правила, подкрепленные личными примерами, оказывали большое воздействие на современников. Показательна история отношений Новикова с купцом Г. М. Походяшиным, вступившим в Дружеское ученое общество. 36 Когда в неурожайный 1787 год в деревнях начался голод, Новиков стал помогать своим и соседним крестьянам. Походяшин, узнав об этом, предложил ему 10 000 рублей на покупку хлеба, причем просил никому об этом не говорить и распоряжаться деньгами от своего имени.

Между тем благотворительность участников новиковского кружка стала предметом светских пересудов и подозрений со стороны императрицы. В письме к А. М. Кутузову от 28 ноября 1790 года И. В. Лопухин писал: «Привыкнув все делать, только имея в виду рубли, чины, ленты или из страха, не могут поверить, чтобы были люди, желающие бескорыстно удовлетворять должностям християнина, верного подданного, сына отечества и сочеловека». Эта тема продолжается в одном из следующих писем, от 6 января 1791 года: «...есть такие бездельники, которые говорят про меня и про других моих приятелей, что-де не делают ли они уже фальшивой монеты, что дают иногда милостыни рублей по пяти человеку. (...) Но какая же глупость так распускать о людях известных, о дворянах, не худших, ежели и не лучших, нежели те, кои клевещут о людях, которые сами или отцы их имеют тысяч до тридцати доходу». С нескрываемым возмущением Лопухин делает еще и приписку к этому письму: «Какое ожесточение! Как жалко, что и пяти или десятирублевое иногда подаяние кажется странным или подозрительным! Что за ди-

³² Утренний свет. 1777. Ч. 1. Дек. С. 296-297.

³³ См.: Довнар-Запольский М. В. Семен Иванович Гамалея // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. Т. 2. С. 29—30.

³⁴ См.: Вернадский Г. В. Русское масонство. С. 265—284.

³⁵ Новиков Н. И. Избранные сочинения. С. 635—636.

 $^{^{36}}$ См. о нем: *Громыко М. М.* Г. М. Походяшин в «Дружеском ученом обществе» Н. И. Новикова // Города Сибири (Экономика, управление и культура городов Сибири в досоветский период). Новосибирск, 1974. С. 259—298.

³⁷ Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780—1792. Пг., 1915. С. 46.

ковинка, если б это и сто раз в год случилось сделать человеку, когда в один час проигрывают в карты многие тысячи те, кои должны наблюдать за благочинием». 38

Н. М. Карамзин, получивший, по точному выражению И. И. Дмитриева, «нравственное образование» в новиковском кружке, глубоко усвоил гуманные принципы его участников. Несмотря на то что с некоторыми из них у Карамзина после путе-шествия существенно осложнились отношения, писатель помимо своего смелого выступления с одой «К Милости» (1792) еще до начала процесса по делу Новикова опубликовал в «Московском журнале» повесть «Фрол Силин, благодетельный человек» (1791). Это произведение тесно соотносится с филантропической программой масонов. 39 Примечательно, что и в своей самой известной повести «Бедная Лиза» (1792) Карамзин упоминал об отношении своих героев к деньгам: Лиза бескорыстна и не хочет брать рубля за букет, который продает за пять копеек: Эраст в карты проигрывает свое состояние, женится на богатой вдове и откупается от Лизы, давая ей сто рублей.

В журналах 1790—1800-х годов постоянно публиковались статьи, повести, анекдоты, в которых прославлялись благородные поступки, честность, бескорыстие, готовность помочь человеку, попавшему в беду. При всем своем дидактизме эти публикации, в большей или меньшей степени продолжавшие филантропическую программу новиковского кружка, несомненно, оказывали влияние на нравственные критерии общества.

Неудивительно, что в ходе следствия над Новиковым и его сподвижниками были использованы все средства для того, чтобы их опорочить как люлей, имевших якобы корыстные цели. В связи с предшествовавшими аресту Новикова ревизиями его книжных лавок и конфискацией ряда изданий Типографическая компания понесла серьезные убытки, образовались огромные долги. К концу 1791 года положение стало настолько критическим, что было принято решение о роспуске Компании. О драматизме этой ситуации дают представление письма московских масонов к А. М. Кутузову, который был отправлен в Германию по масонским делам. Вначале он получал средства от Компании, а затем его стали поддерживать И. В. Лопухин и Н. Н. Трубецкой, посылая ему собственные деньги, но уже не очень регулярно. В октябре—ноябре 1791 года Кутузов писал о своем отчаянном положении в Берлине: «Крайность моя достигнула такой степени, что, не взирая на жестокую стужу, я принужден сидеть в нетопленых горницах...». 40 Войдя в долги, он ждал «бесчестия и заточения». На помощь в критический момент снова пришел Походящин, предложивший свои средства, чтобы заплатить все долги Компании, вернуть взносы ее участникам и продолжать книгоиздательскую деятельность непосредственно с Новиковым. Письмо Трубецкого к Кутузову от 20 ноября 1791 года, не попавшее в издание Я. Л. Барскова и публикуемое в приложении к настоящей статье, дает представление об этих событиях и об отношении к ним самих участников.

Трубецкой сообщал, что участники Компании «накануне были сделаться банкрутами», «не имев капитала достаточного для необходимого оборота по Компании, подвержены были и стыду и сущему разорению». Со всею откровенностью Трубецкой писал и о тех раздорах, которые появились в кружке и которым теперь был положен конец: «А наипаче сие утушило между многими из бывших наших членов дух ропота и от того происходящей нелюбви и подозрения, которые уже между нами зачали было являться $\langle \ldots \rangle$ Сей случай прекратил все неудовольствия, и теперь царствует между всеми нами та любовь и согласие, которые были прежде и которые зачали было совсем исчезать».

³⁸ Там же. С. 73—74.

³⁹ См.: *Степанов В. П.* Повесть Карамзина «Фрол Силин» // XVIII век. Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII—начала XIX века. Л., 1969. С. 229—244.

⁴⁰ См.: Барсков Я. Л. Переписка московских масонов. С. 165.

Тема денег, вмешавшаяся в самую жизнь философов и филантропов, подвергла их жестокой проверке. Но последующие события стали для них еще более суровыми испытаниями. В апреле 1792 года арестовали Новикова, он был приговорен к 15-летнему заключению в Шлиссельбургской крепости. Тургенев и Трубецкой были высланы в свои деревни, Лопухин оставлен в Москве под полицейским надзором. Над Херасковым нависла угроза увольнения с должности куратора университета, и лишь благодаря ходатайству Державина перед фаворитом П. А. Зубовым ему удалось этого избежать. Особое дело было заведено и на Походящина, потерявшего в результате значительную часть своих средств. ⁴¹ Вернувшиеся в самый разгар преследований новиковского кружка студенты Колокольников и Невзоров были арестованы, и их постигла жестокая участь: первый скончался, а второй был заключен в дом умалишенных. Лишь вступивший на престол в 1796 году Павел I отменил наказания Новикову и участникам его кружка.

Однако и в самые трудные времена дружеские связи между отдельными участниками кружка не угасали. Багрянский разделил заточение Новикова и, находясь с ним в одной камере, оказывал ему медицинскую помощь, а после освобождения поехал вместе в его имение, в последующие годы сохранил с ним самые сердечные отношения.

Херасковы и Лопухин вели постоянную переписку со ссыльной семьей Тургеневых. 42 В первые же месяцы их ссылки 14 декабря 1792 года Лопухин решительно отверг опасения доставить своими письмами неприятности: «Неописанно больно мне беспокойство ваше $\langle ... \rangle$ Убить себя печалью и грешно и бесполезно. Извинения твои, любезный друг Иван Петрович, в том, что обеспокоишь меня письмами, признаюсь, читал я с неудовольствием, хотя знал, что не из противного дружбе источника то происходит». 43 После освобождения Невзорова Лопухин поселил его в своем доме и продолжал оказывать ему всяческое покровительство. Посвящая Лопухину годовой выпуск своего журнала «Друг юношества» (за 1813 год) Невзоров писал: «Более 30 лет имею счастие я наслаждаться отеческими вашими милостями... Вы мой Иосиф, воспитывавший меня нравственно и питавший физически». 44 Имея, по его собственным словам, «природную склонность» и даже страсть к благотворению, 45 Лопухин не всегда мог соразмерить свои возможности. «Он брал у одного и давал другому», — вспоминал о нем Ю. А. Нелединский-Мелецкий. 46 Одним из печальных последствий было осложнение давних дружеских отношений между Лопухиным и Тургеневым, которому первый не возвратил крупную сумму, взятую в долг. Нравственные требования, которые проповедовали участники новиковского кружка, были столь высоки, что им приходилось порой сталкиваться с неразрешимыми жизненными противоречиями.

Тем не менее самый опыт объединения этих людей, близких по своим литературно-философским интересам и моральным принципам, оказался необыкновенно плодотворен, стимулируя дальнейшую деятельность многих отечественных писателей XVIII—XIX веков и предлагая русскому обществу новый тип человеческих взаимоотношений. Невзоров характеризовал участников новиковского кружка, рассуждая о том, кто после смерти заслуживает почтения: «Почитаю тех людей заслужившими, которые, любя Бога всем сердцем, всею душею и всею мыслию своею, любовь сию оказывали не словами и знаками какими-нибудь бесплодными,

 $^{^{41}}$ См.: *Громыко М. М.* Г. М. Походяшин в «Дружеском ученом обществе» Н. И. Новикова. С. 278—287.

⁴² ГА РФ. Ф. 1049. Оп. 1. № 25, 29.

⁴³ Там жс. № 29. Л. 7а—7а об. В архивном деле письма не атрибутированы, но по содержанию их автором можно абсолютно уверенно считать И. В. Лопухина.

⁴⁴ Друг юношества и всяких лет. 1813. Янв. С. 3 (ненум.).

⁴⁵ Записки сенатора И. В. Лопухина. 1859. Лондон. М., 1990. С. 45 (Репринт).

⁴⁶ См.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 176.

но житием добрым, не подлежащим никакому оклеветанию, исполнением всех должностей общественных, помощию ближним во всех случаях $\langle ... \rangle$; в страданиях неправедных (выделено автором. — H. K.) будучи братолюбивы, страннолюбивы, милосерды...» 47

Известно, какое непосредственное влияние новиковский кружок оказал на Карамзина, Жуковского, Кайсарова. Преемственность поколений особенно явственна на примере семьи Тургеневых. Сыновья И. П. Тургенева с огромным уважением и любовью говорили об отце. А. И. Тургеневу принадлежат слова: «Падаю на колена перед бюстом батюшки: Се человек! И в каких положениях! При каких обстоятельствах!» 48

Новиковский кружок остался в памяти новых поколений примером дружеского единения и бескорыстного стремления содействовать благу сограждан. Высказывавшиеся его участниками философские истины опровергались, их трагические судьбы вызывали живой интерес и сочувствие: их нравственные принципы в той или иной форме входили в сознание обращавшихся к ним писателей следующих столетий. В этом кружке можно искать истоки одной из магистральных линий развития русской литературы, связанной с именем Л. Н. Толстого.

* * *

Письмо Н. Н. Трубецкого к А. М. Кутузову публикуется по рукописной копии, хранящейся в Рукописном отделе ИРЛИ (ф. 265, оп. 2, № 1392, л. 54—55). Копии со всех писем участников новиковского кружка снимались для тайного надзора за ними (см.: Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780—1792. Пг., 1915, с. IX—XIV). Публикуемое письмо является ответом на письмо Кутузову под № 18, датированное 28 октября (8 ноября) 1871 года (Барсков Я. Л. Указ. соч., с. 165—166).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письмо Н. Н. Трубецкого¹ к А. М. Кутузову²

от 20 ноября 1791 года

Любезный и неоцененный друг мой!

Письмо твое под № 18 получил, и оное до глубины моего сердца меня огорчило, видя нужду и, можно сказать, крайность, которую ты терпишь; верь, друг мой, что сие происходило не от нерадения нашего, а точно от необходимости, ибо мы нигде и никак денег не могли найти, как же скоро Лопухин³ оные нашел, то и послал он на прошедшей почте к тебе две тысячи,⁴ да на нынешней, я думаю, пошлет тысячу, почему ты теперь успокоен, а можешь увериться, что как скоро нам возможно, то мы нимало не мешкая, тотчас перешлем к тебе деньги, но полно об этом. Ты получаешь при сем вексели на пять тысяч семьсот пятьдесят рублей; оные принадлежат барону⁵ и тебе по следующим причинам. Компания наша приходила долгами своими до такого состояния, что мы накануне были сделаться банкрутами, но Бог помог нам, и Коловион6 с тем человеком, 7 который достал тебе третьего, помнится, году или прежде кредитив, расчевшись с нами с нашего добровольного согласия, взяли как долги, так и дела все на себя и наши положенные капиталы нам

 $^{^{47}}$ Невзоров М. И. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбургскую губернию в 1800 году. М., 1803. С. 45 —46.

⁴⁸ Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. С. 31.

возвратили, почему и пришлось твоего капитала с процентами тысяча пятьсот двадцать пять рублей, да баронового капитала с процентами четыре тысячи двести лвалнать пять рублей, что и составит 5750 руб., которые деньги взяв голанскими векселями, при сем к тебе прилагаю, дабы ты, взяв тебе принадлежащие деньги. принадлежащие барону доставил ему и изъяснил ему, какие это деньги.

Возблагодарим, мой друг, Бога, что он избавил всех нас от стыда и сущего разорения, ибо мы, не имев капитала достаточного для необходимого оборота по Компании, подвержены были и стыду и сущему разорению, а теперь, избавясь от оного, избавившему и купившему наши дела и имеющему большой капитал, не токмо не сделали разорения, но и доставили еще случай с большим прибытком для себя и с пользою для других употребить свой капитал. А наипаче сие утушило между многими из бывших наших членов дух ропота и от того происходящей нелюбви и подозрения, которые уже между нами зачали было являться, словом, мой друг, надобно было быть с нами последние годы, чтобы восчувствовать во всей цене милость, которую нам оказал Бог, подав нам случай дело нашей Компании так продать и окончить, как мы кончили, ибо сего описать я не в силах, да и не хочу, ибо я хочу сие предать вечному забвению, но скажу ко утешению нашему, что сей случай прекратил все неудовольствия и теперь царствует между всеми нами та любовь и согласие, которые были прежде и которые зачали было совсем исчезать. Бог да благословит нас и укрепит милосердием своим, а ты, возблагодарив Бога, соедини с нами свои молитвы и отпиши все мною писанное к барону.

Между тем желал бы я, чтобы ты предложил барону, ежели ему нет крайней нужды в оных деньгах, чтобы он отдал их тебе, а с тебя бы брал на оные проценты, которые мы к тебе переводить будем, а сие тебя надолго успокоит и избавит от таковой нужды, каковую ты нынешний год терпел. Сие есть мое предложение, но ежели барону в них нужда, то ты ему принадлежащее к нему доставь. Прости мой друг. Писать нечего.

Христос с тобою.

1 Трубецкой Николай Никитич (1744—1821), князь, сын Н. Ю. Трубецкого, друга А. Д. Кантемира, — один из главных сподвижников Н. И. Новикова, сводный брат М. М. Хераскова; один из основателей Дружеского ученого общества и Типографической компании; занимался литературной деятельностью.

 2 Кутузов Алексей Михайлович (1746 или 1747—1797), друг А. Н. Радищева, адресат его посвящения в «Путешествии из Петербурга в Москву»; один из самых деятельных участников журнала Новикова «Утренний свет», переводчик произведений К. М. Виланда, Ф. Г. Клопштока, Э. Юнга и др.; один из основателей Дружеского ученого общества и Типографической компании, в которую вложил все свои средства (3000 рублей): вместе с Новиковым и Трубецким управлял делами Компании. В начале 1787 года был послан по масонским делам в Берлин. После разгрома новиковского кружка, не получая средств, попал в долговую тюрьму.

3 Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) происходил из знатного рода; во время службы в Московской уголовной палате стремился облегчать участь обвиняемых; с начала 1780-х годов сблизился с Новиковым; автор многих масонских сочинений, писатель, переводчик; один из основателей Дружеского ученого общества и Типографической компании; с 1797 года — сенатор; в 1808—1809 годы работал над «Записками», впоследствии опубликованными А. И. Герценом.

4 В письме от 17 ноября 1791 года Лопухин сообщал Кутузову: «Посылаю тебе, любезнейший друг, при сем два векселя, каждый на тысячу рублей» (Барсков Я. Л. Переписка московских масонов. С. 167).

 5 Речь идет о бароне Генрихе Леопольде фон Шредере (1757—1815), который с 1783 года находился на русской службе. С 1784 года он стал членом Дружеского ученого общества и Типографической компании. В 1787 году вместе с Кутузовым уехал в Берлин.

6 Коловион — масонское имя Новикова.

7 Имеется в виду Григорий Максимович Походяшин (ок. 1760—1820), сын богатого сибирского купца, друг Новикова. Вступив в Дружеское ученое общество, Походяшин жертвовал на благотворительность огромные суммы, не желая, чтобы его имя стало известным. Скончался в бедности.

© В. А. Кошелев

«РУКА ВСЕВЫШНЕГО» И «РОССИЙСКИЙ БОГ»

П. А. Вяземский записал в «Старой записной книжке» следующий анекдот: «Один перчаточник развесил перед лавкой своей огромную красную ручищу. Он просил у городского начальства написать на вывеске известный стих из трагедии "Димитрий Донской": Рука Всевышнего Отечество спасла. Неизвестно, разрешена ли была просьба его». Этот анекдот может быть понят только в исторической перспективе — поэтому обратимся к исходному источнику знаменитой фразы — трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской».

Премьера «Димитрия Донского» прошла 14 января 1807 года на Петербургском театре с небывалым триумфом и патриотическим подъемом. Это была политическая трагедия, представленная, вспоминал современник, «в самую ту минуту, когда загорелась у нас предпоследняя война с Наполеоном. Ничего не могло быть anponee (à propos (фр.) — кстати. — В. К.), как говаривал один старинный забавник. Аристократия наполняла все ложи первого яруса с видом живейшего участия; при последнем слове последнего стиха: велик Российский Бог — рыдания раздались в партере, восторг был неописанный».²

Трагедия эта была поставлена и напечатана в короткий «счастливый» период между царским манифестом от 16 ноября 1806 года, который призывал россиян, «обыкших любить славу своего Отечества», идти на баталию с богопротивной Францией, и первой победой русских войск под Прейсиш-Эйлау (28 января/ 8 февраля 1807 года), когда русская конница едва не захватила в плен французского императора. А до печального поражения (2/14 июня, битва при Фридланде) и до позорного Тильзитского мира (25 июня/7 июля) было еще несколько месяцев. По России подымалась волна патриотизма, зазвучали призывы к «русскости», проклятия безбожным французам и хвала старым добрым народным нравам.

В этой обстановке театральное представление, посвященное священному сюжету русской истории — Куликовской битве, — воспринималось с особенным чувством. «Я сидел в креслах и не могу отдать себе отчета в том, что со мною происходило, — констатировал другой современник. — Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу — словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика...» «Безумствование» публики обеспечивалось соответствующей обстановкой, явленной уже при подъеме занавеса: русские князья собрались на решающую битву с врагом и их предводитель в полном парадном вооружении (в исполнении великого актера А. С. Яковлева) обратился к ним громозвучно-мерным александрийским стихом:

Российские князья, бояре, воеводы, Прешедшие чрез Дон отыскивать свободы И свергнуть наконец насильствия ярем!..4

Содержание трагедии было, мягко говоря, антиисторическим. Как отмечает современный биограф Озерова, это его сочинение было «крайне экстравагантным и даже скандальным». Димитрий Донской, «прославленный герой, великий князь Московский, вел себя в полном противоречии с историей и, главное, священными законами русской трагедии: правитель, воин, национальный герой вдруг отказы-

¹ Вяземский II. А. Старая записная книжка. 1813—1877. М., 2003. С. 246.

² Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 255.

³ Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 324.

⁴ Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960. С. 231.

вался от своей исторической миссии, чтобы доказать, что единственное достойное человека побуждение — зов чести». При этом в конфликте долга и чувства верх одерживало чувство.

Димитрий, герой озеровской трагедии, любит княжну Нижегородскую Ксению; та, естественно, пылает к нему самыми нежными чувствами. Но князь Тверской, один из соратников князя Московского, уповая на свои «природные права», грозит увести войска из русского стана, если княжну Ксению не приневолят выйти за него замуж. Тогда Димитрий, будучи не в силах изменить участь бедной княжны (которая ради спасения Отечества соглашается на брак с нелюбимым ею князем) и почитающий выше всего понятие о чести, отказывается предводительствовать войсками. Он является на битву в чужих доспехах, в шлеме с опущенным забралом — и неузнанный вступает в единоборство с ордынским богатырем Челубеем... В финале, однако, все счастливо разрешается: враги разгромлены, Россия спасена, герой остается жив, любовь и честь торжествуют.

Тот же Вяземский в статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» (1817) указал на эту изначальную антиисторичность замысла драматурга, который, «увлеченный романтическим воображением, нанес преступную руку на самый исторический характер». И далее: «...едва ли во всей отечественной истории найдется образец списка, представленного нам Озеровым. Его Димитрий и в самых благородных движениях души своей, и в самом подвиге славы напоминает нам не великого князя Московского, но более полуденного рыцаря средних веков». Подобные представления о чести, мало согласуясь с российской исторической ментальностью, весьма соответствовали «настроениям» государства и государя Александра I, любившего рядиться в «рыцарственную» тогу, которая плохо совмещалась и с действительной войной, и с действительным патриотизмом.

Александру I, присутствовавшему на первом представлении трагедии, действо чрезвычайно понравилось. 21 января государь вторично побывал на спектакле и распорядился, чтобы актеры дали еще спектакль — для всех придворных в Эрмитажном театре. После успеха этого спектакля он подозвал автора, сказал ему несколько милостивых слов и пожаловал табакерку. Это означало уже славу писателя.

* * *

Посмертную популярность нашумевшей трагедии обеспечили два ее стиха, которым суждено было стать своеобразными «символами» российского мироустройства.

Прежде всего, конечно, ее заключительный стих, венчавший деяния героя:

Но первый сердца долг к тебе, царю царей! Все царства держатся десницею твоей, — Прославь, и утверди, и возвеличь Россию! Как прах земной, сотри врагов кичливу выю, Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог: «Языки ведайте: велик Российский Бог!» 7

Последний стих представляет собою реплику, которая принадлежит побежденному Мамаю, но которой нет в исторических источниках (и, конечно же, не могло быть в исторической действительности). Мамай не произносил ничего подобного и в том источнике, который использовал Озеров, — в «Истории Российского государства, сочиненной Иваном Стриттером» (1801). Но после триумфа озеров-

⁵ Гордин М. Владислав Озеров. Л., 1991. С. 144.

⁶ Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 29.

⁷ Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. С. 294.

ской трагедии нечто подобное не могло не появиться в пятом томе «Истории...» Карамзина (тоже без всякого указания источника): «...Мамай, с высокого кургана смотря на кровопролитие, увидел общее бегство своих; терзаемый гневом, тоскою, воскликнул: "велик Бог Христианский!" — и бежал вослед за другими». В Карамзин все-таки был историком и не решился вложить в уста монгольского воина XIV столетия хвалу неизвестно откуда явленному «Российскому Богу».

Но патриотическая выдумка в данном случае оказалась важнее, чем верность фактам. Вслед за Карамзиным эту реплику в уста Мамаю вложил К. Ф. Рылеев в думе «Димитрий Донской» (1822). Рылеев вообще частенько доводил подобные «символические» знаки русской истории до абсурда: например, язычник Олег прибивал «к царьградским воротам» не просто щит, а «щит с гербом России». И тут нечто похожее:

Враги смешались — от кургана Промчалось: «Силен Русский Бог!» — И побежала рать тирана, И сокрушен гордыни рог!9

Фраза, которую Озеров заставил произносить бедного Мамая, была, если вдуматься, многозначительна. С историософской точки зрения она вполне соответствовала моменту Куликовской битвы — «символическому толчку» (А. М. Панченко), моменту «осознания русскими себя как целостности» (Л. Н. Гумилев). При этом она не исключала «расширительного» истолкования и всегда могла быть применена к сиюминутной политической действительности — как в выпаде патриота Н. М. Языкова против нынешних «интеллектуальных Мамаев» — Грановского, Герцена и Чаадаева (стихотворение «К ненашим», 1844):

Умолкнет ваша злость пустая, Замрет неверный ваш язык: Крепка, надежна Русь святая, И Русский Бог еще велик!¹¹

То обстоятельство, что именно этот стих стал «знаковым» в патриотической трагедии, неудивительно. Помимо всего прочего, он находился в самом ударном ее месте — в финале. Да еще и был произнесен гениальным актером, ибо, как заметил тот же С. П. Жихарев, «играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику; зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними словами». 12

Однако еще большую в исторической перспективе «суматоху» произвел другой, не последний стих пьесы. Стих этот находился в середине второго явления пятого акта, и произносил его не Димитрий (и, соответственно, не Яковлев), а вполне «проходной» персонаж. «Кровава сеча» свершилась; княжна Ксения, возлюбленная Димитрия, пожертвовавшая своей любовью во имя Родины, бежит с поля битвы в «долину между гор, покрытую лесом» и с ужасом ожидает известия о «конечной гибели». Появляется некий «боярин московский» и приносит радостную весть:

Спокойся, о княжна! Победа совершенна; Разбитый хан бежит, Россия свобожденна.

⁸ Карамзин Н. М. История государства Российского. 5-е изд. СПб., 1842. Т. 5. Кн. 2. Стлб. 40.

⁹ Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987. С. 111.

¹⁰ Гумилев Л., Панченко А. Чтобы свеча не погасла: Диалог. Л., 1990. С. 12, 22.

¹¹ *Языков Н. М.* Стихотворения и поэмы. Л., 1988. C. 351.

¹² Жихарев С. П. Указ. соч. С. 326.

Ксения между тем видела обратное: русские рати уже дрогнули. И спрашивает боярина:

Но расскажи ты мне, какая перемена К спасенью россиян последовать могла?

Тот подробно обрисовывает ход Куликовской битвы, начиная свой рассказ интересующим нас стихом:

Рука Всевышнего Отечество спасла. Кто сильный устоит противу сей десницы? Она с торжественной срывает колесницы Кичливого душой среди самих побед, И гордый, как скала кремнистая, падет!

Битва эта, согласно рассказу боярина, поначалу клонилась к победе противника:

> Незапно сонм бойцов татарских показался; Пред исполинами войск наших дух смешался.

Особенно донимали войско два татарских «богатыря», Темир и Челубей. Очень многие погибли, не одолев их (например, «все шесть сынов» князя Белозерского). Наконец, «чернец известный Пересвет» (который «в обители скрывал боярства сан высокой») ценой своей гибели сумел одолеть Темира. Но татары, которых вдохновлял «огромный Челубей», торжествовали победу, пока не явился «помощью небесной» неведомый «воитель», который смог богатыря победить:

Но воин отступил, меч в воздух ударяет, И тягостью своей ордынец упадает...

Стоило воину с «помощью небесной» одолеть богатыря, как в битве наступил перелом:

Вдруг брат Димитрия в татар ударил с тыла. Тогда ордынцев рать побегом степь покрыла; Мамай и витязи, оружье побросав, От нашея руки бегут, спешат стремглав, — Им степь широкая как тесная дорога; И Русский в поле стал, хваля и славя Бога. 13

Как нетрудно догадаться, в роли неведомого «воителя», явленного «помощью небесной», выступил Димитрий, «великий князь Московский», которого остальные персонажи частенько именуют «царем». Презрев свои прямые обязанности и оставив рати без руководителя, он поставил на свое место князя Бренского (отдав ему свой шлем), а сам, в роли простого «витязя», сразил чужого «богатыря», переломив в нужную сторону ход всего сражения. «Рука Божия» оказалась счастливо совмещена с героической рукой воина-правителя.

* * *

После «Димитрия Донского» образ Руки Всевышнего стал осознаваться по-особому.

В библейской традиции это устойчивый символ благотворного отеческого руководства: «рука Божия для всех прибегающих к Нему» (Езд. 8, 22); «руки Гос-

¹³ Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. С. 285—287.

подь не сократил на то, чтобы спасать» (Ис. 59, 1); «разве рука Господня коротка?» (Чис. 11, 23); «дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна» (1 Нав. 4, 26); «рука Господня была с ним» (Лк. 1, 66); «и ныне вот рука Господня на тебе» (Дея. 13, 11) и т. д. Этот образ стал символичен и в бытовой традиции: из Библии же в бытовой обиход перешло, например, выражение Сердце царево в руце Божией и т. п. Символичен он и в традиции русской государственности. Так, на высочайше утвержденном в 1780 году гербе Вологодской губернии изображалась «в красном поле выходящая из облака рука, держащая золотую державу с серебряным мечом». 14

Но в приведенном выше записанном Вяземским анекдоте устойчивый сакральный образ, воспринятый самодержавной государственностью, будучи преломлен во вполне «светской» ситуации, был неожиданно воспринят со своей курьезной стороны. Вяземский отметил в качестве курьеза именно то, что через полтораста лет стало превращаться в профессию: рекламу и «имиджмейкерство». Пользуясь сегодняшней терминологией, перчаточник собирался создать слоган — краткую и выразительную, привлекательную и неожиданную характеристику собственного товара. Для изобретения этого слогана был применен простейший прием — переосмысление ходячего и распространенного политического символа (нечто вроде относительно недавней моды на советскую символику, украшавшую футболки и трусы отнюдь не коммунистической молодежи). Написанное на рекламной перчатке выражение Рука Всевышнего Отечество спасла воспринималось, в сущности, так же, как близкий к нам афоризм Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи на одежде какого-нибудь байкера.

Таким же слоганом стало заглавие исторической драмы Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», поставленной в Александринском театре в Петербурге 15 января 1834 года. Показательно, что известный летописец русского театра А. И. Вольф странным образом перепутал дату этой постановки, указав, что она состоялась «21 февраля». Темприя дело в том, что вся историческая драма особенным образом основывалась на этой дате — дате избрания на престол Михаила Феодоровича, первого царя из династии Романовых. В финале драмы князь Пожарский призывал «Русский род», «Святой Руси бесчисленных детей»:

Из века в век, пока потухнет солнце, Пока людей не истребится память, Святите день избранья Михаила, День двадцать первый февраля! 16

Вокруг этой даты было организовано все сценическое действие. Пьеса представляла собою ряд разрозненных сцен, показывающих водворение «порядка» на Руси в конце Смутного времени: организацию ополчения в Нижнем Новгороде, сплочение народа вокруг «гражданина Минина и князя Пожарского», изгнание поляков, разгром мятежных отрядов и, наконец, восшествие на престол долгожданной династии. Тот же театральный летописец признает: «Драмы в настоящем смысле этого слова, то есть борьбы страстей, в пьесе Кукольника, конечно, нет, но вместо страстей тут действуют патриотические чувства». 17

Соответственно идее пьесы, сконструированной из воспринятого от Озерова заглавия, вся цепь событий, изображенных в ней, явилась выражением некоей фатальной неизбежности, обеспеченной помощью и величием «руки Божией». Бог воз-

¹⁴ Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. СПб., 1899. С. 33.

¹⁵ Вольф А. И. Хроника петербургских театров. Ч. 1. СПб., 1877. С. 33.

 $^{^{16}\,}K\langle y$ кольник \rangle Н. Рука Всевышнего Отечество спасла. Драма в пяти актах, в стихах. СПб., 1834. С. 144.

¹⁷ Вольф А. И. Указ. соч. С. 33.

любил Россию, спас ее от внутренней крамолы и внешнего врага, даровал ей нового, истинного царя. А в лице этого царя — единство, мир и народное благоденствие. Словом, «рука Всевышнего» в определенный исторический момент вмешалась в движение истории и предопределила судьбу Отечества:

Воскресла Русь! Гремят колокола! Святители несут иконы; люди Густой толпой теснятся с крестным ходом Пред Костромским монастырем! Святитель Приемлет крест и именем несчастных Зовет Царя!..

Это уже в финале, а в начале в поэтической форме были преображены исторические события. Вот «гражданин Минин» на берегу Волги в одиночестве оплакивает кончину Ляпунова (прежнего руководителя ополчения) и обдумывает, как преодолеть ситуацию смуты, «спасти Святую Русь». Его вдохновляет «глас небесный от Востока» — и он решается произнести свою речь к нижегородцам. В этой речи особенно показательно постоянное упование на помощь «неземных», надличностных сил:

Восстаньте все! Месть воскрешает мертвых! Да грозный глас раздастся на Восток И на закате беспредельной Руси! Мы не одни; не только мужи, жены — Земля восстанет с мертвыми полями; Восстанут реки с мутными волнами; Отмщением воспламенится лес И молнией займется свод небес!

Князь Пожарский, напротив, опасается становиться воеводой народного ополчения именно потому, что боится чем-нибудь нарушить промысел этой «руки Всевышнего»:

Я не могу... Мне Тот отъемлет силы, Чей суд сильнее всех людских желаний.

Жесткая провиденциальная концепция превращала сценических персонажей в говорящих марионеток. Положительные герои в этом действе лишались какой бы то ни было самостоятельности, особенных свойств и характеров. Более того, «гражданин Минин и князь Пожарский» не имели здесь доблестей и заслуг перед тем же Отечеством, ибо, по смыслу драмы, каждый из них был только послушным и верным орудием этой самой «руки Всевышнего». Минин спасает Пожарского от интриг казацких атаманов Заруцкого и Заварзина призывом: «Я Божий суд несу!» А когда открывает измену Заруцкого, возжаждавшего незаконно сесть на престол, восклицает:

О Русский Бог, смири его гордыню!

После чего Заруцкого, в полном противоречии с исторической действительностью, его же казаки «поражают копьями».

Словом, Кукольник этим действом, явленным в самый «пик» царствования Николая I, укреплял миф о беспредельном могуществе российского самодержавия и одновременно создавал миф о его общенародном представительном характере. Можно даже сказать, что его драма стала как бы литературно закрепленной доказательной данностью этого мифа. В последнем акте, который проходит во «внутренности Грановитой палаты», «Русский Бог» предстает в коллективном облике Собора воевод, бояр, дворян и выборных людей, который должен выбрать кандида-

туру нового царя. Но кандидатура у всех одна, и у всех на устах одно и то же решение, продиктованное свыше. После вступительной речи Пожарского все пишут на лоскутках имя кандидата. Читающий записки Минин поражен: на всех — одно имя Михаила Романова. Тут же в палату врывается народ московский с требованием принять челобитную, в которой выражает свою волю: он «единогласным сонмом» хочет на трон того же Михаила. (Совершенно так же, «единогласно» и «всенародно», в памятные времена избирали на высшую должность всех генеральных секретарей.) Пожарскому остается только воскликнуть:

Поздравь Москву! Собор единогласно, Единодушно избрал Михаила! Нет, не Собор, Господь избрал, и Слава Ему отныне и до века!

Эта «ликующая» установка доводилась до современности. Вот еще высказывания из финального монолога князя Пожарского:

Я в будущность, как в грамоту, смотрю, И нет конца Великому Колену!
О братия! Смотрите: это Он
Величием безмерным осиянный!
На море стал могучею пятой, —
Из-под пяты ряды ширококрылых
Огромныж кораблей несутся в море!
Земля дрожит от тяжести Его,
А небеса Его главу вмещают!
Неизмерим сей Русский полубог! 18

Николай Павлович, любитель театра, присутствовал на одном из первых представлений и удостоил 24-летнего автора редкой для литератора чести быть представленным ему в Зимнем дворце. В Кукольник получил высочайшее одобрение; ему и актеру В. А. Каратыгину, исполнявшему роль князя Пожарского, было пожаловано по бриллиантовому перстню. Кроме того, император дал некоторые указания по переделке пьесы, после чего она, в обновленной редакции, была канонизирована в качестве образцового патриотического сочинения.

Последующие спектакли «Руки Всевышнего...» вылились в некие ритуальные манифестации. Театр был наполнен придворными, военными, чиновниками всех рангов. Восторженное приятие пьесы стало как бы показателем благонадежности и патриотизма. «Актеры играли превосходно, аплодисментам не было конца, — вспоминает М. Ф. Каменская. — Много хлопал и государь. Автор выходил в директорскую ложу несколько раз, чтобы раскланиваться публике, и всякий раз его встречали оглушительными криками "браво" и неистовыми аплодисментами. В райке простой народ, которому "Рука Всевышнего" пришлась по душе, так орал и бесновался, что всякую минуту можно было ожидать, что оттуда кто-нибудь вывалится». Подобного рода «разрешенные» эксцессы не в первый и не в последний раз повторялись на официозных мероприятиях: они уже давно стали российской традицией.

Кажется, что эту пьесу умный и талантливый Кукольник создал *специально* для обретения славы и популярности. Для того чтобы это понять, надобно присмотреться к весьма своеобразной личности этого замечательного поэта, драматурга, беллетриста.

¹⁸ К (укольник) Н. Рука Всевышнего Отечество спасла. С. 9, 19, 34, 53, 76, 143.

¹⁹ См.: «Рука Всевышнего Отечество спасла». Драма Н. В. Кукольника. Из воспоминаний Теобальда [В. А. Роткирха] // Русский архив. 1889. Кн. III. № 12. С. 509—511.

²⁰ Каменская М. Воспоминания. М., 1991. С. 213.

Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — сын неимущего дворянина из Закарпатской Украины, наполовину словак, наполовину поляк. Соученик Гоголя по Нежинской гимназии высших наук, он еще на школьной скамье обратил на себя внимание блестящими способностями, невероятной начитанностью, легкостью усвоения иностранных языков и умением преподнести себя. Служа в Виленской гимназии, он в первый же год выпустил «Практический курс русского языка» (1830), по которому потом долго учились. Там же, кажется, он начал создавать свои первые драмы.

В 1831 году провинциал явился в Петербург и устроился мелким чиновником в канцелярию Министерства финансов. Все его силы оказались направлены на завоевание в столице успеха и славы. Первое явленное миру произведение — «интермедия-фантазия» «Тартини» (1832) — прошло незамеченным; второе — «драматическая фантазия» «Торквато Тассо» (1833) — осенью 1833 года было поставлено на сцене и вызвало у многих сочувственный отклик, доходивший до «неистового восторга». В нем автор представил два показательных типа: тип художника, «чистого» служителя искусства, умирающего непризнанным и нищим, — и тип дельца от искусства, профанирующего служение музам и отбирающего у истинного художника его завоевания. Автор как будто сам претендовал на позу «непризнанного гения», которая была частью превознесена, частью осмеяна в «Библиотеке для чтения» О. И. Сенковским, скандально сравнившим «великого Кукольника» с «великим Байроном». 21

Принесши некоторую литературную известность, эта пьеса вовсе не принесла материального достатка: в воспоминаниях М. Ф. Каменской приводится эпизод, когда Кукольник, вызванный на прием к императору, обнаружил, что у него отсутствует мундир, и должен был с помощью Ф. П. Толстого искать чужой, который оказался очень велик для поэта. 22 «Чистое» искусство не могло дать средств для безбедной жизни, и поэт решился один раз выступить в роли «дельца»: создать такое сочинение, которое разом помогло бы решить все его проблемы. Следующее свое произведение — «Рука Всевышнего Отечество спасла» — он выпустил с многозначительным подзаголовком: «Писана в октябре 1832 года». Подзаголовок отодвигал сочинение года на полтора назад (создано еще до «Торквато Тассо») и, указывая на серьезность проработки темы, одновременно намекал на возможность снисхождения к молодому литератору.

После успеха «Руки Всевышнего...» литературные гонорары Кукольника выросли до таких размеров, что он смог оставить казенную службу, целиком отдавши себя литературе. Сочинителем он оказался необыкновенно продуктивным, продолжая создавать «драматические фантазии» и исторические драмы, лирические стихи и исторические повести, романы из итальянского и русского быта. Он стал, между прочим, и талантливым издателем, редактором «Художественной газеты» и «Иллюстрации».

«Рука Всевышнего...» должна была выполнить в этой карьере роль своеобразного трамплина, толчка, нужно было только чуть-чуть подчиниться представлениям официоза и принять в качестве обязательных некоторые приемы, которые к середине 1830-х годов выглядели уже несколько смешно. Это, между прочим, заметил Н. А. Полевой в своей наивной рецензии на «Руку Всевышнего...» — рецензии, из-за которой был закрыт издаваемый им журнал «Московский телеграф». «Никак не ожидали мы, — замечает Полевой, — чтобы поэт, написавший в 1830 году "Тасса", в 1832 году позволил себе написать — но этого мало: в 1834 году издать такую драму (...)! Как можно столь мало щадить себя, столь мало ду-

²¹ Сенковский О. И. [Барон Брамбеус]. Русские исторические драмы // Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. Отд. 5. См. также: Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1859. Т.VIII. С. 3—25. ²² Каменская М. Указ. соч. С. 211—213.

мать о собственном своем достоинстве! От великого до смешного один шаг. Это сказал человек, весьма опытный в славе». 23

Те приемы «смешной» поэтики исторической драматургии, которые сознательно воспринял Кукольник, сводились к открытому использованию преимущественно «высокой», «торжественной» лексики, с помощью которой изъясняются «положительные» персонажи, — и к открытому, явному, беспримесному антиисторизму, на котором держится основное действие. «Отступления от истории в дра- $_{
m Me}$ г-на К \langle укольникаangle безмерны и несообразны ни с чем. — пишет Полевой. — он позволяет себе представить Заруцкого и Марину под Москвою в сношениях с Пожарским; Трубецкого делает горячим, ревностным сыном Отечества, жертвующим ему своею гордостью; сближает в одно время смерть патриарха Ермогена и прибытие Пожарского под Москву; Марину сводит с ума и для эффекта сцены заставляет ее бродить по русскому стану в виде какой-то леди Макбет! 24 и т. д. Естественно. Кукольник осознавал эту антиисторичность, но он понимал также и то, что именно «антиисторичность» необходима власти. Власти нужно, чтобы было явлено «елиногласное» избрание Михаила Романова (хотя на самом деле все обстояло далеко не так, и даже князь Пожарский поддерживал другого кандидата на престол). Но зачем следовать исторической правде, когда люди, от которых зависит успех сочинителя, хотят «поправить» прошлое? Почему бы не сделать им приятное: вель для этого так немного нужно!

Между тем рецензия Полевого, ставшая поводом для закрытия популярнейшего российского журнала, ничего особенно «крамольного» не содержала. Напротив, критик не подвергал сомнению основную идею драмы Кукольника, сравнивая Козьму Минина с Жанной д'Арк: «Кому пасть: России? Польше? "Польше!" — изрек Всемогущий, и — дух Божий вдохновляет мещанина Минина, как некогда вдохновил крестьянку Иоанну д'Арк». Очень уважительно относится Полевой к предшествующим патриотическим сочинениям на ту же тему (драме М. М. Хераскова «Освобожденная Москва», трагедии М. В. Крюковского «Пожарский», пьесе С. Н. Глинки «Минин»), рассматривая их как «образцы» и упрекая молодого сочинителя в том, что тот «не дотянул» до «образцов». Основной же упрек был и вовсе «литературный»: критику не понравилась излишняя «романтическая свобода» в изображении «великого зрелища сего подвига». 25

Однако именно эта рецензия оказалась в глазах властей предержащих абсолютно недопустимой, и журнал «Московский телеграф» не спасло ни покровительство московского генерал-губернатора Д. В. Голицына, ни симпатии к Полевому графа А. Х. Бенкендорфа и многих чиновников III Отделения. В последствии, как известно, Николай Павлович «приблизил» Полевого — тот сам, в свою очередь, сделался автором подобной же «патриотической» пьесы «Дедушка русского флота», — и государь даже высказывал сожаление об излишней поспешности при запрещении его журнала. 27

Но в той ситуации не произвести подобной акции правительству было попросту невозможно. Появление даже «осторожной» критики официально признанного и высочайше оцененного патриотического сочинения, тем более сочинения, связанного с насущными проблемами внутренней политики и идеологии, было не-

 $^{^{23}}$ Полевой Н. «Рука Всевышнего Отечество спасла» // Полевой Н., Полевой Кс. Литературная критика: статьи и рецензии. 1825-1842. М., 1990. С. 266-267.

²⁴ Там же. С. 269.

²⁵ Там же. С. 266-271.

²⁶ См. об этом: *Сухомлинов М. И.* Н. А. Полевой и его журнал «Московский Телеграф» // Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 2. С. 365—431; *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909. С. 86—97.

 $^{^{27}}$ См.: Выскочков Л. Николай І. М., 2003. С. 432—434. (Серия «ЖЗЛ»).

позволительно, ибо критика эта могла посеять в умах публики сомнение не только в достоинствах самой драмы, но и в истинности событий, отображенных в ней. Сам факт появления подобной рецензии диагностировался современниками как сумасшествие: ее опубликование оправдывали только тем, что редактор находился в отъезде и не успел убрать ее из журнала...

Самой яркой из находок Кукольника при создании этой драмы стало ее заглавие. Оно разрушало сложившуюся традицию озаглавливания исторических пьес именами главных действующих лиц. Кукольник в 1830—1840-е годы создал множество драматических произведений, но ни до, ни после «Руки Всевышнего...» он не осмелился назвать ни одно из них подобным же образом. Он написал ряд пьес на сюжеты из русской истории: «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», «Генерал-поручик Иоганн Рейнгольд Паткуль», «Иван Рябов, рыбак архангелогородский», «Князь Даниил Дмитриевич Холмский», «Боярин Федор Васильевич Басенок», «Ермил Иванович Костров» и др. Его перу принадлежит множество «исторических фантазий» на темы из итальянской истории: «Джакобо Санназар», «Джулио Мости», «Мейстер Минд», «Доменикино», «Импровизатор» и др. Но ни разу более в заглавии его произведения не появилась цитата.

В данном же случае цитата приобретала особенную семантику: она сжато выражала официально признанную идеологию, которая легла в основу правительственной политики. Кроме того, она, в сущности, несла в себе идею богоизбранности русского государства («Отечества»). Апеллируя к Библии, эта цитата отсылала и к знаменитой исторической трагедии Озерова, и к событиям русской истории. Образованный зритель помнил, что у Озерова она применена к другому событию, случившемуся почти на 250 лет раньше, и мог сделать вывод о том, что «Рука Всевышнего» помогает России во всякие времена. Это, в свою очередь, давало возможность выхода на насущную современность — и в тексте драмы, и в ее подтексте. В конечном счете заглавие исчерпывало все идейное содержание драмы — и бриллиантовый перстень Кукольнику следовало вручить уже за одно это заглавие!

Исключительно на *заглавие* была ориентирована и остроумная эпиграмма, приобретшая широчайшую известность:

Рука Всевышнего три чуда совершила: Отечество спасла, Поэту ход дала И Полевого удушила.²⁸

Автору эпиграммы вполне безразлично содержание пьесы: комизм эпиграммы основывается на перечислении трех «разнообъемных» «чудес», к которым оказалась прикосновенна «Рука Всевышнего». Если первое из трех «чудес» хоть как-то соответствует статусу «свершителя», то остальные (протекция поэту и наказание его критика) оказываются как-то уж чересчур «мелкими». Заглавие драмы в данном случае приобретало даже оттенок кощунственности.

Молва приписала эту эпиграмму Пушкину. 29 И хотя Пушкин не имел к ней отношения, это далеко не случайно. Вот запись Пушкина из дневника, относящаяся к 1834 году: $(2\ anpena)$. На днях (в прошлый четверг) обедал у кн. Ник. Труб (ецкого) с Вязем (ским), Нор (овым) и с Кук (ольником), которого видел в первый раз. Он, кажется, очень порядочный человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его Тасса и не видел его Pyku etc. Он хороший музыкант. Вяз (емский) сказал об его игре на фортепьяно: Il bredouille en musique comme en vers. 30 Кук (ольник) пишет Ляпунова. Хомяков тоже. — Ни тот, ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта».

²⁸ Русская эпиграмма (XVIII—начало XX века). Л., 1988. С. 369.

²⁹ См.: Ефремов П.А. Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях. СПб., 1903. С. 15.

 $^{^{30}}$ Он лепечет в музыке, как в стихах (ϕp .).

Впечатление мыслящих людей от этой исторической драмы передает письмо Н. В. Станкевича к Я. М. Неверову от 7 марта 1834 года: «Руку Всевышнего я прочел. Без сомнения, автор мыслит, как следует русскому, — чувства похвальные! На каждой строке видна преданность престолу и отечеству, но недостает поэзии: это — проза, переложенная в дурные стихи, нет связи, нет идеи, словом: если бы не похвальные чувствования, то это была бы естественная чушь в нашей литературе». Пушкин, как явствует из приведенной выше записи, и первой пьесы молодого автора «не дочел», и «Руки Всевышнего...» «не видел».

После успеха «Руки Всевышнего...» Кукольник в апреле 1834 года представил в цензуру новую патриотическую пьесу «Ляпунов» (впоследствии переименованную в «Князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского»). Даже цензуровавший пьесу чрезвычайно осторожный А. В. Никитенко называет ее в дневнике «рабским писанием», исполненным «поддельного патриотизма», — и в том же дневнике многократно отмечает замечательные человеческие качества Кукольника: порядочность, щедрость, легкость карактера... Собственно, об этом же и дневниковая запись Пушкина, и его позднейшее замечание о Кукольнике, переданное тем же Никитенко: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». У и его же устное суждение, что в стихах Кукольника «жар не поэзии, а лихорадки». Кукольник для Пушкина был просто неинтересен.

Исключительно самолюбивый Кукольник, облюбовавший для себя маску неоцененного гения, болезненно переживал пушкинское равнодушие и объяснял его творческой завистью. В день смерти поэта он записал в дневнике: «Пушкин умер... Мне бы следовало радоваться, — он был злейший мой враг; сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес — и за что?..»³⁴ И чего только Кукольник не делал, чтобы приобрести «славу», подобную пушкинской! Писал бесконечные «исторические фантазии», в которых антитеза искусства и жизни реализовывалась в ее «предельном» варианте. Художник, служитель «чистого искусства», гонимый и презираемый в жизни (так похожий на автора!), получает признание и славу лишь после смерти (или незадолго до смерти). Ему противостоит бессмысленная толпа. А рядом — профанирующий искусство делец, отнимающий у истинного художника славу, средства к жизни, возлюбленную... Все это — вслед за «Торквато Tacco» — было представлено в десятке вариантов — и все очень скоро стало надоедать. Даже Сенковский, продолжая помещать комплиментарные отзывы, не удерживался от иронии. И еще была память о «Руке Всевышнего...», о том, как служитель «чистого искусства» и расчетливый делец объединились в одном лице.

После смерти Пушкина Кукольник создал уникальный художественный «кружок», в котором по средам собирались литераторы, музыканты, художники, актеры. На квартире Кукольника обсуждали проблемы искусства К. П. Брюллов и М. И. Глинка, И. К. Айвазовский и Н. А. Степанов, Н. И. Греч и В. А. Соллогуб. Этот кружок символизировал в глазах публики «союз трех искусств» и, казалось бы, невероятно поднял славу хозяина.

Слава эта какое-то время удерживалась необычайной плодовитостью писателя как в стихах, так и в прозе. В первой половине 1840-х годов Кукольник, по наблюдению В. Г. Белинского, «один пишет в год больше, чем все литераторы наши, вместе взятые». У поставля и плохо писал! У того же придирчивого Белинского его рассказы, повести и семь пухлых романов, созданных за период с 1840 по 1846 год, вызывают чаще всего положительные отзывы. Кукольник, между прочим, создает необычный тип исторического романа, доселе не освоенный русской

³¹ Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914. С. 279.

³² Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 141, 144, 178.

³³ Передано в воспоминаниях Е. А. Драшусовой (Русский вестник. 1881. № 9. С. 152).

 ³⁴ Дневник Н. В. Кукольника // Баян. 1888. № 11. С. 98.
 ³⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 666.

литературой («Эвелина де Вальероль», «Дурочка Луиза», «Историческая красавица» и др.). Но и это открытие остается невостребованным.

Тогда он потихоньку «сворачивает» свои литературные занятия и к 1847 году уезжает «по нездоровью» из Петербурга в теплые края.

Кукольник скончался в Таганроге, не дожив до 60 лет, но надолго пережив свою литературную славу.

* * *

Как будто национальная память стремилась как можно скорее забыть про Кукольника. Во всяком случае, «Рука Всевышнего...», написанная литературным «дельцом», а не провозвестником «чистого» искусства, так и осталась его «казовым» произведением — тем, которое прежде всего приходит в голову, когда произносят это имя.

В данном случае, однако, особенный интерес приобретает не судьба конкретного писателя, а судьба того патриотического мифа, который так или иначе оказался с ним связан. Несмотря на «высочайшее одобрение» и поддержку, что называется, «на всех уровнях», миф о «Руке Всевышнего» так и не отложился в национальной памяти в его изначальном виде. Появившаяся следом знаменитая эпиграмма тут же этот миф, можно сказать, уничтожила, раскрыв его оборотную сторону.

Подобная «двусторонность» и «двузначность» — характернейшая черта бытования любого русского национально-патриотического символа. Рука Всевышнего, не переставая осознаваться в качестве некоей стабилизирующей данности отечественной государственности, все-таки во многих проявлениях ощущается этакой «мелкой пакостницей», готовой при случае «подкузьмить» какого-нибудь ретивого деятеля. А Русский Бог — это не только показатель величия и мощи русской духовности, но еще и «Бог ухабов, Бог мятелей», «Бог ночлегов без постелей», «Бог голодных, Бог холодных», «Бог имений бездоходных», «Бог капусты, Бог рассолов», «Бог дворовых без сапог» и пр. и пр. Именно таковым — в панорамном, калейдоскопичном перечислении вековых российских мерзостей и неудобств — предстает он в знаменитом стихотворении князя Вяземского «Русский Бог».

Это стихотворение Вяземский написал весной 1828 года, «дорогою из Пензы, измученный и сердитый». Посылая его за границу А. И. Тургеневу с большим письмом от 18 апреля, он, между прочим, заметил: «Я на днях схватил животрепещущую черту русицизма, Русский Бог так в ней и пыхтит: у Белосельской министр юстиции Долгорукий изъяснял прусскому посланнику систему Тончи sur les apparences³6 и путался во французских фразах; тот, чтобы прервать разговор, говорит: оці, mais si on donnait à ce philosophe une bonne chiquenaude, il dirait bien, que tout n'est pas apparence. — Oh! Je crois bien, — возразил наш с славянскою гордостью, — si on lui donnait cinquante coup de batons, il penserait autrement.³7 — Согласись, что это богатырское слово! Как тут слышишь, что Русский наш с жалостью принял тщедушную прусскую шутку и подумал: нет, брат, если пошутить, так дай же вспомнить дубинку Петра. Тут для меня вся Русь святая: и Русская сила, и Русское протяжение, и Русская Православная глупость, 800 тыс. войска, Министерство юстиции в виде Долгорукого etc. \(\ldots \ldots \rangle \ldots \ldo

Согласно Вяземскому, Русский Бог велик именно своей алогичностью, абсурдностью бытия, изломами русского сознания, обильно представленными во все эпо-

1814—1833 гг. Пг., 1921. С. 67.

 $^{^{36}}$ о правдоподобии (фр.).

 $^{^{37}}$ да, но если бы дали этому философу хороший щелчок, он уверенно сказал бы, что все неправдоподобно. — О, я уверен, если бы ему дали пятьдесят ударов палками, он думал бы по-другому (ϕp .).

³⁸ Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским. Т. 1:

хи нашей истории — от «дубинки Петра» до современных палочных ударов. Впрочем, это мышление с помощью «палок» нисколько не мешает и официальной, ура-патриотической ипостаси существования *Русского Бога* — пусть и она будет! Именно сосуществование в пределах одного символа разных возможностей его осмысления — залог естественного, неконфликтного приятия самого этого символа.

Около 1810 года появилась пародия на трагедию Озерова «Димитрий Донской» под заглавием «Митюха Валдайский». Это «зрелище в трех действиях», написанное офицером Измайловского полка П. Н. Семеновым, ³⁹ чрезвычайно люболытно именно по способу переосмысления официозных данностей, который оказался вполне естественным для русской ментальности. Известно, что эта пародия уже в 1810-е годы не раз давалась на солдатских спектаклях в ротах Измайловского полка: ее автор, «мастер передразнивать», обладал незаурядным артистическим талантом. В 1826 году он даже подготовил пародию к печати и отдал ее М. П. Погодину для «Московского вестника», но тот, вероятно, опасался возможных официальных придирок — и «Митюха Валдайский» был напечатан только в 1861 году.

По своему жанру это был литературный бурлеск вроде «Энеиды, вывернутой наизнанку»: «высокое» действие «Димитрия Донского» подменялось в нем эпизодами из «кабацкого» быта, а на месте князей и воителей оказывались валдайские целовальники и зимогорские ямщики. Митюха и три его приятеля-целовальника (Андрюшка, Елисей и Парамошка, соответствовавшие князьям Тверскому, Белозерскому и Смоленскому у Озерова) собираются «дать добрый потаскай» зимогорским ямщикам:

Пускай себе смекнут, что наши кулаки Pадехоньки стоять за наши кабаки. 40

В соответствии с этим «сниженным» мотивом пародия повторяет все основные ситуации и эпизоды «Димитрия Донского»: битва целовальников с ямщиками, которыми предводительствует «смотритель станционный», осложненная любовным соперничеством Митюхи и Андрюшки за руку Аксюты, дочери целовальника Крестцовского. Сцены в пародии сменяют друг друга в том же порядке, что и в «исходной» трагедии, а на месте Руки Всевышнего и Русского Бога оказывается земский суд. Вот рассказ Полового, соответствующий приведенному выше началу рассказа боярина о битве:

От пагубы спасал нас нижний земский суд. Что может устоять против команды штатной, И кто в тюрьму попасть захочет безвозвратно? Исправник к нам прислал одиннадцать солдат, А ундер с ними был такой дородный хват! Хоть с нами обошлись они сперва спесиво, Но как поставили мы им ушатик пива, Вина да пирожков, да водки сладкой штоф, То ундер-то и стал не так уже суров; А как они ведро вина поопростали, Как накатилися, словоохотны стали.

И так далее. «Нижний земский суд», явленный на месте «Руки Всевышнего», — это уездный административно-полицейский орган, ведавший охраной порядка и исполнявший судебные приговоры высших инстанций. Во главе его стоял земский исправник (капитан-исправник), избиравшийся из неродовитых дворян и

³⁹ *Грот Я.К.* Об авторе «Митюхи Валдайского» // Библиографические записки. 1861. № 15. Стлб. 182—186.

⁴⁰ Здесь и ниже «Митюха Валдайский» цит. по: Русская стихотворная пародия (XVIII—начало XX в.). Л., 1960. С. 205—241.

⁷ Русская литература, № 1, 2008 г.

не пользовавшийся особым уважением. Деятели земского суда (сотские, десятские и т. д.) исполняли низшие, вспомогательные полицейские функции.

Тем не менее именно земский суд в «Митюхе Валдайском» оказывается ближайшей, сниженной аналогией не только к Руке Всевышнего, но и к Русскому Богу. В конце пародии «пьяный и разбитый» Митюха, которого за отвагу миряне прозвали «Валдайским», гордо восклицает: «Ребята, грянемте: велик наш земский суд!»

Это было уже кощунственное осмеяние мифа. Но автору и в голову не пришло, что его могут за это осмеяние как-либо преследовать: он ни от кого не скрывал своего «ирои-комического» создания и отнюдь не боялся выставить его на всеобщее обозрение. Самое интересное, что и никому другому не пришло в голову как-то преследовать П. Н. Семенова за это кощунство. Да и Вяземского за стихотворение «Русский Бог» никто не преследовал. «Все же, Господи, прости мне прегрешение мое, — заметил он в цитированном выше письме к Тургеневу, посылая ему свою стихотворную шутку, — на святой Руси стою я на каком-то подножии, или на подножном корму: почему же и не побаловаться мне, если тут есть баловство, одному из представителей чего-то Русского, которое все-таки переживет многое из настоящей России». 41

© В. Е. Ветловская

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ ГЕРОЕВ ДОСТОЕВСКОГО

(«МЕЩАНИН В ХАЛАТЕ» В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ»)

«Мещанин в халате» появляется в своем натуральном виде (т. е. как реальное лицо романной действительности) трижды.

Первый раз он оказывается среди тех, кто обсуждает подозрительное поведение Раскольникова, который, поднявшись в квартиру убитой старухи (под предлогом «найма»), названивал там в колокольчик и расспрашивал про кровь: «Несколько людей стояло при самом входе в дом с улицы, глазея на прохожих: оба дворника, баба, мещанин в халате и еще кое-кто».¹

Этот «мещанин в халате» и предлагает отвести Раскольникова в «контору»:

«— А вот взять да свести в контору? — ввязался вдруг мещанин и замолчал.

Раскольников через плечо скосил на него глаза, посмотрел внимательно и сказал так же тихо и лениво:

- Пойдем!
- Да и свести! подхватил ободрившийся мещанин. Зачем он об *том* доходил, у него что на уме, а?» И затем: «— А всё бы свести в контору» (6, 135).

Заметим: Раскольников, хотя и «посмотрел внимательно» на мещанина, но, как выясняется дальше, не разглядел его и не запомнил. Когда тот приходит к нему на другой день (второе появление мещанина в романе), Раскольников его не узнает: «Дворник стоял у дверей своей каморки и указывал прямо на него какому-то невысокому человеку, с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата, в жилетке и очень похожему издали на бабу. Голова его, в засаленной фу-

⁴¹ Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Т. 1. С. 70.

 $^{^1}$ Достоевский Φ . М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 134. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

ражке, свешивалась вниз, да и весь он был точно сгорбленный. Дряблое, морщинистое лицо его показывало за пятьдесят; маленькие, заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием» (6, 208—209). Именно при этой встрече мещанин говорит вдруг ослабевшему и похолодевшему Раскольникову, что тот «убивец» (6, 209).

Герою кажется, что явившийся к нему и новый для него человек был свидетелем его злодейства: «Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он и что видел? Он видел всё, это несомненно. Где ж он тогда стоял и откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из-под полу?» (6, 210).

В инфернальном сне, служащем продолжением инфернальной действительности, «мещанин в халате» свидетелем и выступает. Назвав Раскольникова убийцей, он далее, как бы в подтверждение брошенного обвинения, ведет героя на место преступления, в квартиру старухи, чтобы там насмешливым и зловещим образом этой старухой и обернуться.

Когда позднее мещанин приходит к Раскольникову просить прощения за «оговор» и «злобу» (третье и последнее появление мещанина в романе), тот опять-таки не может припомнить их первую встречу: «Дверь отворялась медленно и тихо, и вдруг показалась фигура — вчерашнего человека из-под земли.

Человек остановился на пороге, посмотрел молча на Раскольникова и ступил шаг в комнату. Он был точь-в-точь как и вчера, такая же фигура, так же одет, но в лице и во взгляде его произошло сильное изменение: он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, глубоко вздохнул. Недоставало только, чтоб он приложил при этом ладонь к щеке, а голову скривил на сторону, чтоб уж совершенно походить на бабу.

— Что вам? — спросил помертвевший Раскольников» (6, 274).

В этом свидании мещанин сам напоминает герою об их первой встрече: «— Да я там же, тогда же в воротах $\langle ... \rangle$ стоял, али запамятовали?». Только тут Раскольникову «ясно припомнилась вся сцена третьего дня» и «один голос, предлагавший вести его прямо в квартал. Лицо говорившего не мог он вспомнить и даже теперь не признавал, но ему памятно было, что он даже что-то ответил ему тогда, обернулся к нему...» (6, 275).

В отличие от Раскольникова, не увидевшего человека, на которого он смотрел, этот человек оказался очень «заметлив» (ср. слова Раскольникова Порфирию: «Как это вы так заметливы?..» — 6, 194). Даже слишком. Он заметил фамилию героя, его социальное положение (студент), его адрес, рекомендацию справиться о нем у дворника (т. е. все, что Раскольников сказал о себе в сцене под воротами — 6, 135), а затем тот факт, что на другой же день герой его «не признал», и ту реакцию на прямое обвинение в убийстве, которая, по мнению любознательного и въедливо-дотошного мещанина, означала одно — молчаливое согласие с верностью этого обвинения. О своих психологических наблюдениях, как узнал Раскольников от того же мещанина, он доложил Порфирию: «...донес я ему обо всем и говорил, что с моих вчерашних слов ничего вы не посмели мне отвечать и что вы меня не признали» (6, 276).

Судя по всему, донос окончательно убедил Порфирия (если ему еще это нужно было) в том, что Раскольников — убийца. Вслед за мещанином Порфирий несколько позднее повторяет обвинение: «— Как кто убил?.. — переговорил он, точно не веря ушам своим, — да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с... — прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом» (6, 349).

Но такого убеждения, уж конечно, мало для судебного приговора. «— 9x, что ж, что я убежден? Ведь всё это покамест мои мечты-с $\langle ... \rangle$. Приведу я, например, уличать вас мещанинишку, а вы ему скажете "Ты пьян, аль нет? Кто меня с тобой видел? $\langle ... \rangle$ ", — ну что я вам тогда на это скажу, тем паче, что ваше-то еще правдоподобнее, чем его, потому что в его показании одна психология, — что его рылу

даже и неприлично, а вы-то в самую точку попадете, потому что пьет, мерзавец, горькую и слишком даже известен. Да и сам я вам откровенно признавался $\langle ... \rangle$, что психология эта о двух концах и что второй-то конец больше будет $\langle ... \rangle$, а что, кроме этого, против вас у меня пока и нет ничего» (6, 349—350).

Порфирий прав, говоря о том, что «психология» в показаниях «мещанина в халате», вообще известному, по-видимому, лишь тем, что он горький пьяница, «его рылу даже и неприлична». И не только «психология».

Странно, например, что этот пьяница, «решившись сна» из-за того, что Раскольникова оставили «втуне» после посещения старухиной квартиры, и «колокольчиков», и «крови» (об этом он упоминает дважды — 6, 275), вместо того, чтобы идти в квартал, предпринимает собственное расследование.

Странно, что, «решившись сна» и предприняв такое расследование, он приходит к Раскольникову отнюдь не утром, а где-то в середине дня, после свидания Раскольникова с родными и Соней, после долгих объяснений у Порфирия и с Порфирием (первая встреча убийцы и следователя). Из текста ясно, что Раскольников, до появления мещанина, опаздывал к матери и сестре на обед.

Странно, что, уже обвинив Раскольникова в убийстве и заметив реакцию героя, подтверждающую это обвинение, «мещанин в халате» опять-таки не спешит в «контору». Почему-то, решившись остаться без сна еще одну ночь, он приходит к Порфирию только на другое утро, чтобы как раз перед появлением Раскольникова (второе свидание его с Порфирием) рассказать следователю о своей «психологии» и тихо, беззвучно, решительно ничем себя не выдавая, посидеть у него за перегородкой в течение долгого собеседования-допроса.

Все эти (и не только эти) странности «рылу» «мещанина в халате» действительно «неприличны». Зато они в высшей степени приличны лицу Порфирия, который за неимением реальных свидетелей и улик вынужден вести с преступником исключительно психологическую войну.

Я полагаю, что «мещанина в халате» (по крайней мере, того, который приходил к Раскольникову один и другой раз) в действительности нет; полагаю, что в его роли и облике выступил сам Порфирий. Окончательный текст романа допускает и ту возможность, что под воротами старухиного дома этого мещанина тоже не было. Единственным обстоятельством, исключающим подобное допущение, была бы сцена, где Порфирий и мещанин оказались бы вместе. Но такой сцены мы не находим.

Исходя из совокупности всех относящихся к делу мотивов, правильнее, думается, предположить, что какой-то мещанин все-таки затесался в публику, глазевшую на прохожих у ворот известного дома, и потом настойчиво предлагал свести Раскольникова в «контору». О его внешнем виде сказано только, что он был «в халате». И все. Ничего «бабьего» в этом мещанине нет. Напротив. У ворот стояли и глазели на прохожих баба сама по себе и мещанин сам по себе — в подчеркнутой отдельности, без всякой связи друг с другом.

По-видимому, обидевшись на дворников, пренебрегших его советом («Видемши я $\langle ... \rangle$, что дворники с моих слов идти не хотят $\langle ... \rangle$, стало мне обидно, и сна решился...» — 6, 275), «мещанин в халате» пошел в «контору» без них или поздно вечером, или рано утром.

Когда тем же утром, но какое-то время спустя, Раскольников идет знакомиться с Порфирием, он думает: «Важнее всего, знает Порфирий иль не знает, что я вчера у этой ведьмы в квартире был... и про кровь спрашивал? В один миг надо это узнать, с первого шагу, как войду, по лицу узнать; и-на-че... хоть пропаду, да узнаю!» (6, 190).

И далее, во время встречи: «Раскольников побожился бы, что он (Порфирий. — $B.\ B.$) ему подмигнул, черт знает для чего.

"Знает!" — промелькнуло в нем как молния» (6, 193).

Однако о появлении Раскольникова в старухиной квартире накануне вечером, о его словах и расспросах, как следует из сопоставления разных мотивов (о них далее мы скажем), Порфирий знал. Единственной неожиданностью был для него приезд к Раскольникову родных: «— А к вам матушка приехала? — осведомился для чего-то Порфирий Петрович.

- Да.
- Когда же это-с?
- Вчера вечером.

Порфирий помолчал, как бы соображая» (6, 193). Он соображал, в какой момент среди известных ему обстоятельств минувшего вечера это случилось. «Он про весь вечер вчерашний знает! — думает Раскольников. — Про приезд матери не знал!..» (6, 196). Вот почему Порфирий и заинтересовался только этим приездом и «пропустил, не поднял» слова Раскольникова о «найме» квартиры. Следователь собирался воспользоваться этим капитальным фактом («этакой-то драгоценностью», как говорит он позднее, — 6, 267) тогда и так, когда и как ему это будет нужно, сохранив за своими словами и действиями в дальнейшем эффект неожиданности, чтобы застать преступника врасплох, не дать ему внутренне собраться и приготовиться. Ведь сосредоточенное внимание, вызванное ожиданием, делает человека и более проницательным, и более неуязвимым.

Это потом объясняет Раскольникову сам Порфирий: «Жду-с! Жду вас изо всех сил $\langle ... \rangle$ жду я вас, смотрю, а вас Бог и дает — идете! Так у меня и стукнуло сердце. Эх! Ну зачем вам было тогда приходить (речь идет о сцене знакомства, когда Раскольников вошел к Порфирию с наигранным смехом. — B.B.)? Смех-то, смех-то ваш, как вошли тогда, помните, ведь вот точно сквозь стекло я вас угадал, а не жди я вас таким особенным образом, и в смехе вашем ничего бы не заметил. Вот оно что значит в настроении-то быть» (6, 346).

Поскольку Раскольников, в отличие от Порфирия, никакого особенного настроения у следователя не ожидал, он в свое время и не заметил странных слов, сказанных Порфирием по поводу этого смеха: «Помилуйте, очень приятно-с, да и приятно вы так вошли...» (6, 191).

Если бы Раскольников заметил недоверие Порфирия к устроенному им спектаклю, он, возможно, не сомневался бы, подмигнул ему следователь или нет. Ведь это подмигивание означало, что Порфирий разглядел его игру и, со своей стороны, приготовился и подыгрывать, и играть сам.

Для следователя хитрость Раскольникова была лишней уликой: невиновному человеку незачем было бы хитрить.

Порфирий не поверил и словам Разумихина (с подачи Раскольникова. См.: 6, 173—174, 188—189) о том, что его друг накануне вечером «куролесил где-то чуть не до полночи $\langle ... \rangle$ в совершеннейшем $\langle ... \rangle$ бреду»; он выслушал их с подчеркнутой иронией: «И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста!» (6, 194).

Еще менее Порфирий поверил тому, что Раскольников (на чем он вдруг начал настаивать, решив, по-видимому, что ни один безумец не признает своего безумия) «совсем здоров» и в полном рассудке (6, 194). И впрямь: квартиру не ходят нани-

мать по ночам, не расспрашивают про кровь, не звонят в колокольчик при открытой двери, не побуждают ни с того ни с сего идти к квартальному.

При следующем свидании Порфирия с Раскольниковым вновь возникает вопрос, в бреду или в полной памяти тот «куролесил». Путая свою жертву, Порфирий пустился было утверждать, что это было в бреду: «Бред у вас! Это всё у вас просто в бреду одном делается!..

На мгновение всё так и завертелось кругом Раскольникова (...)

- Это было не в бреду, это было наяву! вскричал он, напрягая все силы своего рассудка проникнуть в игру Порфирия. Наяву, наяву! Слышите ли?
- Да, понимаю и слышу-с! Вы и вчера говорили, что не в бреду, особенно даже напирали, что не в бреду! Всё, что вы можете сказать, понимаю-с! Э-эх! $\langle ... \rangle$ Ведь вот будь вы действительно, на самом-то деле преступны $\langle ... \rangle$, ну стали бы вы, помилуйте, напирать, что не в бреду вы всё это делали, а, напротив, в полной памяти? Да еще особенно напирать, с упорством таким, особенным, напирать, ну $\langle ... \rangle$ могло ли быть это, помилуйте? $\langle ... \rangle$ Ведь если б вы за собой что-либо чувствовали, так вам именно следовало бы напирать: что непременно, дескать, в бреду! Так ли? Ведь так?

Что-то лукавое послышалось в этом вопросе» (6, 266).

Аргумент в свою защиту, на который рассчитывал Раскольников и о котором Порфирий догадался (возможно, и из-за избыточного упорства, с каким Раскольников настаивал на противоположном), для следователя несерьезен, поскольку он двусмыслен. «Все эти психологические средства к защите, — разъясняет далее Порфирий, — отговорки да увертки, крайне несостоятельны, да и о двух концах: "Болезнь, дескать, бред, грезы, мерещилось, не помню", всё это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреду всё такие именно грезы мерещутся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли? Хе-хе-хе-хе!» (6, 268).

Для Порфирия состояние Раскольникова и не «совершеннейший бред», и не полный рассудок. В нем сказывается особая болезнь, которой в принципе подвержен любой убийца и которая выдает его с головой: «Да этак что же, батюшка? Этак можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения нервы свои раздражать являются, по ночам в колокольчики ходить звонить да про кровь расспрашивать! Эту ведь я психологию-то изучил всю на практике-с» (6, 266).

Подчеркнем, что когда (при втором допросе) речь идет о «бреде» или «полной памяти» Раскольникова в тот вечер, в который он «куролесил», то имеются в виду не полупризнание Заметову в трактире (6, 127—129, 195), не хлопоты вокруг раздавленного Мармеладова (6, 136—145), а именно и только посещение старухиной квартиры и «колокольчики». Так и в черновиках: «Ну сделает ли это человек (на квартиру пошел, если не в бреду, сам на себя).

"А что ж, в бреду-то и выдал себя", — подумал Порфирий» (7, 194).

Вот почему, когда Порфирий напоминает Раскольникову: «Вы и вчера говорили, что не в бреду...» и т.д., он тоже имеет в виду «колокольчики». Отсюда язвительная ирония, с какой он встретил слова о «совершеннейшем бреде». Это еще одно свидетельство того, что уже тогда, при первом свидании с Раскольниковым (сцена знакомства), Порфирий о «колокольчиках» знал.

Но знать о них он мог, либо находясь среди других у ворот старухиного дома, либо выслушав донос «мещанина в халате». Так или иначе, осведомленность Порфирия на этот счет и послужила главным поводом к игре, которую он с преступником затеял, взяв на себя роль этого свидетеля.

Здесь важны все мотивы, указывающие на способность Порфирия к актерству: «...действительность и натура (...) ух как иногда самый прозорливейший расчет подсекают! Эй, послушайте старика, серьезно говорю, Родион Романович (говоря это, едва ли тридцатипятилетний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился: даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился)...» (6, 263).

Еще раньше, при первой встрече Раскольникова с Порфирием, Разумихин говорил об умении Порфирия «притворяться»... для того, «чтобы всех одурачить»: «Да ведь всё притворяется, черт!» (6, 197—198). Говорил тоже, что взятую на себя роль, бросаясь из крайности в крайность, Порфирий по две недели и даже по два месяца «выдерживает»: «Прошлого года уверил нас для чего-то, что в монахи идет: два месяца стоял на своем! Недавно вздумал уверять, что женится, что всё уж готово к венцу. Платье даже новое сшил. Мы уж стали его поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало: всё мираж!

- А вот соврал! Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового платья и пришло в голову вас всех поднадуть.
 - В самом деле вы такой притворщик? спросил небрежно Раскольников.
 - А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу ха-ха-ха!» (6, 198).

Именно это Порфирий и делает, чтобы поставить в первом допросе заключительную точку и, прикинувшись «мещанином в халате» и прямо обвинив Раскольникова в преступлении, убедиться самому, что он прав. Одновременно он пытается внушить убийце, что ввиду явившегося откуда-то «из-под земли», «из-под полу» свидетеля ему бессмысленно далее «запираться» (см.: 6, 275).

Слова Порфирия «я вас проведу» звучат и в переносном, и в прямом значении. Следователь сумел «провести» (т. е. надуть, одурачить) преступника, обернувшись для него «мещанином» в реальности (напомню мысль Раскольникова, идущего к Порфирию в первый раз: «Ну, да там как обернется... посмотрим...» — 6, 190), затем «мещанином» и «старухой» в инфернальном сне. Следователь сумел «провести» преступника и буквально (т. е. заставить его идти за собой) и тут, и там — и в реальности, и во сне. Заметим, кстати, что в черновиках к роману Раскольников видит во сне не мещанина, а Порфирия: «У Порфирия остается убеждение, что он (Раскольников. — В. В.) убил $\langle ... \rangle$; во сне видит Порфирия.

NB. Гадкий, унизительный, мальчишеский сон про то, как его ловит Порфирий» (7, 167).

В окончательном тексте сон страшнее. Если в реальности Порфирий ведет за собой Раскольникова для того, чтобы обвинить его в убийстве, то во сме он это делает, в конечном счете, для того, чтобы показать преступнику самый естественный в его случае и самый «гадкий, унизительный» вариант инфернального возмездия за совершенное злодейство (6, 212—213).

Убедившись (психологически и «про себя» — 6, 349) в том, что Раскольников — убийца, Порфирий на следующий день, при встрече, уже не подает ему руки, тогда как накануне, прощаясь, он, пусть и не вполне искренно, но все-таки руку ему протянул. Ср.: «Вы уж уходите! — ласково проговорил Порфирий, чрезвычайно любезно протягивая руку. — Очень, очень рад знакомству» (6, 204). И на другой день: «— А, почтеннейший! Вот и вы... в наших краях... — начал Порфирий, протянув ему обе руки $\langle ... \rangle$ "Он, однако ж, мне обе руки-то протянул, а ни одной ведь не дал, отнял вовремя", — мелькнуло в нем (Раскольникове. — В. В.) подозрительно» (6, 255).

Для того чтобы Порфирий так поступил, рассказа мещанина, горького пьяницы, и «психологии», его «рылу» неприличной, было бы недостаточно. Будучи, как аттестует своего дальнего родственника (6, 104, 186, 226) Разумихин, «недоверчив, скептик, циник» (6, 189), Порфирий бы этому пьянице не поверил. Но он не мог не поверить своей «психологии» и «своим глазам».

Возвращаясь к этому эпизоду позднее, Порфирий говорит Раскольникову: «...как услышал тогда про эти колокольчики, так весь даже и замер, даже дрожь прохватила. "Ну, думаю, вот она черточка и есть! Оно!" Да уж и не рассуждал я тогда, просто не хотел (до такой степени его увлекло, по-видимому, желание поскорее убедиться в своих подозрениях. — В. В.). Тысячу бы рублей в ту минуту я дал, своих собственных, чтобы только на вас в свои глаза посмотреть: как вы тогда

сто шагов с мещанинишкой рядом шли, после того как он вам "убийцу" в глаза сказал, и ничего у него, целых сто шагов, спросить не посмели!..» (6, 346—347).

Порфирий мог обещать сколько угодно тысяч рублей, потому что в действительности ему это ровно ничего не стоило: он смотрел на Раскольникова как раз «в свои глаза». И если не в «свои», то только в том смысле, в каком «не свои слова» говорил Миколка, признаваясь в том, что он убийца (6, 271, 273). Один смотрел, другой говорил, изображая тех, роль которых они взялись играть. Порфирий меняет глаза, как он меняет лица; он либо подсылает других («Вы что думаете: я у вас тогда не был с обыском? Был-с, был-с, хе-хе, был-с (...) Не официально и не своим лицом, а был-с» — 6, 346), либо надевает маску сам.

В результате всех примененных им, праведных и неправедных, «средств» ему удается ввергнуть преступника в состояние чрезвычайного нервного напряжения — панического страха, раздражительной, неконтролируемой ненависти и злобы. Придя к Порфирию на второй допрос и «готовясь к новому бою», Раскольников «почувствовал вдруг, что дрожит, — и даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед ненавистным Порфирием Петровичем (...) он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своею ненавистью как-нибудь обнаружить себя» (6, 254). И хотя дело до прямого признания в убийстве не дошло, Раскольников себя все-таки «выдал» «— Лжешь ты всё! — завопил Раскольников, уже не удерживаясь, лжешь, полишинель проклятый! — и бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Порфирия.

- Я всё, всё понимаю! подскочил он к нему. Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал...
- Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка, Родион Романыч. Ведь вы в исступление пришли» (6, 269).

Внезапное появление Николая с его «показанием» (6, 271) испортило было Порфирию игру. Однако мгновенно осмыслив новую ситуацию и резко изменив тактику, он продолжил представление, одурачивающее его жертву. В виде все того же «мещанина в халате» Порфирий опять явился к Раскольникову, но уже не с обличительной, а покаянной речью: «— Что вам? — спросил помертвевший Раскольников.

Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть не до земли, поклонился ему. Π_0 крайней мере тронул землю перстом правой руки.

- Что вы? вскричал Раскольников.
- Виноват, тихо произнес человек.
- В чем?
- В злобных мыслях» и т. д. (6, 274).

Дав себе возможность разобраться с Николаем, чье «показание» не вызвало у него никакого доверия (6, 347), Порфирий до поры до времени отпускает Раскольникова на свободу. Он уверен (и справедливо), что предоставленный самому себе, но «под вечным подозрением и страхом» тот все равно как-нибудь оплошает (даст какую-нибудь на себя улику) и в любом случае «закружится» (6, 261, 262), оказавшись в тупике, из которого нет иного выхода, кроме признания в убийстве. «...Ведь я следователь, — говорит Порфирий, — $\langle ... \rangle$ хотелось бы такую уличку достать, чтоб на дважды два — четыре походило! $\langle ... \rangle$ А ведь засади его (преступника. — В. В.) не вовремя, — хотя бы я был и уверен, что это oh, — так ведь я, пожалуй, сам у себя средства отниму к дальнейшему его обличению, а почему? А потому что я ему, так сказать, определенное положение дам, так сказать, психологически его определю и успокою, вот он и уйдет от меня в свою скорлупу» (6, 261).

В этом смысле «показание» Миколки, явившегося уже после этих объяснений, было Порфирию на руку. Оно ставило Раскольникова в самое неопределенное положение. Оно исключило этого неудавшегося теоретика и практика из числа преступников (поскольку Николай взял на себя его вину) и не включило в число

тех, кто не переступал роковой черты (поскольку Раскольников оставался убийцей). Раскольников потерял всякую опору, и если раньше, после убийства, он был ни жив ни мертв, то теперь, после «показания» Николая, и впрямь оказался заживо погребенным: «С самой сцены с Миколкой у Порфирия начал он задыхаться без выхода, в тесноте» (6, 341).²

Вот почему Порфирий и старается уверить Раскольникова в том, что не сомневается в вине Николая. Сначала он является к убийце в виде несостоявшегося, раскаявшегося «свидетеля» (второй приход к Раскольникову «мещанина в халате»), затем внушает Разумихину (в расчете на передачу) нужную идею: «— Скажи, пожалуйста, откуда ты это узнал (что виновен Миколка. — В. В.) и почему тебя это так интересует? — с видимым волнением спросил Раскольников.

- Ну вот еще! Почему меня интересует! Спросил!.. А узнал я от Порфирия, в числе других. Впрочем, от него почти всё и узнал.
 - От Порфирия?
 - От Порфирия.
 - Что же... что же он? испуганно спросил Раскольников.
- Он это отлично мне разъяснил. Психологически разъяснил, по-своему» (6, 340).

И далее: «Раскольников, как только вышел Разумихин, встал, повернулся к окну, толкнулся в угол, в другой, как бы забыв о тесноте своей конуры, и... сел опять на диван» (6, 341). На минуту, однако, он «оживился»: ему показалось, что «нашелся исход» — в дальнейшей борьбе с Порфирием или, возможно, Свидригайловым (6, 341). Но там и тут его ждал тот же «угол», тот же тупик. Едва Раскольников собрался выйти из тесной своей «конуры», как на пороге столкнулся с Порфирием.

Словом «виноват», произнесенным незадолго до этого «мещанином в халате», Порфирий начинает свое последнее объяснение с Раскольниковым, чтобы закончить его предложением «явки с повинной» (6, 343, 350).

Говоря о Порфирии и «мещанине в халате», дважды приходившем к Раскольникову, нельзя опустить и явно сближающие их мотивы.

Они касаются их внешнего вида: невысокий рост (6, 192, 208), часто опущенные вниз или отведенные в сторону глаза (6, 209, 255, 257, 260, 343, 353), «халат», в котором Порфирий впервые встречает Раскольникова («Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях» — (6, 192), а также нечто «бабье» в фигуре одного и другого. Последний мотив повторяется не только по отношению к «мещанину», но и по отношению к Порфирию: «Взгляд этих глаз (глаз Порфирия. — (6, 198)), как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье...» — (6, 192); затем: «И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста! — с каким-то бабьим жестом покачал головою Порфирий» (6, 194), ср. также: (6, 194).

«Халат» и нечто «бабье» в фигуре Порфирия, вместе с другими мотивами первого и второго его свидания с Раскольниковым (я имею в виду цитаты или очевидные переклички с «Ревизором» и «Мертвыми душами»), отсылают к Гоголю.

В заключение второго свидания Гоголь назван прямо. Прощаясь с Раскольниковым, после появления и признаний Николая, Порфирий говорит: «Да вот мы увидимся-с. Если Бог приведет, так и очень, и очень увидимся-с» (6, 272). Далее, в связи с насмешливыми замечаниями Раскольникова по поводу психологических приемов Порфирия и его «комической» должности, он продолжает: «— Xe-xe! Остроумны, остроумны-с. Всё-то замечаете! Настоящий игривый ум-с! И самую-то ко-

 $^{^2}$ О мотиве «духоты» в романе см., например: $Tuxomupos\ E.\ H.\$ Из наблюдений над романом «Преступление и наказание» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 241-244.

мическую струну и зацепите... хе-хе! Это ведь у Гоголя, из писателей, говорят, эта черта была в высшей степени?

- Да, у Гоголя.
- Да-с, у Гоголя... до приятнейшего свидания-с.
- До приятнейшего свидания...» (6, 273).

Заключительная фраза Порфирия двусмысленна. Один смысл, очевидный, разделяет ее на подхват слов, сказанных собеседником («Да-с, у Гоголя...»), и продолжение в формуле прощания («...до приятнейшего свидания-с»). Другой смысл объединяет в целое все сказанное. Он более очевиден при перестановке слов. Ср.: «Да-с, у Гоголя... до приятнейшего свидания-с» и «Да-с, до приятнейшего свидания... у Гоголя».

Это свидание случилось очень скоро — едва Раскольников пришел к себе и в себя. И действительно было «приятнейшим» (в сравнении с предыдущим — безусловно). Второе появление «мещанина в халате» у Раскольникова (заметим: с теми же театральными эффектами, что и первое), его объяснения избавили героя от мрачной тревоги по поводу вышедшего «из-под земли» свидетеля преступления: «Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. Всего ужаснее было подумать, что он действительно чуть не погиб, чуть не погубил себя из-за такого ничтожного обстоятельства. Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, кроме этого $\delta pe\partial a$, никаких фактов, кроме ncuxonoruu, которая $o \partial eyx концаx$, ничего положительного» (6, 275).

Комически-театральная сторона и этого, и предыдущего свидания «мещанина в халате», «похожего $\langle ... \rangle$ на бабу», с Раскольниковым (та сторона, о которой Раскольников, разумеется, не догадывается) напоминает о встрече Чичикова и Плюшкина в «Мертвых душах»: «Долго он (Чичиков. — В. В.) не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик $\langle ... \rangle$ "Ой, баба!" подумал он про себя и тут же прибавил: "Ой, нет!" "Конечно, баба!" наконец сказал он, рассмотрев попристальнее $\langle ... \rangle$

"Послушай, матушка", сказал он, выходя из брички, "что барин?.."

"Нет дома", прервала ключница $\langle ... \rangle$ "а что вам нужно?"»⁴

Ничего особенного не представляло собой лицо хозяина, который все-таки оказался дома. «Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя было докопаться, из чего состряпан был его халат», 5 со спины запачканный мукой и «с большой прорехою пониже». 6 С тех пор как Плюшкин перестал быть «только $\langle \dots \rangle$ бережливым хозяином» и основательно «съежился», 7 «халат» стал главной принадлежностью его туалета: «... Александра Степановна (дочь Плюшкина. — В. В.) $\langle \dots \rangle$ привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно». 8 К моменту приезда Чичикова новый халат пришел в такую же негод-

 $^{^3}$ Это заметил Р. Г. Назиров, но почему-то только в связи с первым приходом мещанина к Раскольникову. Для исследователя намек на Гоголя — пример обычной у Достоевского литературной «парафразы». Смысл ее Р. Г. Назиров объясняет так: « И в эпизоде узнавания (помещика в неприглядной «ключнице». — В. В.) у Гоголя, и в сцене обличения у Достоевского центральное место занимают не герои, а загадочные собеседники. Убогая внешность последних резко контрастирует с чрезвычайно значительным содержанием: маниакальный скупец и таинственный "свидетель" преступления. Но если предостережение Чичикову дается примером духовной гибели стяжателя $\langle \ldots \rangle$, то предостережение Раскольникову дано в форме обличения его другим персонажем» ($Hasupos P. \Gamma$. Реминисценция и парафраза в «Преступлении и наказании» // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 94).

⁴ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1951. Т. 6. С. 114.

⁵ Там же. С. 116.

⁶ Там же. С. 114.

⁷ Там же. С. 117, 120.

⁸ Там же. С. 120.

ность, постепенно превращаясь в сплошную прореху. Да и все вокруг Плюшкина, как пишет Гоголь, «становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве». 9

Последний мотив (человека как «прорехи на человечестве»), означающий отсутствие, пустоту на месте видимой реальности, имеет прямое отношение к Порфирию, в данном случае и прежде всего — к его alter ego, «мещанину в халате», который в виде грозного свидетеля и «улики» не существует.

Это соображение посещает Раскольникова по ходу второго объяснения с Порфирием: «Эй, вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь! Нет у тебя доказательств, и не существует вчерашний человек!» (6, 262), и раньше, в начале этой же сцены, заканчивающейся отсылкой к Гоголю: «Всё тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, всё знал и всё видел, — так разве дали бы ему, Раскольникову, так стоять теперь и спокойно ждать? (...) Выходило, что или тот человек еще ничего не донес, или... или... просто он ничего тоже не знает и сам, своими глазами ничего не видал (да и как он мог видеть?) (...). Эта догадка, еще даже вчера, во время самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем» (6, 254).

Раскольникову не приходит в голову еще одно «или», еще одна догадка: «загадочный вчерашний человек», который приходит к Раскольникову и раз, и другой, не только не существует в качестве свидетеля преступления, но не существует вообще. А так оно и было. 10

Вот почему, заметим попутно, хваля Раскольникова за остроумие, «игривый ум-с», Порфирий делает это не из чувства собственной ущербности, а безусловно из чувства превосходства. Но вернемся к Гоголю.

Будучи «прорехой на человечестве», Плюшкин тем не менее хозяин весьма состоятельный. Он выступает законным владельцем и продавцом как мертвых, так и беглых (т. е. хотя и отсутствующих, но все-таки живых) душ. Тех и других, торгуясь из-за каждой копейки, он сплавляет Чичикову, 11 а если учесть роль, которую тот у Гоголя играет, то сплавляет их просто к черту. Впрочем, Плюшкин и сам из той же породы. Во всяком случае, покупатели, имевшие с Плюшкиным дело по поводу вещей более материальных и осязательных, чем души, «торговались (с ним.—В. В.), торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес». 12

Выделенные мотивы характеристики Плюшкина касаются и Порфирия, Порфирия уже самого по себе, вне зависимости от любого конкретного обличья, которое он принимает по необходимости или из любви к искусству, поскольку «дело следователя», по его убеждению, «это, так сказать, свободное художество, в своем роде-с или вроде того... хе-хе-хе!..» (6, 260). Однако сама способность и любовь к такому «художеству» (переодеваниям, перевоплощениям, оборачиваниям и т. д.) здесь ясно указывает, что и в нем «бес» (ср.: «оборотень»). Ведь это лицедейство никому, кроме самого лицедея, не в радость. Напротив, оно всегда, в конце концов, несет муку.

Подобно Плюшкину, Порфирий тоже хозяин «в своем роде-с» — хозяин и мертвых, и беглых душ. Одних, кто, как старуха процентщица и Лизавета, раньше времени отправлены на тот свет (жертвы преступления), и других, кто, как Расколь-

⁹ Там же. С. 119.

¹⁰ В сохранившихся черновиках к роману мещанин появляется и действует отдельно от Порфирия. О внешности его и свойствах характера здесь, однако, нет речи, так же как нет речи об актерстве Порфирия и его переодеваниях. Совершенно очевидно, что стадия разработки темы в черновиках предшествует новому, более оригинальному и эффектному повороту темы в окончательном тексте.

¹¹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 6. С. 128—129.

¹² Там же. С. 119.

ников, забежавший вслед за ними туда же, продолжает бегать (от суда и наказания) и на этом свете (преступники). Порфирий ловит в свои сети такие беглые души там и тут.

Среди реальных прототипов Порфирия, исполняющих ту же комически-инфернальную «должность» (напомню слова, сказанные Раскольниковым своему мучителю: «...видите, какая ваша должность комическая!» — 6, 273), несомненно, были те, с которыми Достоевский лично познакомился во время следствия по делу Петрашевского. Ведь эта «должность» предполагает подчинение чужой души своей власти, получение нужных сведений и признания всеми способами, правдами и неправдами, а стало быть, необходимо допускает нажим, одурачивание, психологические выверты и театральные эффекты.

Но за пределами личного опыта, каким бы широким он ни был, следует назвать по крайней мере одну фигуру, практиковавшую в своей «должности» те же приемы актерского мастерства, что и Порфирий, и послужившую, на мой взгляд, одновременно и литературным, и реальным прототипом героя Достоевского.

Это знаменитый Франсуа-Эжен Видок (1775—1857), сначала каторжник, а затем начальник Парижской тайной полиции, издавший в 1828 году, после отставки, «Записки...» о своей жизни и деятельности, которым сопутствовала громкая и скандальная известность. Они обратили на себя внимание Пушкина.

Сокращая рассуждение на эту тему, я воспользуюсь словами автора предисловия к русскому переводу этих «Записок...» издания 1877 года. Видок умел, говорит он, «вырывать тайны у чувствительных людей, $\langle ... \rangle$ притворяться и менять наружность во всякий час дня и ночи $\langle ... \rangle$ ни один актер не мог сравниться с ним в искусстве гримироваться и разыграть какую угодно роль; для него было игрушкой мгновенно изменить возраст, физиономию, манеры, язык и произношение. Даже при дневном свете, переодетый, он бесстрашно подвергался опытному глазу жандармов, полицейских комиссаров, тюремных сторожей и даже прежних соучастников, людей, с которыми жил и от которых ничего не имел тайного. Несмотря на свой высокий рост и дородность, он умел переодеваться даже женщиной...» и т. д. 13

Биограф Видока пишет: «Не раз видали Буффе (известного актера. — В. В.), разыгрывающим в один и тот же вечер "Парижского гамена" и "Отца Тюрлютютю", т. е. юношу и столетнего старика. Это, конечно, было удивительно, и редкий бы актер мог выполнить подобный контраст; но это все-таки происходило на театре, при свете ламп, на довольно значительном расстоянии даже от ближайшего зрителя; тогда как Видок принимал осанку, рост, физиономию, возраст и тон голоса, какой ему было нужно, среди белого дня, в непосредственном соприкосновении с прежними сообщниками и ворами по профессии, с жандармами, частными приставами и т.д. Сложение его было атлетическое, а между тем в шестьдесят лет он больше всего любил наряжаться женщиной!» 14 О подобных метаморфозах (не без хвастовства) Видок рассказывает в своих мемуарах.

Так, однажды, втершись в доверие к главарю одной из воровских шаек, он подхватил разговор, начатый тем о Видоке: «— ...Если тебя не знает Видок, то тебе бояться нечего, особливо со мной, я нюхом распознаю этих бездельников (...)

- Что до меня касается, сказал я, то я не так хитер. Впрочем, если б мне случилось встретиться с Видоком, то по описанию, которое мне о нем сделали, черты его так ясно запечатлелись в моем воображении, что я непременно тотчас же узнал бы его.
- Уж ты бы лучше помалкивал. Видно, что совсем не знаешь эту шельму! Представь себе, он изменяется по желанию. Утром, например, он одет как мы с то-

 $^{^{13}}$ Записки $Bu\partial o \kappa a$, начальника Парижской тайной полиции. Киев, 1991. Т. 1. С. 9—10. 14 Там же. Т. 3. С. 405.

бой; в полдень уж совсем не то, вечером опять другая статья. Не далее как вчера не его ли я встретил переодетого в генерала? Но шалишь — я не поддамся на эту удочку...» 15 И это он говорил Видоку, которого встречал не раз и, уж разумеется, постарался запомнить.

Поскольку актерство Порфирия соответствует характеру его профессии, у этого героя Достоевского, разумеется, были и другие реальные и литературные прототипы. В разновидностях жанра французского романа-фельетона 1840-х годов, в детективном жанре (романы Э. Сю, А. Дюма-отца, П. Феваля и др.) мы встречаем если и не вполне такие же фигуры сыщиков, то точно такие же приемы сыска.

© Н. Ф. Буданова

ПАЛОМНИЧЕСТВО «РУССКОГО СКИТАЛЬЦА»

Ключевые слова-понятия, слова-символы «паломничество», «странничество», «скитальчество», нередко вступающие между собой в сложные диалогические отношения, существенны для характеристики узловых проблем мировоззрения и творчества позднего Достоевского. Они имеют богатую семантику, иногда требующую дешифровки и осмысления на основе широкого историко-культурного контекста. Сказанное относится также к семантическому ряду: «паломник», «странник», «бродяга», «скиталец», «русский скиталец», «всечеловек».

Традиционное понимание паломничества (синоним: странничество) в его христианском аспекте — поклонение Гробу Господню и другим святыням Востока и Запада; для российского православного христианина это прежде всего Святая Земля, Константинополь, Афон, Киево-Печерская и Троице-Сергиева лавры, Оптина Пустынь и другие местные святыни.

В «Дневнике писателя за 1877 год» (июль—август) Достоевский характеризует распространенное на Руси с древнейших времен хождение паломников ко святым местам как черту историческую и национальную.

«С самого начала народа русского и его государства, с самого крещения земли русской, начали устремляться из нее паломники во святые земли, ко Гробу Господню, на Афон и проч. \(\lambda \). \(\rangle \) такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хождения ко святым местам он [народ] издревле еще высоко ценил. Сердцем его всегда влекло туда, — черта историческая. Люди без гроша, старики, отставные солдаты, старые бабы, совершенно не зная географии, уходили из селений своих с нищенскими котомками своими за плечами, и действительно, иногда после бесчисленных бедствий, достигали святых земель. \(\lambda \). \(\lambda \) Даже худые, дрянные люди, барышники и притеснители, получали нередко странное и неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом, исполнить давно данное обещание. Если не на Восток, не в Иерусалим, то устремлялись ко святым местам русским, в Киев, к Соловецким чудотворцам». \(\lambda \)

Достоевский расценивает хождение русского народа ко святым местам как покаянный, очистительный подвиг. По словам писателя, «Некрасов, создавая своего

¹⁵ Там же. Т. 2. С. 31.

 $^{^1}$ Достоевский Φ . М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 214—215. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием арабскими цифрами тома и страниц.

великого "Власа", как великий художник, не мог и вообразить его себе иначе, как в веригах, в покаянном скитальчестве» (25, 215).

Традиционное понимание паломничества получило у Достоевского художественное воплощение в образе странника Макара Ивановича (роман «Подросток»), а отчасти в интерпретации писателем некрасовского Власа (очерк «Влас» в «Дневнике писателя» 1873 года).

Однако у Достоевского можно найти и нетрадиционное, расширительное толкование паломничества, носящее символический характер. Цель паломничества — обретение святыни — становится и целью частного и общего жизнестроительства, поисками смысла жизни, высшей идеи (в том числе национальной), возможности достижения «земли обетованной», в которой «правда живет», построения «мировой гармонии» (в последнем случае мы уже вступаем в область эсхатологии и утопии).

Формулам чаемого общественного устройства: «золотой век», «мировая гармония», «русский социализм», «вселенская Церковь» и др. — противостоят у Достоевского в качестве антитезы и антиутопии формулы, символизирующие насильственное устроение человечества. Они также составляют семантический ряд («курятник», «муравейник», «хрустальный дворец», «шигалевщина», «царство Великого инквизитора» и некоторые др.).

И если Макар Долгорукий является странником, паломником в прямом смысле этого слова, то иной, символический, характер носит «странничество» русской интеллигенции, увлеченной, по мнению Достоевского, ложными западническими идеалами и утратившей кровные связи с родной почвой и верой. Ей еще только предстоит обретение подлинной святыни.

K «странникам» подобного рода относятся: «общечеловек», «gentilhomme russe et citoyen du monde» (вариант: «du monde civilisée»), у «русский скиталец». Они образуют новый семантический ряд.

Характерно, что для Аркадия Долгорукого, ищущего руководящей идеи жизнестроительства, понятие «бродяга» ассоциируется не со странником Макаром Ивановичем, обладающим внутренним и внешним «благообразием», а с представителями «культурного слоя», которым присущи безверие, идейная и нравственная «шатость».

«Уверяю вас, — обратился я (Аркадий. — H. E.) вдруг к доктору, — что бродяги — скорее мы с вами, и все, сколько здесь ни есть, а не этот старик, у которого нам с Вами еще поучиться, потому что у него есть твердое в жизни, а у нас, сколько нас ни есть, ничего твердого в жизни...» (13, 300—301).

Для обозначения идейных и духовных исканий и блужданий русской интеллигенции Достоевский прибегает к символу «скитальчество».³

Идейно-художественная концепция «русского скитальца» и «скитальчества» как характерного национального типа, менталитета и явления, сформулированная Достоевским в Пушкинской речи (1880), была во многом подготовлена как его собственным творчеством, так и предшествующим развитием русской и западноевропейской литератур, где нередко встречается образ скитальца и варьируется мотив скитальчества героя.

Разумеется, понятие «скитальчество» (и не только в прямом, но и в переносном смысле) носит интернациональный характер.

В числе возможных литературных источников этого символа у Достоевского ученые называли, в частности, произведения Д. Байрона («Паломничество Чайльд-Гарольда»), М. Сервантеса («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанче-

² «Русский дворянин и гражданин (цивилизованного) мира» (фр.).

³ Специального внимания требует проблема народного паломничества, странничества, скитальчества, бродяжничества, почти не затронутая в настоящей статье.

ский»), Ч. Р. Метьюрина («Мельмот Скиталец»), Э. Сю («Вечный жид»), А. С. Пушкина («Цыганы», «Евгений Онегин», «Медный всадник» и др.), М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), А. И. Герцена («Кто виноват?»), И. С. Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо», поэма «Разговор»), Ап. А. Григорьева («Мои литературные и нравственные скитальчества») и др. Предпочтение, однако, в данном случае следует отдать русским источникам, так как Достоевского интересует скиталь*чество* как русское национальное явление, подтверждением чему служат перечисленные в Речи «скитальцы» — персонажи произведений названных выше русских писателей — Алеко, Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, Лаврецкий и др. Честь первооткрывателя типа «русского скитальца» Достоевский приписывает Пушкину, который первым в русской литературе художественно воплотил в образах Алеко и Онегина «отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший нал родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего» (26, 129).

Генетически тип «русского скитальца» в Речи о Пушкине восходит во многом к типу «лишнего человека», как литературного, так и исторического, т. е. к передовой либерально-демократической русской дворянской интеллигенции 1830—1840-х годов западнической ориентации. Отношение Достоевского к этой интеллигенции претерпело известную эволюцию: от отрицательного в 1860-х—первой половине 1870-х годов до примирительного, даже сочувственного в период Речи о Пушкине, когда представители этой интеллигенции были названы «русскими скитальцами», а их мучительное скитальчество в «родной земле» и по Европе в поисках высшего идеала и «мировой гармонии», расценивавшееся ранее Достоевским как бесцельное шатание, было признано исторически закономерным, хотя и трагически безуспешным (вследствие отрыва от родной «почвы» и народной веры) этапом в поступательном развитии человечества. Как известно, переоценка идейного наследия «отцов», поколения 1830-х и 1840-х годов, совершилась в 1870-е годы и в русской критике.

Смягчившееся и даже сочувственное отношение автора Речи к «русским скитальцам», передовым русским западникам, во многом было обусловлено теми идеологическими целями, которые преследовал Достоевский. Основное значение своей Речи он усмотрел в том, что в ней был сделан окончательный шаг к примирению славянофилов и западников. Достоевский и славянофилы признали «всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали — исторической необходимостью, историческим фатумом...» (26, 133). В итоге, по словам Достоевского, «западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренно любили русскую землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений "русских иноземцев"» (там же).

Когда же стало очевидным, что ожидаемое примирение между славянофилами и западниками не состоялось, Достоевский в полемике с публицистом А. Д. Градовским лишил «скитальцев» почти всех привлекательных черт и заострил отрицательные.

Важными этапами в формировании концепции «русского скитальца» и «скитальчества» в Речи о Пушкине являются роман «Подросток» и «Дневник писателя».

В «Подростке» своеобразным «русским скитальцем» предстает Версилов, основным реальным прототипом которого явился исторический «скиталец» А. И. Герцен. В разъяснении Версилова, «русскому скитальцу» присущи «всемир-

ное боление», мечта о «мировой гармонии», «общечеловеческом единении», «всепримирении идей». «Скитальчество» (без практического дела) осмысляется Версиловым как служение великой идее, а потому приравнивается к общеполезной деятельности.

«Русская высшая мысль», пионером которой сознательно выступает Версилов от имени «тысячи» представителей русского «культурного слоя», по мнению Версилова, бессознательно живет в многомиллионном русском народе. «Знают о ней (идее всечеловеческого единения. — Н. Б.) в России — мы, тысяча человек — сознательно, — говорит Версилов, — а очень многие пока лишь страстной и сильной грезой, даже инстинктом. Даже в черном народе, в Макаре, это можно легко приметить: есть какой-то иск, какая-то греза об общечеловеческом примирении» (17, 149).4

Тем самым трагическое «скитальчество» русской интеллигенции в поисках правды и «мировой гармонии» неожиданно сближалось со странничеством народных правдоискателей Власов и Макаров и перерастало в своеобразное национальное явление.

В образах «трагического скитальца» Версилова и народного странника Макара Ивановича Достоевский выражает свою заветную мечту о соединении интеллигенции с народом. Очевидно, будущая идея Аркадия должна представлять собой синтез идей — «высшей русской культурной мысли» (Версилов) и «народной правды» (Макар Иванович). «Народная правда сольется с нашею, и мы пойдем вместе» (16, 431) — эти слова Версилова в черновиках к «Подростку» выражают сокровенную мечту автора «Братьев Карамазовых» и Пушкинской речи.

Обратимся теперь к лексемам «общечеловек», «gentilhomme russe et citoyen du monde» и «всечеловек», чтобы раскрыть содержание этих понятий, которое также изменялось.

В публицистике Достоевского начала 1860-х годов «всечеловеческое» и «общечеловеческое» — синонимы. Так, например, в статье «Г-н—бов и вопрос об искусстве» (1861) Достоевский писал: «...мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловечностью. (...) Мы даже думаем, что чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию» (18, 99).

Разграничение понятий «общечеловеческое» и «всечеловеческое» начинается у Достоевского с начала 1870-х годов. Произошло это, скорее всего, под влиянием идей Н. Я. Данилевского, книга которого «Россия и Европа» («Заря». 1869—1870; отд. изд.: СПб., 1871) была высоко оценена Достоевским. В главе «Отношение народного к общечеловеческому» Данилевский, в частности, писал: «...общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможною неполнотою. Иное дело — всечеловеческое, которое надо отличать от общечеловеческого; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать; оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности; действительность его может быть только разноместная. Общечеловеческий гений не тот, кто выражает — в какой-либо сфере деятельности — одно общечеловеческое, за исключением всего национально-особенного (такой человек был бы не гением, а пошляком в полнейшем значении этого слова), а тот, кто, выражая вполне, сверх общечеловеческого, и всю свою национальную особенность, присоединяет к

⁴ Подробнее об этом см.: *Кийко Е. И.* Русский тип «всемирного боления за всех» в «Подростке» (по материалам чернового автографа) // Русская литература. 1975. № 1. С. 155—161.

этому еще некоторые черты или стороны, свойственные другим национальностям, почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, хотя и никогда в такой же степени, как своему народу». Таких выдающихся художников, каковы Шекспир, Гомер и Софокл, по мнению Данилевского, «правильнее было бы назвать не общечеловеческими, а всечеловеческими гениями, хотя, собственно говоря, был только Один Всечеловек — и Тот был Бог». 6

В «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы понятия «общечеловеческое» и «всечеловеческое» снова употребляются нередко как синонимы. Так, например, в «Дневнике писателя за 1876 год» читаем: «...всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского» (23, 31; ср. в записной тетради Достоевского 1876—1877 годов: «Мы настолько же русские, насколько и европейцы, всемирность и общечеловечность — вот назначение России» — 24, 309). Однако употребление лексемы «общечеловек», появившееся у Достоевского уже с начала 1860-х годов для обозначения русского либерального западника — космополита, утратившего вследствие увлечения внешним, поверхностным европеизмом кровные связи с родной почвой и народной верой (Православие), сохраняется.

Близкое содержание Достоевский вкладывал первоначально и в лексему «gentilhomme russe et citoyen du monde (civilisée)».

Формула эта, впервые появившаяся в романе «Бесы» (этими словами Кириллов подписывает свое предсмертное письмо), получила раскрытие в «Дневнике писателя» 1873 года (статья «Старые люди»), где разъясняется, что «gentilhomme russe et citoyen du monde» — это «тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться» (21, 8). Характеризуя А. И. Герцена, Достоевский пишет, что «всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами» (21, 9). Из приведенного текста очевидно, что «gentilhomme russe et citoyen du monde» по существу синоним русского либерального западника, или «общечеловека».

Однако уже в романе «Подросток» находим иную, сочувственную характеристику gentilhomm'a: в представлении Версилова gentilhomme, т. е. русский дворянин, — это «тип, отдающий всё и становящийся провозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли "всесоединения идей"» (13, 388). По существу, это уже предвосхищение характеристики «русского скитальца» и «всечеловека».

Изменившееся с середины 1870-х годов содержание этих формул отражало, как уже упоминалось выше, эволюцию в отношении Достоевского к русской либеральной интеллигенции западнической ориентации: оно становилось все более примиряющим.

Подобной корректировки требовала и окончательно формировавшаяся в 1870-е годы русская национальная идея как идея общечеловеческого примирения и единения.

В Речи о Пушкине Достоевский следующим образом раскрывает понятия «всечеловеческий» и «всечеловек»: «Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? (...) Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите (...) наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой брат-

⁵ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 123.

⁶ Там же.

 $^{^7}$ «Русская идея Достоевского, — полагает А. Гулыга, — это воплощенная в патриотическую формулу концепция всеобщей нравственности» (Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 2003. С. 105).

ства и братского стремления нашего к воссоединению людей» (26, 147. Слова: «в конце концов, это подчеркните» выделены курсивом мной. — *Н. Б.*).

Итак, «всечеловек» (синоним: «брат всех людей») в интерпретации Достоевского — это русский национальный тип (в идеале, в его будущем развитии), в наделенный чертами «всемирного боления», носитель идей братства и единения людей, мирного (христианского) разрешения противоречий.

Путь «русского европейца» к искомой цели — христианскому братству — это путь от «общечеловека» к «всечеловеку». 9

В заключение отмечу, что «всечеловек», «мировая гармония» и «всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее» (27, 19) — это и итог «скитальчества» самого Достоевского, его великая христианская утопия.

Эсхатология Достоевского, не вылившаяся в законченные формы, требует осторожного подхода. Несомненно, однако, что финал мировой истории писатель связывал — согласно христианскому вероучению — со Вторым Пришествием Христа, которое откроет новую эру в истории человечества.

Какое содержание вкладывал писатель в понятие «вселенская Церковь»?

В «Дневнике писателя» 1881 года Достоевский отмечает особый характер русского «социализма»: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!» (там же). По мысли Достоевского, главной («высшей единительно-"церковной"») идеей русского народа является «чаяние им грядущей и зиждущейся в нем, судьбами Божьими, его Церкви вселенской» (там же).

Близкое понимание «вселенской Церкви» как вселенского христианского братства Достоевский раскрывает в полемике с публицистом А. Д. Градовским по поводу Речи о Пушкине. Напомнив своему оппоненту о первых веках христианства, Достоевский пишет: «Начались христианские общины-церкви, затем быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле национальность — всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской Церкви» (26, 169).

Мечта писателя о вселенском братстве хотя бы в конце времен, в финале мировой истории, опиралась на апокалипсические пророчества о «тысячелетнем Царстве» Христа, о «новом небе и новой земле», в которой «правда живет» (Откровение св. Иоанна Богослова. Гл. 20—21).

Возможно, этот завершающий период мировой истории Достоевский имел также в виду в черновом наброске статьи «Социализм и христианство» (1864), где им были намечены три этапа в истории человечества: начальный — патриархальные общины, переходный — цивилизация и высший, финальный этап в поступательном развитии человечества — христианское братство. Путь к последнему был указан Христом, «вековечным от века идеалом, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек» (20, 172). В финале этого пути — добровольное, свободное возвращение в массу высокоразвитой личности. «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне осознать свое $\mathfrak x$ — и отдать это всё самовольно $\partial \mathfrak A\mathfrak B$ всех» (20, 192). $\mathfrak I^{10}$

⁸ Это следует подчеркнуть, так как нередки обвинения Достоевского в национализме и шовинизме. Последним недостатком страдает, в частности, содержательная монография американского исследователя Д. Сканлана «Достоевский как мыслитель» (СПб., 2006).

⁹ См. также: *Буданова Н. Ф.* От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всечеловеку» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 200—212.

¹⁰ Близкую характеристику «высокоразвитой личности» (с безусловной ориентацией на Христа как идеал) находим также в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) и записи Достоевского от 16 апреля 1864 года по поводу смерти его первой жены Марии Дмитриевны. Ср.: «Между тем после появления Христа, как и∂еала человека во плоти, стало ясно как день,

Творчество Достоевского глубоко христоцентрично, и если рассматривать его как некую знаковую систему, то Христос, Его Личность и Слово — самый надежный ключ к этой системе.

что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. $\langle \ldots \rangle$ Таким образом закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии оба, и я и все (по-видимому две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо» (20, 172).

ИВАН КОНЕВСКОЙ — ПОЛЕМИСТ

(ПРЕДИСЛОВИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ © А. В. ЛАВРОВА)

Альманах «Северные цветы на 1901 год» был первым коллективным детищем московского символистского издательства «Скорпион», призванным заявить о «новом» искусстве как сформировавшемся и внутренне консолидированном направлении. Главным инициатором этого и последующих альманахов под тем же заглавием был Валерий Брюсов. По словам вдовы поэта, И. М. Брюсовой, вспоминавшей в 1948 году о работе над альманахом, руководителя «Скорпиона» С. А. Полякова в этом деле занимали в основном вопросы оформления «Северных цветов», «в сборе же материалов, подборе сотрудников и т. д. большую роль играл В. Я. Брюсов (...) первый альманах создавался фактически за чайным столом в доме поэта». 1

В «Северных цветах» Брюсов стремился сплотить все, с его тогдашней точки зрения, жизнеспособные силы русской литературы, противостоявшие эстетическому и идейному консерватизму. Помимо своего ближайшего московского, «скорпионовского» литературного круга, он намеревался привлечь в альманах петербургских модернистов, поэтов старшего поколения, связанных с традицией «чистого» искусства, и «предсимволистов» (К. К. Случевский, К. М. Фофанов и др.), а также наиболее крупных и талантливых писателей, работавших в реалистической традиции, но многими своими особенностями противостоявших идейному «утилитаризму», «направленчеству» и натуралистической бытописательности (Чехов, М. Горький, Бунин). Объединительный лозунг «Северных цветов» был предельно общим и широким: «Мы желали бы стать вне существующих литературных партий, принимая в свой сборник все, где есть поэзия, к какой бы школе ни принадлежал их автор», 2 — поэтому и по составу участников первый альманах был довольно пестрым: в нем встретились уже признанные символисты (Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб) и поэты, не принадлежавшие к школе «нового» искусства, хотя до известной степени и смыкавшиеся с нею (Случевский, Фофанов, М. А. Лохвицкая), а также Чехов и Бунин; начинающие модернисты и такие случайные авторы, как Л. Г. Жданов и А. М. Федоров.

Используя при формировании «Северных цветов» объединительную тактику, Брюсов вовсе не добивался того, чтобы авторский коллектив альманаха воспринимался как некое монолитное единство. Элементы несходства в идейных и эстетиче-

¹ Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала XX века // Книга. Исследования и материалы. М., 1960. Сб. III. С. 308—309.

² Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1901. С. $\langle V \rangle$

ских позициях участников, сосуществование различных взглядов на тот или иной предмет он воспринимал как показатель подлинного достоинства той литературной группы, которая была движущей силой этого начинания, как гарантию ее живых творческих возможностей. Критика, и порой весьма резкая, в адрес представителей «своего» литературного лагеря не исключалась Брюсовым, а даже предполагалась его стратегическими планами: внутренняя полемика могла послужить стимулом к развитию и обогащению духовно-эстетического базиса «нового» искусства. Позднее он шутливо замечал, что «бранить своих сотрудников (...) — давняя привилегия "Скорпиона" (см. "Северные цветы")». «Искренно высказанное мнение, новое и сознательное, имеет право быть выслушанным», — говорилось в редакционном предисловии ко второму выпуску «Северных цветов». 4

Уже в первом альманахе Брюсов рискнул напечатать отзыв, вполне согласовавшийся с впечатлениями от «декадентской» литературы тогдашнего подавляющего читательского большинства, — письмо князя А. И. Урусова (1900), в котором книга Бальмонта «Горящие здания» расценивалась крайне отрицательно («Mania grandiosa, кровожадные гримасы $\langle ... \rangle$ Книга производит впечатление психиатрического документа»), а об Александре Добролюбове и Брюсове было замечено, что «это уж — начистоту! из клиники душевнобольных». Там же появилась и полемическая статья И. Коневского «Об отпевании новой русской поэзии», содержавшая возражения на критическое выступление З. Гиппиус в «Мире Искусства».

Иван Коневской (псевдоним И. И. Ореуса), по силе и яркости своих творческих задатков выдерживавший сравнение с самыми крупными мастерами русского символизма, но безвременно погибший летом 1901 года в возрасте 23 лет, был к тому времени автором первой — и единственной опубликованной при жизни — книги стихов и медитативной прозы «Мечты и Думы» (1900), которая была издана незначительным тиражом и не вызвала тогда заметного читательского резонанса, и участником коллективного сборника «Книга раздумий» (1900), включавшего подборки стихотворений четырех авторов (кроме Коневского, также Бальмонта, Брюсова и Модеста Дурнова). Стихи Коневского, однако, еще при его жизни получили признание в узком кругу ценителей, среди которых едва ли не самым увлеченным и последовательным был Брюсов: познакомившись с их автором в декабре 1898 года, он вступил с ним в интенсивную переписку и всячески содействовал ему на пути в литературную жизнь. Публикация в «Северных цветах» статьи «Об отпевании новой русской поэзии» стала первым печатным выступлением Коневского в роли критика-полемиста.

Удивительно раннее духовное и творческое самоопределение, редкая в юношеском возрасте эрудиция и глубина познаний рождали в Коневском непререкаемую убежденность в правильности и адекватности своих восприятий и оценок, которая ни в малой мере не корректировалась отсутствием опыта «внешней» литературной деятельности и сколько-нибудь определившейся индивидуальной писательской репутации. Подмеченная Брюсовым «излишняя докторальность, учительность речи — но это от юности» 7 — парадоксальным образом сочеталась у Коневского с неумением общаться с людьми. «Коневской был в равной степени застенчив и безмерно самоуверен, — вспоминает П. П. Перцов. — $\langle \dots \rangle$ Застенчив Коневской был

 $^{^3}$ Письмо к К. И. Чуковскому от 16 октября 1906 года // Чуковский Корней. Из воспоминаний. М., 1959. С. 437.

⁴ Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902. С. (V).

⁵ Северные цветы на 1901 год. С. 168.

⁶ См.: Переписка ⟨В. Я. Брюсова⟩ с Ив. Коневским (1898—1901) / Вступ. статья А. В. Лаврова. Публикация и комментарии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // Лит. наследство. 1991. Т. 98. Кн. 1. Валерий Брюсов и его корреспонденты. С. 424—532.

⁷ Брюсов Валерий. Дневники. 1891—1910. (М.), 1927. С. 76.

до того, что, придя ко мне $\langle ... \rangle$ переговорить об издании его сборника, он от смущения не мог ничего сказать, не закрывая лица руками, как красная девица, — и, наконец, повернулся ко мне спиной, потому что только в такой позе мог еще поддерживать связную речь. В то же время он был абсолютно уверен в каждой своей строке, в каждом своем слове и не допускал никакого разговора о возможных переменах в написанном им». 8 Та же самоуверенность, которая, возможно, в какой-то мере служила компенсацией поведенческих психологических синдромов, отличает высказывания Коневского по вопросам, касающимся текущей русской литературы. «Симпатии и антипатии самого Коневского, — продолжает Перцов, — распределялись как-то своеобразно и по мало понятным мотивам. Так, он вдруг возненавидел З. Н. Гиппиус, и в такой степени, что доходил до странных и даже не совсем нормальных поступков: прокрадывался по вечерам (вероятно, отчаянно борясь со своей застенчивостью) на лестницу дома, где жили Мережковские, и подбрасывал к их двери бранные памфлеты на Зинаиду Николаевну (...) Трудно решить, чем объяснялась такая идиосинкразия. Правда, Зинаида Николаевна тогда нападала на страницах "Мира Искусства" на "декадентов", под которыми она разумела всех молодых авторов символической школы, кроме себя. Это разделение на агнцев-символистов и козлищ-декадентов, неясное никому, кроме нее самой, составляло всегда слабую струнку Зинаиды Николаевны (...). Но никто, кроме Коневского, не впечатлялся так этими нападками».9

Статья Коневского «Об отпевании новой русской поэзии (Общие суждения 3. Гиппиус в №№ 17—18 Мира Искусства 1900 г.)» — единственное доведенное до печати свидетельство этого полемического противостояния. Написана она была по поводу статьи Гиппиус «"Торжество в честь смерти". "Альма", трагедия Минского», но основного ее содержания — критического анализа пьесы Минского, вышедшей в свет отдельным изданием в марте 1900 года, — не затрагивала. Предметом отповеди Коневского стала данная Гиппиус суммарная оценка современного русского «декадентства». «Я даже не знаю, — писала Гиппиус, касаясь в самой общей форме состояния отечественной литературы, — есть ли у нас "чистые" декаденты и где они. Едва ли может иметь значение поэзия Брюсова, Добролюбова или Бальмонта. $\langle ...
angle$ Но вообще у декадентов, индивидуалистов и эстетов не только нет нового, но даже полное забвение старого, старой, бессознательной мудрости. Они убили мысль совершенно откровенно, без стыда, но не заменили ее "вопросами", как либералы, а остались так, ни с чем. Это — нездоровые дети, которые даже играть не любят и не ищут игрушек. Их наслаждения, их эстетика не дает им никакой отрады, ибо они не знают ни прошлого, ни будущего, а только более чем — несуществующий — настоящий момент. И все им скучно, бедным, недолговечным детям, все им противно, все не по ним». 10

Коневской решительно выступил в защиту «нездоровых детей». В новейшей литературе, которую общественное мнение считает «декадентской», он видит «богатые, стремительные и стройные силы», а наиболее красноречивое воплощение наблюдаемых Гиппиус негативных тенденций обнаруживает в ее собственном поэтическом творчестве: «С улыбкой поживем, и увидим, кто кого переживет — печальная ли пестунья, которой совсем нет мочи и тошно тянуть жизнь, (...) или балующиеся и беснующиеся ребятишки, которые раздражают ее своими козлиными прыжками». 11 Развернутая система аргументации, выдвинутая Коневским, произвела впечатление не только на автора «Торжества в честь смерти». Во второй поло-

⁸ Перцов П. П. Литературные воспоминания 1890—1902 гг. М., 2002. С. 188.

⁹ Там же. С. 189.

¹⁰ Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 87.

¹¹ Северные цветы на 1901 год. С. 181, 188. Статья переиздана в кн.: *Коневской (Ореус) Иван.* Мечты и думы. Стихотворения и проза / Предисловие, составление, комментарии Е. И. Нечепорука. Томск, 2000. С. 295—301.

вине февраля 1901 года Брюсов информировал Коневского: «Перцов пишет мне: "Прочел статью Ореуса «Отпевание»; он сам прислал ее с «добавлением» неистово-яростных «поносных слов» (его терминология, м(ожет) б(ыть), чрезмерно физиологического характера). Но статья замечательна. И Мережковские и я равно ею пленены (при всем несогласии). Язык косноязычен, мысль — безумна, но сила и меткость исключительна. Я всегда надеялся на Ореуса, не как на поэта"». 12 И далее следовало предложение — безусловно, стимулированное отзывом из цитированного письма: «Не предпочтете ли Вы напечатать в "Сев (ерных) цвет (ах)" это "Отпевание" вместо статьи о Лафорге? так как статья о Лафорге может быть напечатана и позже, через год, а "Отпевание" имеет и значение для минуты, надо, чтобы ответ был сказан, когда не замолкла речь, на которую он отвечает». 13

Коневской согласился на это предложение. «Мы получили "Отпевание", — сообщал ему Брюсов в недатированном письме. — Но где же прибавленные "поносные слова"? где то, что прибавлено после статьи ее о А. М. Добролюбове? Если это есть, пожалуйста, пришлите скорей». З марта Коневской отвечал: «Дополнение рго domo sua печатать лишнее: оно было написано, чтоб отвести себе душу», 14 — но в следующем письме все же привел «Дополнительную заметку», пояснив, что «это — краткое извлечение и развитие мыслей, касающихся собственно А. М. Д. Все остальное, как сказано, pro domo sua». 15 Эту заметку Брюсов в «Северных цветах» не опубликовал: помимо критики в адрес Гиппиус, она содержала также негативную оценку «Мира Искусства» в целом (литературный отдел которого «давно являет зрелище пустыни») и его ближайших сотрудников, и столь однозначно резкие выпады были сочтены, по всей видимости, для печати непригодными.

«Дополнительная заметка» в основной своей части представляла собой краткую версию сравнительно пространного текста под заглавием «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua», над которым сделана помета: «Дополнение» (подразумевается — дополнение к статье «Об отпевании новой русской поэзии»). Написано было это «дополнение» по выходе в свет январского номера «Мира Искусства» за 1901 год, в котором была помещена статья Гиппиус «Критика любви. Декаденты-поэты»: лаконичная критика «декадентства», данная в статье об «Альме» Минского, в новой статье была продолжена критикой развернутой, предпринятой главным образом на материале «Собрания стихов» Александра Добролюбова (1900), изданного «Скорпионом» с предисловиями Коневского и Брюсова. В статье было впервые рассказано о Добролюбове — самом «крайнем» и убежденном «декаденте» и «самом неприятном, досадном, комичном стихотворце последнего десятилетия» 16 — на основе впечатлений от личного знакомства и с сообщением сведений о его жизни и об уходе из петербургской образованной среды. При всем сочувствии, с которым осмыслялся в статье страннический путь Добролюбова в плане религиозного искания, общая оценка поэта в его «декадентской» ипостаси была однозначно негативной: «Стихи его, конечно, — не стихи, не литература, они и отношения к литературе, к искусству, никакого не имеют. Было бы смешно критиковать их, судить, — хвалить или бранить. Это просто крики человеческой души $\langle \ldots
angle$ ». 17 Аналогичную характеристику получило и предисловие Коневского: в его сочинителе Гиппиус увидела «духовного брата» Добролюбова. Думается, что именно уничижи-

 $^{^{12}}$ Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 525. Брюсов неточно процитировал письмо Перцова от 17 февраля 1901 года (РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 7).

¹³ Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 525. Статья «Предводящий протест новых поэтических движений (Стихи Лафорга)» была впервые опубликована в кн.: Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. 170—189.

¹⁴ Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 527.

¹⁵ Там же. С. 529.

¹⁶ Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30.

¹⁷ Там же. С. 31.

тельная тональность, в которой формулировала Гиппиус свои доводы и приговоры, вызвала у Коневского наибольшее возмущение. Поэт не мог простить высокомерного тона и дистанцированного подхода автора статьи к «декадентству»; в ответ на отрицание творческих способностей у одного из самых ярких и радикальных выразителей новейших эстетических исканий он обвиняет Гиппиус в неспособности к внятной, логически выстроенной и доказательной критической аргументации.

Полемические ноты в адрес Гиппиус содержит и заметка Коневского «Альма, трагедия Минского». В характере героини этой «трагедии из современной жизни», идущей путями духовного самосовершенствования и стремящейся к абсолютной, неземной свободе, не без оснований распознавали черты духовно-психологического облика Гиппиус. В Пьеса Минского вызвала у Коневского и Брюсова сходные оценки. «"Альму" если судить судом праведным, должно осудить, — писал Брюсов Коневскому во второй половине апреля 1900 года. — Какой-то свод общих мест из новой поэзии, заранее все наизусть знаешь, каждое предложение словно краденое», — на что его корреспондент отвечал (3 мая): «"Альма" производит, точно, очень неприятное впечатление своей программностью, рекламностью, блеском и лоском в отделке речей и вообще глубоким техническим опытом и навыком в подделке под целый строй чувств, сущность которых тем не менее ни на одну минуту не проходит в душу писателя». 19

Высказаться в более развернутой форме об «Альме» Коневского побудил опять же Брюсов, предложивший ему написать рецензию об этой пьесе для критического отдела будущих «Северных цветов», 20 а вышедшая к тому времени пространная статья Гиппиус «"Торжество в честь смерти". "Альма", трагедия Минского» дала дополнительный стимул к развертыванию собственных суждений в полемическом противостоянии с формулировками, содержащимися в ней. Как и Гиппиус, Коневской находил в «Альме» определенную заданность и схематизм (Гиппиус отмечала, что герои трагедии — полупризраки: «Минский не умеет рисовать "типы" $\langle ... \rangle$; он только умеет рассказывать о своей душе» ²¹), но, в отличие от Гиппиус, противополагавшей «смерти без воскресения» у Минского свой искомый религиозный идеал, признавал самодостаточность писателя в исповедании собственного кредо, «декадентская» субстанция которого оставалась непреодоленной. Заметка Коневского об «Альме» была передана Брюсову (вероятно, во время пребывания последнего в Петербурге с 3 по 6 ноября 1900 года, куда он приезжал с целью сбора материалов для «Северных цветов» и встреч с их предполагаемыми участниками), но опубликована в альманахе не была. К такому решению редакции Коневской был готов: «Предвижу, что мои рецензии вылетят в трубу из соображений "этикета"», — писал он Брюсову 20 ноября 1900 года²² (помимо рецензии на «Альму», Коневской представил «краткую эпиграмму» на «Горящие здания» Бальмонта, еще более резкую по своим оценкам и в «Северных цветах» также не напечатанную 23).

Ниже впервые публикуются две полемические заметки Ивана Коневского: «Альма, трагедия Минского» — по автографу, сохранившемуся в архиве Брюсова в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 10); «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua» — по автографу, сохранившемуся в архиве Коневского в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2. Ед. хр. 2).

¹⁸ См.: Сапожков С. В. Поэзия и судьба Николая Минского // Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 61—62 («Новая Библиотека поэта»).

¹⁹ Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 489, 491.

²⁰ См. письмо Брюсова к Коневскому (середина октября 1900 года) ∥ Там же. С. 514.

²¹ Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 91.

²² Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 519.

²³ Впервые опубликована в примечаниях к цитированному письму (Там же. С. 520).

АЛЬМА, ТРАГЕДИЯ МИНСКОГО

Лучшее, что можно сказать об этой трагедии, это — что она в высшей степени остроумна: все лица в ней говорят «как по писаному», разрабатывая с математической последовательностью целые гаммы систем, какие теперь в ходу и в мысли, и в поэзии; разрабатывают они их как в теории, так и на практике, в «общественных отношениях». Но еще важнее отметить, что это — книга, которая может занять самое фальшивое положение в современной литературе, потому что она такого охвата, как будто представляет памятник целого века настроений и мировоззрений, и в сущности, вся она и состоит ни из чего, как из разных Schlagwörter,* поговорок, которые будут подхвачены всякими «публицистами» и припрятаны в том запасе ярлычков, который им необходим для того, чтоб «клеймить» явления духовной жизни. Между тем на выражение этих присловий можно любоваться за их умную меткость, но, конечно, все направления новой мысли и новых сердец нашли в них себе только схематические формулы, и ни одно из них не пережито недрами и кровью. Это — вроде «новых стихотворений» Мережковского¹ — карманный указатель модных «тезисов». Ни речи Альмы, ни речи Веты, ни речи Будаевского даже не лирика автора, не излияние его души; он здесь даже не говорит о своей «Психее», как думает З. Гиппиус в своей критике на эту драму в № 17—18 «Мира Искусства».² Но, жаждя слов «о важном и вечном»,³ жаждя всякой догматики и правил на знаменитую тему — «что делать», она не могла не увлечься этим новым уложением жизни, признала его даже каким-то одиноким столпом в нашей литературе, в которой, по ее мнению, оказывается, «хоть шаром покати». Прискорбное увлечение, лишний раз доказывающее пагубу искания поучений для задач искусства! Итак, по нашему мнению, чувства и поступки лиц в частных случаях этой драмы не коснулись души поэта. Но тот, по крайней мере, идеал, за который быется Альма, это — давнишний идеал его, вновь обстоятельно и широко формулированный. Это — идеал безусловной бесконечности, которая, отрицая все известное, частное, не может совместить с бесконечностью даже бытия, и таким образом отрицает и самое себя, и выдыхается в пустоту. В этом идеале отрицательной «свободы», во имя которой Альма срывает с себя всякую любовь, и боязнь, и вражду, ко всему, у чего есть концы, решается на все и отрешается от всего, в нем, конечно, все тот же «мир несуществующий и вечный», 5 ради которого мир «возникает» и обрекается «стремлению вечному к жертве». В нем — свобода, потому что нет личностей и предметов, нет представлений, нет понятий, значит, нет пределов, ни положения в точке, ни передвижения из точки в точку. Значит, о нем нельзя ничего сказать разумным словом, потому что всякое понятие есть предел, положение только в этой точке, а не в той, всякое умозаключение есть движение, ход, который если попал в эту точку, уже не есть в той. Разум, слово тождественны с концами и пределами, с пространством и с временем, и потому о том мире, которого жаждет поэт Альмы, ни сказать, ни помыслить нельзя просто ровно ничего. Это то самое, «чего не бывает», «чего нет на свете», как еще прямее и безраздумнее воскликнула нынешняя строгая наставница этого поэта, в той же критике противополагающая ему свой «догмат». В Таков рассмотренный до крайних своих следствий «Бог», исчезнувший «Бог» его. Повторяем, что все происходящие среди людей и живых предметов борьбы Альмы за этого Бога, конечно, не более как мастерской логический и драматический механизм. Но анализ связей этого механизма занимателен, и зрелище его отправлений изящно.

Иван Коневской.

^{*} Меткие слова; лозунговые выражения (нем.).

- 1 «Новые стихотворения. 1891—1895» (СПб., 1896) книга Д. С. Мережковского.
- ² В статье «"Торжество в честь смерти". "Альма", трагедия Минского» 3. Гиппиус пишет: «Альма, героиня, не живая еще, не живет сама для себя, потому что она только душа, Психея Минского. Она и живет, как душа, с ним, в нем, а не одна, потому что у нее нет своего тела. ⟨…⟩ И если мы будем требовать от Альмы жизни и трепета мы дальше не пойдем и не узнаем, как живет Психея автора, его по-своему живая душа, которую он ведет по мытарствам (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 88).

³ В той же статье Гиппиус утверждает, что в «Альме» Минский пишет «о важном и вечном»: «Минский думает и говорит о самом важном, единственном, о чем следует думать и говорить, — то есть о человеке и о Боге, о жизни внутренней и внешней в их возможном (или невозможном) соединении, о воплощении духа, об одухотворении плоти, — о смысле и цели жизни…» (Там же).

4 Статья Гиппиус открывается общими ламентациями относительно современного состояния русской литературы: «...теперешняя "как бы" литература, в которой не могут родиться ни гении, ни таланты, потому что малое не может родить великое, — разве случайно, — и потому что ни гении, ни таланты такой литературе совсем не нужны», и т. д. (Там же. С. 85).

⁵ Образ из программного стихотворения Минского «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...» (1887): «...всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли // Какой-то новый мир мерещился вдали — // Несуществующий и вечный». См.: Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. С. 153.

6 Образы из стихотворения Минского «Песня песен» («Нет многих песен, — есть одна...», 1896): «Под эту песню мир возник // И возникает каждый миг, ⟨...⟩ Неиссякаем и велик // Стремленьем вечным к жертве» (Там же. С. 188). Коневской цитирует и интерпретирует это стихотворение в статье «Стихотворная лирика в современной России» (1897). См.: Писатели

символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 95.

7 Формулы из стихотворения З. Н. Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею...», 1893; первая публикация: Северный Вестник. 1895. № 12. С. 206): «О, пусть будет то, чего не бывает»; «Мне нужно то, чего нет на свете». См.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 75 («Новая Библиотека поэта»). В статье «Об отпевании новой русской поэзии» Коневской писал о Гиппиус: «Нет более страшных памятников этого чистого отрицания в нашей поэзии, чем ее Песня: "Мне нужно то, чего я не знаю..., чего не бывает..., чего нет на свете"» (Северные пветы на 1901 год. С. 185).

⁸ Подразумевается утверждение Гиппиус в заключительной части статьи об «Альме»:
«...мы знаем, что нужны новые формы жизни, нужна обновленная религия нашему обновленному сознанию, и ищем новых форм, новой смерти и нового воскресения. Нам нужна и свобода перед Богом, — но не как стояние перед Ним, а как вечное движение к Нему. А движение к Нему может быть только если мы примем и поймем жизнь, полюбим ее так же, совершенно так же, как смерть. Мы любим явления, потому что это в природе человека, как и любовь к Богу. Но мы не знаем и не можем познать своей прямой любви к Богу. Мы только можем любить явления и знать, что любим их ∂ля Бога. И только любя формы, воплощения, — можно их возвышать и обновлять. Смерть не для смерти, а для воскресения... как воскресение для новой смерти и нового воскресения (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 94).

ХЛЕСТКИЙ И ЗАПАЛЬЧИВЫЙ ОТВЕТ PRO DOMO SUA*

3. Н. Гиппиус не унимается. На страницах того же «Мира Искусства», который показывает себя через то уже совсем отпевающим себя и отпетым замыслом, она затеяла, видимо, целую экспедицию поносных выходок против тех литературных явлений, которых, по ее же словам, — нет, но которые все-таки оказываются тут как тут, и жужжат под носом. Никак отрицанием их бытия не возьмешь; неотступно дают о себе знать, и вот по-прежнему критик старается удушить их зловонием того скверного слова, которым смердят уста всех обозначенных им же прозвищем: «люди-цветы» и «люди-звери». Сквернословие это — «декадентство», а «люди-цветы» и «люди-звери» — это название не менее кощунственное для зверей и цветов, когда оно применяется к тем «людям-куклам», «людям-болванчикам» и вообще «людишкам» (что гораздо хуже «зверей» и «цветов»), из которых составляется поголовно состав нынешней русской журнальной литературы, с Бурениным,

^{*} Букв.: в защиту моего дома (лат.). — в смысле: в свою защиту ($Pe\partial$.).

Михайловским и Андреевичем во главе. Между тем, пусть вспомнит З. Н., что «декадентов» все-таки нет.* Этот тезис торжественно повторяется с ее стороны даже курсивом. Чего же более для убеждения, что почтенный критик сражается не то что даже с ветряными мельницами, а просто — с ветром, иными словами — с «видимым» миром, который по Платону — «и есть и не есть», а то, если верить З. Н., так, пожалуй, и с самой божественной сущностью, которая тоже, как оказывается из ее критики на «Альму», есть и Все, и Ничто. Егдо декаденты = видимому миру = божественной сущности. Вот какие с первых же слов получаются чудеса при исследовании тезисов у З. Н. Гиппиус. К этому надо прибавить, что лучшее, самое милое в затеянном г-жою Гиппиус предприятии есть его заглавие, доводящее иронию до пределов возможности: «Критика любви»! Оно очевидно проистекает из древнего изречения: Кого люблю, того и бью! — а то, быть может, ради богатейшей рифмы, и «гублю». Что ж, это известная форма любодеяния, которая у пошлецов давно слывет первым признаком «декадентства»!

В первой вылазке этой любви достается Александру Добролюбову, из которого извлекаются и сберегаются критиком немногие крохи, не то чтобы наиболее ценные или характерные для автора, но наиболее характерные для критика, как всегда бывает у исследователей, не умеющих перевоплощаться, но прочно застрявших в своей коре. Все прочее, в чем выражается весь Добролюбов, весь мозг его костей, это — как водится, в глазах критика бредни, «темна вода во облацех». А выдернутые клочки из его стихов обнаруживают разительное и неслучайное сходство с терминами из учебников г. Мережковского, ибо, как известно, это — единственная колейка, в которой пробирается проницательность З. Н. Гиппиус, та «печка», от которой она только и может «танцевать». «Царство неизменное... царство плоти и крови... Я освятить хочу и мелочь...» — все это, как известно, «общие места» мысли г. Мережковского, азы философии, из которых тот блистательно складывает мозаику художественных личностей, но которые его супруга выставляет в виде голых, убогих камешков, мертвых условных значков на заповедных межах ее мысли. Намеки Добролюбова сопровождаются глубокомысленными комментариями г-жи Гиппиус, по всем правилам догматики Мережковского, только в виде, приноровленном к «начальному обучению», и пересыпаются нескромными личными наблюдениями и частными сведениями о curriculum vitae поэта. Не намерен высказывать здесь моих понятий об этом писателе, которого г-жа Гиппиус так обдирает и продергивает: они выражены мною в предисловии к последнему сборнику его писаний, ⁶ в котором, кстати сказать, помещена лишь ничтожная доля из всех его сочинений за последние пять лет, и, собственно говоря, без всякого иного смысла кроме того, что эти писания случайно облечены в полуметрическую форму, а не вошедшие в сборник — в более выдержанной прозе, хотя отчасти тоже ритмической. Об оскорбительной неблаговидности анекдотов и сплетен про поэта, быть может, будет замечено критику со стороны лиц, лично знавших и ценивших Добролюбова**: ими же будут уличены некоторые крупные передержки в фактических данных, как, напр(имер), указание на стих Брюсова: «О закрой...», приписанный разбираемому автору.⁷ Отвечу теперь лишь на те два слова, которыми щелкается то же упомянутое мое предисловие.

Оно отделывается критиканкой в четырех словах: «мучительное, уродливое, детски-жалкое, совершенно непонятное». В Эти приговоры я себе объясняю следую-

^{*} Остроумно тоже, нечего сказать, словопроизводство «декадент», измышленное мудролюбцем Вашего же почтенного журнала, г. Философовым. В не мешало бы ему посидеть еще на гимназической парте. А он, «зная довольно по-латыни, чтобы эпиграфы разбирать», указывает на латинский глагол «decadere» (падать от и нис-падать), какового в словаре не имеется: есть же в этом смысле глагол «decidere». Да и существительного «decadentia» по-латыни не существует: все это очевидно позднейшие французские образования.

^{**} У меня не было с ним никогда личного знакомства.

щим образом. Понятие мучительности, конечно, происходит из суждения об уродливости и непонятности. Уродливость — дело вкуса и условной классификации. Этакое обозначение входит вполне в область все тех же утративших всякий постоянный смысл физиологических да гигиенических подразделений. Согласно им, к одному живому существу «по щучьему веленью, по моему хотенью» приклеивается ярлычок: «породистый, первый сорт», к другим — «выродок, урод, скверного качества». Кто этому указчик? Вкус, нрав, произвольная установка задач рода и особи. Что кому хочется, чтоб было или не было — единственное определение уродства, вырождения или породы, доброкачественности. Как же было мне не знать, что на потребу г-жи Гиппиус не угожу? Тут органический разлад.

Всякие сетования обличителей уродства, вырождения, извращения вкусов из века в век уподобляются негодованиям сторонников лжеклассической рутины на «чудообразные игрища» Шекспира и смесь родов искусства. Что бывало проповедь единства времени, действия, литературных, сценических видов — то теперь борьба против всякого рода неправильностей и диссонансов в построении речи, стиха и даже музыкальных звуков. И чем руководятся в таких случаях все ревнители вкуса и благородства, обличители искажения и уродства? Вечно памятны доводы за лжеклассическое разделение драмы и против «мещанских трагедий»: «А ежели ни г. Вольтеру, ни мне никто в этом поверить не хочет, так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пить с солью, кофе с чесноком, и с молебном совокупят панихиду. Между Талии и Мельпомены такая же разница, какова между дня и ночи, между жара и стужи, и какая между разумными зрителями драмы и безумными».*

До чего в этих милых метких словах первого нашего спесивого писателя-академика заложены, как в яйце, все постоянные обвинения рутинеров против новшеств и дерзостей. Тут вскрыта их вечная основа. Тут и воззвание о всех законах рассудка и стихий и вместе с тем прелестное самообличение традиций и староверства: все на поверку сводится к тем же инстинктам, которые заставляют человека есть щи с солью, а кофе с сахаром, все изливается в древнее присловье:

> У всякого свой вкус, один другому не укащик, один любит арбуз, другой — свининый хрящик.

Не мудрено, что критиканке мучительно слушать то, что на ее слух — какофония: только еще мучительнее меня слушать, я думаю, потому, что приходится «ломать себе голову». Мои речи совсем «непонятны»: таков самый полновесный резерв обвинений З. Н. Гиппиус. И так, увы! опять приходится слышать от критика это беззастенчивое признание, которое равно собственноручной расписке в критической несостоятельности, так что у человека обдуманного едва ли язык повернулся бы его высказать. «Мне, мол, непонятно» — отсюда, как мне кажется, единственный вывод: «значит, не моего ума дело, мне невдомек, не мне судить». Если кому что непонятно, тот, значит, непонятлив. Остается ему положить хранение своим устам или сказать: «пас». То, что перед ним, — то икс, которого ему не понять, то есть просто-напросто взять, тронуть: руки коротки, не дорос человек. Значит, остается сложить руки. Так нет, шалишь — как же это так, говорят тогда люди, мне не достать? Надо топнуть ногой, хлопнуть кулаком по столу, как ребенок, когда ушибся: на, мол, тебе, скверность, за то, что не даешься! «детски-жалкая» ты дрянь!

И вот каким образом критиком производится блистательный заключительный вывод из своих обвинений. «Коневской глубоко несчастный человек, такой, кого не слышат, погибающий, в отчаянии». Так... я, значит, погибаю, потому что моя мысль не вмещается в голове г-жи Гиппиус, недоступна для ее мозговой извилины.

^{*} Сумароков.9

Я в отчаянии потому, что меня не слышат: туги, значит, на ухо; а кричать я не хочу; да ведь если б и крикнул, так ничего бы не вняли, кроме крика: дошло бы до барабанной перепонки, но не до мозга. Так бывает с великими художниками. Они хотят говорить громко и звучно, и прекрасно делают, благо на то их воля, и выходит превосходно. И народ их слушает и хвалит, потому чувствует — голосина здоровый; ну, а уж в чем дело — о том лучше не спрашивать. Достаточно справиться в «литературе о Пушкине». И от этого всей душой, в самом деле, жалко этих громко и внятно говорящих поэтов. Если же я для г-жи Гиппиус непроницаем и неприступен, а сам проникаю в каждое ее слово (о чем прошу ее узнать в другой прилагаемой статье), 10 так, кажется, мне грех роптать на судьбу: всякий позавидует такой шапке-невидимке. Беда в том для критика, что надо быть оборотнем, рыскать во все стороны, тогда как он вращается на своей оси, и не сняться ему с нее. Высоко и глубоко уходит его ось, да обида в том, что это прямая линия.

О, я готов даже поверить, что Вы, матушка, нас же любя, нас «секли», «били, жалеючи», следуя одному из упомянутых Вами распоряжений литературного сброда насчет «декадентов»! Но, с одной стороны, как Вам хорошо известно, этакая развязная жалость, с какой Вы залезаете якобы в душу, на самом же деле только в карманы людей, * есть лучшее выражение презрения и скрывает о себе изощренную злобу. Па полноте — Вам ли пристала сердобольность и милосердие? Кто, думаете Вы, попадется на удочку Вашей жалости?.. Ну, а затем, если Вы принимаете за правило все же обдумывать хотя бы только мысли людей, которых не слышат, так, право, не довольно одной бичующей любви: необходимо еще, как говорят «дети» про «отцов», «идти в ногу с наукой». Смею Вас уверить, что для понимания иных мыслей требуется чуть-чуть основательнее подготовка, чуть-чуть посложнее гимнастика и выправка ума, чем та, которая приобретается в цирке г-на Мережковского. Если застрял человек на азбуке диалектики и умозрения, да еще щеголяет тем, что излагает ее «для малолетних», где же ему уследить за сложными изгибами и узорами расчлененной периодической речи мышления? Поневоле станешь в тупик и скажешь: тарабарщина, китайская грамота! что, мол, такое брешет человек. Много значит тоже, какой у кого темп мышления: за большинством нынешних поэтов умеренному ходу сознания вовеки не угнаться — таким бешеным скоком движутся их представления и понятия, а голова все-таки не кружится.

Вот два-три указания — чем обусловливается понимание людей «осмеянных», которые заливаются таким неугасимым смехом над своими насмешниками, что он, как смех богов, точно так же не спускается до порога человеческой слуховой среды. Итак, посоветую Вам вперед тщательнее проверять и взвешивать силы и объем всех Ваших способов познания и ощущения, строже производить «критику познания», прежде чем приступать к критике его предметов. «Да искушает человек себе» — иными словами: не спросясь броду, не суйся в воду!

Уместно будет, по случаю Ваших и моих соображений о совокупности истекшего века и о перспективах наступающего, почтить память всех деятелей бывших и приветствовать глашатаев начинающих и грядущих возгласом, который заключает поздравительные стихи одного молодого поэта:

> Друзья, наступил новый век! Человек, Принеси нам бутылку вина... Слава новому веку! Слава старому веку! Господа...

^{*} Не примите за уголовное обвинение: я хочу только сказать, что Вы добираетесь даже не до тела поэтов, а только до того очень, положим, важного их имущества, которое они носят при себе в одежде.

А, в заключение, вот Вам еще картина, которая представит Вам цельное понятие о «положении дел» в критический момент на рубеже между двумя веками. Она произошла совсем неожиданно из плетения рифм, которым занимался я с другом моим Асканием, и участие его и мое распределено в ней в точно равномерных долях. 11 Авось это изложение покажется Вам в достаточной мере vulgatum* — не то, что мое предисловие!.. Да я и вообще старался теперь рассуждать с Вами так, чтоб Вам «разжевать и в рот положить».

¹ В статье «Критика любви. Декаденты-поэты» З. Гиппиус пишет: «Есть, конечно, люди до такой степени бессознательные, что они и не начали быть недовольными и как будто ничего не ищут. Люди-цветы, люди-звери. Их душа еще спит. Но она проснется, не в них — так в их

детях, а дорога одна, все та же» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 29).

² Имеется в виду фрагмент из статьи критика и публициста Дмитрия Владимировича Философова (1872—1940) «Национализм и декадентство»: «Публика считает слово "декадент" бранным, вроде того, как прежде бранились "нигилистом", и производит это слово от испорченного латинского глагола, decadere", что значит ниспадать. Словопроизводство довольно сомнительное. Пожалуй, правильнее было бы переводить decadere не "ниспадать", а "отпадать" (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 209).

3 Обыгрываются строки из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа VI).

⁴ Подразумевается утверждение в статье «Критика любви»: «Скажем лучше для многих уже ясную правду: никаких декадентов нет. Есть только люди, менее других сильные, менее

способные высказать себя ⟨...⟩» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30).

⁵ Цитаты из стихотворений А. М. Добролюбова «Всем» («В вечности счастья течет творенье...») и «На вечеринку уединенную...», входящих в его «Собрание стихов» (М., 1900). См.: Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. С. 502. Гиппиус приводит эти цитаты в «Критике любви»; по поводу первой из них она замечает: «Что это за странные слова! Кто может это понять? А между тем о крови и плоти говорилось людям много веков назад. Дан был завет освящать ее в глубоком любовном общении»; по поводу второй: «Вот именно то, чего мы все хотим, теперь, как всегда, теперь более сознательно, чем всегда: освятить и мелочь» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 33).

6 Это предисловие Коневского («К исследованию личности Александра Добролюбова»)

открывает «Собрание стихов» Александра Добролюбова.

⁷ «О, закрой свои бледные ноги» — однострочное стихотворение Брюсова, впервые опубликованное в сборнике «Русские символисты» (Вып. 3. М., 1895). В «Критике любви» Гиппиус пишет о Добролюбове: «Фраза этого "доморощенного декадента" — "закрой мои белые нози" — известна была одно время всем, кому было известно слово "декадент"» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30).

⁸ Предисловие Коневского охарактеризовано в «Критике любви» одной фразой: «По этому предисловию, мучительному, уродливому — но и детски-жалкому, совершенно непонятному, — узнаю в Коневском духовного брата Добролюбова, такого же бедного человека наших дней, который хочет и не может высказать себя, человека в отчаянии, погибающего, одного из тех, кого не слышат» (Там же. С. 31).

⁹ Неточная цитата из авторского предисловия к трагедии «Димитрий Самозванец» (1771). См.: Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе... Александра Петровича Сума-

рокова. М., 1787. Ч. IV. С. 64.

10 Подразумевается статья «Об отпевании новой русской поэзии».

11 Асканий — дружеское прозвище Александра Яковлевича Билибина (1879—1935), студента физико-математического факультета Петербургского университета (впоследствии математик, профессор Политехнического института и других петроградских вузов), самого близкого друга Коневского. Речь идет о шуточно-пародийном стихотворении «Роковой совет новых душ. Краткая поэма Ив. Коневского и друга его Аскания» (1900); в рукописи, хранящейся в архиве Коневского, — карандашная помета: «к ответу З. Н. Гиппиус» (опубликовано в кн.: Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 521). 20 ноября 1900 года Коневской писал Брюсову: «Как Вам понравился Роковой Совет новых Душ? "Друг мой Асканий" (А. Я. Билибин — математик) и я, которых участие распределяется в этой поэме с полной равномерностью, справедливо гордимся этим импровизированным синтезом всех душевных явлений нашего времени» (Там же. С. 520).

^{*} доступным (лат.). — $Pe\partial$.

© П.В. Дмитриев

«ПЧЕЛЫ И ОСЫ "АПОЛЛОНА"» к вопросу о формировании эстетики журнала

Несмотря на то что последовательной истории издания журнала «Аполлон» и развития его эстетических идей до сих пор не существует, можно сказать, что вопрос о формировании эстетической платформы в начальный период организации журнала освещен в литературоведческих работах довольно полно. В частности, до сих пор в качестве отправной точки в любых исследованиях, посвященных «Аполлону», остается публикация писем Иннокентия Анненского редактору журнала Сергею Маковскому, принадлежащая А. В. Лаврову и Р. Д. Тименчику, и в особенности научный аппарат этой публикации. Непродолжительное общение одного из главных «идеологов» журнала и его редактора (прерванное в ноябре 1909 года смертью Анненского) вызвало к жизни множество острейших эстетических споров. Все они так или иначе были связаны с функционированием журнала, кругом авторов, художественной политикой и многими другими более частными вопросами. Анненский сыграл в организации журнала и формировании его эстетической ориентации одну из главных ролей, наряду с Вяч. Ивановым, А. Н. Бенуа и самим Маковским. Важную роль в оформлении эстетики «Аполлона» сыграла и так называемая «молодая редакция» журнала — писатели, чьим вкусам доверился Маковский и кто впоследствии стал представлять лицо журнала. Одним из членов «молодой редакции» был М. Кузмин, к этому времени занявший в литературе свое особое и довольно заметное место.

Острота эстетических споров, свойственная «Аполлону» как художественному организму, вполне понятна: она продиктована, с одной стороны, попыткой найти свое место в менявшейся литературной ситуации, при которой журнал ощущал себя одновременно как оппонент символистских «Весов» и как продолжатель (в общекультурном смысле) их дела, с другой стороны, именно для первых номеров любого печатного периодического органа такого масштаба так или иначе свойственна тенденция максимально полно изложить свои эстетические пристрастия, «занять позицию».

Такими материалами манифестального характера в той или иной степени наполнено большинство номеров «Аполлона» в первый год его издания (1909—1910). В первом номере, вышедшем 24 октября 1909 года, наибольшую «идеологическую нагрузку» (из неавторских материалов) несли редакционное вступление и заключительный материал первого отдела журнала, первоначально предполагавшийся в качестве постоянно действующей рубрики (нечто вроде редакционной почты и дискуссионного клуба в одно и то же время) под названием «Пчелы и осы "Аполлона"».

Этот раздел должен был обладать определенным юмористическим характером, оттеняя «серьезность» содержания других отделов (это видно прежде всего по приводимым отрывкам из периодической печати с язвительными вопросительными и восклицательными знаками редакции «Аполлона»). Следует отметить, что с достойными себя критиками «Аполлон» охотно вступал в серьезную полемику, а от

¹ См.: Корецкая И. В. «Аполлон» // Русская литература и журналистика начала XX века. М., 1984. [Вып. 2]: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. С. 212—256; новая редакция той же работы: Корецкая И. В. «Аполлон» // Корецкая И. Над страницами русской поззии и прозы начала века. М., 1995. С. 324—375; Mickiewicz Denis. 1) «Apollo» and modernist poetics // Russian Literature Triquarterly. 1971. № 1 (Fall). Р. 226—261; 2) The Silver Age of Russian Culture. Ann Arbor: Ardis, 1975. Р. 360—395.

 $^{^2}$ Анненский И. Ф. Письма к С. К. Маковскому / Публ. А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 222—241.

недостойных или малограмотных просто брезгливо отворачивался. После «манифестального» первого диалога рубрика возникает лишь дважды, в \mathbb{N} 3 (декабрь 1909 года) и в \mathbb{N} 12 (декабрь 1910 года), и содержит отрывки из высказываний различных критиков об «Аполлоне» и просто курьезные эстетические суждения, никак с «Аполлоном» не связанные, но приводимые, вероятно, как образец эстетической незрелости либо ограниченности. Но «юмористика» просуществовала на страницах «Аполлона» недолго, очевидно, не нашлось сотрудника, который взялся бы за такую работу — постоянно отслеживать неловкости или нелепости чужого стиля.

«Пчелы и осы» — несколько необычный раздел. Вместе с тем он обладает рядом типических черт, происхождение которых более или менее очевидно. Известно, что, кроме, так сказать, «идеологической», заметную практическую роль в формировании отделов и рубрик журнала сыграл Иннокентий Анненский. Если посмотреть анонсы-рекламы первых выпусков, видно, что «для осуществления намеченной программы» журнал должен был включать в себя восемь отделов («Пчелы и осы Аполлона» идут под шестым номером). Если другие разделы были придуманы по образцу русских периодических изданий XIX века (литературно-художественных или общественно-экономических), то в качестве образца для составления раздела «Пчелы и осы» угадывается влияние какого-то образца французской журналистики. Нам не удалось разыскать совершенно точного аналога, но один источник из французской журналистики кажется нам вполне вероятным, это популярный сатирический журнал Альфонса Кара «Les guêpes» («Осы»), выходивший в 1839—1849 годах и потом переиздававшийся репринтно.

Вместе с тем в вопросе о названии прослеживается изначальное (и может быть, отчасти бессознательное) развертывание «культурной памяти» Анненского, стремление к опоре на античные образы. Пчелы и осы присутствуют в европейской словесности, вероятно, еще с Гомера. Трудно сказать, какой именно образ в ряду других привлек Анненского, но, во всяком случае, этот ряд может оказаться ничуть не меньшим, нежели тот, который приводит К. Ф. Тарановский в качестве «литературных источников вдохновения» Мандельштама⁸ (за исключением, разве, Андрея Белого и Анны Ахматовой). Пчелы присутствуют и в трагедиях самого

 $^{^3}$ Кстати, в такой сиюминутной авторефлексии у «Аполлона» были последователи, ср., например, практику другого печатного органа — «Любовь к трем апельсинам: Журнал Доктора Дапертутто». К подобным эстетическим спорам можно отнести «Глоссы Доктора Дапертутто (Вс. Мейерхольда. — Π . Д.) к "Отрицанию театра" Ю. Айхенвальда» (1914. № 4—5. С. 67—80); «К вечеру "Студии". 12 февраля 1915 г.: Отзывы ежедневной печати и замечания редакции Журнала Доктора Дапертутто» (1915. № 1—2—3. С. 132—149).

⁴ Аполлон. 1909. № 3. Отд. І. С. 79—84.

⁵ Там же. 1910. № 12. Отд. І. С. 51—60.

⁶ Начиная с известного «долгожителя», носившего примечательное имя «Северной пчелы» (1825—1864).

⁷ См. о нем в работе В. А. Мильчиной «Почему все-таки Пушкин предпочел Бальзаку Альфонса Кара?» в кн.: *Мильчина Вера*. Россия и Франция: Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб., 2004. С. 419.

^{8 «}Ветхий Завет и Апокалипсис, Гомер и Сафо, Овидий и Тибулл, Данте и Тассо, Расин и Бальзак, Диккенс и Эдгар По, Державин, Батюшков, Озеров, Пушкин, Языков, Тютчев, Лермонтов, Фет, Блок...» (Тарановский К.Ф. Пчелы и осы в поэзии Мандельштама: К вопросу о влиянии Вячеслава Иванова на Мандельштама // To honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague, Paris: Mouton, 1967. P. 1973—1995).

⁹ К списку Тарановского можно добавить и Ф. Сологуба, между прочим автора пьесы «Дар мудрых пчел» (1906). Заслуживают специального упоминания, на наш взгляд, еще два произведения мировой литературы — комедия Аристофана «Осы» и поэма Дж. Ручеллаи «Пчелы» (1539), последним автором Анненский интересовался как создателем трагедии об Оресте в связи с еврипидовской «Ифигенией в Тавриде» (см.: Анненский Ин. Таврическая жрица у Еврипида, Ручеллаи и Гете // Театр Еврипида / Перевод со введениями и послесловиями И. Ф. Анненского; Под ред. и с комм. Ф. Ф. Зелинского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1921. Т. 3. С. 125—165).

Анненского — «Меланиппе-философе» (1901) и «Лаодамии» (1902). Но следует учесть и «внелитературные» (так сказать, биолого-мифологические) свойства этих насекомых: у пчелы это трудолюбие, собирание меда в соты; у осы — быстрота полета, острота укуса, т. е. в конечном счете они могут пониматься как своего рода персонификация юмора и сатиры (мудрость и тихий юмор — от пчел, а разящая сатира — от ос).

Жанр диалога, корнями уходящий также в античность, имеет и более близкий образец. Нам представляется, что в качестве такового могло быть известное сочинение В. С. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории...» (1899), где речь идет о важнейших вопросах современности (и в том числе эстетических), но зачастую через призму иронии и сарказма. 10 С другой стороны. следует отметить и ту важную родь, которую сыграл в русской литературно-художественной среде сборник критических работ О. Уайльда «Intentions» (первое изд. 1891). В русском переводе А. Минцловой он называется «Замыслы» и вышел в 1906 году в московском издательстве «Гриф». Сборник содержит два диалога: «Упадок лжи» и «Критик как художник», перекликающихся не только своим жанром с «Пчелами и осами», но и по своим эстетическим проблемам явно сопоставимых с «юмористическим манифестом» Аполлона. Маковский в своем очерке «Иннокентий Анненский — критик» упоминает эту книгу Уайльда. 11 Сборник работ самого Маковского «Страницы художественной критики» (СПб., 1906, кн. 1) также открывается диалогом. 12 Возможно, сам этот жанр был близок будущему редактору «Аполлона» и идея именно такой формы для «сатирического» раздела все же принадлежит ему. О непреходящей популярности жанра диалога (в частности, для выражения эстетических деклараций) свидетельствует и предшествующий «Пчелам и осам» диалог В. Брюсова «Карл V: Диалог о реализме в искусстве» (1906).13 Не следует забывать и о другом хронологически близком образце, программном эстетическом «разговоре» «Беседа о балете», сочиненном А. Н. Бенуа для сборника статей «Театр» (1908),14 в котором действуют Балетоман и Художник. Кстати, как сказано, перу Бенуа принадлежит программная статья под названием «В ожидании гимна Аполлону», открывающая первый номер журнала. 15 Наконец, развивая свою издательскую деятельность, «Аполлон» выпустил в 1912 году книгу, написанную в жанре диалогов, одного из самых плодовитых своих сотрудников — кн. Сергея Волконского, под характерным названием «Разговоры»...

Жанровое определение диалога «Пчелы и осы» — «скучный разговор» — следует, вероятно, понимать с ироническим подтекстом «не для всех», т. е. скучный для тех, кому безразличны проблемы, в нем обсуждаемые, т. е. иначе говоря «разговор для избранных». 16

¹⁰ Кажется вероятным такое предположение не только вследствие отдельных реплик, близких по своему типу юмора соловьевским «Трем разговорам», но и по причине того, что Маковский, в юности познакомившийся с Соловьевым, навсегда сохранил к нему почтение и живой интерес. См. его очерк «Последние годы Владимира Соловьева», вошедший в книгу «На Парнасе Серебряного века», а также очерк «Владимир Соловьев и Георг Брандес» из первой книги воспоминаний Маковского «Портреты современников».

¹¹ Маковский С. На Парнасе Серебряного века. М., 2000. С. 186—187.

 $^{^{12}}$ Между прочим, второе издание книги осуществлено в начале 1909 года — в год выхода первого номера «Аполлона».

¹³ Золотое руно. 1906. № 4. Ср. также более поздний образец эстетической распри — «Диалог о футуризме» (Русская мысль. 1914. № 3). Оба диалога перепечатаны в новейшем издании: Брюсов Валерий. Среди стихов: 1894—1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990.

 $^{^{14}}$ Бенуа Алексан ∂p . Беседа о балете // Театр: Книга о новом театре. СПб.: Шиповник, 1908. С. 95—121.

¹⁵ Аполлон. 1909. № 1. Отд. І. С. 5—11.

 $^{^{16}}$ Как видно из приводимой ниже более ранней редакции «Пчел и ос», текст первоначально вообще был лишен такого подзаголовка.

* * *

История создания «Пчел и ос» весьма определенно изложена в публикации А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика. Кроме того, после выхода в свет их публикации за рубежом появились две работы, посвященные специально этому тексту (о них еще пойдет речь ниже).

Повторим вкратце историю возникновения «Пчел и ос» так, как она изложена в названной публикации. Хочется обратить внимание на то, насколько корректно расставили акценты А. В. Лавров и Р. Д. Тименчик, при том, что вся картина осталась не вполне ясной (сроки написания текста, точный состав его создателей и их степень участия в этом предприятии).

Итак, очевидно, что речь о «Пчелах и осах» зашла еще летом (после второго организационного заседания редакции, состоявшегося 5 августа 1909 года), возможно, они рассматривались как некоторая «сниженная» параллель к другим материалам первого номера «Аполлона», бо́льшая часть которых, как уже было сказано, так или иначе носит манифестальный (или программный) характер. На этом августовском заседании «продолжились дискуссии по программе журнала, которые нашли отражение не только в окончательном тексте "вступления", но и в разделе "Пчелы и осы Аполлона" — полуироническом "скучном разговоре" о предмете и целях нового издания, составленном под руководством Маковского». 17

Можно предположить, что на этом редакционном заседании Анненским был прочтен отрывок, выросший впоследствии в целую драматическую сценку. Во всяком случае, на следующий день, 6 августа 1909 года, Маковский пишет Анненскому: «Итак решено — Вы немного расширите Ваш вступительный "парадокс" и пришлете мне». Представление о том, что именно написал Анненский и каковы объемы его «парадокса», можно получить из опубликованного белового текста Анненского, приведенного в публикации Лаврова и Тименчика, являющегося, в сущности, начальной репликой Профессора в этой сцене. 19

¹⁷ Анненский И. Ф. Письма к С. К. Маковскому. С. 227.

¹⁸ Там же. С. 228, прим. 22.

¹⁹ Там же. С. 227—228. Представляется небезынтересным привести здесь два черновых наброска из фонда Ин. Анненского в Российском государственном архиве литературы и искусства, также упомянутых в примечании к публикации (с. 228, прим. 22). Зачеркнутые самим Анненским варианты текста опускаем.

[«]Тайна? Ну, этой довольно места и на острие твоего пера, хотя, как бы и здесь еще не пришлось ей иногда делиться с Иронией.

На дверях мастерской, если не над самым портиком, мечтаю увидеть такую надпись черным по белому:

[&]quot;Аполлон улыбается не гордости мастера, а рвению ученика".

Иннокентий Анненский» (РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. № 86. Л. 4).

[«]У этого Аполлона нет и не будет ни жрецов, ни святилища.

С него довольно неба и смертных. Здесь же именем бога да освятится только портик, где просветы открыты всем лучам, а ступени и плиты всем людям, — да мастерская, куда пусть свободно входит всякий, кто желает и умеет работать для Аполлона. Иерархия? Она определяется мнением мастерской о качестве работы, и только.

Тайна? Но не довольно ли места Тайне и на острие твоего пера? И как бы не пришлось Ей и там еще делиться с иронией.

На дверях мастерской, если не на самом портике элефантиной по черному мрамору мерещутся мне и слова:

[&]quot;Аполлон улыбается не гордости мастера, а рвению ученика".

Иннокентий Анненский» (Там же. Л. 2-3).

Второй приводимый здесь набросок очень близок к беловику, опубликованному А.В. Лавровым и Р.Д. Тименчиком. Возникает ощущение, что и опубликованный беловик, и приводимый здесь черновик и являются расширением первоначального «парадокса» — первого маленького отрывка, приведенного в этом примечании. Не выполнил ли таким образом Ан-

Не совсем ясно, как развивались в августе события вокруг «Пчел и ос», очевидно только то, что к началу сентября некий текст был уже написан, определились отчасти функция «юмористического» отдела и его название. Возможно, Маковский предложил написать нечто в том же духе некоторым другим близким редакции авторам с тем, чтобы потом выбрать лучшее или, скорее, выбрав лучшее из написанного разными авторами, объединить отрывки в единый текст. Наконец, состоялось и редакционное собрание, специально посвященное «Пчелам и Осам». Приведем текст приглашения по сохранившейся повестке. «Редакция "Аполлона" имеет честь пригласить Вас пожаловать, в субботу 12 сентября (8 ч. в.) 1909 года, на собрание сотрудников в помещении Редакции — Мойка, 24, кв. 6. Предмет обсуждения Пчелы и осы "Аполлона"». 20

Только после этого заседания, по нашему предположению, и был написан первый «большой» связный текст (однако еще не совсем тот, который будет опубликован впоследствии в первом номере «Аполлона»). Этот текст, перепечатанный в ограниченном количестве экземпляров и предназначенный, очевидно, для членов редакции «Аполлона», лег в основу нашей публикации. Он публикуется по тексту машинописи (с рукописными пометами А. Н. Бенуа), хранящейся в Государственном Русском музее. 21

Публикуемый здесь текст, вероятно, остался неизвестным исследователям, во всяком случае, ссылок на него в научной литературе нам пока видеть не доводилось. Ничего не меняя принципиально в том освещении и объяснении событий из ранней истории «Аполлона», которые предложили А. В. Лавров и Р. Д. Тименчик, он может помочь утвердиться в некоторых их предположениях и догадках.

* * *

Теперь, после этой краткой хронологической канвы, остается только очертить степень участия в написании текста того или другого лица. Сама идея какого-то отдела в журнале, который предназначался бы для «живого», сиюминутного, может быть, слегка юмористического обсуждения насущных тем, критики и т. д., характерная для западных литературно-художественных журналов, возможно, принадлежала самому Маковскому. Название же, вероятно, было предложено кем-то из двух знатоков античности, стоявших у истоков журнала, — Иннокентием Анненским или Вячеславом Ивановым.

Анненскому, кроме названия рубрики, могут принадлежать еще: сама идея разговора об искусстве, поданного в несколько юмористическом ключе, в том числе мысли о декадентстве; подбор фигур. Очевидно, что некоторые предложения исходили от Вяч. Иванова и С. Маковского, а связный текст писал уже Кузмин, имея в виду их пожелания. Получился первый вариант текста (публикуемый ниже), направленный на рассмотрение А. Н. Бенуа и другим (возможно, Вяч. Иванову, Ин. Анненскому), но в результате дело ограничилось, вероятно, исправлениями и сокращениями (неизвестно кому принадлежавшими).

Автор первоначального небольшого по объему текста, из которого выросла вся сцена, как уже было сказано, — Ин. Анненский. Возможно, какие-то наброски к

ненский просьбу Маковского? Конечно, это только предположение, тем более что и текст большего объема оказался недостаточен для всего раздела. Отметим еще одно любопытное, «колористическое», изменение текста. Если вначале (согласно нашему расположению черновых набросков) надпись была черным по белому, то потом она становится уже более изысканной — белой по черному фону, а в публикуемой здесь и в окончательной редакции надпись и фоп вовсе теряют цвет, сосредоточивая тем самым внимание читателя на самом смысле изречения.

 $^{^{20}}$ РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 393. Л. 4. На бланке-карточке «Аполлона». Курсивом выделено вписанное от руки.

²¹ ГРМ. Ф. 137 (А. Н. Бенуа). Оп. 1. № 2623.

будущим «Пчелам и осам» были переданы Маковскому и Вяч. Ивановым, во всяком случае из текста сцены вполне вычленяются и некоторые идеи Вяч. Иванова, вложенные в уста Философа. Правда, предположение исследователей о том, что в дневниковой записи Вяч. Иванова от 24 августа (« ...я набросал потом проект того, что придумал во время скучноватых толков»²²) речь идет именно о «Пчелах и осах», кажется, на наш взгляд, довольно проблематичным.²³

Какое-то участие (скорее в обсуждении, нежели в написании «скучного разговора») приняли А. Н. Бенуа и, конечно, сам С. К. Маковский. Авторы вышеназванной публикации, а вслед за ними К. Ф. Тарановский в своей работе 1989 года²⁴ согласны с тем, что круг авторов редакционного вступления и лица, стоявшие у истоков «Пчел и ос», совпадают, это — четыре перечисленных деятеля современного искусства.

Понятно, что и пресловутые маски Профессора и Философа органично накладываются на облик, манеру говорить и круг идей Ин. Анненского и Вяч. Иванова. Сравнительно удачно такая же процедура «наложения» может пройти и в отношении А. Н. Бенуа, и С. К. Маковского (Художник и Журналист), а также Максимилиана Волошина (Любитель литературы). 25 Однако делать каждое лицо сцены персонифицированным выразителем идей того или иного реального лица представляется нам излишним, тем более что в их уста вложены зачастую мысли, которые уместнее было бы по логике вещей отдать другим персонажам. Именно это иногда указывает на авторство текста, о чем еще пойдет речь ниже.

Как пишут Лавров и Тименчик, «главная роль в создании масок и подготовке окончательного текста принадлежала М. А. Кузмину». Вопрос о принадлежности последней редакции текста «Пчел и ос» был решен Лавровым и Тименчиком на основании письма Маковского Кузмину от 16 сентября 1909 года. 26 Однако и сам текст (и опубликованной версии, и приводимой здесь неопубликованной редакции) содержит в себе черты, указывающие, на наш взгляд, на авторство Кузмина.

Вероятнее всего, что после 12 сентября 1909 года — упомянутого специального редакционного заседания «Аполлона» — Кузмин по просьбе Маковского взялся за сведение всего написанного в один текст, после чего этот текст должен был поступить на обсуждение, а затем вновь на повторную редактуру Кузмина. Так, очевидно, следует понимать слова, обращенные к Кузмину Маковским, когда он писал 16 сентября 1909 года: «С нетерпением жду "Пчел и ос". Пожалуйста, пришлите — как можно скорее, пусть — в самом эскизном виде. Дело в том, что придется многое вставить (отдельных мыслей, колких замечаний и т. д.) в разговор созданных Вами действующих лиц, — а потом уже Вы снова получите рукопись для окончательной редакции». 27

Следует заметить, что вхождение Кузмина в «Аполлон» было стремительным и несколько неожиданным для него самого. 2 сентября 1909 года, как явствует из дневника Кузмина, он впервые переступает порог редакции, а 10-го уже получает приглашение на обсуждение «Пчел и ос». Очевидно также, что работа над текстом шла далеко не столь гладко, как предполагалось Маковским.

²² Анненский И. Ф. Письма к С. К. Маковскому. С. 228, прим. 22.

²³ Отталкиваться же только от подзаголовка «Скучный разговор» вряд ли уместно, так, например, первая редакция, как видно из публикуемого ниже текста, вообще использует другой подзаголовок — «Разговор в мягких кожаных креслах», который, в сущности, является здесь чем-то вроде места действия перед списком «действующих лиц».

²⁴ Тарановский К.Ф. Заметка о диалоге «Скучный разговор» в первом номере «Аполлона» (октябрь 1909 г.) // Russian Literature XXVI. 1989. Р. 417.

²⁵ См.: *Купченко В. П.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб., 2002. С. 231.

²⁶ Анненский И.Ф. Письма к С.К. Маковскому. С. 228, прим. 22.

²⁷ Там же.

Если судить по дневнику Кузмина, можно уследить лишь за некоторой динамикой в развитии этого текста, подробности же, увы, ускользают. Так, 10 сентября, в четверг, у Кузмина отмечено: «Приглашение на субботник "Пчел"».²⁸ Эта запись подтверждает то, что нам уже известно: в субботу, 12-го, собиралась редакция или та ее часть, которая имела непосредственное отношение к будущему «юмористическому» манифесту, причем ни о каком тексте Кузмина пока речь не идет. Зато буквально спустя неделю у Кузмина такая запись: «...писал "Пчелы"; читал их Вяч. [Иванову] при Кассандре [А. Н. Чеботаревской], он страшно рассвирепел. сказал, что это карикатура и т. д.» (понедельник, 21 сентября).29 Отсюда понятно. что обработка текста велась уже Кузминым единолично и что едва ли не первому слушателю (и одному из действующих лиц диалога) текст не понравился. Может быть, под влиянием этой критики у Кузмина появляется мысль освободиться от взятого на себя груза (ср. запись за 23 сентября: «Пошел к Маковскому отказаться от "Пчел"»). 30 Дальнейшее развитие сюжета из дневника не ясно, важно только. что за одну неделю все уже установилось. Во всяком случае, 3 октября отмечено: «Дома читали "Пчелы и осы", обедали». 31 Вероятно, к этому времени уже определился окончательный текст «манифеста», так как 24 октября первый номер нового журнала вышел из типографии.

Если все вышесказанное относится, можно сказать, к хронологии появления текста «Пчел и ос», документально подтверждающей участие в них Кузмина, то нам кажется, что есть гораздо более доказательное сопоставление, а именно с другими текстами самого Кузмина, т. е. установление некоторого мотивного и стилистического с ними родства.

Вот несколько примеров характерного для мысли и стиля Кузмина.

«1-й поэт. Однако за последние годы в России развилось именно мастерство стиха. После непосредственной напевности Бальмонта — такая упорная работа, как у Брюсова, Вячеслава Иванова...» (1-я ред., см. публикуемый текст).

Сопоставление имен Брюсова и Вячеслава Иванова как двух мастеров стиха вызывает в памяти отброшенную редакцией журнала «Труды и Дни» концовку рецензии Кузмина на книгу Вяч. Иванова «Сог Ardens» (опубликована в № 1 за 1912 год): «Говорить ли нам о технике? пусть другие это сделают со спокойным духом, мы же напомним, что техника стиха, общих и частичных форм, теперь имеет лишь двух мастеров: Валерия Брюсова и Вяч. Иванова». 32

«Журн. Я говорю о прозе. У современного прозаика, по общему правилу, понятие о стиле не идет дальше понятия грамотности.

Любитель литер. К счастью для него, русская публика не умеет отличать безграмотности от отсутствия стиля» (1-я ред., см. публикуемый текст).

В программной (как для журнала «Аполлон», так и для самого Кузмина) статье «О прекрасной ясности: Заметки о прозе» стилю (а также стилизации и ее отличию от «стиля») посвящено несколько абзацев.

«Наконец мы произнесли то слово, которым в настоящее время так злоупотребляют и в инвективах, и в дифирамбах, — слово "стиль". Стиль, стильно, стилист, стилизатор — казалось бы, такие ясные, определенные понятия, но все же происходит какой-то подлог, делающий путаницу. $\langle ... \rangle$ Сохранять чистоту языка не значит как-то лишать его плоти и крови $\langle ... \rangle$ — нет, но не насиловать его и твер-

²⁸ Кузмин М. Дневник 1908—1915 / Подг. текста и комм. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 165.

²⁹ Там же. С. 169.

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 174.

³² Цит. по: Богомолов Н.А. История одной рецензии: («Cor ardens» Вяч. Иванова в оценке М. Кузмина) // Philologica: Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. 1994. Т. 1. № 1/2. С. 139.

до блюсти его характер, его склонности и капризы. $\langle ... \rangle$ Основываясь на этом знании или чутье языка, возможны и завоевания в смысле неологизмов и синтаксических новшеств. $\langle ... \rangle$ Но как только мы возьмем изречение: "Стиль — это человек", мы готовы поставить этих авторов в первую голову. Ясно, что здесь определяется какое-то совсем другое понятие, сравнительно недавнее, потому что, скажем, отличить по слогу новеллистов одного от другого довольно трудно. $\langle ... \rangle$

Третье понятие о стиле, пустившее за последнее время особенно крепкие корни именно у нас в России, тесно связано со "стильностью", "стилизацией"; впрочем, о последнем слове мы поговорим особо.

Нам кажется, что в этом случае имеется в виду особое, специальное соответствие языка с данною формою произведения в ее историческом и эстетическом значении. $\langle ... \rangle$ Это качество драгоценно и почти настоятельно необходимо художнику, не желающему ограничиться одним кругом, одним временем для своих изображений \star . 33

«2-й поэт. А в легенде о св. Георгии, поражающем дракона?

Философ. Вы ошибаетесь. Св. Георгий не Аполлон. И Дракон — не Пифон. Дракон, змей — это всегда — символ посвященного. Пифон — это чудовище женского естества, чудовище хтоническое, порожденное землей. Этот приморский сияющий рыцарь скорее сродни Персею, который к тому же по одному мифу побеждает Аполлона.

Скепт. дама. Ах, как интересны эти филологические тонкости! Но я плохо понимаю» (1-я ред., см. публикуемый текст).

Здесь можно вспомнить о «кантате» Кузмина «Св. Георгий» (1917), вошедшей в книгу «Нездешние вечера» (Пб.: Петрополис, 1921), построенной не только на контаминации античных и христианских мотивов этого образа, но и содержащей несколько характерных для Кузмина «выпадов» против женщин, «женского». В указанных двух репликах эта характерная для Кузмина «мизогиния» проводится на двух уровнях — высоком, «метафизическом» (в реплике Философа — «чудовище женского естества» и т. д.), и в низком, «профанном» (в реплике Скептической дамы).

«Скепт. дама. Вы, кажется, ждете Аполлона на аэроплане?

Журн. Именно. Аполлон, парящий на фоне нашего современного города, живописно-уродливого, с фабриками, машинами и небоскребами. Аполлон, который не гнушается нашей жизнью, великой, трагичной, пошлой, исковерканной. Аполлон, раскрывающий перед новым человеком неоглядный кругозор...» (1-я ред., см. публикуемый текст).

Кузмин не был чужд поэтике урбанизма. Почему-то ярче всего это выражено в его драматических произведениях. К примеру, картине полета на самолете (или аэроплане) посвящена вторая часть «Вторника Мэри», носящая экстравагантный жанровый подзаголовок «Представление в трех частях для кукол живых или деревянных» (Пб.: Петрополис, 1921). Ср. также 14-й эпизод «ассоциативной поэмы» «Прогулки Гуля», где мчащаяся звезда «оказывается освещенным аэропланом», на который садится главный герой. Наконец, последняя известная пьеса Кузмина (построенная, как и перечисленные, на смене кинематографических планов) «Смерть Нерона» (1929) содержит явственно выраженный интерес к достижениям современной цивилизации.

«Профес. А спорить?

Любит. литер. — Значит оскорблять свою мысль, навязывая ее другим. $\langle ... \rangle$ Убедить своего собеседника — разве не значит заставить его поглупеть еще на одну чужую истину?» (1-я ред., см. публикуемый текст).

³³ Аполлон, 1910. № 4. Отд. І. С. 8-9.

Как кажется, тут есть переклички с «ассоциативной поэмой» «Прогулки Гуля».

- «1-й молодой человек. После каждого фокстрота я глупею на 10%. Факт.
- 2-й молодой человек. Попробуй глупеть в другую сторону, посещай лекции политической экономии». 34

Вероятно, могут найтись и другие сближения. Но среди этих примеров, как видно, практически ничего не вошло в окончательный текст, что заставляет думать, что последний текст (или его редактура) принадлежит все же не Кузмину, а Маковскому.

Некоторые реплики кажутся нам вполне характерными для манеры самого Маковского. Например: «После наших просьб хозяин подходил к столику $\langle ... \rangle$ затем принимал обычную в таких случаях позу: немного торжественно опирался обеими руками на спинку поставленного перед собою стула». ³⁵ Ср.: «Профессор (немного торжественно). Итак, вы согласны? У этого Аполлона нет жрецов и никогда не будет святилища» (окончательная ред.). ³⁶ Ср., однако, и текст 1916 года самого Кузмина, взятый из другого места: «Потом [незнакомец] выпрямился и начал несколько торжественно...». ³⁷

Окончание реплики Профессора сходно по мысли с текстом, взятым из другого очерка Маковского, т. е. противопоставляет утверждаемые принципы другой (неназванной) эстетике. В своем очерке о Вячеславе Иванове Маковский пишет: «Поэзия символистов искала выхода в мистике посвятительного знания. Она тяготела к своего рода жречеству, не литературному только, а действенному». 38

Приведем и другую фразу из этого же очерка Маковского.

«Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты: эгоцентризм, заполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание к каждому приходящему в храм Аполлона». Ор. также с «аполлоновским» текстом: «Здесь именем бога освящается только портик, где просветы открыты всем лучам, и плиты — всем людям, да еще — мастерские, куда пусть свободно входит всякий, кто желает и умеет работать на Аполлона...» (1-я ред., см. публикуемый текст). Эти размышления Маковского наводят и на «ивановский» субстрат в «Пчелах и осах» (например, размышления об искусстве — «вдохновенном и веселом ремесле» В окончательной редакции), но то, что память Маковского спустя годы сберегла детали обсуждения эстетических проблем полувековой давности, свидетельствует и о его собственном участии в проекте.

Кроме ивановского субстрата налицо и другие, принадлежащие писателям-символистам, в первую очередь Валерию Брюсову и Максимилиану Волошину. Так, начавшееся упреками в декадентстве современной литературы выступление Профессора имеет почти буквальные совпадения с текстом заметки Брюсова «О дикарях: (О Льве Мовиче и др.)» — отповеди критикам, не понявшим обмена акростихами М. Кузмина и Брюсова, но направленной, в сущности, против негра-

 $^{^{34}}$ Цит. по нашей публикации: Джитриев П. В. «Академический» Кузмин # Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1995. Vol. I. № 3. С. 160 —161.

 $^{^{35}}$ Маковский С. Иннокентий Анненский // Маковский С. Портреты современников. М., 2000. С. 240. Курсив здесь и далее мой. — Π . Π .

³⁶ Аполлон. 1909. № 1. Отд. І. С. 79.

³⁷ Кузмин М. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро // Кузмин М. Избр. произведения / Сост., подг. текста, вступ. ст., комм. А. Лаврова и Р. Тименчика. Л., 1990. С. 430.

³⁸ *Маковский С.* Вячеслав Иванов // Маковский С. Портреты современников. С. 294.

³⁹ Там же. С. 292.

 $^{^{40}}$ Ср. статью Вяч. Иванова (переработанную из лекции) «О веселом ремесле и умном веселии», опубликованную в «Золотом руне» (1908. № 5). Корни этого словосочетания можно отыскать, вероятно, в названии философской работы Ницше «Веселая наука» (1882).

⁴¹ Весы. 1909. № 6. Перепечатано: Брюсов Валерий. Указ. соч.

мотности и некомпетентности в поэзии вообще, а в частности в области формального поэтического мастерства. Этой заметки Кузмин не мог не знать.

Мысли Максимилиана Волошина опознаются по нескольким репликам. Замечание Любителя литературы «Предоставим проповедь моралистам» вызывает в памяти статью Волошина «Похвала моралистам», 42 а противопоставление утвердительного и отрицательного местоимения (отсутствующее, правда, в публикуемом тексте и восстановленное нами по окончательной аполлоновской редакции) — статью «Демоны разрушения и закона». 43 В последней Волошин, реферируя статью М. Метерлинка «Боги войны», 44 приводит этот лозунг как надписи на обеих сторонах меча Колланда, принадлежавшего легендарному Сиду, и распространяет его в расширительном смысле на всю культуру европейского позднего средневековья. В свою очередь, это высказывание восходит, вероятно, к евангельскому эпизоду, в котором Иисус Христос говорит своим слушателям о ненужности клятв и божбы: «Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5: 37). К библейским относится и парафраз в реплике Журналиста «Пусть мертвых хоронят мертвые» (ср. известное высказывание Христа, где в ответ на просъбу неназванного ученика разрешить, прежде чем присоединиться к учителю, похоронить своего отца, Иисус говорит: «иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8: 22)). Аллюзии и прямые отсылки к мифической античности и средневековью довершают картину, переплетаясь с новейшими течениями общественной и культурной жизни Западной Европы и России.

Впрочем, выискивание параллелей и подтекстов — вещь не столь безусловная и небезопасная. Большую работу в этом направлении проделал В. Крейд в своем очерке «Неизвестная статья Гумилева?», попытавшийся показать, что текст «Пчел и ос» принадлежит Н. С. Гумилеву. 45 Полемизировать с Крейдом (не заметившим работы Лаврова и Тименчика) после статьи К. Ф. Тарановского нет необходимости. Основная мысль Тарановского, как ее можно понять из его статьи, посвященной «Пчелам и осам», 46 — связь начальных деклараций «Аполлона» с масонской символикой. Однако он не делает из этого никаких далеко идущих выводов. Действительно, пресловутая «масонская» символика имплицитно присутствует во многих аполлоновских текстах, в особенности если речь идет о первом периоде, периоде становления. Связано это, как нам кажется, в большей степени не с личной судьбой устроителей журнала, а с понятной для организаторов философией «общего дела». «Строительной» терминологией, сопряженной с античной архитектурной и эстетической традицией, могут быть, таким образом, проникнуты совершенно разные тексты. Градация «ученик-подмастерье-мастер» действительно вполне может быть взята из культурной истории масонства, как наиболее удобной парадигмы «школы» (неизбежно связанной с понятиями «традиция», «стиль», «вкус», «преемственность»), столь важной для «Аполлона» на всем протяжении его десятилетней истории. 47 В этом смысле в качестве «культурного интереса», нам кажется, и следует рассматривать масонские мотивы «Пчел и ос». Этому не противоречит участие кого бы то ни было из создателей журнала в тайных организациях. 48

⁴² Русь. 1908. 9 апр. № 99.

⁴³ Золотое руно. 1908. № 6.

⁴⁴ См. комментарий Н. В. Котрелева в кн.: Максимилиан Волошин. Лики творчества. Л., 1988. С. 637—639.

⁴⁵ Новый журнал. 1987. № 166. С. 189—208.

⁴⁶ См. прим. 24.

⁴⁷ Если началом считать январский Салон 1909 года, организованный С. К. Маковским, а концом — последний номер, вышедший летом 1918 года.

 $^{^{48}}$ Ср. в связи с этим запись в дневнике Кузмина от 23-24 сентября 1934 года о Вячеславе Иванове: «Вяч. Ив. был масоном. Узнал я это случайно. Масоны меня всегда интересовали, и по Моцарту, и как тайное общество, и как организация $\langle \dots \rangle$ где жизнь строится без ориентации

* * *

Таким образом, нам известны два текста аполлоновского «манифеста» «Пчелы и осы»: 1-й — неопубликованный машинописный экземпляр, приводимый ниже, и 2-й — окончательный текст, опубликованный в первом номере «Аполлона». Отметим различное количество действующих лиц в 1-й и окончательной редакции (например, в 1-й ред. действуют целых три поэта) и начальную реплику Профессора, имеющую аналоги в черновых набросках. 49

Текст печатается по машинописи с карандашной правкой, принадлежащей руке А. Н. Бенуа (приведена в затекстовых примечаниях). № На титульном листе: «Пчелы и осы Аполлона. Проэкт для исправлений. [Альфреду Павловичу Нурок № 1]. Александру Николаевичу Бенуа. Адмиралтейский кан., 31».

Правка Бенуа носит в целом стилистический характер, как видно, текст не пришелся ему по вкусу, дополнять же или перерабатывать чужой текст Бенуа, очевидно, не захотел. Пропуски иностранных слов в тексте (отмеченные угловыми скобками) восстановлены по 2-й, окончательной, редакции. Сокращения в именах действующих лиц раскрыты без оговорок.

пчелы и осы

Разговор — в мягких кожаных креслах: (Профессор, Философ, Журналист, Художник, Любитель литературы, Молодой композитор, Скептическая дама, Поэты — Первый, Второй и Третий). 1

Профессор (немного торжественно). Итак, вы согласны? У этого Аполлона нет жрецов и никогда не будет святилища. С него довольно неба и смертных. Здесь именем бога освящается только портик, где просветы открыты всем лучам и плиты — всем людям, да еще — мастерские, куда пусть свободно входит всякий, кто желает и умеет работать на Аполлона... Иерархия? Да, но она будет определяться мнением мастерской о качестве работы, и только. Далеко с портала четкие мерещатся мне слова: «Аполлон улыбается не гордости лауреата, а рвению ученика».

Скептическая дама. Вечное ученичество! Мы обречены на чтение классных тетрадок. Пощадите!

Профессор. Что делать! Мечты о мастерстве помогают гордо носить звание подмастерья. 2 Настало время опять 3 учреждать цехи.

Журналист. Несомненно. Особенно у нас в России. Мы все еще слишком верим в наитие свыше. Забываем, что искусство должно быть вдохновенным и весе-

на женщину $\langle \ldots \rangle$ (Далее пересказывается разговор с Е. В. Аничковым, которого Кузмин просил ввести его в круг масонства. — Π . Д.) В заключение [Аничков] удивился, почему я так далеко обратился к нему, когда более близкий мне человек — Вяч. Ив. — тоже масон» (Кузмин М. Дневник 1934 года / Ред., вступ. ст. и прим. Г. Морева. СПб., 1998. С. 110). С. К. Маковский стал масоном уже в эмиграции, во Франции, в 1926 году (Серков А. И. История русского масонства. 1845—1945. СПб., 1997. С. 266). Вяч. Иванов отмечен в этой же монографии как несомненный масон в связи с его преподаванием на Высших женских курсах (С. 118). См. также информацию о масонстве Иванова, приведенную в энциклопедическом словаре «Русское масонство» (М., 2001. С. 353—354), впрочем, на основании не оговоренных источников.

⁴⁹ См. прим. 19.

⁵⁰ ГРМ. Ф. 137 (А. Н. Бенуа). Оп. 1. № 2623.

 $^{^{51}}$ Зачеркнуто. А. П. Нурок (1860—1919) — чиновник и музыкальный критик, близкий к «Аполлону» в его ранний период.

лым ремеслом. 4 Для русского писателя перо — все еще только орудие освобождения от муки собственных недоумений.

Любитель литературы. Вы хотите сказать, что пытка сострадающего читателя — наиболее доступный ему способ утешения? 5

1-й поэт. Однако за последние годы в России развилось именно мастерство стиха. После непосредственной напевности Бальмонта — такая упорная работа, как у Брюсова, Вячеслава Иванова...

 \mathfrak{X} урналист. Я говорю о прозе. У современного прозаика, по общему правилу, понятие о стиле не идет дальше понятия о грамотности.

Любитель литературы. К счастью для него, русская публика не умеет еще отличать безграмотности от отсутствия стиля.

Художник. Меня заинтересовал стиль того «Аполлонического портика», о котором говорил Профессор. Портик, никуда не ведущий! Не стремится ли он сделаться триумфальной аркой? 6

Профессор. О, нет. Это скорее портик для прогулок «Афинской школы». Все дело в том, чтобы собирались под его колоннадой поэты, художники, музыканты, философы для творческой работы, а над ними проходили облака, напоминая о Сократе и Бодлэре.

Скептическая дама. Как хорошо! Это что-то вроде живописного павильона, в лесу, на волшебном острове.

1-й поэт. Нет, скорее — Гайд-Парка с электрическим освещением и сельским комфортом.

2-й поэт. И с загородками для проповедников?

Любитель литературы. Предоставим проповедь моралистам. Они привыкли не бояться дурного вкуса.

2-й поэт. Но где в таком портике, предназначенном для светских разговоров, приют для молитвы и тайны?

Скептическая дама. Тайна с большой буквы?

Профессор. Хотя бы! Но ей довольно места на острие моего пера. Да как бы и там еще ей не пришлось иногда делиться с иронией — Тайне.

Философ. Я подымаю голос в защиту тайны. Тайны и тайнодействия. Разве боги сходят на землю не для мистерий? Разве они не распинаются на ней?

Профессор. Не будем отклоняться в сторону Диониса.

Философ. Аполлон и Дионис неразделимы. Нельзя молиться Аполлону, забыв о боге грозных веселий. Вспомните, что Дельфийский Аполлон сам насаждал культ Диониса в отдаленных областях. Корни Аполлонического искусства в Дионисе. Дант проходил сквозь 7 (selva oscura — темный лес (um.)), громоздящий вокруг него свои ужасы. Это образ жизни, лик Диониса. Но вот расходится мрак ночи, и в белом утреннем тумане четко отражаются в застывшем озере металлические лавры и золотое небо — Аполлон. Но это строго священственное (так!) видение встает уже за пределами жизни. Золотой лик Аполлона — для меня рисуется как лик смерти. Я не вижу, куда может вести Аполлон в области жизни.

Любитель литературы. Вы забыли об оракулах Аполлона. Он вмешивался в жизнь и давал житейские указания и советы. Обращали ли вы внимание на то, что оракулы никогда не являлись пророчествами? Они всегда ставили на пути вопрошающего как бы геркулесовы столбы $\langle (\text{si, si!} - \text{no, no!}) - \text{да, да!} - \text{нет, нет!} (um.) \rangle$, два конечных противоречия, две антиномии, указывающие устремление, но предоставляющие свободу в выборе направления. Вот пути, которыми вел через жизнь Аполлон.

Философ. Не спорю. Я только хотел утвердить братство Аполлона и Диониса и то, что нельзя достичь ступеней Аполлонова храма, не пройдя через Любовь и Смерть. Иначе может получиться внешний фальшивый холод.

Профессор. Мы приветствуем возвращение Аполлона на землю. В средние века человечество забыло об Аполлоне. Но Дионис не был забыт. Это он устраивал шабаши и вел за собою экстатические танцы, охватывающие целые страны — истинные танцы смерти. Следы же Аполлона теряются в средневековье.

Любитель литературы. Одна средневековая хроника сообщает, что в XII веке один⁸ пастушок в Альпах был заподозрен в колдовстве, благодаря тому неотразимому впечатлению, которое производила его музыка на женщин. И на пытке он сознался в том, что он бог Аполлон.

2-й поэт. А в легенде о св. Георгии, поражающем дракона?

Философ. Вы ошибаетесь. Св. Георгий не Аполлон. И Дракон — не Пифон. Дракон, змей — это всегда — символ посвященного. Пифон — это чудовище женского естества, чудовище хтоническое, порожденное землей. Этот приморский силющий рыцарь скорее сродни Персею, который к тому же по одному мифу побеждает Аполлона.

Скептическая дама. Ах, как интересны эти филологические тонкости! Но я плохо понимаю.

Журналист. Нет, оставимте лучше филологию и тонкости, и всех богов Греции. К чему нам мифы эллинов? Аполлон современный, грядущий к нам, возалкавшим о его новом царстве, — бесконечно далек от Дельфийского бога! Пусть мертвых хоронят мертвые. Умирает старый мир и в муках рождается новый, бесконечно далекий от классицизма и романтизма прошлых столетий. Человек, победивший землю и воздух, утверждает себя с небывалой дерзостью. Подумайте, воздух. Когда я вижу чудовищные города Америки и гигантских цеппелинов Германии, я говорю — это светопредставление (так!). Пусть новая религия! Пусть воистину второе пришествие, а не подогретое мистическое блюдо.

Скептическая дама. Вы, кажется, ждете Аполлона на аэроплане?

Журналист. Именно. Аполлон, парящий на фоне нашего современного города, живописно-уродливого, с фабриками, машинами и небоскребами. Аполлон, который не гнушается нашей жизнью, великой, трагичной, пошлой, исковерканной. Аполлон, раскрывающий перед новым человеком неоглядный кругозор.

Художник. Кругозор эстетический?

Журналист. Называйте, как хотите. Красота, религия, вдохновение так близко соприкасаются в сердце человека. Важно лишь одно: вперед — к открытиям, к завоеваниям, к безграничностям, к небу, к солнцу...

Скептическая дама. Здесь, кажется, говорили о проповедях в Гайд-Парке?

Молодой композитор. Музыка должна заменить всякие проповеди. Все искусства, все стремления к светлому царству преображенного человечества сольются в одной музыкальности. Духовная культура сделается симфонической. Не в этом ли символ Аполлона, Бога (так!) музыки, предводительствующего хором Муз?

1-й поэт. Конечно, новый человек научится снова петь и плясать. Так долго он не помнил об этом всеобъемлющем искусстве. И слова станут для него единственной реальностью, потому что в словах музыка мира сочетается с одиноким миром каждого.

3-й поэт. Это декадентская утопия. Не пора ли, прежде всего, проветрить немного атмосферу нашего пресловутого модернизма?

Художник. Какое некрасивое слово. И, пожалуй, выражающее еще меньше, чем кличка «декадентство».

Скептическая дама (обращаясь к поэтам). Как недавно еще Вы (так!) гордились этой кличкой.

3-й поэт. Помилуйте, декадентство — то, от чего мы открещиваемся и что уже поступило на рынок.

Журналист. Декадентство — искусство не оплодотворяющее, стерильное, как ненужный, хотя, может быть, и красивый орнамент, как бесцельное, хотя, может быть, и интересное беззаконие.

Художник. Декадентство — это художественный стиль (такой же стиль, как романтизм или ложноклассицизм) и особенность этого стиля: нарочитая субъективность.

Профессор. Таким образом, декадент — писатель, по Вашему мнению, всегда выдумывает себя, другими словами, — не думает так, как пишет?

Скептическая дама. Ах, нет! Уверяю Вас: горе декадента в том, что он думает то, что пишет.

Журналист. В таком случае, горе публики — что он пишет то, что думает.

Любитель литературы. Или наоборот.

Журналист. Как хотите.

Профессор. Вы шутите об (так!) очень серьезном и больном вопросе.

Любитель литературы. А разве стоит шутить о несерьезном?

Молодой композитор. Если правда, что искусство — игра, то декадентство — более искусство, чем все остальное. Это — игра, не имеющая уже безусловно никакой иной цели вне самой себя.

Профессор. Декадентством я называю внесение в литературу не принадлежащего ей элемента случайного, личного, чисто формального или интимного... Всякое техническое соревнование, напр., обмен акростихами, выдумывание новых рифм только для щегольства ими перед публикой, все эти профессиональные упражнения и фокусы, вынесенные на улицу — декадентство.

1-й поэт. В таком случае, декадентством грешили почти все знаменитые поэты — и Ронсар, и Эредиа, и Александр Сергеевич...

Профессор. Да ведь декадентство и не грех. На своем месте оно ничему не мешает. Другое дело — декаденты-писатели, способные только на фокусы и ни на что другое. Тогда перед нами действительно литература упадка, вырождение, фальсификация красоты.

Любитель литературы. Декадентство — необходимая приправа вкусного литературного блюда. Как яд горького миндаля — яд смертельный в руках неосторожного повара.

Скептическая дама. Должно быть, поэтому я чувствую себя отравленной.

Любитель литературы. Моими словами?

Скептическая дама. Немножко.

Журналист. Нет, это скорее противоядие против (так!) удивительного отсутствия вкуса, которое мы наблюдаем в нашей современной журналистике.

Любитель литературы. Отсутствие вкуса. Это говорит так много тому, у кого он есть.

Философ. Но куда вы деваете истину?

Любитель литературы. Ах, истина! Будем лучше говорить об истинах. Потому что истина «для всех» перестает быть сколько-нибудь интересной. Разговаривать — значит обмениваться непохожими мыслями.

Профессор. А спорить?

Любитель литературы. — Значит оскорблять свою мысль, навязывая ее другим. Нет ничего вульгарнее доктринерства. Четко выразить точку зрения — можем ли мы требовать большего от человека, не посягая на его эстетическую благовоспитанность? Убедить своего собеседника — разве не значит заставить его поглупеть еще на одну чужую истину?

Философ. Но сила убеждения...

Любитель литературы. Остается при каждом.⁹

 $^{^1}$ Сверху надписано: «Сразу как толь \langle ко \rangle начинаешь читать, не веришь в типы. Слова не типичны для профессии и пола».

- 2 Слово исправлено Бенуа. В тексте подмастерия.
- ³ Над словом «опять» рукой Бенуа надписано «снова».
- 4 Рукой Бенуа фраза дописана: «но непременно ремеслом».
- 5 На полях против реплики Любителя литературы сделано следующее примечание: «вычурно и непонятно».
 - 6 На полях против реплики Художника: «Не начать ли отсюда?»
- 7 На месте пропуска в тексте, оставленном для латиницы, вписано: Inferno? (Ад (um.) Π . \mathcal{I} .).
- ⁸ Подчеркнуто создающее стилистическую неловкость слово «один», а в первом предложении зачеркнуто соответственно слово «Одна» (и выправлена со строчной на прописную первая буква в следующем слове).
 - 9 После текста: Очень литтературно (так!) и холодно. Взаправду посмеяться бы.

«ОПРОКИНУТЫЙ ШЕВРОН»: НЕИЗДАННАЯ КНИГА СТИХОВ ЛИДИИ АВЕРЬЯНОВОЙ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПУБЛИКАЦИЯ © М. М. ПАВЛОВОЙ)

Жизненный и творческий путь поэтессы и переводчицы Лидии Ивановны Аверьяновой (1905—1942; псевдоним — А. Лисицкая; в первом браке — Дидерихс, во втором — Корсун) для исследователей русской поэзии поныне остается в значительной степени непроясненным. Мы располагаем лишь самыми приблизительными сведениями о подлинном объеме и составе ее литературного наследия; противоречивы или туманны свидетельства об обстоятельствах ее рождения и смерти.

Согласно анкетным данным Всероссийского Союза поэтов, Л. И. Аверьянова происходила из семьи купцов второй гильдии, по другой версии, была дочерью вел. кн. Николая Михайловича (1869—1919) — историка, писателя, председателя Императорского Русского Исторического общества, расстрелянного в Петропавловской крепости. В декабре 1962 года Ю. Г. Оксман спрашивал у В. М. Глинки (хранителя Государственного Эрмитажа): «...знали ли Вы в Ленинграде Лидию Ивановну Аверьянову? Она была на службе в Интуристе, писала стихи, переводила. Анна Андреевна (Ахматова. — М. П.) мне говорила, что ее муж работал в Эрмитаже. $\langle \ldots \rangle$ Когда Лидия Ивановна умерла? При каких обстоятельствах? Мне кажется, что Л. И. была дочерью вел. кн. Николая Михайловича, помнится, что я об этом что-то прочел в его неизд. дневниках лет 30 назад...»²

По сведениям Г. П. Струве, Л. И. Аверьянова не раз находилась под арестом за связи с иностранцами (она владела пятью основными европейскими языками, с середины 1920-х до середины 1930-х годов работала переводчицей в Интуристе³) и,

¹ См. ее анкеты члена Союза поэтов и Союза писателей: ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1. Ед. хр. 441, 444, 459; Оп. 2. Ед. хр. 60. Имена родителей Л. Аверьяновой указаны в личном деле ее мужа А. И. Корсуна: Иван Филатович и Ольга Владимировна Аверьяновы (Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 400. Л. 18).

² Глинка М. С. Хранитель. В. М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. Книга вторая. СПб., 2006. С. 138. Фрагменты дневниковых записей Н. М. Романова за 1914—1917 годы опубликованы в «Красном архиве» (1931. Т. 47—48. Кн. 4—5; Т. 49. Кн. 6), в этих записях он освещает военные действия в период своего пребывания на фронте, а также события, предшествовавшие Февральской революции (в частности, историю убийства Г. Распутина). В записках «Мои свидания осенью 1901 г. в Крыму с графом Л. Н. Толстым» (Красный архив. 1927. Т. 21. Кн. 2) Н. М. Романов вскользь упоминает о деле, касавшемся его личной жизни, которое он обсуждал с Толстым (и которое вызвало у того горячий отклик), но не передает содержание разговора. Возможно, Ю. Г. Оксман имел в виду неопубликованные фрагменты дневника великого князя.

³ В 1926 году в качестве переводчицы Л. Аверьянова сопровождала в поездке из Ленинграда в Москву лауреата Гонкуровской премии крупнейшего французского писателя Жоржа Дюамеля (Duhamel; 1881—1966) (без имени была упомянута в его «Путешествии в Москву», 1927), в 1931 году была гидом Бернарда Шоу, а также многих других иностранных гостей, в ее архиве

вероятно, погибла в заключении. На наш официальный запрос в Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о наличии в архиве документов, подтверждающих эти сведения, получен отрицательный ответ.

По другим свидетельствам, Л. Аверьянова скончалась в психиатрической больнице на Пряжке (что, впрочем, не противоречит сведениям Г. П. Струве, так как больница на Пряжке использовалась НКВД). Эту версию подтверждает рассказ М. А. Турьян (со слов ее мужа, ныне покойного): Н. М. Давидовский, врач-терапевт, в студенческие годы проходил практику в больнице на Пряжке (не позднее 1940 года). Однажды к ним на занятия привели пациентку, в которой он узнал Л. И. Аверьянову. Когда-то он был мельком знаком с ней, но потом потерял ее из виду; она была блестящая женщина, обращавшая на себя внимание, запоминающаяся. Натан Матвеевич рассказывал, что испытал шок, увидев ее в качестве живого экспоната. Все присутствовавшие на этом практическом занятии, однако, были потрясены блистательным и точным, с клинической точки зрения, рассказом пациентки о симптомах ее болезни.

Архив Л. И. Аверьяновой оказался рассредоточенным между Петербургом и Стэнфордом (США). В 1935 году она передала наиболее ценные документы на хранение в Пушкинский Дом, а еще через два года переправила рукописи сборников «Серебряная рака. Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат» с целью их возможной публикации за рубежом итальянскому переводчику и литературоведу Этторе Ло Гатто. От него они попали к Г. П. Струве и впоследствии отложились в его архиве, ныне хранящемся в Гуверовском институте.

Отдельные публикации из поэтического наследия Л. Аверьяновой, осуществленные в 1940—1960-е годы за рубежом и в позднейшее время в нашей стране, в свидетельствуют о несомненной «культурности» и значительности лирического голоса поэтессы и побуждают к более основательному знакомству с ее творчеством, о котором мы знаем совсем немного. По справедливому замечанию М. С. Глинки, ее судьба оказалась прочно вплетенной в «паутину перекрестных нитей самой гробницы русской культуры: Оксман — Ахматова — Аверьянова — историк и ученый вел. кн. Николай Михайлович — Эрмитаж — А. И. Корсун — Л. Л. Раков... Все связано со всем».9

Л. Аверьянова начала писать стихи в пятнадцать лет, в шестнадцать (в 1921 году) была принята в Союз поэтов (вероятно, представив несколько стихотворений в рукописи, этого было достаточно по правилам того времени). Ее первая публикация — стихотворение «Щит от мира, колыбель поэта…» — состоялась в 1923 году в журнале «Записки Передвижного Театра» (№ 63). Годом ранее в рукописном сборнике «Зреющая Россия, альманах первый» (на обложке: Пб., 1922)

сохранились автографы Умберто Нобилє (1931), Фритьофа Нансена (1928), Мартина Андерсена-Нексе (1931), Герберта Уэллса (1934), испанского гитариста Сеговии и др.

⁴ Струве Г. Стихи А. Лисицкой // Мосты (Мюнхен). 1962. № 9. С. 121.

⁵ С итальянским славистом Этторе Ло Гатто (Ettore Lo Gatto; 1890—1983) Л. Аверьянова познакомилась в 1929 году и затем поддерживала дружеские отношения. Сохранилось письмо Э. Ло Гатто к Л. Аверьяновой от 6 октября 1934 года, в котором, вернувшись из поездки в Москву, он благодарит ее за встречу и «приятную компанию», а также сообщает, что выслал ей книги итальянских поэтов для перевода (ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 33).

 $^{^6}$ Подробнее об этом сюжете см.: Струве Г. Стихи А. Лисицкой. С. 121—122; Тименчик Р. О стихах-эмигрантах # Звезда. 1995. № 2. С.124—125.

^{7 «}Стихи о Петербурге» А. Лисицкой печатались в «Новом журнале» (Нью-Йорк): 1946. № 14; «Возрождении» (Париж): 1949. № 1 и 1950. № 7; «Гранях» (Мюнхен): 1952. № 14; 1953. № 18; 1954. № 22; «Мостах» (Мюнхен). 1962. № 9.

⁸ См.: Тименчик Р. Д. Тынянов в стихах современницы // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 247—249; Аверьянова Лидия. Стихи о Петербурге / Вступ. заметка и публ. Р. Тименчика // Звезда. 1995. № 2. С. 123—129.

⁹ *Глинка М. С.* Хранитель. В. М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. Книга вторая. С. 139.

Л. Аверьянова поместила три стихотворения под романтическим псевдонимом Эллида Крейслер: «Угоден Богу каждый спелый колос...», «Простор стихающей Невы», «L'Automne» («Осень. Вечерний ветер...»). В 1924—1927 годах последовали, главным образом эпизодические, публикации в журналах «Ленинград», «Красный студент», «Красная молодежь», «Красный журнал для всех», в газетах «Смена», «Красная газета», «Ленинградская правда». 11

Несмотря на сравнительно небольшое число напечатанных стихотворений, уже в 1920-е годы Л. Аверьянова пользовалась некоторой известностью в кругу ленинградских поэтов. Она была дружна с Д. Хармсом и А. Введенским, ¹² Вл. Смиренским и Е. Данько, состояла членом Ленинградской Ассоциации неоклассиков, входила в кружок «Кольцо поэтов», участвовала в «Вечерах на Ждановке», или «вторниках» (1926—1927), — поэтических чтениях «неоклассиков», происходивших по вторникам на квартире у Ф. Сологуба на наб. р. Ждановки (в д. № 3/1). ¹³

Ф. Сологуб внимательно отнесся к стихам самой юной участницы «вторников». 17 мая 1926 года он писал ей: «Дорогая Лидия Ивановна, очень благодарю Вас за Ваше милое письмо, и очень рад, что Вы находите удовольствие бывать на собраниях "неоклассиков". В этот вторник, 18-го, собрание опять не состоится, потому что я все еще на положении больного. Я условился с Л. В. Пумпянским, 14 что мы соберемся в будущий вторник, 25-го. Я был бы очень рад, если бы и без этого повода, и до этого дня Вы зашли ко мне почитать Ваши стихи, которые мне очень нравятся. (...) Если Вы еще дома, постарайтесь обрадовать меня Вашим посещением и Вашими стихами». 15

В 1927 году поэтесса была представлена А. Ахматовой и стала бывать у нее (16 июля 1928 года ей была надписана «Белая стая»: «Милой Лидии Ивановне Аверьяновой в знак приязни Ахматова»). 16

К этому времени у Л. Аверьяновой были готовы к печати два сборника стихов. В первый — «Vox Humana» (1924; в переводе с лат.: голос человека) вошли стихотворения: «Угоден богу каждый спелый колос...» (1921), «По имени и другом назови...» (1922), «Щит от мира, колыбель поэта...» (1923), «Матерь божья Часу безответна...» (1923), «Неотвратимо, неизбежно...» (1924), «Верно, сердцем уродилась суше...» (1924), «Что лирика? Быть может, сотый...» (1924). ¹⁷ Сборник «Вторая Москва» (1927) содержал три десятка стихотворений. ¹⁸ Оба остались неизданными.

Небезынтересное мнение о ранней лирике Л. Аверьяновой высказал Д. А. Лутохин в ответ на просьбу поэтессы посодействовать публикации ее стихотворений в пражских изданиях. 15 июня 1924 года он писал ей из Праги: «В⟨аши⟩ стихи красивы и сильны, хотя у них два недостатка: они слишком "Ахматовские" по форме

¹⁰ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 22. Альманах был изготовлен в количестве пяти машинописных экземпляров, по числу авторов; помимо Л. Аверьяновой в нем участвовали: Борис Брик, Михаил Волковыский, Сергей Егоров, Геннадий Фиш.

¹¹ См. анкеты: ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. Ед. хр. 60; Оп. 1. Ед. хр. 441.

¹² О ранней биографии поэтессы см. в комментарии А. Устинова и А. Кобринского к дневниковым записям Д. Хармса: Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Т. 11. С. 519—520, а также в нашей публикации: Л. И. Аверьянова-Дидерихс. Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 года // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003 год. С. 544—558.

¹³ Подробнее о «Вечерах на Ждановке» см.: Данько Е. Я. Воспоминания о Федоре Сологубе. Стихотворения / Вступ. статья, публ. и коммент. М. М. Павловой // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 1. С. 192—261; М. В. Борисоглебский и его эоспоминания о Федоре Сологубе / Вступ. статья, публ. и прим. М. М. Павловой // Русская литература. 2007. № 2. С. 88—115.

¹⁴ Пумпянский Лев Васильевич (1894—1940) — литературовед, участник «вторников».

¹⁵ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 55.

¹⁶ Тименчик Р. Д. Тынянов в стихах современницы. С. 248.

¹⁷ См. макет сборника: ИРЛИ. Р. І. Ед. хр. 106.

¹⁸ Макет книги «Вторая Москва» с рекомендацией И. Садофьева печатать сохранился в частном собрании (принадлежал Л. Л. Ракову).

и слишком заражены модным пафосом современных питерских обывателей. Простите столь резкую характеристику. Но поэт имеет право на внимание к себе, когда его душа ноет *по-своему*. Мне доставит, однако, большую радость, если я смогу Ваши стихи где-нибудь устроить. Не сомневаюсь, что если Вы не бросите поэзии, но и не будете вдали от жизни, из Вас выйдет звезда»; 19 через два с половиной года (27 февраля 1927): «Ваших произведений я не отнес бы все же к любимым. В них — надрыв, крик... Давайте разговаривать тихо, спокойно, не вещая. Вы еще придете к "замедлению пульса", когда Вам будет больше лет и когда у Вас будет внимающая Вам аудитория». 20

Попытки Л. Аверьяновой напечататься за границей не увенчались успехом, тем не менее ее стихи заинтересовали пражских поэтов и даже критиков. «Ваше письмо меня тронуло, — сообщал Лутохин в феврале 1927 года, — стихи мне потрафили, да не только мне, но и другим их читателям. Читали же их молодые поэты пражские: Сергей Рафальский, Борис Семенов, и не молодой уже, всего на 5 лет меня моложе, 37-летний автор "Мощей" (И. Ф. Каллиников. — M. Π .). Ваши стихотворения читал и критик Слоним, даже стащил он их у меня, чтобы без \mathbf{B} (аше го) согласия, но и без \mathbf{B} (аше — тиснуть». $\mathbf{2}^{11}$

В последующие годы Л. Аверьянова продолжала писать, но не печаталась (или ее не печатали). Три очередных поэтических сборника: «Опрокинутый шеврон» (1929), «Серебряная рака. Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат» (оба — не позднее 1937) — остались неизданными, как и два первых. Вопреки предсказанию Д. А. Лутохина, собственной «аудитории» в широком смысле у нее так и не образовалось. Лишь некоторые стихотворения еще при жизни поэтессы стали известны в эмиграции и получили признание, однако она об этом ничего не знала.

Г. П. Струве вспоминал: «Перед войной я несколько раз читал стихи Лисицкой о Петербурге в частных домах в Лондоне. Помню одно чтение в доме А. В. Тырковой-Вильямс в присутствии В. В. Набокова, который приезжал ненадолго в Лондон и которому я устраивал вечера чтения его произведений в нескольких английских домах. (...) Помню, некоторые стихотворения Лисицкой ему понравились. Тогда же, помнится, я послал несколько стихотворений И. И. Бунакову-Фондаминскому в "Современные записки". Я знал, что этот журнал был известен Лисицкой, и что она его ценила. Но я счел нужным нарушить строгий наказ автора и заменить ее фамилию придуманным мною псевдонимом,²² основанным на шутливом прозвище ("Лис"), которым она подписывала иногда свои письма к нашей общей знакомой англичанке. Кажется, война помешала напечатанию этих стихов, хотя редакция "Современных записок" и приняла их (у меня нет сейчас возможности проверить, не появились ли они в единственной вышедшей в 1940 году книге журнала)».²³

¹⁹ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 37. Л. 2.

²⁰ Там же. Л. 3 об.

²¹ Там же. Л. З. В письме упоминаются: участники пражского литературного объединения «Скит поэтов» Сергей Милиевич Рафальский (1896—1981); Борис Константинович Семенов (1894—1942); Иосиф Федорович Каллиников (1890—1934), автор романа «Мощи» (М., 1925; Л., 1926; Берлин, 1929—1930; фрагмент печатался в газете «Руль» (Берлин, 1926. № 1759, 15 сент.)); а также критик и публицист Марк Львович Слоним (1894—1976).

 $^{^{22}}$ В письме к Э. Ло Гатто (1937), приложенном к рукописи «Серебряной раки», Л. Аверьянова просила: «...не бойтесь за меня и не жалейте: природные данные каждого человека должны иметь свободное развитие, в этом — залог развития культуры. $\langle ... \rangle$ Псевдонима не давайте, пожалуйста, пускай книга выйдет под моим именем, как моя подпись. Один конец!» (Tu-менчик P. О стихах-эмигрантах. С. 125).

²³ Струве Г. Стихи А. Лисицкой. С. 121—122. В письме упоминаются: писательница и общественный деятель Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962), писатель Владимир Владимирович Набоков (1899—1977), публицист, общественный деятель, один из руководителей журнала «Современные записки» (1920—1940) Илья Исидорович Фондаминский (Фундаминский; псевдоним — Бунаков; 1880—1942). В 70-й книге «Современных записок» стихи Л. Аверьяновой не были напечатаны.

Впервые имя А. Лисицкой на страницах зарубежной печати появилось в 1946 году в «Новом журнале» (Нью-Йорк), где были опубликованы шесть ее стихотворений (1930—1935), предоставленных редакции Г. П. Струве. В заметке, предварявшей публикацию, сообщалось: «Печатаемые "Стихи о Петербурге", случайно доставшиеся в распоряжение редакции "Нового журнала", принадлежат перу поэтессы, прожившей всю революцию в Советской России. Насколько нам известно, они нигле не были напечатаны. $Pe\partial$.». 25

Г. П. Струве отнесся к творчеству неведомого ему поэта с горячим сочувствием. В лирике Л. Аверьяновой он увидел живую связь с акмеизмом, с поэзией Н. Гумилева и О. Мандельштама периода «Камня». О его поистине рыцарском отношении к сульбе «трофейных» стихов свидетельствует письмо в газету «Русская мысль» (1949. № 142. 3 июля): «В только что вышедшем XVI выпуске журнала "День Русского Ребенка" напечатаны, переданные мною редактору его, Н. В. Борзову, 26 два стихотворения б. "советской" поэтессы, ныне Ди-Пи, 27 А. Лисицкой: "Три Алексея" и "Ледяной дом". К сожалению, во втором из этих стихотворений редактор нашел нужным, не снесясь со мной, по каким-то ему одному известным соображениям, выбросить одно слово, нарушив тем самым размер стихотворения, устранив одну рифму и заставив читателей гадать: что значит сие многоточие? Из уважения к незнакомому мне автору, за напечатание стихотворения которого я отвечаю, и в интересах литературной правды, прошу не отказать напечатать это замечательное стихотворение в его подлинном виде, а именно: редактором "Дня Русского Ребенка" выброшено было слово "бесовский" в четвертой строфе с конца (речь здесь идет, несомненно, о мальтийском кресте)».

В течение двадцати лет Г. П. Струве публиковал и пропагандировал стихи А. Лисицкой о Петербурге, не оставляя надежды выпустить «Серебряную раку» отдельным изданием. Он вел переговоры об оформлении книги с М. В. Добужинским (таково было пожелание Л. Аверьяновой, высказанное в письме к Э. Ло Гатто²⁸), а после его смерти намеревался обсудить оформление сборника с А. Н. Бенуа (кончина последнего помешала этому плану). ²⁹ Книгу Л. Аверьяновой ему издать так и не удалось, но благодаря его усилиям большой корпус стихотворений «Серебряной раки» стал известен зарубежному читателю и вызвал хотя и немногочисленные, но все же заинтересованные отклики. 29 мая 1953 года в связи с началом издания «Опытов» Р. Н. Гринберг обращался к Струве с просьбой: «Стихи о Санкт-Петербурге пришлите непременно. Чьи они?» ³⁰

В рецензии на публикацию А. Лисицкой, помещенную в «Гранях» (1953. № 18),³¹ Ю. Терапиано отмечал: «250-летию Петербурга посвящено и семь стихотворений А. Лисицкой. Стихотворения по преимуществу изобразительные и описа-

²⁴ В подборку вошли стихотворения: «Летний сад», «Князь-Владимирский собор» (1. «Среди берез зеленокудрых...», 2. «Никогда мне Тебя не найти...»), «Три решетки», «Владимирский собор чудесно княжит...», «Петром, Петра и о Петре...».

²⁵ Новый журнал. 1946. № 14. С. 130—131.

²⁶ Борзов Николай Викторович (1871—1955) — преподаватель русского языка и литературы, с 1905 года в Харбине, с 1931 года в США, в 1934—1955 годах редактор ежегодника «Лень русского ребенка».

²⁷ Ди-Пи (от англ. dysplace person — перемещенное лицо, лицо без гражданства). Струве не располагал сведениями о судьбе Л. Аверьяновой и, возможно, по этой причине решил прибегнуть к маскировке, чтобы отвести от нее подозрения, если она была жива и находилась в СССР.

 $^{^{28}}$ Текст письма Л. Аверьяновой к Э. Ло Гатто см. в публикации: *Тименчик Р.* О стихах-эмигрантах. С. 125.

²⁹ *Струве Г.* Стихи А. Лисицкой. С. 124.

 $^{^{30}}$ Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Вох 29. Folder 14. Выражаю благодарность H. A. Богомолову за предоставленные материалы из архива Γ . П. Струве.

³¹ В альманахе были напечатаны стихи: «Еще не выбелен весной...», «Фельтен для тебя построил зданье...», «Адмиралтейство» («В ромашках свод, тенист и узок...»), «Маргаритками цветет империя...», «Михайловский замок», «Памяти кн. В. Н. Голицына».

тельные, написаны в нарочито скульптурной, тяжелой манере $\langle ... \rangle$. Читая эти стихи, невольно вспоминаешь стихи о Петербурге Бенедикта Лившица из его сборника "Болотная медуза". ³² Манера, образы очень напоминают манеру и образы Лившица»; в одном из стихотворений он усмотрел «сочетание манеры Б. Пастернака со Всеволодом Рождественским». ³³

21 января 1955 года Ю. К. Терапиано писал Г. П. Струве по поводу «Стихов о Петербурге»: «Что касается Лисицкой, я не знаю других ее стихов, и Вы мне о ней никогда не говорили. Я отметил, что ее стихи написаны умело, но меня, главным образом, удивил ее выбор сюжетов, совсем неожиданные для Ди-Пи и для нашего времени. Я говорил о жанре, Агнивцева вспомнил между прочим, ведь многие поэты в то время (и порой хорошо) писали о Павле Первом и т. д. Конечно, если бы редакция сделала примечание, фон для этого цикла стихов был бы иным, выбор сюжетов был бы тогда оправдан». 34

Наиболее репрезентативной из всех публикаций Л. Аверьяновой в зарубежной печати следует признать поэтическую подборку, помещенную в «Мостах» (Мюнхен, 1962. № 9), сопровождавшуюся обстоятельной вступительной заметкой об авторе и истории текстов. Вецензируя издание, Ю. Терапиано сетовал: «А. Лисицкая ⟨...⟩ известна в эмиграции по прежним ее публикациям. О том, кто она на самом деле, существует много предположений. Вступительная статья Глеба Струве никакого нового света не проливает, ограничиваясь сухой фразой». Вступительная статья Глеба Струве никакого нового света не проливает, ограничиваясь сухой фразой».

В ответ на это замечание Г. П. Струве заявил: «Я не знаю, какие "предположения" существуют относительно личности А. Лисицкой, но в моей заметке именно то ново, что я даю понять, что мне известно, кто она такая (отмечу при этом, что все прежние публикации ее стихов, о которых говорит Ю. К. Терапиано, исходили от меня). Не думаю, что разоблачение имени Лисицкой что-нибудь сказало $\langle \text{бы} \rangle$ большинству зарубежных читателей: под этим псевдонимом не скрывается никакой известный поэт. Мне известно только одно стихотворение А. Лисицкой, напечатанное в советском журнале за ее собственной подписью, но были и другие. $\langle \dots \rangle$ Что касается оценки стихов Лисицкой со стороны Ю. К. Терапиано, то это дело вкуса и спорить об этом не приходится».

«Стихи о Петербурге» обратили на себя внимание знатоков и ценителей поэзии. 31 марта 1965 года Ю. П. Трубецкой писал Г. П. Струве (в связи с появлением на страницах «Русской мысли» стихотворения Е. М. Тагер): «Кто такая Тагер? Мне не случалось о ней слышать. Но гораздо интереснее стихи А. Лисицкой, о которой Вы делали публикацию. Правда, мне Лисицкая очень напомнила поэта Б-а Лифшица (mar!) и его книжку или цикл "Из топи блат"». 38 25 октября 1965 года

³² Третья книга Бенедикта Константиновича Лившица (1887—1938) «Болотная медуза» отдельным изданием не выходила, лишь цикл «Из топи блат» вышел отдельным изданием (Киев, 1922), с подзаголовком «Стихи о Петрограде»; в сокращенном виде «Болотная медуза» вошла в книгу поэта «Кротонский полдень» (М.: Узел, 1928).

³³ Новое русское слово (Нью-Йорк). 1953. № 15165. 8 ноября. С. 8.

³⁴ Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 139. Folder 16. В письме упоминается поэт Николай Яковлевич Агнивцев (1888—1932), его политические стихотворения («Павел I», «Гильотина» и др.), написанные в период Февральской революции, пользовались широкой известностью.

³⁵ В подборку вошло 12 стихотворений 1933—1937 годов: «Расставаться с тобой я учусь...», «На Марсовом широком поле...», «...И ты, между крыльев заката...», «Смольный» («Утро. Ветер. Воздух вольный...»), «Смольный» («Пятикратный купол крова...»), «Когда, в тумане розоватом...», «Как Гумилев — на львиную охоту...», «Охтинскому мосту», «Бегут трамваи — стадо красных серн...», «Академия наук», «Лазаревское кладбище», «Колокол св. Сампсония».

³⁶ Русская мысль. 1962. 18 авг.

³⁷ Струве Глеб. О стихах А. Лисицкой / Русская мысль. 1962. № 1886. 4 сент.

³⁸ Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 140. Folder 10. Речь идет о поэтессе Елене Михайловне Тагер (1895—1964) и публикации Г. П. Струве, см.: Г. С. Стихотворение Е. М. Тагер об Анне Ахматовой // Русская мысль. 1965. № 2370. 7 окт.

Ю. П. Иваск сообщал Струве: «Дорогой Глеб Петрович, очень меня потрясла Ваша статья в "Р \langle усской \rangle М \langle ысли \rangle " о Тагер и Маслове. Я не знал, что они были женаты... Вероятно, Вы знали не только его, но и ее. Подумалось: м \langle ожет \rangle б \langle ыть \rangle , ЛИ-СИЦКАЯ — Тагер... Но это одно только предположение».

По прошествии шестидесяти лет после появления в печати имени Лисицкой приходится признать, что ее творческий путь по-прежнему остается непроявленным, ни одна из ее книг стихов не была издана. Этот пробел отчасти помогают восполнить материалы, связанные с историей сборника «Опрокинутый шеврон» (1929).

В письмах и воспоминаниях современников никаких упоминаний об этом сборнике нам не встречалось. Авторский рукописный макет книги сохранился в личном фонде поэтессы в Пушкинском Доме, куда он был присоединен в 1964 году (дополнение поступило от М. Е. Глинки 40).

В поэтической эволюции Л. Аверьяновой третья книга стихов «Опрокинутый шеврон» занимает пограничное место. В ней все еще сильно чувствуется «ахматовское» дыхание и «надрыв» (на которые указывал Д. А. Лутохин, характеризуя раннюю манеру поэтессы), а также влияние лирики А. Блока. По определению самой Л. Аверьяновой: «Это — ужасно девические стихи». ⁴¹ В то же время сборник закрывает целую эпоху в ее творчестве, за которой открываются пути к другой манере: к «замедлению пульса» и петербургской теме «Серебряной раки».

Книгу образует лирический цикл — 21 стихотворение; ее тема (история любви) эксплицирована в названии. Шеврон — нашивка на рукаве у военных, чаще моряков, обычно бывает в виде стрелки, направленной к кисти; опрокинутый шеврон — вероятно, эротический символ: стрелы Амура. На обороте титульного листа макета помета: «Отпечатано в количестве двух именных экземпляров»; один из них, очевидно, принадлежал Л. Аверьяновой (местонахождение неизвестно), другой предназначался для А. Корсуна.

Андрей Иванович Корсун (1907—1963) — поэт, переводчик, генеалог и специалист по геральдике; перевел скальдические стихотворные фрагменты для книги «Исландские саги» (Л., 1956) и «Старшей Эдды» (статья и комментарий М. И. Стеблин-Каменского. М.; Л., 1963), не раз переиздававшейся.

Почти тридцать лет А. Корсун служил научным сотрудником Государственного Эрмитажа. Приведем краткие биографические сведения из его личного дела: родился в Кисловодске в семье юриста, дворянин; до 1926 года жил вместе с родителями в Кисловодске и Таганроге, затем переехал в Петербург, в 1926—1930 годах учился в Институте истории искусств «на Словесном отделении на Журнальном уклоне», которое не закончил, получил специальность библиотекаря; владел французским, английским, немецким и украинским языками; в 1931—1934 годах служил библиотекарем в Центральном Доме работников просвещения, затем в Русском музее, с 1934 года в Эрмитаже (в 1941—1945 годах находился на фронте; в 1960—1961 годах временно уволен из Эрмитажа по инвалидности, затем восстановлен); был женат на Л. И. Аверьяновой, разведен в 1944 году. 42

Знакомство Л. Аверьяновой с А. Корсуном (в то время она была замужем за Федором Дидерихсом) состоялось около 1928 года, вероятно, в литературном кругу. А. Корсун обладал яркой, импозантной внешностью. Анастасия Львовна Рако-

³⁹ Там же. Вох 91. Folder 2. Упоминаются супруги — Е. М. Тагер и поэт Георгий Владимирович Маслов (1895—1920). Стихи Г. В. Маслова и его комедию «Дон Жуан» Г. П. Струве напечатал в подготовленном им издании «К истории русской поэзии 1910-х—1920-х годов» (Berkeley, 1979).

⁴⁰ Марианна Евгеньевна Глинка (1908—1979, рожд. Таубе), в первом браке жена В. М. Глинки, во втором — А. И. Корсуна.

⁴¹ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 103. Л. 16.

⁴² Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 400.

ва, дочь известного историка и искусствоведа, вспоминала, что в детстве (середина 1930-х) она часто видела его около их дома (они жили по соседству с ним на Дворцовой набережной). В окружении отца А. Корсун был самым красивым (эффектным) мужчиной: высокий, сухопарый, грациозный, запоминающийся навсегда (по мнению же Л. Л. Ракова, красота его была пустой, не наполненной, он не был личностью).

Более поздний портрет А. Корсуна встречается в воспоминаниях М. С. Глинки (приемный сын М. Е. Глинки, племянник В. М. Глинки): «Двухметровый, с иконописным лицом, худущий до впалых щек (...). В дяде Андрее было что-то такое, что я, увидев его впервые, уже через час стоял около него, прислоняясь, а мне было тогда не три, не пять, а уже девять... Говорил он всегда и со всеми безукоризненно вежливо и сдержанно-приветливо. Долгое время после войны он ходил в галифе, должно быть, на его рост не достать было брюк. Позже помню его в коридорах Эрмитажа — силуэтом форменный Дон-Кихот — он говорит с молоденькой сотрудницей. Она (я ее не знаю) стоит рядом и так близко к нему, что смотрит ему в лицо почти вертикально вверх. Что-то мягко отвечая ей, он отступает и отступает назад, а она наступает. На ногах у него накладные кожаные голенища — английские краги 1910-х гг. У него черные усы и брови. Волосы совершенно седые. Это уже середина пятидесятых». 43

Роман Л. Аверьяновой с А. Корсуном развивался стремительно и бурно и вылился в обращенный к нему поэтический цикл-послание. Первое стихотворение «Опрокинутого шеврона» датировано 27 октября 1928 года, последнее — 4 февраля 1929-го, несколько посланий оформлены как акростихи, большинство имеют посвящения: «Андрею», «Андрею Корсуну», «А. К.», «А. И. К.»; одно стихотворение написано непосредственно на почтовой карточке, отправленной адресату, еще два сопровождаются письмами. Впоследствии Л. Аверьянова сохранила письма в макете «Опрокинутого шеврона», — возможно, как напоминание о «фабуле» лирического сюжета, позволявшей восстановить фрагмент общего интимного текста автора и «героя», в котором они оба существуют как Лис и Адя.

Предположительно через год после событий, вызвавших к жизни «Опрокинутый шеврон», Л. Аверьянова оставила Ф. Дидерихса и соединила свою судьбу с А. Корсуном. Их союз был прочным, хотя не раз подвергался испытаниям. Импульсивная «мятущаяся поэтесса» чимела склонность к романтическим увлечениям (в 1934 году она переживала влюбленность в Л. Л. Ракова и посвятила ему несколько стихотворений (Совместная жизнь поэтов перемежалась с длительными разлуками. А. Корсун часто и подолгу уезжал на Северный Кавказ к престарелым родителям (они жили на станции Минутка под Кисловодском, лишь перед самой войной он перевез их в Ленинград, где они погибли во время блокады). В дни разлук Л. Аверьянова систематически писала мужу; сохранившиеся письма — один из немногих, если не единственный сегодня, источник сведений об обстоятельствах жизни поэтессы, стилистике отношений с близким человеком, о ее внутреннем мире. 46

Например, 3 сентября 1936 года А. Корсун писал ей (здесь и далее цитирую с учетом орфографических особенностей оригинала): «Милый Онегин, животом страдающий! Как он, живот то есть? Прошел? Не налегайте на колбасу. Ох, чует

⁴³ Глинка М. С. Хранитель. В. М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. Книга вторая. С. 135.

⁴⁴ Там же. С. 136.

⁴⁵ Об этой романтической истории см. в воспоминаниях Л. Л. Ракова (глава «Роман в стихах»): *Раков Лев*. В капле воды / Вступ. заметка и публ. Анастасии Раковой // Звезда. 2004. № 1. С. 96—101.

⁴⁶ Сохранилось 76 писем Л. Аверьяновой к А. Корсуну за 1937—1941 годы и три его письма к ней (1936 года и недатированные): ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 106—108.

мое сердце (или соотв \langle етствующий \rangle орга́н 47), что Вы опять черт знае как питаетесь. И вся Ваша полнота пойдет насмарку. Особенно если всякие Мольеры перегружают бюджет. Не глупи, крыса, я с тобой возиться больше не хочу. И не буду тебе ни отцом, ни матерью. Имей это ф виду. Видьмедица шлет тебе привет и поклон, Вам и внучатам. Стареет, но бодрая еще.

Я познакомился с премилой чилипахой. Ростом она с твою ладонь, а важности необычайной. Очень приглашал ее поступить к тебе в черепахи, но она отказалась. Говорит, что не хочет расставаться с хозяевами. Очень жаль. Она смисная. $\langle ... \rangle$ А ты свиненок, что не досидел на грибах, сколько тебе полагалось. Привезу одну книжку, покажу тебе, с тебя довольно будет. $M\langle oжет \rangle$ б $\langle oset \rangle$, и подарю, а $M\langle oset \rangle$ б $\langle oset \rangle$, и нет. Это как ты мне понравишься.

Про "суксуальный" это очень здорово. А где все это происходило? Обо мне же Вам спрашивать не пристало. Это не в Вашем департаменте, душенька. Ну и цыц... Я неумоляем, как видите. А Вы смисная коска. Нет, только не худей! Останься этаким бель-фамом, пожалуйста. Очень просю! Примерно вот по этой схеме. Такой ты была 1½ месяца назад. Такой и останься. Это кисиво! Мои шлют тебе привет. Э муа з'оси. 49

Будь здорова, благополучна, спокойна. И накопи сил и спокойствия для того, чтобы встречаться со мной (ежели доведется) мирно и благодушно. Как полагается хорошим зверятам, чтобы у меня мозги не переворачивались от твоих нелепостей. Будь добр, сибакин мой милый, не помышляй токмо о радостях своих, подумай и о пользительностях. Береги себя всячески, а не как до сих пор было: лежанием в постели только. (Каламбурить не буду. И Вам не советую). Будь смисной киской. $\langle \ldots \rangle$ Есть у тебя "Тристан и Изольда"? 50 Сыграй оную мне. Сыграешь?». 51

В переписке Л. Аверьяновой и А. Корсуна, пришедшейся на самый разгар сталинских репрессий, более всего поражает игровая стихия детства (в том числе подчеркнутый орфографический инфантилизм), которая, возможно, была не только вариантом сюсюканья влюбленных, но и формой бессознательного протеста — ухода от кровавой советской действительности.

Люди в этих письмах почти не упоминаются (за редчайшим исключением), зато сообщаются бесчисленные подробности о жизни котов и кошек, собак, голубей и прочих птиц. Подлинные хозяева эпистолярного пространства супругов: бухарский кот, впадающий в спячку ежик Фомка, нуждающаяся в новой клетке белка Манефа, спаниель Чесма, собака Топка, рыжий кот Гришка и кот Пушок, кошки Долька и Апельсинка и т. д. Аверьянова сообщает Корсуну о том, что «Пума, Пышка и маленькая Гризи больны кошачьей чумой», о выведении у животных блох, или просит: «Привези мне с Кавказа летучую мышь за пазухой» и т. п. Она подписывает свои послания: Лис, Лиська, Лисица, «Твой старый приятель и греховодник Лис Аверьянов»; называет А. Корсуна: Сибакин, Котище; характерное начало письма: «Дорогой Андрей, привет от всех зверей», окончание: «Целую тебя в мордочку и лапки, поцелуй за меня своих», в адресе отправления письма: «Село Хвостоножкино, Псковской губ., Почтовое Отделение Кошкособачье». 52

 $^{^{47}}$ Возможно, каламбур: в 1920-е годы Л. Аверьянова училась в консерватории по классу органа.

⁴⁸ Далее в тексте следует рисунок, на котором изображена женская фигура с чрезмерно пышными формами.

⁴⁹ Э муа з'оси — транслитерация французского: et moi aussi — и я тоже.

⁵⁰ Вероятно, имеется в виду опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда» (1865). Л. Аверьянова музицировала и давала уроки музыки. В письме А. Корсуну от 24 июня 1939 года, например, она сообщала: «Я опять стала играть, и весьма охотно тренькаю этюды Клементи, на манер той смотрительской али полицмейстерской жены в "Воскресении" Толстого» (ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 107. Л. 24).

⁵¹ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 108. Л. 1—3.

⁵² Там же. Ед. хр. 107. Л. 56 (письмо от 27 июля 1940).

Конкретных фактов, из которых можно было бы сложить биографический очерк, в переписке совсем немного, но, несомненно, тем они ценнее. Лейтмотивом в письмах Л. Аверьяновой проходит тема безденежья и заработка: «По-моему, Тебе пора взять меня, Лису, на годик на свое иждивение, чтобы я хоть отдохнула и забыла, как волноваться из-за служебных дел. Что ты скажешь?» (7 августа 1938);⁵³ «...наш Институт окончательно ликвидирован,54 и остался я со своим носом (орлиной формы). Однако же работа кое-где есть — осталось 4 ученицы, одна очень способная» (22 августа 1938); «Если не найду себе на зиму службы — брошу вообще преподавать и займусь чем-ниб (удь) совсем новым, не знаю еще чем» (23 августа 1938); «...я ушла из школы по собств (енному) желанию, т. е. одна из приезжих учительниц обложила меня последними словами, и я из протеста ушла (...)» (21 февраля 1939); «Как отсюда я уеду? / Чем отдам я долг соседу? / Кто поможет мне в Беде? / Где же тот волшебник? Где??? — Лиська» (18 марта 1939 года из Лукошино Тверской области); «Сегодня я ревела только потому, что мне кое-кто грубо напомнил о моих душевных болезнях и потерянной в связи с ними работоспособности и точности — нельзя же съесть свой кекс вчера и хотеть съесть его сеголня! Самоубийством я нарочно, на зло всем, не кончу» (15 августа 1939); из психиатрической больницы в Луге: «Поздравь меня, у меня лопнул бюстгальтер, я стал веселый толстый Лис, мечтаю где-нибудь служить (на задних лапах), только чтоб служба была интересная (напр(имер), сторожихой в зоопарке). Читаю еще очень туго и медленно, как я буду где-нибудь письменным переводчиком и как я сдам в "ниверситет" — прямо ума не приложу, аж страшно» (25 февраля 1940); в последнем письме: «Дорогой Андрей, не думаешь ли Ты, что Тебе пора принести Лису новых и совершенно замечательных "фантиков"?» (30 мая 1941).

Перед войной Л. Аверьянова заочно училась на филологическом факультете университета, учеба имела формальный характер: для устройства на работу по специальности необходимо было получить документ о высшем образовании. В письме от 3 сентября 1938 года она сообщала А. Корсуну, что собирается сдавать экзамены: «За какой факультет сдавать — почти решила: конечно, не за романское отделение, т. к. кроме обще-филологических предметов вряд ли "ниверситет" меня чему-нибудь научит, чего я не сумею сделать лучше сама... Так что пойду я специализироваться по одному из тех 7, которые начала недавно»; 21 июля 1940 года ему же: «Я сдала вчера теорию литературы на "отлично" (...). На экзамене мне задали один вопрос по Марксу о литературе, но я, к счастью, догадалась, что Маркс не мог предпочитать Шиллера Шекспиру: все-таки голова у меня на плечах есть, и даже идеологические моменты я схватываю как-то сразу. Очень не глупая Лиска! Правда?».

Все это время Л. Аверьянова не оставляла профессиональных занятий, умножая число изученных языков. В 1939 году она перевела на испанский язык несколько стихотворений Пушкина и три сказки («Сказку о мертвой царевне», «Сказку о золотом петушке», «Сказку о царе Салтане»); начала работу над переводом «Витязя в тигровой шкуре». О своих занятиях она неизменно сообщала А. Корсуну: «Справься у Дуни, не приходили ли мне из Москвы книги? С ума можно сойти: я бы давно здесь выучилась по-грузински и уже успела бы забыть, а книг с прошлой осени все нет, котя деньги магазин взял... о, Расея! $\langle ... \rangle$ » (27 февраля 1939 года из Тверской области); «Дай мне на праздник трешку на водку, а то скючаю: перевожу "Мертвую царевну", а ты знаешь, до чего не люблю покойников» (28 апреля 1939); «Еду редактировать (в Москву. — М. П.) своего "Пушкина" и одновременно учить редактора правилам классической и революционной испанской

 $^{^{53}}$ Здесь и везде далее цитирую письма Л. Аверьяновой к А. Корсуну по: ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 106-107, без указания листа.

⁵⁴ Вероятно, речь идет об Институте истории искусств, который в 1937—1939 годах систематически подвергался чистке кадров и реорганизации.

поэзии, в противовес его (или ее, т. к. это "она") концепциям "буржуазно-французского Парнаса"» (24 июня 1939); «Любезный Котище, мотался я на самолету в Москву (...). Там "Международная книга" сразу купила у меня за 5 тыс. З хореические сказки Пушкина, относительно перевода моего Руставели на днях будет совещание в Отделе Печати при Ц. К. партии, по предложению коей организации и был у меня куплен Пушкин, издание будет роскопное, все 3 вместе, с миниатюрами Палеха. План мой перевода Руставели был вручен редакции с пометками, и мнение редакторов склонилось к тому, что Иосиф Виссарионович читал его сам... как бы то ни было. Руставели всех интересует очень, возможно, что к концу июня заключат на него договор» (9 июня 1939): «По Руставели достала почти все, что мне нужно для работы, только не хватает французского издания, которое обещали мне достать в Москве. (...)» (13 июня 1939); «Кржевский⁵⁵ считает, что в моих интересах самой написать вводную статью к моему Пушкину, а он мне поможет тем, что ее просмотрит и даст почитать умные книжки» (24 июня 1939); «Редактором моим назначен испанский поэт Рафаэль Альберти, 56 кот \langle орый \rangle на днях приедет в Москву, т. е. мнение одного человека, т. е. его, является решающим. Тот редактор, кот орый был до сих пор (женщина) правила буквально вредительски, вычеркивая, напр(имер), в "Петушке" знаменитое Кири-ку-ку, нагло заявив, что у "Пушкина тоже нет этого", что может дать тебе представление о непорядочности этой девки» (23 июня 1939) и т. д.

Издание сказок Пушкина на испанском языке, вероятно, так и не осуществилось. Перед самой войной Л. И. Аверьянова передала свои переводы «Сказки о мертвой царевне» и «Сказки о царе Салтане» М. П. Алексееву. ⁵⁷ Переводы поэмы Руставели и комедии Кальдерона, над которыми она работала в 1940 году, не печатались, а возможно, и не были закончены. Подверженная тяжкому душевному недугу, Л. Аверьянова провела немало времени в психиатрических больницах на Пряжке и под Лугой. По-видимому, болезнь усугублялась невозможностью получить постоянную работу и безденежьем. В письме от 28 апреля 1939 года она жаловалась Корсуну: «Лозинский написал холосый $\langle max! \rangle$ отзыв, с которым меня все равно никуда не примут, пока не сдохла»; ⁵⁸ 18 июля 1940 года ему же: «Я уже начала переводить комедию Кальдерона, но Москва, заключив договор, денег еще не шлет, живу, как собака, хотя я и Лис». ⁵⁹

Тема поэтического творчества в переписке Л. Аверьяновой с А. Корсуном, как ни странно, не возникает ни разу, хотя писать стихи она не прекращала («Я написала плохие стихи о Кронштадте, послала в газету, но, конечно, они привыкли печатать еще худшее...» — в письме от 25 февраля 1940 года). Лишь однажды в ее письмах к нему встречаются стихотворения — оба датированы 1938 годом; очевидно, они не могли войти в сборники «Серебряная рака» и «Пряничный солдат», отправленные Э. Ло Гатто в 1937-м; привожу по автографу:

СТРИЖ

А. И. Корсуну

В косом полете, прям, отважен, Минуя скат дворцовых крыш, В большие залы Эрмитажа Влетел ширококрылый стриж.

 ⁵⁵ Кржевский Борис Аполлонович (1887—1954) — специалист по испанской литературе.
 56 Альберти Рафаэль (1902—1999) — испанский поэт, коммунист.

⁵⁷ Багно В. Е. К теме «Пушкин в Испании» (новые материалы) ∥ Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983. С. 168.

⁵⁸ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 107. Л. 13. Имеется в виду поэт и переводчик Михаил Леонидович Лозинский (1886—1955).

⁵⁹ Там же. Л. 52.

Он наскоро проверил стены, Ворвался грудью в пейзаж И, по знакомству, у Пуссэна⁶⁰ Заснул, кляня свой вояж.

Его ловили неуклонно, Стремянкой бороздили пол, — И с Александровской колонны Его хранитель не сошел...

Но стриж, что куксился забавно, Медь крыльев чуя вдалеке, Вдруг полетел легко и плавно С твоей руки к его руке.

16 сентября 1938

COHET

Прекрасны камни Царского Села: В сих раковинах — славы отзвук гулкий, — Но если б вновь родиться я могла, Я родилась бы снова в Петербурге.

Его оград чугунная трава, Гранитные перевивая чурки, Вросла мне в сердце, голубее шкурки Песца, та многократная Нева.

Ораниенбаум с прогнившей балюстрадой, Протёрт газон еще Петрова сада... И Павловска эпическую медь

Переживу, и Петергоф тяжелый, Где воды свежи, и где зреет желудь — Но в Гатчине хочу я умереть.

16 сентября 1938⁶¹

По своему внутреннему ритму и содержанию эти стихотворения заметно отстоят от «Опрокинутого шеврона», хотя и связаны с ним одним именем — А. Корсуна. Они вполне могли бы занять место среди «Стихов о Петербурге» в «Серебряной раке» или в «Пряничном солдате». Это, вероятно, последние дошедшие до нас поэтические опыты Л. Аверьяновой.

Поздние годы поэтессы были омрачены болезнью, за которой последовали «больница, блокада, голод, осложненный страшными видениями неуравновешенной психики», 62 и преждевременная смерть. Л. И. Аверьянова умерла в 37 лет.

Книга стихов Лидии Аверьяновой «Опрокинутый шеврон» воспроизводится в соответствии с авторским макетом, хранящимся в ее архиве в Пушкинском Доме: ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 103. Указанное в Содержании стихотворение «Старый недруг, вспомни, вспомни...» (Экспромт) в макете отсутствует. Письма к А. Корсуну, сохраненные автором в макете книги, воспроизводятся в примечаниях к стихотворениям.

⁶⁰ В Государственном Эрмитаже хранится богатейшая коллекция картин Никола Пуссена (1594—1665), наиболее известны из них: «Снятие с креста», «Отдых на пути в Египет», «Св. Иоанн на Патмосе» и некоторые другие; о какой именно картине здесь идет речь — неясно.

⁶¹ ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 106. Л. 63—64. 62 Глинка М. С. Хранитель. В. М. Глинка: Воспоминания. Архивы. Письма. Книга вторая. С. 138.

Лидия Аверьянова

ОПРОКИНУТЫЙ ШЕВРОН

Стихи Л., 19..

Отпечатано в количестве двух именных экземпляров

(СОДЕРЖАНИЕ:)

Акростих («Ах, нет пути, мне нет пути назад!..») Скрытый акростих («Алый вечер, влажный ветер...») «Я не запомню лик такой...» («Колчан») «Знаешь, в дни, когда я от бессилья...» «У тебя глаза — теплеющие страны...» «Я сказочно богата ожиданьем...» «Нет, клекот дней не чувствовать острее...» «Крылом любви приподнята над всеми...» «И я справляю свое Рождество...» «О, в складках все одной мечты...» «Я помню, девочкой, случайно...» Дни («Как дней пустые жемчуга...») Акростих («А я не та. Опять мой голос ломкий...») Сонет-Акростих («Дано мне сердце — сокол меж сердцами...») Греческая церковь («День раскрывался, как белый подснежник...») Сонет-Акростих («Нет, он другой; не выше и не лучше...») «Старый недруг, вспомни, вспомни...» (Экспромт) «Я знаю дом: и я когда-то...» Акростих («Ах, в каких видала сновиденьях...») «О, милая любовь моя...»

$\langle AKPOCTUX \rangle$

Акростих («Авиньонское мое плененье...»)

Ах, нет пути, мне нет пути назад! Нестройное меня сжигает пламя: Душа моя — как Соловьиный Сад¹ — Российскими звенит колоколами. Едва струится полночь над водой И гулкий мост свои качает звенья... Когда б я стать могла чужой судьбой, Одним неотвратимым совпаденьем! — Рука к руке. Сарказма нежный лед... Старинный недруг, нет, Вы не поймете: У нас, под спудом память бережет Неву, и ночь, и сердце на отлете. 27 октября 1928, 29 ноября 1928

СКРЫТЫЙ АКРОСТИХ

Алый вечер, влажный ветер, О μ коснулся дней моих — И с ∂ войной судьбой на свете

Мне расти — и трогать стих: Знаю, если луч заката Тонкий путь мой пресечет — Вот, замкнулась я от брата В тихий дом и нежный лед; Если ветер — божий странник — Сдует радость с губ долой — Это сердце будишь к ранней Ты, недобрый княжич мой! 1 ноября 1928, 6 ноября 1928

Андрею

Знаешь, в дни, когда я от бессилья Становлюсь, вот так, сама собой — Простирают огненные крылья Ангелы к душе моей слепой.

Ах, я вброд прошла такие реки, Я прочла, мой друг, так много книг, Что у лучших опустились веки И заплакал сам Архистратиг.

Только это сердце принимая, Ни большой, ни мудрой не зови: Я такая женщина простая, Нищая в моей к тебе любви.

Вот, я здесь, в моем плаще разлуки; Всем ветрам не удержать меня— Но твои пылающие руки Мне страшнее моря и огня.

Эта боль в подкошенных коленях — Снится мне с годами все сильней: Головой на каменных ступенях Я лежу у милых мне дверей. 21—23 ноября 1928

У тебя глаза — теплеющие страны, Крылья времени у твоего плеча, В памяти медовым говором Тосканы Флорентийская шуршит парча.

Ах, во флорентийских хрониках любили Так, как мне тебя не полюбить, Андрей: Наши дни — как связка флорентийских лилий — Только тень других, высоких дней.

Но под русскими снегами бьется сердце, Кровь бежит венчальною струей. О, Флоренция, Флоренция, Фьоренца, Вот, смотри, ты назван именем ее.

И больших пространств едва тугое пенье Катится, как в темном кубке жемчуга: Флорентийской жизни древнее теченье Входит в северные берега.

23 ноября 1928

А. И. К.

Я не запомню лик такой На складнях дедовских молелен. — Как мне отпущенный, двойной Колчан ресниц твоих смертелен.

Червленых дней не расплести, Плывет туман, как жемчуг зыбкий — Какие замкнуты пути Одной дугой твоей улыбки.

Но — ветер из далеких стран — Я вновь стою в плаще разлуки... — Каких неизлечимых ран Не уврачуют эти руки. 25 ноября 1928

Андрею

Я сказочно богата ожиданьем. Живу — и дней крылатых не считаю. За долгий путь вознаградит свиданьем Старинный недруг или друг — не знаю.

В полотнах времени идет навстречу Тот, кто навек назначен мне судьбою. — О, кто б Ты ни был — знай, Ты мной отмечен. Благословенье Божье над Тобою.

Взгляни в лицо мое — Твое отныне, В мои глаза, опущенные строго: К Тебе, к Тебе ведет меня и стынет Тропой цветочной райская дорога. 1 декабря 1928 Союз писателей

Нет, клекот дней не чувствовать острее, Но жить стремглав, бездумно налегке— Не камнем медленным на этой шее, Но четками на дрогнувшей руке. И двигаться, шурша, нежнее дыма, Как Ариаднина струиться нить— Что было Вам, мой друг, неповторимо Легко держать и легче уронить:

Ведь с тонкой тенью моего заката Пути скрестились Ваши и мои — И сердце Корсунов в гербе крылато Двойной стрелою смерти и любви. 6 декабря 1928

, , ,

Крылом любви приподнята над всеми... Мой ломкий жребий нежен и жесток. — Глубокой ночью ропщущее время Глухим прибоем плещется у ног.

В плаще времен мне стройной снится тенью, Как кипарисы, молодость твоя. К твоим губам, к узлу сердцебиенья, Цветком надломленным склоняюсь я.

И жутких глаз я больше не раскрою, Но ковриком душа простерта ниц — И смерть едва заметною ладьею Плывет по краю сомкнутых ресниц.

Орлиный клекот, ветер непокоя, Сжигая дней легчайшие листы, В высокой муке, под моей рукою, О, сердце Корсунов, как бьешься ты! 9 декабря 1928

A. K.

О, в складках все одной мечты, В тисках холодного веселья, Мне снится, снится, друг, как ты — Ее целуешь ожерелье.

И, руки спрятав за спиной, Чтоб не схватить ножа тупого, — Я, в оскорбленье ей одной, С трудом придумываю слово.

...И, верно, голос твой ослаб: Ее руки рукой касаться... С улыбкой спит она. Когда б Она могла не просыпаться!

И часто так, в тугом плену, Хмельным качаемая зельем, Я вдруг ей горло затяну Ей возвращенным ожерельем. 13 декабря 1928. Полночь День Андрея Первозванного

И я справляю свое Рождество: Стою, смотри, у окна твоего.

И вижу ограду, каток, кусты И все. Что обычно здесь видишь ты.

Не ты со мной, но большие слова, Вот, имя твое приходит сперва,

Ложится на сердце крылами букв, Сухая ладонь приглушает стук.

В круженьи, в тревоге, в плену таком, Зачем я вошла в этот серый дом.

Мой стройный, высокий, хороший весь, Андрей, я не знаю, зачем я здесь.

Вздымается жизнь за твоим окном — И слезы весь мир рисуют пятном,

И ветер — сквозь жуткий нездешний свет — Качает деревья, которых нет.

23 декабря 1928

P.~S.~Mилый Андрей Иванович, я ошиблась: во вторник 25/XII вечером мы дома и Лис будет рад $A\partial e^2$

АКРОСТИХ

А я не та. Опять мой голос ломкий Над степью лег, под купол синевы. — Да, туже всех ремень моей котомки Рукой своею затянули Вы.

Еще я — факел на ветру разлуки, И я горю, чуть вспомню милый дом, Когда мой стих я Вам роняла в руки, Обожжена строфическим крылом.

Развеян теплый пепел вспоминанья. Спокойной будь. Ты вновь обречена Уйти. В тебе, как в опустелом зданье, Нет больше жизни. Только тишина. $29-30 \ \partial e \kappa a \delta p \pi \ 1928 \ ^3$

Я помню, девочкой, случайно С судьбою вымысел сплетя, В полях, под снегом, с болью тайной Андреев-крест искала я.4

Ни волк, ни зверь иной не тронет Меня, царевну — и домой Цветок несла я меж ладоней, Как сердце, данное судьбой.

И вот — Тебя зовут Андреем. Над нами высятся года. При встрече — нет, мы не краснеем И улыбаемся всегда.

Но если, друг, неясны дали, Твой жребий темен и жесток — Мне будет крест твоих печалей Как легкий некогда цветок. Ноябрь—декабрь 1928

дни

Как дней пустые жемчуга
На теплый пепел сновиденья—
Спадет на наши берега
Вода глубокого забвенья.

Они кричат, слова мои. Все ищут выхода и входа Румяно прожитые дни, Тревогой скошенные годы.

Как больно мне не быть твоей. Как мысль терзается сухая, Квадратный жемчуг наших дней В последний раз перебирая.

Смотри, как дом распахнут твой — И снова, дрогнув от бессилья, Мой голос над твоей душой Простер надломленные крылья.

29-30 декабря 1928

СОНЕТ-АКРОСТИХ

Дано мне сердце — сокол меж сердцами 5 — A мне ему не перебить крыла,

А мне таких — как солнце, как стрела! — Не удержать бескрылыми руками.

Дай мне взглянуть в лицо твое. Над нами Редчайший север — небо из стекла; Его лучи я тихо отвела: Италии твоей шуршит мне пламя.

Как будет трудно жить мне без тебя. Одна любовь ладьей сонета правит. Ровнее стих. Не узнаю себя:

С какой зарей мой сон меня оставит? Уходит все. И все возвращено. Не страсть стареет — доброе вино. 1-2 января 1929

ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

День раскрывался, как белый подснежник, Солнце стояло за облачной дверкой — В Троицын день, благовонный и нежный, В Троицын день я вошла в эту церковь.

Я — с нерушимой твоей колыбелью, С темным крылом моего лихолетья... Воздух струился над плоской купелью Греческим медом и греческой медью.

В рай позолоченный, к темной иконе С веткой березы, прозрачной и узкой: Здесь обо всем, что к земле меня клонит, Матери Божьей я всплачусь Корсунской...

В вихре знамен, в молодом большетравьи Я пронесу через годы тугие Дрогнувший дар твоего православья, Выпуклый клекот твоей Византии.

2 января 1929

Андрею Корсуну

Я знаю дом: и я когда-то Жила в такой же тишине, Лучи такого же заката Зарю играли на стене.

Мы ценим, первенцы последних, Воспоминанья хрупкий морг — И геральдические бредни, 6 И геральдический восторг.

В другой эпохе безмятежно Застыли стрелки на часах — А на столе, как вечер нежном, Развернут Готтский Альманах.⁷

Ты бьешь крылами непокоя, В роду последнее звено — И мне горит твое большое, Чуть розоватое окно.

В ветвях чужих генеалогий, До света легкий тратя свет, Ищи исход своей тревоге—Исхода нет. Покоя нет.8

Года разрушат все, что хрупко — И нам останется одно: Из геральдического кубка Тянуть старинное вино. 3 января 1929

АКРОСТИХ

Ах, в каких видала сновиденьях Не тебя, мой княжич — твоего Двойника ли, ангела — в смятеньи Разве сердце скажет мне, кого.

Есть во мне стихов тугие струны И дуга большого мастерства. Как мне быть, когда таким бездумным Одиночеством горят слова.

Редкий день пройдет без песнопенья, Словно церковь, стала я душой. Увидать в каких бы сновиденьях Не тебя, не друга — жребий мой. 3 января 1929

О, милая любовь моя, О, сердце, полное смятенья!⁹ — Как неразрывен круг огня — Тех дней пылающие звенья.

Склоняясь к твоему плечу Как некогда ко сну и смерти — В какие бездны я лечу, Какие звезды путь мой чертят?

Я сердцем брошена в снега, Как Кая ищущая Герда, —

И слов большие жемчуга Прожат меж створками конверта:

Растает льдинкой эта ложь. Придет Она — ты, в злом весельи, Ей шею трижды обовьешь Мной сотворенным ожерельем. 4 января 1929¹⁰

СОНЕТ-АКРОСТИХ

Нет, он другой; не выше и не лучше — Его собой ты не напомнишь мне. А я — ну, что ж: на всем твоем огне Не таю я. Моя дорога круче.

Другим путем — путями всех излучин Растет любовь, пришедшая извне: Ей арфой быть в хрустальной тишине. ...И так, как ты, никто меня не мучил.

Каких камней не бросишь ты в меня? Оставь, хоть в шутку, сердце неразбитым. Редеет сумрак. Жизнь идет, звеня.

Скажи, что с кубком делать мне испитым? Улыбки нет. Успокоенья нет.

Авиньонское мое плененье. 11 Нет путей к семи холмам покоя. Дни мои — они лишь отраженье Рима, затененного Тобою.

Ель качнула треугольный терем, Италийский воздух, умиранье... Как живые мысли мы умеем Отравлять водой воспоминанья!

Редок, счастья, твой некрупный жемчуг. Снежной пряжей тихо тает — наше. У меня, во сне, все губы шепчут: «Наклонить Тебя — и пить, как чашу»... 4 февраля 1929

¹ Соловьиный сад — название поэмы А. Блока (1915).

² На почтовой карточке, на обороте: Здесь, п/о № 15 Таврическая ул. 15 кв. 15 Андрею Ивановичу Корсуну. Почт. шт.: Ленинград, 23.12.28; 24.12.28. — Ед. хр. 103. Л. 15.

 3 Под текстом стихотворения письмо Л. Аверьяновой к А. Корсуну: *30 / XII *3 28. Дорогой мой, мне стоит только отстранить Вас на некоторое время, чтобы снова началась во мне та дивная, старая борьба — как во времена первого акростиха. Оттого я посылаю Вам сегодня легкий вариант сентиментального посвящения, которое было написано тогда же и которое я не хотела давать. Это — ужасно девические стихи, Бог с ними! Но Вы, если хотите, можете послать их домой.

Ах, Лис хотел бы стать таким маленьким, чтобы поместиться в Вашем жилетном кармане и никогда не вылезать оттуда! И если бы Вы захотели его изъять, он вцепился бы в сукно Вашего костюма — нет, не всеми десятью пальцами, а больше: всеми когтями.

Когда я причиняю Вам боль — мне трижды больнее самой. Но я все время должна разбивать и надламывать себя, чтобы стихи текли ручьем, вместе со слезами. Посылаю Вам еще 2 — из них один акростих. Они пришли сегодня ночью. Вы видите, Вы не оставляете меня никогда. Меня терзает мысль, что Вы никогда больше не обнажите головы передо мной и моими словами, что бы я ни говорила. C'est très bien avant — mais après! Мне страшно, что для Вас все ушло, что вам уже все равно. Мне хочется упасть на колени и кричать, цепляясь за Ваши ноги: "О, нет еще, нет еще, нет еще!" Собственно говоря, высказав это, я это уже сделала, Адя.

Я написала бы больше, если бы не перевод для Данько. Проклятое время идет и идет. А впрочем — l'heure est morte — vive l'heure! как пишет Сара Бернар. До четверга. Лис». — Там же. Л. 16-16 об.

C'est très bien avant — mais après! (фр.) — Это хорошо до, но не после: l'heure est morte — vive l'heure! (фр.): час умер — да здравствует час! — парафраз выражения: le roi mort — vive le roi (король умер — да здравствует король!). Елена Яковлевна Данько (1898—1942) — поэтесса, детская писательница, художница, специализировалась в росписи по фарфору. О каком именно переводе идет речь, неизвестно.

⁴ Андреев-крест — крест, поперечные брусья которого вделаны наискось, название происходит от орудия казни апостола Андрея (Андрея Первозванного), который, по преданию, был распят. Вероятно, стихотворение написано в день памяти св. Апостола Андрея (празднуется 30 ноября) или накануне; по народному поверью, в предшествующий празднику Андреев вечер (или Андрееву ночь) девушкам и юношам является образ суженых.

⁵ Перекличка с О. Мандельштамом, ср.: «Дано мне тело — что мне делать с ним...» (пер-

вая строка стихотворения из книги «Камень», 1913).

6 Геральдические бредни — возможно, отсылка к Пушкину: «...прозаические бредни, / Фламандской школы пестрый сор!» («Отрывки из путешествия Онегина»).

⁷ «Готтский альманах» — альманах дворянских фамилий Европы; издавался с конца XVIII века; в альманахе публиковались сведения о наиболее знатных родах (даты рождения, свадьбы, смерти и пр.).

8 Ср. в «Ямбах» Блока: «Уюта — нет. Покоя — нет» («Земное сердце стынет вновь…»).

⁹ Перифраза строк из стихотворения Ф. И. Тютчева «О вещая душа моя...» (1855).

10 Под текстом стихотворения письмо Л. Аверьяновой к А. Корсуну: «Адя, Елена Яковлевна (Данько. — М. П.) говорит, что в Воскресенье, в час дня, в Домпросвете (Мойка 94, Юсупова) идет ее марионеточный "Медный Кувшин". Я бы хотела пойти, но, наверное, сговорюсь с ней только завтра. Лид. Ив. собирается прихватить и Тебя.

Ровно в $11\frac{1}{2}$ ч(асов) я поднимусь к телефону, чтобы позвонить Тебе. Если Тебе это неудобно, позвони мне в то же время, но очень точно, т. е. воскресным утром в половине двенад-

цатого.

Лидия Ив. просит переслать Тебе ее стихи — она, бедная, страшно в Тебя влюблена, по-видимому! Но я не ревную. Последние вирши велено отдать как разрешение вчерашнего диссонанса. Путешествующая родинка при сем заключается в опрокинутый шеврон (господи, «перевернутый»). Лис» ((январь 1929)). — Ед. хр. 103. Л. 22.

«Медный кувшин» — инсценировка по одноименной сказке английского писателя Ф. Энсти (настоящее имя: Томас Энсти Гатри; 1856—1934); в 1920-е годы Е. Я. Данько работала кукловодом в детском театре «Студия» под руководством Л. В. Шапориной; ей принадлежат также инсценировки для кукольного театра: «Пряничный домик», «Сказка про Емелю дурака (По Шучьему велению)», «Жар-птица», «Гулливер в стране лилипутов (по Джонатану Свифту)», «Буратино у нас в гостях, или Сгинь, Карабас».

11 Авиньонское мое плененье — здесь, вероятно, образ разлуки; Авиньонское плененье пап (вавилонское плененье пап) — вынужденное пребывание римских пап в Авиньоне с 1309-го по 1377 год, туда же был перенесен из Рима папский престол. Нет путей к семи холмам покоя. —

Рим расположен на семи холмах.

НЕИЗВЕСТНАЯ РЕЦЕНЗИЯ О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ НА СБОРНИК СТИХОВ А. А. АХМАТОВОЙ 1946 ГОДА

(ПУБЛИКАЦИЯ © В. В. ПЕРХИНА)

Впервые публикуемая рецензия обнаружена мною в фонде газеты «Известия». 1

В Литературном отделе редакции газеты «Известия» рецензию подготовила к печати Е. И. Ковальчик. Она была опытным критиком и редактором и отлично знала, что нужно сделать, чтобы провести *такую* рецензию через цензуру, а заодно избежать нареканий в свой адрес.

Она вычеркнула абзац с цитатой из статьи В. Г. Белинского о «лелеющей душу гуманности», изъяла строки, характеризующие стихотворение «27 января 1944 года» (о «точных образах-обобщениях») и вместо этого вписала благонадежное утверждение о том, что в поэзию Ахматовой «входит сегодняшний, очень большой мир».²

Из четвертого абзаца Ковальчик изъяла строки от «А Ахматова пишет о таком человеке» до «и светится изнутри своей поэтической правдой» и вписала литературоведческий штамп 1930-х годов о «движении вперед», прочь от эпохи символизма и акмеизма, когда поэты «воспевали распад, смерть или далекую от действительности экзотику».³

24 июля 1946 года Ковальчик сдала рукопись в набор. Но 7 августа начальник Управления пропаганды Г. Ф. Александров и его заместитель А. М. Еголин направили Жданову докладную записку о журналах «Звезда» и «Ленинград». В ней утверждалось, что стихи Ахматовой «культивируют упаднические, ущербные настроения». «Симпатии и привязанность Ахматовой на стороне прошлого», 5 — заключали авторы.

Вероятно, в редакции «Известий» о докладной записке Александрова и Еголина знали уже 7 августа, а может быть, и раньше. Публикация рецензии Берггольц стала невозможной.

Ольга Берггольц

СТИХИ АННЫ АХМАТОВОЙ

В Ленинграде только что вышел однотомник стихов Анны Ахматовой. Для всех, кто искренне любит русскую поэзию, выход этого сборника — большая радость.

Прежде всего, это непосредственная радость читателя, испытывающего высокое эстетическое наслаждение, которое способно дать только подлинное искусство, подлинная поэзия. С этим ощущением сочетается и чувство хорошей гордости за поэзию, потому что, читая стихи Ахматовой, еще раз убеждаешься, что время не враг, а лучший друг истинного поэта. Время обогащает поэта, а читателю позволя-

¹ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.Р-1244. Оп. 3. Ед. хр. 65. Л. 1—6. Отмечу, что рецензии предшествовала статья, тоже не попавшая в печать (см.: *Берггольц О*. Военные стихи Анны Ахматовой / Публ. Е. Ефимова // Знамя. 2001. № 10. С. 141—149).

² ГАРФ. Ф. Р-1244. Оп. 3. Ед. хр. 65. Л. 10.

³ Там же. Л. 8.

⁴ Там же. Л. 1.

 $^{^5}$ Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)—ВКП(б), ВЧК—ОГПУ—НКВД о культурной политике. 1917—1953 гг. М., 1999. С. 559—560.

ет видеть в его творчестве все новые и новые, иногда не замеченные им ранее, богатства.

Однотомник Ахматовой открывается книгой «Вечер» — стихами, написанными и впервые изданными 35 лет тому назад, и завершается книгой «Нечет», собранной из стихов 41—45 годов; между ними, в хронологическом порядке, расположены книги «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini», «Ива». Три с половиной десятилетия работает Анна Ахматова, и с момента выхода ее первой книги прошло не только много лет, но — что гораздо важнее — много исторических эпох. Огромные события потрясли мир и человеческое сознание — первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война, бурные годы социалистического строительства, затем Война Отечественная. Переоценка минувшего, с поразительной быстротой удалявшегося от нас, происходила за это время непрерывно, и разумеется, наиболее интенсивно и плодотворно — в самые трагические годы века — в годы войны с фашизмом. В эти годы человеческая душа отбирала для себя лишь те ценности, которые ей действительно — внутренне, лично, необходимы, отбирала по жестокой, чистой и очень высокой норме.

И вот среди этих ценностей, отобранных в такие годы, в нашем сознании заслуженное и почетное место занимает и поэзия Анны Ахматовой, ВСЯ ее поэзия, потому что именно теперь мы с особой отчетливостью видим, что она современна и близка нам основным своим пафосом — своей человечностью. Да, это — о человеке и человеческих чувствах, а все, что касается духовного мира человека, все, что проповедует в нем сильное, красивое и высокое — не может не быть дорого нам. А Ахматова пишет о таком человеке и от имени такого человека, который много, жадно и доверчиво любит жизнь, землю, людей. Таким поэтом пришла Ахматова 35 лет назад в русскую поэзию в то время, когда мир в поэзии существовал, главным образом, как мир дематериализованный, как символ, как умозрение, таким поэтом остается она и по сей день, — но, разумеется, еще более зрелым и мудрым в своей неистощимой любви к живому миру. Поэтому-то и живет он в ее стихах тысячами вещественных, осязаемых и зримых деталей, потому-то и светится изнутри своей поэтической правдой. Любовно вглядываясь и вслушиваясь в мир человека, искусства, природы родной страны, Ахматова по-особому видит и Царскосельскую статую «Девушка с кувшином» — «Смотри, ей весело грустить, такой нарядной, обнаженной», — и луну «из перламутра и агата, из задымленного стекла», и облака, которые «на светлом небе вылеплены грубо», 5 — и множество таких же явлений, которые может увидеть только поэт. Но это же следование правде реального, многогранного мира позволяет ей создавать столь точные образы-обобщения, как, скажем, «27 января 1944 года»:

> И в ночи январской, беззвездной, Сам дивясь небывалой судьбе, Возвращенный из смертной бездны, Ленинград салютует себе.

Этому ясному, зоркому, земному поэтическому зрению Ахматовой соответствует и манера ее письма, столь резко выделявшая ее еще в начале ее пути, — манера строгая, лаконическая, четкая, не нуждающаяся ни в стилизации, ни в словесной и метафорической вычурности.

Так же, как мир, и чувства, воспеваемые Ахматовой, — это необычно земные, реальные чувства, свойственные каждому живому человеку с настоящей плотью и кровью, любящему жизнь, ее радости, ее движение. И основное чувство, поэзию которого тонко и многогранно разрабатывает Ахматова, основная ее лирическая тема — это самое сильное, самое красивое человеческое чувство — любовь, в широком значении этого слова. Лирический герой Ахматовой — от имени которого идут эти стихи — сложен, содержателен и в существе своем — глубоко национален:

это — русская женщина с очень цельным, щедрым и целомудренным сердцем, с высокими и суровыми требованиями к любви, способная к чувствам сильным, гордым, свободным. Вот в разлуке она тоскует о любимом человеке:

Сводом каменным кажется небо, Уязвленное желтым огнем, И нужнее насущного хлеба Мне единое слово о нем. Ты, росой окропляющий травы, Вестью душу мою оживи Не для страсти, не для забавы — Для великой земной любви. 6

Вот она обращается к возлюбленному:

Мне никто сокровеннее не был, Так никто меня не томил, Даже тот, кто на муку предал, Даже тот, кто ласкал и забыл.⁷

Лирическая героиня поэзии Ахматовой — живой человек: она и ревнует, и негодует, и страдает, и сомневается. Но во всех проявлениях своих она является не только женщиной с требовательным, чистым и глубоким отношением к любви — но и прежде всего — личностью, с собственным, очень высоким нравственным кодексом, основанным на стремлении к истинно свободным, истинно человеческим отношениям между людьми, на уважении к внутреннему миру человека.

Мне не надо больше обреченных: Пленников, заложников, рабов, Только с милым мне и непреклонным Буду я делить и хлеб, и кров⁸...

И трагическая окраска ее стихов обусловлена тем, что неразделенной, непонятой остается именно *такая* любовь — любовь самых высоких требований.

В одной из своих статей о Пушкине великий русский критик Белинский писал, что, читая стихи Пушкина, «можно превосходным образом воспитать в себе человека», потому что перед читателем со всей силой обнаруживается «внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». Э Это определение можно отнести и к стихам Ахматовой, потому что советский читатель, человек, чуждый примитива, человек, обладающий высокими нравственными требованиями, сложным внутренним миром, — дорожит поэзией Ахматовой и радуется ей.

В последние годы, особенно в годы Великой Отечественной войны, творчество Ахматовой безмерно обогатилось тематически, наполнилось новыми, очень мужественными и волевыми гражданскими интонациями. Все лучшие свойства ее лирики и поэтического письма приобрели особую остроту и силу. Естественно, что для поэта, сердце которого способно только на чувства цельные и сильные, для поэта, который, глядя на свою родину, уверенно и страстно говорит: «Я знала, — это все мое, душа моя и тело», 11 — основной темой творчества во время войны стала освободительная борьба родного народа и его величавое мужество. В общем поэтическом хоре тех дней своеобразный голос Ахматовой звучал отчетливо и ясно. Всем нам памятно ее стихотворение, появившееся в «Правде» в самые тяжкие дни войны — в сорок втором году, — «Мужество».

Мы знаем, что ныне лежит на весах, И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. 12

Мы помним ее проникновенные, взволнованные стихи о Ленинграде, — и для нас, ленинградцев, это одни из самых любимых и дорогих стихов. В образе Ленинграда, давно и глубоко любимого и воспетого ею, для Ахматовой как бы воплотился образ всей родины — сражающейся, испытывающей тяжкие бедствия и непоколебимой. С особенной силой ощущается это в таких стихах, как отрывок из поэмы — «Так под кровлей Фонтанного дома», 13 в стихах «Победителям», 14 в замечательном по лаконичности, по конденсации чувства и мысли «In memoriam», заключительные обобщающие строки которого давно уже стали крылатым словом:

Рядами стройными выходят ленинградцы. Живые с мертвыми. ДЛЯ СЛАВЫ МЕРТВЫХ НЕТ. 15

...Военные стихи Ахматовой, наряду с многими стихами о любви, родной стране и искусстве, включены в книгу «Нечет», завершающую собой ее однотомник. 16 Несомненно, это одна из интереснейших книг Ахматовой — по разнообразию и богатству лирической тематики, по смелости, с которой она разрабатывает эту тематику, по зрелости мастерства: достаточно вспомнить хотя бы такие превосходные стихи, как «Измена», «Пушкину», «Возвращение», «И как всегда бывает в дни разрыва» 17 и многие другие. В то же время «Нечет» — книга обобщений: ряд отрывков, таких как «На Смоленском», «Россия Достоевского...», 18 и много других, — говорит о том, что как будто бы поэт находится на пути к созданию очень интересного и значительного эпического цикла...

И в самом деле, одно из входящих в «Нечет» стихотворений Ахматовой начинается строками:

Я в долгу у многого, что хочет Быть воспетым голосом моим, Но что бессловесное грохочет, Иль во тьме подземной камень точит, Или пробивается сквозь лым¹⁹...

Ощущение этого огромного, трудного и невыразимо отрадного долга — может быть только свойственно поэту, творчество которого стоит в зените своих сил, поэту, требовательному к себе, кровно связанному с жизнью — развертывающейся и восходящей...

- 1 Ахматова А. Стихотворения. 1909—1945. М.; Л.: Гослитиздат, 1946. 340 с. Почти весь тираж сборника был уничтожен после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"». См.: Бахтин В. Штрихи ахматовской судьбы # Звезда. 1996. № 8. С. 237.
 - ² Сборник «Вечер» вышел в 1912 году.
- ³ Отдельного издания книги «Нечет» не было. Об истории текста книги см.: *Королева Н. В.* Комментарии // Ахматова А. А. Собр. соч.: В 6 т. / Сост., подг. текста, комментарии, статья Н. В. Королевой. М., 2000. Т. 4. С. 530—532.
- 4 Книги издавались: «Четки» 1914 год, девятое издание Берлин, 1923; «Подорожник» 1921 год; «Аппо Domini» 1921 год, второе издание Берлин, 1923; «Ива» только раздел в сборнике «Из шести книг» (1940).
- ⁵ Цитаты из стихотворений «Царскосельская статуя» (Ахматова А.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 101—102. Здесь одна из строк в другой редакции: «такой нарядно обнаженной»), «Явление луны» (Там же. С. 282), «Бессмертник сух и розов» (Там же. С. 104. Здесь строка в другой редакции: «Облака / На свежем небе вылеплены грубо»).
 - 6 Из стихотворения «Эта встреча никем не воспета...».
- 7 Из стихотворения «Я не знаю, ты жив или умер...». В другой редакции см.: $Axmamosa\ A.A.$ Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 124.
- 8 Из стихотворения «Вот и берег северного моря...». В сборнике 1943 года оно озаглавлено «Разлука» (Ахматова А. Избранное. Стихи / Сост. К. Зелинский. Ташкент, 1943. С. 103).
- ⁹ См.: *Белинский В. Г.* Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 282.
- 10 Едва ли не первым эту особенность Ахматовой заметил Д. П. Святополк-Мирский. В 1922 году он писал: «Вся ее поэзия проникнута благородным мужеством, $\langle ... \rangle$ слова "подоба-

ющая мужчине" часто напрашиваются для характеристики ее позиции и ее мастерства» (Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия. Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи / Сост., подг. текстов, прим. и вступ. статья В. В. Перхина. СПб., 2002. С. 55).

11 Из стихотворения «С самолета» («На сотни верст, на сотни миль...»).

12 Стихотворение было напечатано 8 марта 1942 года.

13 Строка «Из эпилога» к «Поэме без героя».

¹⁴ См.: *Ахматова А. А.* Собр.соч.: В 6 т. Т. 4. С. 268.

¹⁵ Берггольц знала, что в подлиннике последняя строка завершается иначе: «Для Бога мертвых нет!». Об истории текста этого произведения см.: *Королева Н. В.* Комментарии // Ахматова А. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2(1). С. 431—433; *Перхин В. В.* К истории текста стихотворения А. А. Ахматовой «А вы, мои друзья последнего призыва!» // Русская литература. 1999. № 3. С. 184—188.

¹⁶ См. прим. 3.

¹⁷ См.: «Измена» (*Ахматова А. А.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 281), «Пушкин» («Кто знает, что такое слава?») (Там же. С. 237), «Возвращение» («Все души милых на высоких звездах») (Там же. С. 291), «И как бывает в дни разрыва...» (Там же. С. 230—231).

18 См.: «На Смоленском» (Ахматова А. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 287—288). «Россия Достоевского» — первоначальное название (по первой строке) стихотворения «Предыстория».

¹⁹ Ныне печатается в другой редакции. См.: *Ахматова А.А.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 303—304.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

© Ф. З. Канунова, © Ю. М. Прозоров

В. А. ЖУКОВСКИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ИЗДАНИЯХ ТОМСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

На карте современной российской литературоведческой науки существует пункт, значение которого давно вышло за региональные рамки и который приобретает статус отмеченного особым своеобразием и особой культурной ценностью гуманитарного центра. Это сложившаяся в Томском государственном университете филологическая школа, ставшая прежде всего — благодаря главному предмету своих занятий — школой научного изучения и научного издания творческого наследия В. А. Жуковского.

Отправной точкой в изучении В. А. Жуковского в Томске послужило обследование его личной библиотеки, которая волею судеб оказалась в составе научной библиотеки Томского университета. Основная часть библиотеки (более 4 тыс. томов) была в 1879 году приобретена у сына поэта, П. В. Жуковского, сибирским меценатом А. М. Сибиряковым для создававшегося в Томске в 1880 году университета. Около 600 книг из библиотеки отца П. В. Жуковский передал известному коллекционеру реликвий пушкинской эпохи А. Ф. Онегину-Отто, вместе с коллекциями которого они оказались в Пушкинском Доме, где хранятся и поныне. Томские ученые исследовали основную часть всех книг и сибирского собрания, и собрания Пушкинского Дома.1

Библиотека Жуковского, как установили ее исследователи, свидетельствовала об энциклопедической широте читательских интересов ее владельца, обнимающих едва ли не все сферы современной ему гуманитарной культуры. Книги по философии, истории, эстетике, собрания сочинений русских и европейских писателей подчас буквально испещрены пометами Жуковского. Расшифрованные и прочитанные, маргиналии поэта содержат богатейший материал, необходимый не только для понимания его мировоззрения и творчества, но и для изучения культурного мира предпушкинской и пушкинской поры в целом.

Подготовленный и изданный томскими филологами трехтомный труд «Библиотека В. А. Жуковского в Томске», 2 всецело осно-

ванный на ранее неизвестном и впервые открывавшемся материале книжных маргиналий Жуковского и их научном прочтении. снискал высокие оценки целого ряда видных историков русской литературы. Так, в рецензии на первую часть этой научной трилогии Е. Н. Купреянова отмечала: «Авторам монографии удалось проникнуть в творческую лабораторию поэта и проследить процесс зарождения многих его замыслов и их теснейшую связь с актуальными проблемами современной ему общественной и литературной мысли. В результате явственно вырисовываются черты нового для нас, часто неожиданного творческого облика Жуковского-поэта, переводчика, издателя, историка и пропагандиста русской литературы, гуманиста-просветителя, озабоченного судьбами России, ее национальной культуры и усовершенствованием русского литературного языка. Вместе с тем проясняются и многие важнейшие, но до сих пор не учтенные истоки литературно-эстетических, философских и общественных воззрений поэта, а через это и генетические корни возглавляемого им течения русского романтизма».3

О новаторском характере труда томских исследователей писали Ю. В. Манн, ⁴ Р. В. Иезуитова, ⁵ известные зарубежные слависты (В. Буш, ⁶ Ю. Манном, ⁷ Н. Секей ⁸ и др.).

¹ Общий обзор материала см.: Библиотека В. А. Жуковского. Описание / Сост. В. В. Лобанов. Томск: Изд-во ТГУ, 1981.

² См.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. I / Отв. ред. Ф. З. Канунова. Томск: Изд-во ТГУ, 1978; Ч. II / Отв. ред.

Н. Б. Реморова. Томск: Изд-во ТГУ, 1984;
 Ч. III / Отв. ред. Ф. З. Канунова. Томск: Изд-во ТГУ, 1988.
 ³ Купреянова Е. Н. Библиотека В. А. Жу-

³ Купреянова Е. Н. Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. І. Томск, 1978 // Филологические науки. 1980. № 5. С. 88—90.

⁴ *Манн Ю. В.* Библиотека В. А. Жуковского в Томске // Литературное обозрение. 1986. № 8. С. 78—79.

 $^{^5}$ Иезуитова Р. В. Библиотека В. А. Жуковского в Томске ∥ Русская литература. 1981. № 2. С. 210—219.

⁶ Busch W. Biblioteka V. A. Zukovskogo v Tomske. Tomsk, 1978 // Zeitschrift für slavische philology. Heidelberg, 1983. Bd XLIII. H. I. S. 192—200.

 ⁷ Mannom J. O situácii v literárnej vede // Romboid. Literatúra, teória, kritika. 1983.
 № 12. S. 56—58.

⁸ Секей Н. Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. І. Томск, 1978 // Studia slavica. H. XXVII. 1981. S. 340—355.

Сочетание фундаментальных научных достоинств с качествами историко-литературного открытия позволило ученому сооб-Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, при заинтересованной поддержке Д. С. Лихачева, выдвинуть трехтомное издание «Библиотека В. А. Жvковского в Томске» на соискание Государственной премии России. Премия была присуждена творческому коллективу в 1991 году (руководитель работы Ф. З. Канунова, члены редколлегии и авторы разделов и глав А. С. Янушкевич, Э. М. Жилякова, О. Б. Лебедева, Н. Б. Реморова, В. В. Лобанов).

В представлении Пушкинского Дома, подписанном такими известными филологами, как Н. Н. Скатов, А. М. Панченко. Р. В. Иезуитова, говорилось, что «коллективный труд томских исследователей под руководством Ф. З. Кануновой имеет не только большое общественно-культурное и познавательное значение, но и представляет собой новое явление современной научной жизни», что «новый подход, предложенный томскими исследователями, позволил значительно расширить рамки традиционного литературоведческого исследования, обогатить его новой проблематикой, существенно уточнить сложившееся в нашей науке представление о месте Жуковского в литературном процессе его времени, о его роли в общественной жизни, определить его программные эстетические установки. "Библиотека В. А. Жуковского в Томске" дает читателю целостную концепцию творческого развития первого и самого значительного из русских романтиков, доказательно и точно определяет его место в литературной жизни его времени, его значение для последующего развития отечественной культуры».

Следует добавить, что рукопись каждого из трех томов «Библиотеки» обсуждалась на заседаниях Отдела новой русской литературы Пушкинского Дома. Незаменимое содействие замыслам и осуществлению этого издания оказали академик М. П. Алексеев, помогавший делу своими исключительными знаниями по истории мировой литературы, советами и замечаниями, а равно и книгами из своей ценнейшей личной библиотеки, доктор филологических наук Е. Н. Купреянова, доктор филологических наук, почетный доктор Оксфордского университета Ю. Д. Левин, виднейший пушкинист В. Э. Вацуро, ведущий исследователь В. А. Жуковского Р. В. Иезуитова. Невозможно переоценить вклад ученых Пушкинского Дома в становление томской школы изучения В. А. Жуковского в целом и в присуждение ее трудам Государственной премии в частности.

Значение трехтомного исследования «Библиотека В. А. Жуковского в Томске» значительно возросло в связи с тем, что выход его в свет имел стимулирующее воздействие на развитие науки о Жуковском. В Томске был опубликован целый ряд монографий

о разных аспектах и проблемах мировоззрения и творчества классика русского романтизма. 9 Обобщение новых материалов о Жуковском, найденных и осмысленных томскими исследователями, подключение их к системе представлений, сложившихся в отечественном литературоведении относительно идейно-творческих истоков романтического искусства, позволило открыть целый комплекс исследовательских путей и перспектив. Весьма важным для усложнения историко-литературного образа Жуковского оказалось и то, что представленный в научной трилогии обширный и разнообразный материал общественно-исторического, философского и эстетического характера изменил бытовавшее ранее и вполне превратное представление об общественной индифферентности поэта, о неразвитости и неоформленности его философских и исторических воззрений. Более того, многочисленные и ранее неизвестные рукописные документы, извлеченные из библиотеки и архива поэта, явились убедительным обнаружением как многообразия его мыслительных интересов, так и глубокого единства Жуковского-мыслителя и Жуковского-художника. Во многом по-новому была раскрыта также наделенная единством система эстетических категорий и взаимодействующих с ними художественных принципов поэта, свидетельствующая о его целенаправленной работе по формированию поэтики русского романтизма.

Наибольшую известность из опубликованных в 1980-1990-е годы книг о Жуковском приобрела монография А. С. Янушкевича «Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского», 10 фундаментальное исследование творческого пути поэта во всей его протяженности и во всем объеме. Автором книги впервые в науке о Жуковском была выстроена и осмыслена целостность его художественного развития, от ранних лирических опытов до поздних исканий в области эпических жанров, охвачена исследовательской логикой творческая эволюция поэта от «Сельского кладбища» до «Агасфера». В основе этого сложного пути, как обоснованно утверждает создатель монографии, -- обдумывавшаяся Жуковским философия человека, во многом почерпнутая и из теории органического развития Гердера, и из многих других откровений европейского духа Нового времени.

⁹ См.: Реморова Н. Б. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989; Канунова Ф. З. Вопросы мировоззрения и эстетики В. А. Жуковского. Томск, 1990; Лебедева О. Б. Драматургические опыты В. А. Жуковского. Томск, 1992; Айзикова И.А. Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск, 2004.

¹⁰ См.: Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985.

К 1985 году относится чрезвычайно важный эдиционно-текстологический опыт томских исследователей - издание литературно-критического и эстетического наследия Жуковского (авторы-составители Ф. З. Канунова, А. С. Янушкевич, О. Б. Лебедева). 11 Вышедшая в свет в рамках авторитетной книжной серии и ставшая, по отзыву председателя редакционной коллегии серии и рецензента М. Ф. Овсянникова, одной из ее лучших книг, книга критики Жуковского не только впервые представляла читателю совокупность текстов определенного жанрового профиля. 12 Она содержала весьма ценную подборку писем и эпистолярных фрагментов Жуковского, относящихся к области его литературных отношений и критических мнений, и включала обширный «Конспект по истории литературы и критики», публикуемый впервые по автографам из собрания Российской национальной библиотеки (ф. 286, оп. 2, ед. хр. 46, л. 1—63 об.). Публикация «Конспекта», занимающего в оригинале шесть рукописных тетрадей, позволила составить фактическое представление об источниках философско-эстетической и критико-филологической образованности Жуковского, конкретно понимаемых основах его литературного сознания. Важно отметить, что сопровождавшая данное издание исследовательская статья $\Phi.$ 3. Кануновой и А. С. Янушкевича «Своеобразие романтической эстетики и критики В. А. Жуковского» была одной из первых попыток научного описания обозначенного в ее заглавии предмета. Множество филологических находок и новостей заключал в себе и комментарий к изданию, особенно в той его части, которая касалась определения иноязычных источников литературно-критических выступлений, заметок и высказываний Жуковского. Для историка русской литературы не будет лишним знать, что отмеченная признаками теоретической программности статья Жуковского «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов» (1810) является переводом заключительной части предисловия Жака Делиля к его переводу «Георгик» Вергилия на французский язык, а важная для понимания литературной позиции русского романтика статья «О поэзии древних и новых» (1811) переведена им из прибавлений к «Всеобщей теории изящных искусств» И.-Г. Зульцера.

¹¹ См.: В. А. Жуковский. Эстетика и критика. М., 1985. (История эстетики в памятниках и документах.)

Авторство подлинника установить в этом последнем случае уже едва ли возможно, хотя несомненна принадлежность текста к кругу сочинений немецких просветителей XVIII века. Это лишь немногое из тех результатов, которые принесло комментирование критико-эстетических произведений Жуковского томскими филологами.

В 1990-е—начале 2000-х годов вышел ряд книг томских ученых, во многом определивших содержание современного этапа в развитии науки о Жуковском. Среди них необходимо отметить издание «В. А. Жуковский в воспоминаниях современников», 13 впервые представлявшее читателю обширный свод мемуарных материалов о поэте, известных по старой печати, малоизвестных и вовсе неизвестных. С воспоминаниями портретного и «монографического» характера здесь соседствовали фрагменты больших мемуарно-исторических сочинений, тематически связанные с Жуковским и его общественно-литературной средой, семейным и родственным окружением; русских мемуаристов дополняли немецкие авторы, свидетельства которых впервые становились доступными русскому читателю; обогащали книгу тщательно подобранные эпистолярные документы, а также такое приложение, как «Стихотворения, посвященные Жуковскому». И многообразие помещенных в издании мемуарных и биографических источников, и круг авторских имен, и сама полнота составительского кругозора, вмещавшая в себя и классику мемуаристики, и затерянную страницу случайного очевидца, -- все это ставило издание на новую и более значительную высоту даже сравнительно с такой заслуженной книжной серией недавнего прошлого, как «Серия литературных мемуаров». Книга «В. А. Жуковский в воспоминаниях современников» оказалась мемуарной антологией «нового поколения».

Особое и чрезвычайное значение среди трудов томских филологов последнего периода приобрело издание Полного собрания сочинений и писем В. А. Жуковского в 20 томах, начатое в 1999 году и ныне насчитывающее четыре вышедших из печати тома. 14 Это первое комментированное издание всего корпуса сочинений поэта, издание, осуществление которого даст и уже дает отечественной культуре новый, ранее неизвестный и вырастающий до масштабов своеобразного универ-

¹² О настоятельности собирания и научной публикации литературно-критических сочинений В. А. Жуковского, еще в 1980-е годы известных читателю лишь в немногочисленных образцах, свидетельствовала и подготовленная Ю. М. Прозоровым одновременно с изданием томских ученых и независимо от него книга «В. А. Жуковский-критик» (М., 1985).

¹³ См.: В. А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. статья и комм. О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича. М., 1990.

¹⁴ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. І: Стихотворения 1797—1814 годов. М., 1999; Т. ІІ: Стихотворения 1815—1852 годов. М., 2000; Т. ХІІІ: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804—1833. М., 2004; Т. ХІV: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834—1847. М., 2004.

сализма образ Жуковского, новое и наконец доведенное до полноты знание об его многостороннем творческом наследии (ответственный редактор А. С. Янушкевич; редакционная коллегия - И. А. Айзикова, Н. Ж. Ветшева, Э. М. Жилякова, Ф. З. Канунова, О. Б. Лебедева, И. А. Поплавская, Н. Е. Разумова, Н. Б. Реморова, Н. В. Серебренников). Нельзя обойти вниманием тот знаменательный факт, что в данном случае мы имеем единственный и небывалый в российской филологической науке пример подготовки и выпуска многотомного издания академического типа силами вузовской кафедры. Коллективная работа над проектом подобного рода и масштаба во многом и сообщает кафедре русской и зарубежной литературы Томского университета статус и единство научной школы.

В двадцатитомном издании тексты произведений Жуковского впервые сверены с автографами во всем их объеме, и опять-таки все они представлены в освещении текстологического, историко-литературного и реального комментария, в рамках поясняющего научного сопровождения. Ни в одном из предшествующих изданий поэта его лирика не была собрана в столь исчерпывающем и хронологически выверенном своде, как в первых двух томах этого издания. Повышенного внимания историков литературы и культуры заслуживают два тома дневников Жуковского (т. 13, 14). Дневники представляют собой не только памятник русской документальной прозы в полной совокупности жанровых разновидностей книжки, подневные записи, письма-дневники, публицистические заметки, собрания афоризмов, эстетические фрагменты), но и несравненную по значимости летопись истории русской и западноевропейской культуры первой половины XIX столетия, летопись, которую из года в год составлял один из значительнейших очевидцев и создателей этого культурного движения.

Дневники Жуковского были изданы единственный раз в 1903 году. 15 Как показала сверка текстов по рукописям — с большими купюрами, с многочисленными погрешностями прочтения и с крайне скупым справочным аппаратом. Более того, до начала работы авторского коллектива над 13—14 томами издания вне научного внимания находился огромный массив текстов дневников Жуковского, частью неизвестных, частью недоступных исследователям (по настоянию сына Жуковского, дневники поэта за 1840-е годы были на 50 лет закрыты для просмотра). Эти тексты, хранящиеся в разных архивах Санкт-Петербурга и Москвы, по большей части крайне неразборчиво написанные, а иногда и просто являющие собой угасающий текст полустертых карандашных записей, были пунктуально расшифрованы. Представляющие не менее трети объема основного корпуса дневников, они впервые становятся достоянием читателя и научного изучения.

Наряду с этой необычайно трудоемкой текстологической работой, как на особую заслугу инициаторов издания следует указать на общирный комментарий к дневникам Жуковского, а равно и на аннотированный именной указатель упоминаемых здесь лиц, включающий около 5000 персоналий. Сотни реалий, биографических фактов, библиографических ссылок, уточненных или даже впервые выявленных датировок, около 1500 идентификаций персоналий с датами жизни и биографическими сведениями — все это делает научно-справочный аппарат издания поистине бесценным сводом данных и о повседневной бытовой, и о культурной жизни России и Западной Европы 1800—1850-х годов.

После выхода в свет четырех томов собрания сочинений Жуковского авторский коллектив сосредоточил свои усилия на подготовке следующих томов и уже представил их издательским редакторам (баллады, эпические произведения и сказки, драматургия, эстетика и критика). В настоящее время ведется целенаправленная работа над четырьмя томами прозы Жуковского и шестью томами эпистолярия.

Необходимо сказать несколько слов об авторах и редакторах издания. Руководитель и ответственный редактор двадцатитомника доктор филологических наук А. С. Янушкевич, один из виднейших знатоков Жуковского, признанный исследователь его творчества. Очень значительную роль в издании играет О. Б. Лебедева, постоянный соавтор А. С. Янушкевича (в частности, в трудоемкой работе по подготовке текста, изучению и комментированию дневников Жуковского), известный исследователь русской драматургии первых десятилетий XIX века. В первых двух томах издания, посвященных, как было уже отмечено, лирике поэта, О. Б. Лебедевой принадлежит полторы сотни содержательных и глубоких комментаторских статей.

Незаменимое участие в осуществлении издания сочинений Жуковского принимает Μ. Жилякова, редактор (вместе Н. Ж. Ветшевой) третьего тома «Баллады». К сегодняшнему дню ею также обстоятельно прокомментирована переписка Жуковского с А. П. Елагиной за 1813—1852 годы, одним из самых задушевных корреспондентов и собеседников поэта на протяжении всей его жизни. Эта переписка, помимо отразившихся в ней обстоятельств семейно-родственных и личных отношений поэта, содержит в себе многочисленные отклики на проблемы и события современной ему культуры — философской и исторической мысли, этики, педагогики, художественного творчества. Нельзя обойти вниманием тот значительный вклад, который вносит в реализацию научно-издательского замысла И. А. Айзикова, составитель, ведущий текстолог и редактор томов

¹⁵ См.: Дневники В. А. Жуковского / С прим. И. А. Бычкова. СПб., 1903.

прозы. Необходимо отметить и деятельное участие в комментировании произведений поэта Н. Б. Реморовой, сыгравшей чрезвычайно плодотворную роль в деле подготовки и редактирования трехтомника «Библиотека В. А. Жуковского в Томске», составителя большой части картотеки писем Жуковского, впервые опубликовавшей такую ценную и своеобразную составляющую переписки Жуковского, как письма к нему мореплавателя и географа Ф. П. Литке.

На основе огромного, уже труднообозримого новонайденного материала, открывшегося в процессе текстологических и комментаторских трудов над Полным собранием сочинений и писем В. А. Жуковского, томскими филологами уже в 2000-е годы был создан ряд интегрирующих исследовательских монографий о творчестве поэта. Здесь прежде всего следует указать на книгу И. А. Айзиковой о Жуковском-прозаике, 16 а также на обобщающее издание трудов А. С. Янушкевича «В мире Жуковского». 17

Книга И. А. Айзиковой — первое монографическое исследование прозы Жуковского в процессе становления и развития ее жанрово-стилевой системы. Автор поставил своей целью собрать воедино весь корпус прозаических сочинений и переводов Жуковского, выявив при этом не только опубликованные, но и малоизвестные прозаические произведения, оставшиеся в рукописях. Проза, по наблюдениям автора, становится в творчестве Жуковского не столько творческой формой второго значения, как об этом было принято думать еще в недавнем прошлом, сколько своеобразной лабораторией мысли, стиля и образа, а равно и той почвой, которая питала и растила корневую систему его поэзии. Одновременно прозаические опыты Жуковского оказываются необходимой ступенью в становлении культуры прозы в русской литературе XIX века. Выступая на диспуте в связащитой докторской диссертации И. А. Айзиковой (а эта диссертация легла в основу ее книги), Р. В. Иезуитова не случайподчеркнула, что исследовательнице «удалось создать фундаментальный научный труд, восполняющий существенный пробел в изучении творчества В. А. Жуковского и в истории формирования русской повествовательной прозы. Введя в научный оборот новый обширный материал, раскрыв его значение и историко-литературный смысл, она предложила новое направление в изучении русской прозы как устойчивой и одновременно динамичной структуры широкого жанрово-стилистического диапазона».

Книга А. С. Янушкевича «В мире Жуковского» подытоживает более чем 30-лет-

ний путь исследователя в изучении классика русского романтизма. Монография состоит из двух частей: «Творчество Жуковского как художественная система» и «Жуковский и европейская культура». Первая часть представляет собой доработанную и углубленную версию монографии 1985 года «Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского», прочно вошедшей в систему научных знаний о поэте и превратившейся сегодня уже в библиографическую редкость. Достоинство этой работы обнаруживает себя прежде всего в том, что столь значимое для русской культуры художественное явление, как творчество Жуковского, автор рассматривает, с одной стороны, в качестве идейно-художественного единства, вырастающего во многом из единства личности творца, а с другой — под углом зрения неуклонного историзма, как производное от культурной истории и как творческий организм, внутри культурной истории переживающий и собственную эволюцию. Именно этим обусловлено в монографии деление на главы: «Период нравственного самоусовершенствования поэтического становления», «Время эстетического самоопределения и новых поэтических форм», «Эпоха романтических манифестов», «Творчество Жуковского 1830-х гг.», «Путь Жуковского к эпосу». Характерно, что завершающий раздел своей монографии А. С. Янушкевич озаглавил «Вместо заключения. В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь», показывая тем самым, что «консервативное» творчество Жуковского, каким оно подчас воспринималось читателями 1840—1850-х годов, имело множество точек соприкосновения с новейшими литературными явлениями, особенно если усматривать в них не поверхностные веяния современности, но более глубокие искания «вечных» истин и ценностей. В Гоголе Жуковский созерцал именно это. «...В утверждении нравственного содержания национального эпоса, - произносит свое весомое слово исследователь, - в проповеди дидактической поэзии, страстном утверждении гуманистических идеалов оба писателя были единомышленниками».18

Большой научный интерес представляет вторая часть новой книги А. С. Янушкевича, получившая заглавие «Жуковский и европейская культура». В разделах этой части — «Жуковский и Германия», «Жуковский и Италия», «Жуковский и Франция», «Жуковский и Англия» — творческое наследие первого русского романтика представлено в широком контексте культурных взаимосвязей. Большая историко-литературная ценность исследования заключается в обнаружении и осмыслении непрочитанных ранее документов, в систематизации весьма значительного материала, почерпнутого из библиотеки Жуковского, его переписки, дневников, творческих рукописей и приобретающего ха-

¹⁶ См.: *Айзикова И. А.* Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск,

^{2004.} 17 См.: Янушкевич А. С. В мире Жуковского. М., 2006.

¹⁸ Там же. С. 306.

рактер существенного дополнения к изданию «Библиотека В. А. Жуковского в Томске». Автор и здесь обращается к ряду книг из библиотеки поэта, всесторонне исследует пометы на них и записи на их страницах и значительно обогащает представления о европейской перспективе мировоззрения и творчества поэта, о фактах идейного и творческого воздействия на Жуковского культурного мира Запада.

Наиболее обстоятельна в этом смысле глава «Жуковский и Германия» (написана в соавторстве с О. Б. Лебедевой). В ней показаны разные стадии и стороны постижения Жуковским немецкой культуры. Интеллектуальный и поэтический образ немецкого мира оказывается повернут к поэту самыми разными гранями, но в главнейшем, как говорит автор, «он поистине открыл романтическую Германию». 19 Почти 15 лет, с 1805 по 1820 год, Жуковский знакомится с Германией заочно, а далее — ряд путешествий в Германию, жизнь в Германии. И на протяжении почти полувека духовную биографию Жуковского сопровождают германские имена, склонности, впечатления: Виланд, эстетика немецкого Просвещения, Бюргер, Гердер, Жан-Поль и Тик, живописец Каспар Давид Фридрих, Шиллер и Гете, многочисленнемецкие знакомства, связанные Германией обстоятельства личного бытия... Этот немецкий контекст своей исторической и частной судьбы Жуковский, как проницательно замечает А. С. Янушкевич, превращает в два своих неповторимых культурных амплуа. Во-первых, он становится «пропагандистом немецкой культуры в России» и, во-вторых, «носителем русской идеи на Западе». 20

В разделе под общим заглавием «Жуковский и Италия» изучаются итальянские экскурсы и встречи Жуковского с писателями, политическими деятелями Италии, с представителями итальянской науки и культуры, не прошедшие бесследно для его воззрений на Европу. Здесь уделяется внимание и впечатлениям Жуковского от трех путешествий по Италии, от посещений художественных мастерских и галерей, итальянской оперы и карнавальных празднеств, и его кругозору в области итальянской литературы, и его причастности к романтическому культу Рафаэля, и его интересу к истории и общественно-философской мысли Италии (Ч. Беккариа, Н. Макиавелли, С. Пеллико, книга французского историка П.-А. Дарю «История Венецианской республики»).

Отдельное место в «итальянском» разделе книги «В мире Жуковского» занимает очерк «Жуковский и Данте». Долгое время историки русской литературы полагали, что поэтический опыт Жуковского не имел точек пересечения с традициями создателя «Божественной комедии». А. С. Янушкевичу уда-

лось показать, что в 1843 году Жуковский обдумывал возможность перевода дантовской поэмы и даже сделал пробный набросок переложения «Ада». «Восемнадцать карандашных строк, соответствующих четырем начальным терцинам, — таков общий объем этого наброска», 21 — поясняет исследователь. Набросок был сделан на листах, вложенных поэтом в личный экземпляр русского прозаического перевода «Божественной комедии», выполненного Ф. Фан-Димом (Е. В. Кологривовой) и изданного шестью выпусками в Петербурге в 1842—1843 годах. В переводе Жуковского есть строки, которые могли бы соперничать с хрестоматийно известными терцинами «русского Данте», например:

Свершив пути земного половину, В лесу густом увидел я себя — И путь прямой был мною там утерян. Могу ли... Как мне то сказать словами... Весь опустел ужасный этот лес Густой, непроходимый, дикий, И мысль о нем рождала страх и трепет²²...

Обнаружив набросок перевода из Данте в библиотеке Жуковского, А. С. Янушкевич не просто делает его доступным читателю, но и сообщает ему достоверную интерпретацию. Совершенно неоспоримой представляется мысль о том, что попытка поэта передать итальянские терцины белым пятистопным ямбом говорного типа отражает его поздние искания в области форм русского поэтического эпоса.

Характерное для исследовательского почерка А. С. Янушкевича стремление идти нехожеными научными путями в полной мере дает себя знать и в разделах книги, посвященных французским и английским интересам Жуковского. Это, в частности, проявляется на тех страницах монографии, где идет речь о том, как романтический поэт читает рационалистические трактаты французских моралистов XVII—XVIII веков, находя у Шарля Дюкло, Люка де Вовенарга и Жана де Лабрюйера импульсы к размышлениям о взаимопроникновениях этики и эстетики, морали и поэзии, о противоречивости как родовом свойстве психологической природы человека. Это с очевидностью сказывается и в главе о Жуковском — читателе и переводчике «Потерянного рая» Джона Мильтона, ценной, помимо многих источниковедческих достоинств, заключенным в ней потенциалом продолжения темы.

Заключая краткий обзор уже долгой истории изучения Жуковского томскими филологами, следует отметить, что возникшее волей исторических судеб и замыслами подвижников культуры научное сообщество Томска накопило не только впечатляющие творческие достижения, но и большие воз-

¹⁹ Там же. С. 310.

²⁰ Там же. С. 353.

²¹ Там же. С. 385.

²² Там же.

можности развития. Они обнаруживают себя и в собственно университетской практике, в целом ряде по-старому капитальных диссертаций, подготовленных и готовящихся преподавателями и соискателями кафедры русской и зарубежной литературы, а равно и в новых научных инициативах томских гуманитариев. Одна из таких инициатив оказалась реализована в относительно недавней книге Ф. З. Кануновой и И. А. Айзиковой «Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия. 1820-1840-е годы» (Новосибирск, 2001), в которой основное место вновь заняли новые проблемы прочтения и понимания Жуковского, продиктованные современным видением русской классики. Ключевые главы этой книги -«О соотношении религиозного и художественного сознания в русской литературе 1830—40 гг. (Жуковский и Гоголь)», «Религиозные мотивы в поэзии Жуковского», «Жуковский — читатель религиозных сочинений А. С. Стурдзы», «Работа Жуковского над Библией и некоторые жанрово-стилевые проблемы его творчества» и др. — посвящены малоизученным аспектам религиозного миросозерцания Жуковского и устремлены к осознанию такого неизмеримо сложного феномена, как христианский поэт. 23

В проблемно-тематическом русле этого исследования находится и последняя из титулованных именем Жуковского книг, рукопись которой представлена к публикации специалистами Томского университета и ко-

торая ожидает своего выхода в свет в одном из петербургских издательств. Это исполненный Жуковским в 1840-е годы «неканонический» и тем не менее весьма обогативший русскую религиозную книжность перевод Нового завета (издание подготовили Ф. З. Канунова, И. А. Айзикова, Д. В. Долгушин). Кроме того, у этого позднего труда Жуковского было еще и особое значение в истории русского слова. Возникшее в первой половине XIX столетия здание национальной словесной культуры очень нуждалось в завершающем ярусе, в каком-то даже и символическом увенчании. На роль такого рода вершины примеривались, как русское воплощение общемирового достояния, переводы гомеровского эпоса, и отчасти этим объясняется то значение, которое получали в русской литературе или на которое рассчитывали «Илиада» в переводе Гнедича и «Одиссея» в переводе Жуковского. Вместе с тем едва ли не единственным, что могло бы выполнить эту роль, была «русская Библия». Жуковский это почувствовал, когда, откладывая в сторону «Одиссею», стал переводить, пусть не с подлинника, а с церковно-славянского источника, пусть не для общего, а лишь для частного, домашнего употребления, Священное Писание.

Томская филологическая школа всегда отличалась обстоятельностью, культом знаний и несуетным достоинством. Но все-таки в течение продолжительного времени это была школа, в которой осваивались уроки «большой» науки. Изучение Жуковского, потребовавшее многолетнего самоотверженного труда энтузиастов и творческого дерзания, создало сегодня положение, при котором круг томских литературоведов стал одним из первоисточников «большой» науки, а школу нужно понимать как место, где уроки не берут, а дают.

© Р. Ю. Данилевский

искусство русского поэтического перевода*

Кафедра романо-германской филологии Томского государственного университета, отметившая свой десятилетний юбилей, провела в апреле 2006 года, семинар, посвященый изучению влияния национального мировосприятия на искусство перевода. Основное внимание участников семинара было уделе-

но русским переводам немецкой поэзии. Исособенности интерпретации следовались переводимого произведения, обусловленные не только спецификой русского литературного языка, но и традициями национальной культуры. Материалы семинара собраны теперь в книге, изданной Томским университетом. В сборник включены одиннадцать докладов, включая работы славистов из университетов Ганновера и Мангейма, сотрудничающих с Томским университетом. Там можно найти также материалы трех «круглых столов», которые работали в рамках семинара по темам «Национальная картина мира в языке и литературе» (руководитель проф. Т. А. Демешкина). «Индивидуальные образы и образные

²³ См. рецензии на книгу Ф. З. Кануновой и И. А. Айзиковой: Сибирский филологический журнал. 2003. № 2 (В. Г. Одиноков); Новое литературное обозрение. 2003. № 59 (М. В. Строганов).

^{*} Европейский интерлингвизм в зеркале литературы. Картина мира в немецкоязычной поэзии и ее русских переводах. От романтизма к модернизму: Материалы российско-германского семинара 24—28 апреля 2006 г. / Отв. ред. О. Б. Кафанова, Н. Е. Разумова. Томск, 2006. 237 с.

универсалии в метатексте национальной поэзии» (руководитель проф. В. А. Доманский) и «Поэтический перевод как реинтерпретация мира» (руководитель проф. Н. Е. Разумова).

В индивидуальном мировосприятии того или иного поэта нелегко выделить национальную «универсалию» (если воспользоваться термином В. А. Доманского). В этой работе может помочь прежде всего анализ языка как одного из основных носителей национальной культуры. Так что изучение литературного перевода именно с точки зрения перенесения образных систем с языка на язык, их «перекодировки», перемещения в инонациональную среду и «реинтерпретации» в ней действительно является актуальной проблемой. Кроме всего прочего, перевод высвечивает «метатексты», т. е. специфические черты национального мышления и мировидения автора, которого переводят, а равно и той культуры, в сферу которой попадает переведенный текст.

Теоретические подходы к проблеме рассматривает Т. А. Демешкина в открывающей сборник статье «Модели восприятия в поэтическом тексте как способ интерпретации мира» (с. 9-17). О. Б. Кафанова, автор статьи «Лирические шедевры Гете в русских переводах: проблемы и дискуссии» (с. 18-39), заново пересматривает много раз изучавшийся материал «русского» Гете и делает это не без оснований. Дело в том, что нескончаемый спор о степени близости к оригиналу таких шедевров русской переводческой лирики, как «Лесной царь» в переложении В. Жуковского и «Горные вершины» М. Лермонтова, важен не потому, что он может быть решен, а как раз своей неразрешимостью. То же самое относится к «Песне Миньон» из романа Гете о Вильгельме Мейстере, которая подарила русской поэзии XIX века мотив ностальгии по идеальной стране искусств и много раз переводилась (Л. Мей, М. Михайлов, А. Майков, Ф. Тютчев). В статье проводится сравнительный анализ переводов песни. В данном случае не столь существенно, который из них удачнее, как не существенно даже и то, что Жуковский и Лермонтов очень вольно обошлись с оригиналом. Важен вывод, сделанный полностью в духе выдающегося исследователя искусства перевода Ю. Д. Левина, учителя О. Б. Кафановой. Смысл вывода сводится к тому, что появившиеся в разное время разные переводы одного и того же произведения могут в читательском сознании заменяться. Действительно, переводы XVIII века сегодня могут читаться лишь специалистами. Однако в исторической перспективе и ретроспективе все переводы определенного произведения занимают свое неотъемлемое место, они дополняют друг друга, формируя текучий, изменяющийся во времени образ этого произведения. В свое время Ю. Д. Левин писал: «...при современных масштабах культурного обмена всякое значительное произведение национальной

вскоре переводится на другие языки и в таком виде становится достоянием всего культурного человечества». Мировая слава Шекспира, Сервантеса, Гете или Ибсена базируется в очень большой степени на их переводах, и история восприятия мировых литературных шедевров — это история их переводов.

Перевод как интерпретацию рассматривает В. А. Доманский в докладе «Лирика Г. Гейне в русских переводах: дискурсивные практики» (с. 40-62). Он отмечает, что русский облик Гейне на протяжении XIX-ХХ веков очень сильно изменяется, переходя от образа сугубого романтика до фигуры революционно настроенного сатирика-обличителя. На конкретных примерах русских переводов стихов из «Книги песен» автор показывает сложную динамическую связь дискурс между оригиналом и переводом. Особенно ценна мысль о первостепенном значении не только для перевода, но и вообще для поэзии гармонического соответствия между «звучанием и значением» слова, как это определял Б. Пастернак (с. 47).

Иной аспект, так сказать, перекрашивание содержания переводимого произведения в новый философско-идеологический цвет, рассматривается в очерке Н. Е. Разумовой «Поэзия Ф. Шиллера в переводах Ф. И. Тютчева» (с. 63-81). «Тютчев приспосабливает шиллеровский текст к выражению совсем иной системы мировидения», - отмечает исследовательница (с. 63). Например, знаменитый призыв шиллеровского гимна «К Радо-«Обнимитесь, миллионы!» звучит у Тютчева так: «В круг единый, Божьи чада!» Не то чтобы Шиллер был в меньшей степени христианином, чем Тютчев, функция небесного отца выглядит у поэтов по-разному. «Бог в переводе предстает в гносеологическом аспекте», — поясняет автор статьи (с. 65), тогда как молодой Шиллер воспринимает его как средоточие возвышенных эмоций. Это тончайшее наблюдение можно было бы отнести и к тютчевскому переложению баллады «Торжество победителей», выразиназванному «Поминки». утверждение исследовательницы, будто Тютчев «существенно повысил «эмоциональный градус» стихотворения» (с. 66), не вполне убедительно. Русский поэт скорее переосмыслил философскую основу его, сгустив шиллеровский трагизм, отказавшись от шиллеровского принятия жизни как она есть. Эмоциональность не усилилась, а приобрела в переводе иной смысл. Напомним, что последний стих баллады Шиллера говорит о том, что «надо жить сегодня». А у Тютчева: «Все земное идет мимо!» В целом же остается признать правоту Н. Е. Разумовой, увидевшей в

¹ Левин Ю. Перевод и бытие литературы // Вопросы литературы. 1979. № 2. С. 11. См. также: Федоров А. Искусство перевода и жизнь литературы: Очерки. Л., 1983.

переводах Тютчева из Шиллера «кардинальное переосмысление» мировоззренческих основ творчества немецкого поэта. Конечно, Тютчев успел далеко уйти от высокого шиллеровского оптимизма, который перекрывал все беды истории.

В работах Д. В. Лобачёвой, Д. А. Олицкой и других участников семинара и сборника исследуются русские переводы лирики Ф. Гёльдерлина, Й. Эйхендорфа, К. Брентано и австрийского поэта и переводчика ХХ века П. Целана именно как переосмысление подлинников. Отступления от оригинала фиксируются ими в общем не как ошибки переводчиков, а как невозможность сказать иначе, как лингвистические, эстетические и ментальные пределы, объективно, в силу различия языков и культур существующие между русской и немецкой литературами. Границы эти проницаемы, но не до конца. Особенно верлибр кажется на вид легко переводимым, но, по сути дела, полностью его не передать, поскольку он весь построен не на традиционной стиховой стопе и рифме, а на игре ударений и звукосочетаний.

В большой статье Д. Н. Беловой «Цикл Р. М. Рильке "Сонеты к Орфею" в русских переводах» (с. 118—156) выясняется, что поэтика стихов Рильке, как ни у какого другого поэта, основывается не столько на смысле слов (подчас весьма темном и субъективном), сколько на гармонии звуков, которой Рильке владел виртуозно. Та самая эвфония — единство звучания и значения, о которой говорилось выше, здесь основа всего. Поэтому старания русских переводчиков поэзии Рильке пока дают лишь частичный (скудный, добавили бы мы) результат. «В русских переводах в пределах одного сонета оказывается раскрытой какая-либо одна составляющая этого единства», - констатирует автор статьи о Рильке (с. 123).

То же самое относится и к русским переводам вольного стиха П. Целана. Из приме-

ров, приведенных в статье Н. Е. Никоновой «Пауль Целан в русских переводах и как переводчик русской поэзии» (с. 137-158), наверное, достаточно одного - строк из стихотворения «Сжатие». Подлинник: «Lies nicht mehr — schau! Schau nicht mehr — geh!» Эти выкрики односложных слов воспроизвести по-русски очень трудно, если не невозможно. Односложность передает здесь страсть, которая давит на слово «изнутри», грозя разорвать ткань языка. Этой сжатой, как пар в котле, энергии нет, к сожалению, в имеющихся русских переводах. Вот перевод А. Глазовой: «Хватит читать — смотри! Хватит смотреть — иди!» Перевод О. Седаковой: «Довольно читать — смотри! Довольно смотреть — иди!» (см. с. 141). Поэтика страстного, взрывного высказывания помогала Целану переводить О. Мандельштама, С. Есенина и других русских поэтов ХХ столетия.

Из вклада зарубежных гостей томского семинара отметим содержательную обзорную работу доцента Ренаты Ганзен-Кокоруш (Мангейм) «Немецко-русские литературные и культурные связи в эпоху романтизма» (с. 159—172). Черты картины мира у русских и немецких поэтов, как оказалось, существенно разнятся, несмотря на общность многих деталей и на общее для эпохи понятие романтизма.

Подводя итог материалам обсуждаемого издания, снова высоко оценим проблематику, которая поднимается в нем. Известно, что мысль выражается на каждом языке по-иному — не настолько, чтобы носитель другого языка не мог понять ее, но ровно настолько, чтобы выразиться в поэзии неповторимо. Поэтому переводчику всегда полезно, по словам Гете, «понять поэта и страну», чьи произведения он собирается переносить на свою родную почву. Томские исследователи и их зарубежные коллеги снабдили переводчиков теоретическим путеводителем, которому можно верить.

© А.Г.Гродецкая

живая жизнь в контексте вечности*

У книги А. М. Зверева и В. А. Туниманова трагическая судьба, фамилии обоих авторов — в траурных рамках. Алексей Матвеевич Зверев довел работу над биографией Толстого до «переворота» (части первая—вторая), последняя им написанная глава по-

священа «Анне Карениной», и... смерть не дала окончить начатое. Вдова Алексея Матвеевича театровед Н. Д. Старосельская обратилась к давнему другу мужа Владимиру Артемовичу Туниманову с просьбой завершить его труд. Он фактически досоздал толстовское жизнеописание, взяв на себя изложение сложнейшего позднего этапа его творчества и биографии (части третья—пятая, раздел «Драматургия Толстого»). Работу В. А. Тунманов завершил, но и он ушел из жизни в мае 2006 года, не дожив до выхода книги в свет.

^{*} Зверев Алексей, Туниманов Владимир. Лев Толстой / Вступ. статья В. Я. Курбатова. М.: Молодая гвардия, 2006. 782 с. (Серия «ЖЗЛ».)

Грустно, почти безысходно звучит констатация авторов в «Послесловии»: «В Америке и Канаде интерес к Толстому сегодня, как никогда, высок». — А у нас? «...Как-то вяло и почему-то с оглядкой. (...) Похоже, что Россия, в начале XX века боготворившая Толстого, на исходе его охладела к своему великому романисту» (С. 773).

Достаточно зайти в книжный магазин (в Петербурге), чтобы убедиться, что это так. На полках в лучшем случае одна-две переводные монографии и/или републикации. Североамериканские слависты единодушны в том, что в последние два десятилетия они переживают бум интереса к Толстому, и интерес этот давно сместился к Толстому от Лостоевского (в посмертном соперничестве они, наверное, пребудут вечно). Два десятка лет существует Международное общество Толстого, вне России с 1990 года выходит специальный толстовский журнал «Tolstoy Studies Journal», вне России, главным образом в Америке и Канаде, издано за последнее время несколько серьезных, обобщающего характера монографий о Толстом. 1 И без опыта североамериканских славистов перь, честно сказать, обойтись при изучении его творчества едва ли возможно. 2 Но возможно ли обойтись без голосов из России?

Вопрос об «охлаждении» к Толстому жестко поставлен авторами. Жесткость и честность отличают их позицию в целом, что в предисловии к книге отметил В. Я. Курбатов. Жестко и честно были написаны и первые рецензии - иного, помня всем известные чеховские слова, имя Толстого не позволяет. К созданию биографии писателя, как пишет А. Немзер, авторов вел «не только профессиональный интерес (тоже ставший раритетом, хотя головокружительная сложность толстовского «материала» по идее должна как страшить, так и неудержимо привлекать всякого филолога), но и человеческая необходимость высказывания о самом главном». Соглашаясь с «Послесловием», А. Немзер ищет причины общего нашего отчуждения от Толстого: «Горько писать (много горше — чувствовать), но Толстой — писа-

¹ Имею в виду монографии Р. Густафсона, Г. С. Морсона, Р. Силбаджориса, Д. Орвин, Г. Джана, Э. Манделкер, К. Фойер, А. Донскова и др.

тель не востребованный. (...) Удаление от Толстого (удаление Толстого) началось не вчера, а в поздние 70-е, когда и замешивался наш фирменный коктейль из расслабленной (но нетерпимой) неофитской религиозности (тогда осторожненько именовавшейся «идеализмом»), уютного культуропоклонничества. копеечной оппозиционности (кукиш в кармане), тяги к "оригинальности" и стойкого цинизма. Для этой смеси Толстой был не нужен — и не только как моралист и религиозный мыслитель, во всем идущий до конца, но и как художник из художников, искусство которого настолько приближается к вечно текучей, непостижимо сложной, превышаюшей любые людские разумения Жизни, насколько это вообще искусству доступно. Толстого вообще невозможно "приспособить", "припрячь", "встроить в контекст" той или иной идеологии (включая «толстовство») или художественной тенденции (включая «реализм»). Частые опыты "присвоения" Толстого так зримо искажают суть его жизненного дела, так грубо и наивно насилуют его царственное слово, что практически всегда отдают комизмом...» 3 Другой рецензент рекомендует, долистав книгу до конца (дочитать, с его слов, удается не сразу), «начать перечитывать сначала. Обложившись сочинениями самого Толстого, материалами к его биографии, множеством мемуаров, перепиской. Толковые современные комментарии ко всему этому еще не написаны».4

Вот так: не написаны комментарии, не постигнуто ни толстовское разумение жизни, ни его царственное слово, не прочитаны мемуары, не говоря о биографии и материалах к ней. Между тем над биографией Толстого трудились десятилетиями как его ученики и последователи, так и замечательные исследователи его творчества и жизни («Материалы», как известно, собирал Н. Н. Гусев, после него — Л. Д. Опульская). Толстому вообще везло с биографами, несмотря на то что действительно. толстовский «материал», предполагает в биографе эпика. Первой биографией Толстого, начатой еще при его жизни и с его участием, было 4-томное жизнеописание П. И. Бирюкова. Ценность его неоспорима, на него прежде всего опирались все последующие биографы. А их было немало. Это и В. В. Вересаев, автор «Живой жизни». и Бунин, на протяжении 30 лет работавший над собственным эпосом — книгой «Освобождение Толстого», и последователь Толстого американец Эйлмер Моод, и Ромен Роллан, создавший свою «Жизнь Толстого» наряду с жизнеописаниями Бетховена Микеланджело, и Анри Труайя, наконец, и В. Б. Шкловский, предшественник по серии

² Ср. неутешительный вывод авторов обзора журнала «Tolstoy Studies Journal»: «...главное заключается в том, что создан и издается узкопрофессиональный журнал, который обеспечивает нормальное функционирование целой отрасли американской русистики. В те годы, когда в нашем отечестве толстоведение стало сходить практически на нет, американские коллеги двигали его вперед с невероятной активностью» (Сорочан А., Строганов М. Обзор журнала «Tolstoy Studies Journal» // НЛО. 2003. № 64. С. 423).

³ См.: *Немзер А*. Напоминание о главном // Время новостей. 2007. 9 февр.

⁴ Шевелев И. Толстой после Шкловского // Московские новости. 2007. 4 мая.

«Жизнь замечательных людей» А. М. Зверева и В. А. Туниманова.

Другое дело, что труды эти, за исключением опубликованной «Биографии» Бирюкова, точти не переиздаются, как не переизданы до сих пор ни в чем не устаревшие и никак не «припряженные» к идеологии времени работы Б. М. Эйхенбаума, вышедшие первыми (и единственными) изданиями в 1922, 1928 и 1931 годах.

Однако столь явственно осознаваемый авторами «уход» Толстого из современности становится, как это обычно и бывает, залогом и предвестником его скорого и неизбежного возвращения. Новый ЖЗЛ-овский «Толстой» — одно из свидетельств этого возвращения. Ситуация «вокруг Толстого» действительно должна измениться и уже буквально на глазах меняется. Выходят тома Полного академического собрания его сочинений (100-томного), изданы или переизданы «Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями» (1990), «Неизвестный Толстой в архивах России и США» (1994), «Новые материалы Л. Н. Толстого и о Толстом. Из архива Н. Н. Гусева» (1997), «Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки» (2003); возобновились (после ощутимого перерыва) «Яснополянские записки» и «Яснополянский сборник», «Толстовский ежегодник», «Толстой и о Толстом». Характерно в данном случае (и в названиях) возвращение к имевшим успех изданиям 1920-х годов, как характерно и появление антологий, объединивших статьи о Толстом выдающихся русских мыслителей первой трети XX века -С. Л. Франка, Л. И. Шестова, Н. Я. Грота, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкого, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, Д. С. Мережковского, Г. В. Флоровского, И. А. Ильина, В. Н. Ильина, Ф. А. Степуна и др.⁷

Теперь стоит перейти к новой биографии Толстого. Авторы конца века обращаются в ней к его началу. Опыт осмысления русской философией начала века художественных открытий Толстого, его дневниковых и публицистических откровений, его этики, религии и социальных программ, значения его живого слова и живой жизни для русской и мировой культуры вошел в книгу А. М. Зверева и В. А. Туниманова во всей полноте. Зримо и незримо здесь присутствуют младшие современники писателя, в согласии или же горячей полемике с которыми и воссоздается его жизнь — «жизнь как пить». Полемикой с Мережковским, собственно, и открывается книга, и постоянным его оппонентом выступает Бунин. «"Тайновидец плоти" — формула, найденная Мережковским еще при жизни Толстого, долгие годы воспринималась как бесспорная, хотя она содержит в себе очевидную несправедливость, поскольку предполагает противопоставление Достоевскому, этому "тайновидцу духа". Однако Бунин, восторгаясь необыкновенно живой чувственной памятью Толстого, взял слово "память" в кавычки $\langle ...
angle$. Если это и воспоминания, то не о себе, а о чем-то длящемся мириады лет, пока на земле существует жизнь, и лишь воплотившемся в Толстом с какой-то особенной яркостью» (С. 12). И еще одна отсылка к Бунину: «Пристрастный, не всегда убедительный в частных суждениях, Бунин, однако, очень тонко уловил парадоксальную сущность Толстого, написав про уникальное понимание "плоти мира", про не имеющую аналогов приверженность этой "плоти" — времени, пространству, причине - и такую же неуемную, неистовую страсть превзойти их, избавиться от подчинения "формам", от всего сиюминутного, мирского, земного» (С. 14). Наконец, главная мысль авторов: «Одержимость вечным, которое то смутным контуром, то отчетливым узором проступает за каждым мгновением текущего, проявилась у Толстого уже в детские годы» (С. 14). И так — из главы в главу, особенно убедительно и настойчиво в первой и второй частях книги. Вечное (вне «времени, пространства, причины») живет в «странном человеке» (это название одной из глав) Льве Толстом и в «любовном, таинственном детстве», и в «пустыне отрочества», и в «испанских замках» юности (это также названия глав), и в «правде» Кавказской и Восточной войн, в литературном и хозяйственном творчестве, в любви, в семейном счастье и несчастье.

Чудесное, загадочное, поэтичное, уникальное, великое страница за страницей угадываются и открываются авторами в жизни их героя. Проникновенные и возвышенно-поэтичные слова находятся для описания тайн этой жизни, для их разгадок: «Из своего детства — поэтического, таинственного, нежного — он сохранил в памяти всепоглощающее чувство любви как естественного состояния

⁵ *Бирюков П.* Биография Л. Н. Толстого. Кн. 1—2. М.: «Алгоритм», 2000. (Напечатана по изд. 1923 года.)

⁶ Эйхенбаум Б. 1) Молодой Толстой. Пб.; Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922; 2) Лев Толстой. Книга первая: 50-е годы. Л.: «Прибой», 1928; 3) Лев Толстой. Книга вторая: 60-е годы. Л.; М.: ГИХЛ, 1931. В Мюнхене — для сравнения — репринт был издан: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: В 2 т. 1928/1931. Reprint. München: Vilhelm Fink Verlag, 1968. Не менее показательно и парижское издание: О религии Льва Толстого: Сб. статей. М., 1912. Reprint. Paris: YMCA-Press, 1978.

⁷ Л. Н. Толстой: pro et contra. Личность и творчество Льва Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института. 2000; Русские мыслители о Льве Толстом. Тула: Изд. дом «Ясная Поляна», 2002.

души, как естественного отношения ко всем людям» (С. 38); герои Толстого «живут, открывая перед читателем и полноту существования, переливающегося самыми разными оттенками, и богатство характера, который не подчинен какой-то резко обозначенной доминанте, а, напротив, всегда пластичен и поэтому чужд всякой завершенности» (С. 192).

В двух первых частях биография Толстого создается прежде всего через его автобиографического героя. Толстой как будто постоянно смотрит в себя: самоанализ писателя в письмах и дневниках проверяется и дополняется самоанализом его героя. И так же каждый персонаж реальной толстовской биографии - как прототип персонажа литературного — психологически выверяется этим последним. Убедительный прием, позволивший не разделить, а органично слить жизнь и творчество, показав, как биографическое и творческое прорастают одно в другое. Первые части написаны с исключительным (можно сказать — толстовским) любовным вниманием к подробностям, к мелочам, к «узору» жизненного ковра, если использовать любимое Толстым выражение Герцена. Вторую половину книги едва ли можно сравнить с ковроткачеством. У второго ее автора — другой инструмент и другой материал. Он высвечивает лишь отдельные эпизоды и детали в разросшемся биографическом мире Толстого, в безмерно расширившемся пространстве его поздней художественной и философской прозы, публицистики, мемуаристики, дневников, эпистолярия.

Но книга — едина. И «цемент», обеспечивающий единство (это толстовский принцип), держится общностью понимания обоими авторами толстовской уникальности в русской и мировой культуре XIX и XX веков. «Книга "Война и мир", — читаем мы о великом романе, — стала литературным свершением исключительной важности, потому что она представляла собой органичный сплав лирического и философского повествования, развернутого на фоне исторических событий, имевших громадное значение для национальной судьбы и для всего человечества. (...) "Война и мир" обнаружила такую неожиданность, такую прочность сцеплений, что этот опыт остался уникальным во всей мировой литературе» (С. 228-229).

Книгу, кроме того, трудно отнести к чисто биографическому жанру. Исследование художественных, публицистических, дневниковых текстов Толстого войдет в фонд авторитетнейших научных трудов. Это относится к наблюдениям, например, над тем, как на смену типическому герою в прозе толстовских современников приходит его герой-личность, герой-индивидуальность, как формируются сами принципы толстовской индивидуализации. Во второй половине кни-

ги рассматриваются народные «типажи» позднего Толстого, «типические» персонажи его поздней публицистики.

Честно признаться, «Толстой» Зверева и Туниманова - не для массового читателя, скорее, для искушенного. Слишком искушены сами авторы, слишком много не произнесенного до них о Толстом (по разным причинам, из-за идеологических запретов советской эпохи прежде всего) хотелось и удалось им сказать. У двух ученых — совершенно свободный (без «оглядки») взгляд на Толстого. В этом и их личное бесстрашие, и заслуга времени. В новом «Толстом» отразилось свободное дыхание последнего десятилетия ушедшего века, в книге нет закрытых тем, все темы открыты. И более того, самые нервно-напряженные, особенно во второй ее половине, мужественно обнажены. Отношения Толстого с православной церковью, например, драма его отлучения впервые поданы «безоглядно» открыто и прямо. Его семейная драма, душевные «метания» Софьи Андреевны, отношения детей-родителей, каждого из детей, показаны так, как не бывали показаны никогда. — откровенно, бестрепетно, порой жестко, по дневникам, переписке, мемуарам многочисленных участников и свидетелей семейных войны и мира. Но при этом — предельно тактично, с неотъемлемым для человека конца XX века знанием онтологической глубины подобных конфликтов. Одинокий толстовский путь благодаря тому же знанию закономерно приобретает в книге экзистенциальный привкус. Век двалцатый вошел в книгу не только своим великим «началом», но и всем своим опытом драматических попыток решения «вечных вопросов». Томас Манн и Акутагава Рюноскэ, Франц Кафка и Жан-Поль Сартр, европейский кинематограф и Мераб Мамардашвили вступают — благодаря авторам — с Толстым в диалог.

Необходимо о создателях биографии Толстого сказать несколько дополнительных слов. А. М. Зверев — специалист по истории литературы Западной Европы и Америки XIX—XX веков, исследователь американского романа XX века, истории русской эмиграции во Франции, автор вышедшей недавно биографии В. В. Набокова. В. А. Туниманов — прежде всего известный достоевист, хотя и он специалист очень широкого научного диапазона, автор работ о Герцене, Лескове, Гончарове, о русской и европейской прозе, журналистике и критике XIX—XX веков.

Изданная в «ЖЗЛ» биография Толстого представление об «охлаждении» к нему опровергает. Читателя книга эта к Толстому, безусловно, по-новому приближает, заражая, ошеломляя дерзостью, «дикостью», величием его мысли, слова, поступка, беспредельностью смыслов его жизненного пути.

ХРОНИКА

ПЕРВЫЕ «СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В ИЗМАИЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

23-26 апреля 2007 года в городе Измаиле — центре многонационального региона Украинского Подунавья — состоялась Международная научная конференция «Славянские чтения», которая была организована кафедрой зарубежной литературы Измаильского государственного гуманитарного университета. В ней приняли участие научные сотрудники Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Института славяноведения РАН, а также ученые из высших учебных заведений Украины, России, Венгрии, Германии и Болгарии.

Открыла «Славянские чтения» председатель оргкомитета, заведующая кафедрой зарубежной литературы, профессор Н. П. Лебеденко.

С приветственной речью выступил ректор ИГГУ, профессор А. М. Лебеденко. Он ознакомил присутствующих с историей университета, направлениями его научной деятельности, подчеркнув при этом закономерность проведения «Славянских чтений» на Бессарабской земле, известной своим богатым и столь значимым для славянских народов историческим прошлым.

Во вступительном слове проректор по научной работе и международным связям, доцент Т. А. Савоськина отметила, что Международная конференция проходит в преддверии Дня Славянской письменности. Цель первых «Славянских чтений» в Измаильском университете — способствовать сохранению культурного наследия, у истоков которого стоят великие просветители Кирилл и Мефодий.

Первым на пленарном заседании выступил С. А. Фомичев (Санкт-Петербург, Россия) с докладом, посвященным проблеме исторических источников «Слова о полку Игореве». Ученый высказал предположение, что вслед за летописной версией события князь Игорь Святославич заказал сказителю записать особый рассказ о походе, адресованный местным жителям. Упрочить пошатнувшуюся власть над подданными князю было просто необходимо, так как в сражении погибли не только его дружина, но и все ополчение, доверенное, по заведенному порядку, народ-

ным вече. Гениальный автор «Слова» в процессе вдохновенного творчества осмыслил военную катастрофу, при всем сочувствии Игорю, с позиций общерусских патриотических чаяний. Обратившись к поэтической образности «Слова», докладчик особое внимание уделил свадебной символике, которая олицетворяет нерушимую связь (обручение) Игоря с Землей Русской. По мнению Фомичева, автор «Слова» — в духе народного восприятия — подчеркнул хранительную роль женщины, по-своему освященную в концовке произведения образом Богородицы.

В докладе «Взятие Измаила, "Потемкинский праздник" и дерзания Г. Р. Державина» В. А. Кошелев (Великий Новгород, Россия) акцентировал внимание на том, что поэт выполнил очень сложную задачу: представить в привычных одических формулах не традиционное «восхваление» власть имущим, а широкую и «слитную» панораму «золотого века Екатерины Великой». Докладчик считает, что Державин, используя классицистическую поэтику, осуществил «социальный заказ», но при этом «выломился» из рамок простого описания, воссоздав целостную картину своего времени, не отступив от правды жизни. Это создало тот эффект, который обыкновенно считается новаторским достижением уже следующих литературных эпох: эффект представления «типических характеров в типических обстоятель-

Тибор Бароти (Сегед, Венгрия) выступил с докладом «Внутренний человек в оценочной системе А. С. Пушкина». В центре внимания венгерского исследователя — этическая позиция Пушкина, осмысливаемая в соответствии с концепцией «внутреннего человека». Выделив в качестве определяющей категории оценочной системы поэта духовное начало, профессор Бароти предложил свою оригинальную типологию художественной парадигмы пушкинского творчества.

В докладе Н. В. Сподарец (Одесса, Украина) «Поэтический мотив как коррелят отношений автора, текста и читателя» обосновывалась гипотеза, что функциональные возможности мотива как структурно-смысловой единицы поэтического мира позволяют обеспечить продуктивность эстетической коммуникации в системе отношений автор-

В компаративном исследовании Р. Ю. Данилевского (Санкт-Петербург, Россия) анализировались концепции личности в творчестве Пушкина и Гете. Докладчик отметил, что образ человека у Пушкина и Гете всегда был связан с нравственными проблемами. При этом немецкий писатель с годами все более склонялся к тому, чтобы смотреть на человека как на часть Природы и лаже Космоса. Пушкин же подчеркивал в человеке прежде всего его конкретные национально-исторические черты. В дальнейшем обе литературы, взаимно обогащая друг друга, развивали взгляды этих двух гениев, формируя немецкий (более философский и символический) и русский (более социально-конкретный и нравственно окрашенный) варианты литературной концепции человека.

Выступление М. Г. Соколянского (Любек, ФРГ) было посвящено пятидесятилетию выходящего в г. Лодзи периодического издания «Zagadnienia Rodzajow Literackich» («Проблемы литературных жанров»). Докладчик познакомил слушателей с историей создания журнала, его основными тематическими направлениями. Был отмечен последовательный курс редколлегии на расширение проблематики статей, авторского круга и читательской аудитории. Особое внимание было уделено постоянному интересу издания к славянским литературам.

Л. А. Орехова (Симферополь, Украина) в докладе «К вопросу о прототипах в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых"» предприняла попытку комментирования одного из эпизодов романа «Солнце мертвых», акцентировав внимание на его фактографичности, что позволило сделать вывод о необходимости дальнейшего документально-исторического изучения текста романа.

Последующая работа конференции распределилась по нескольким секциям: «Российская литература в контексте культуры», «Теоретические и компаративистские аспекты современной славистики», «Духовное пространство украинской литературы».

В докладе Й. А. Балашовой (Ростов-на-Дону, Россия) «Рисунки льва и коней в рукописях и бумагах А. С. Пушкина» осмысливалась проблема эстетических особенностей пушкинских рисунков и влияния на них жизненных впечатлений поэта.

А. Л. Шемякин (Москва, Россия) выступил с докладом «В поисках прототипов. Раевские на страницах сочинений Льва Толстого (география вопроса)». Выли представлены убедительные аргументы в пользу того, что именно Николай Николаевич Раевский-третий, внук легендарного бородинского героя, погибший в августе 1876 года в Сербии, послужил прототипом образа Алексея Вронского в романе «Анна Каренина». Исследователь проследил историю вопроса, обозначив «гео-

графический контекст», в котором рождались произведения Толстого.

Багги Ибойя (Сегед, Венгрия) посвятила свой доклад осмыслению пушкинских традиций в лирике А. Ахматовой, уделив особое внимание анализу стихотворения «Царскосельская статуя».

Шарни Чаба (Сегед, Венгрия) прочитал доклад «Символика в повестях В. Распутина», в котором с безупречной корректностью рассмотрел систему символических образов, их идейно-художественные функции в прозе писателя.

В центре внимания исследования Н. П. Лебеденко (Измаил, Украина) — «Гете в эстетических оценках Д. Мережковского». Осмысливая принципы символистской критики, докладчица проанализировала очерк Мережковского «Гете» и отметила значимость его творчества для представителей разных эпох и разных эстетических взглядов.

В докладе Т. А. Савоськиной (Измаил, Украина) «Поэтика сценического эпизода в третьей главе "Евгения Онегина"» рассматривались художественные средства создания сценичности повествования в стихотворном романе и выявлялись особенности художественного мышления Пушкина, обусловившие романтический характер драматургического эпизода.

А. В. Кошелев (Великий Новгород, Россия) выступил с докладом «Эпиграф из Державина к "Скупому рыцарю" Пушкина», в котором обосновал причины отказа поэта от эпиграфа, взятого из сатиры Державина «К Скопихину», мотивируя это своеобразной полемикой с державинским образом.

В выступлении Л. Н. Дзиковской (Измаил, Украина) «Концепция цвета/света в творчестве М. Волошина» исследовались принципы мифологизации цвета и света в лирике и живописи поэта Серебряного века.

В докладе «Утопия в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник"» А. Б. Перзеке (Кировоград, Украина) показал, что поэт первым в русской и мировой литературе художественно сформулировал антиутопический тип мировидения и создал уникальную для своего времени двухчастную жанровую структуру антиутопии.

В докладе «Взаимоотношения СМИ и власти в романе В. Пелевина "СКО"» А. Н. Кискин (Измаил, Украина) пришел к выводу о невозможности альянса свободных массмедиа и властных структур на фоне реальной социально-исторической ситуации, сложившейся в России на рубеже XX—XXI веков.

Основные принципы субъективной символистской критики Д. Мережковского освещались М. Хуберт (Дрезден, ФРГ). В докладе прослеживались эстетические предпосылки формирования символистской критики, выявлялись ее характерные черты в литературно-критическом наследии Д. Мережковского. В. Б. Мусий (Одесса, Украина) в докладе «О национально-консолидирующей роли мифа в славянских литературах эпохи романтизма» отметила, что космогонические мифы, мифы о культурном герое и мировом древе являются основными архетипами чешской, украинской и русской литературы эпохи романтизма.

«Модель мира в славянофильской критической рефлексии XIX века» — тема доклада Н. М. Раковской (Одесса, Украина). Обратившись к проблеме самосознания в литературной критике XIX столетия, докладчица сфокусировала внимание на индивидуальном авторском мировосприятии, проявляющемся в диалоге сознаний, культурных кодах, знаковых системах.

И. В. Арендаренко (Киев, Украина) в выступлении «Романтический ориентализм А. Одоевского» проанализировала лирику русского поэта с позиции оригинальной презентации «восточного» и наличия отзвуков традиций европейского литературно-романтичного ориентализма (египетомании, тематики восточной поэзии и пр.).

В своем сообщении «Специфика художественного мира в цикле В. Ф. Одоевского "Пестрые сказки"» Т. Ю. Морева (Одесса, Украина) пришла к выводу, что, совмещая вымыслы и дидактику, романтическую устремленность и бытовой материал, Одоевский предлагал учитывать особенности каждого жанра, выступая за признание их равноценными.

В докладе «Сказка фольклорная и литературная: проблема двоемирия» М. Ю. Перзеке (Кировоград, Украина) проследила взаимосвязи народной и волшебной литературной сказки первой половины XIX века, подчеркнув единство внутрижанрового деления художественного пространства по принципу бинарной оппозиции.

В. В. Орехов (Симферополь, Украина) в докладе «Французский код русско-французского литературного диалога» рассмотрел процесс художественного переосмысления русской литературой «французского текста о России» первой половины XIX столетия. На материале произведений А. С. Пушкина, Д. В. Давыдова, В. А. Соллогуба, А. И. Герцена были выявлены принципы художественной трансформации стереотипных «французских» клише, отражающих восприятие России и русской культуры.

«Творчество А. С. Пушкина в рецепции Жана-Луи Бакеса» — тема доклада О. И. Кудиновой (Измаил, Украина). По мнению докладчицы, интерпретация французским филологом-русистом личности и творчества Пушкина во многом соотнесена с духом эпохи и особенностями национального мировидения поэта.

В докладе «Духовное измерение поэтического мира Н. Винграновского» В. И. Сподарец (Одесса, Украина), актуализируя категорию «духовная реальность», рассмотрел поэтическое творчество Н. Винграновского через призму развития лирического сюжета и особенностей поэтического языка.

Т. С. Шевчук (Одесса, Украина) выступила с докладом «Круговорот как принцип художественно-структурной организации "Лямента" на смерть Леонтия Карповича» (1620). С точки зрения автора, двуплановая композиция плача («реальное» и «мистическое») отражает античные представления о вечном круговращении Хаоса и Космоса.

Теме «"Пушкинский текст" киевских неоклассиков» был посвящен доклад Г. Б. Райбедюк (Измаил, Украина), которая выявила генетические связи и проследила типологические аналогии художественной парадигмы А. С. Пушкина и украинских неоклассиков.

В докладе «Славянские литературы в рецепции киевских неоклассиков» О. Ф. Томчук (Измаил, Украина) проанализировал различные формы творческого диалога киевских неоклассиков и представителей других славянских литератур.

Основные концепты «метафизической прозы» современного украинского писателя Евгения Пешковского были охарактеризованы в выступлении А. В. Соколовой (Измаил, Украина).

В докладе Л. В. Ревы (Измаил, Украина) «Русскоязычные произведения Ю. Яновского» освещалась история создания Яновским произведений на русском языке, исследовались художественные особенности рассказов «Романтик», «Бизнес», «Искусство», «Легенда о птице» и др.

На заключительном заседании конференции были подведены итоги ее работы. В обсуждении приняли участие С. А. Фомичев, В. А. Кошелев, Р. Ю. Данилевский, Багги Ибойя, А. Л. Шемякин, Г. Б. Райбедюк и др. Выступавшие отметили широту тематики докладов и ценность многих выводов для дальнейших научных исследований. Были приняты решения: проводить «Славянские чтения» в Измаильском университете раз в два года; опубликовать материалы докладов в специальном выпуске «Научного вестника Измаильского государственного гуманитарного университета».

По окончании конференции для ее участников была организована экскурсия по заповедным местам Бессарабии.

© Н.П.Лебеденко, © Т.А.Савоськина

международная научная конференция «дневники, письма, записные книжки русских писателей»

Институт русистики Варшавского университета, продолжая реализацию проекта «Эго-документ и литература», посвятил свою Вторую Международную научную конференцию, состоявшуюся 27—28 апреля 2007 года в Варшаве, теме: «Дневники, письма, записные книжки русских писателей».

Пленарные заседания конференции проходили в Бальном зале старинного дворца Тышкевичей-Потоцких (это одно из исторических зданий, принадлежащих Варшавскому университету), где с приветствиями в адрес участников и гостей конференции выступили посол Российской Федерации в Польше Владимир Гринин, декан факультета прикладной лингвистики и восточнославянских филологий проф. Владислав Фигарски, директор Института русистики проф. Алиция Володзько-Буткевич.

Утреннее пленарное заседание было отруководителя крыто докладом Фонда Ф. М. Достоевского И. Волгина (Москва) «Дневники Достоевского и Розанова», сразу задавшего тон высокой научной заинтересованности и динамизма в обсуждении принципиальных вопросов. Докладчик подчеркнул, что связь между двумя писателями обнаруживается прежде всего в сфере художественного мирочувствования. «Пневник писателя», как и «Опавшие листья» (под этим именем числится вся группа родственных между собой розановских текстов), с точки зрения докладчика, не представляют собой дневника в настоящем смысле этого слова, т. е. того, что пишется исключительно «для себя» и, естественно, не предполагает немедленного обнародования. В обоих случаях авторы имеют в виду другого — значительную по размеру аудиторию, которая, желает она этого или нет, воспринимает их «дневниковые усилия» именно как литературу. И если Достоевский указывает на дневниковость самим названием своего моножурнала, то у Розанова нигде нет подобных определений (хотя по форме его малая проза более тяготеет к поденным записям, нежели «Дневник» Достоевского). Записи Розанова, как в «настоящем» дневнике, носят обрывочный, «случайный», фрагментарный характер; это сбивчивый, не «стационарный» дневник, скорее, походная записная книжка, где текст дан в динамике — часто с указанием места и времени его возникновения; это своего рода «записки на манжетах», где указывается иногда даже материальный носитель текста. При этом розановские миниатюры — вовсе не хроника «действительной жизни» (хотя отдельные происшествия могут фиксироваться), а поток сознания - с демонстративным отсутствием каких-либо признаков его «публицистического» оформления. Розанов как бы предвосхищает интернетовский Живой журнал (ЖЖ), где степень открытости не регулируется никакими правилами и установлениями. «Дневник писателя» Достоевского, напротив, тщательно оформлен именно журналистском плане: разбит на месячные выпуски, разделен на главы и подглавки, имеет довольно стройную композицию и т. д. Он отнюдь не фрагментарен; те или иные его положения развернуты и тщательно аргументированы. Однако и в том и другом случае это, несомненно, личный жанр. Строго говоря, и «Дневник писателя», и миниатюры Розанова — пример чрезвычайно искусной жанровой имитации. Их дневниковая форма — не более чем литературная условность, позволяющая авторам решать сугубо художественные задачи. Докладчик утверждает, что демонстративный отказ писателей «от литературы» приводит к поиску новых жанровых форм и в конечном счете к впечатляющему литературному результату. «Разрушение литературы» сильно обогащает последнюю. Обретается новое литературное качество, которое и становится принадлежностью «большого времени».

Польская исследовательница, посвятившая не одно десятилетие изучению судеб ссыльных поляков, писательница и мемуаристка В. Сливовска (Варшава) выступила с докладом «Наша корреспонденция с Юрием Оксманом», подготовленным совместно с мужем Р. Сливовским — переводчиком русской классики, профессором Варшавского университета. Центральная тема доклада — личность Ю. Г. Оксмана (1895—1970). В 1954 году он получил рецензию (автором которой была В. Сливовска) из польского «Исторического обозрения» («Przeglądu Historycznego»), где была высоко оценена его научная работа о декабристах. В 1957 году Сливовские встретились с ним в Москве в студенческом общежитии, а впоследствии часто гостили в его московской квартире, вели с ним постоянную переписку. Оксмана они считают своим Мастером, учителем, который давал ценные советы по ведению научной работы, оценивал публикации — «часто доброжелательно и чрезмерно хвалил, часто и критиковал». Его письма 60-х-начала 70-х годов к польским ученым — свидетельство своего времени, они показывают необыкновенную

¹ Результаты первой конференции отображены в сборнике тезисов: Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny. Tezy / Red. tomu L. Łucewicz. Warszawa, 2005. 138 s.; и в объемном томе материалов и статей: Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny / Red. naukowa A. Wołodzko-Butkiewicz, L. Łucewicz. Warszawa, 2006. 592 s. (Studia Rossica. XVII).

личную индивидуальность Оксмана. Уволенный с работы за контакты с иностранцами и «инакомыслие», исключенный из Союза писателей, он не поддался уговорам приятелей. не пошел «в Каноссу», как писал в одном из писем к Сливовским. В 1970 году польские коллеги присутствовали на похоронах Оксмана, ставших своего рода манифестацией личной независимости его многочисленных друзей и учеников. Польские профессора убеждены, что биография русского ученого дождется своего исследователя, сами же они сожалеют о том, что уже не смогут выполнить «эту прекрасную задачу». На наш взгляд, полное издание переписки русского и польских исследователей помогло бы русистике в составлении своей истории, в заполнении все еще имеющихся многочисленных лакун.

Внимание Б. Кодзиса (Ополе, Польша) привлекли письма И. Северянина к Г. Шенгели, а Я. Орловского (Люблин, Польша) — Д. Андреева к жене Алле Александровне 1928—1959 годов. Оба докладчика подчеркнули, что письма представляют собой особо ценный материал для изучения биографий писателей, их мировоззрения, индивидуальностей, творческих замыслов. В процессе обсуждения этих материалов поступило предложение к организаторам конференции один из семинаров специально посвятить письмам русских писателей, адресованным женам.

Ф. Федоров (Даугавпилс, Латвия) посвятил свое выступление теме: «Игорь Чиннов в "едо-словесном" пространстве». Он отметил, что лирика И. Чиннова — уникальный языковой аттракцион, или, по его собственному определению, «абракадабра», которая, подобно Протею, непрерывно меняла облик. «Абракадабра» — это непрекращающаяся и разнообразная игра: речевая, ситуационная, событийная, логическая. С одной стороны, «абракадабра» — это абсурд, поскольку мир — не что иное, как абсурд. С другой — контрапункт абсурда. Игра свидетельствует о самосознании человека, настигнутого абсурдом, с которым он вступает в игру в «кошки-мышки», в «кто кого переговорит». Единство личности И. Чиннова, по мнению докладчика, в том, что «языковой аттракцион» — это не только лирика, но и эпистолярий, мемуары, и даже невербальные тексты.

Вечернее заседание было открыто докладом А. Шишкина (Рим) «"Растиньяк в столице и в скитаниях": дневник С. Прокофьева 1907—1933». По убеждению докладчика, дневник осмыслялся самим Прокофьевым как собственно литературное произведение (не случайно в одной из записей автор признавался в том, что если бы он не был композитором, то, вероятнее всего, был бы писателем или поэтом). Кроме того, дневник в определенной степени является ключом к расшифровке кода поведения Прокофьева в дореволюционной России, СССР, Европе и США и отчасти дает ответ на вопрос, каким образом состоялось «возвращение» композитора в 1936 году в СССР.

Я. Салайчик (Гданьск, Польша) посвятила свое выступление дневнику Михаила Кузьмина 1921 года, рассмотрев этот материал как документ, фиксирующий переломный этап в жизни поэта, где, с одной стороны, фиксируются внешние перемены в жизни России и Петрограда, а с другой — внутренние переживания автора дневника, и уделив особое внимание психологическому и духовному состоянию, эмоциональному настрою, особенно чувству одиночества русского писателя.

В. Хазан (Иерусалим) в докладе «Документ в роли антидокумента (О литературных мистификациях писателя-эмигранта «второй волны» Ю. П. Трубецкого)» обратил внимание на то, что дар «мемуарного сочинительства» вряд ли мог развиться в герое доклада до такой степени пышно и страстно, не окажись он в эмиграции, т. е. за пределами того государственно-географического пространства, в котором был хорощо известен и подчинен соответствующему социальному порядку и контролю. Докладчик убежден: литературные «мемории» Ю. Нольдена-Трубецкого это не сплошная выдумка, а своеобразная фактографическая гипертрофия, более или менее искусно сложенный сюжет, элементы которого встречались в его собственном опыте или опыте знакомых ему людей (следует учитывать и сведения, почерпнутые из печати). Если с точки зрения результата мистификации это ничего не меняет, то с точки зрения «технологии» производства биографии-мифа возникает проблема мистификационного сотворения «человеческого документа»

В. Жобер (Париж) охарактеризовала творческий путь писательницы Наталии Ильиной (от писем к матери до автобиографической прозы «Дороги и судьбы»), обратившись для этого к анализу ее писем (хранящихся в частном архиве), написанным к матери из Советского Союза за границу в конце 1940-х годов. Письма во многом помогают уяснить этапы достаточно противоречивого творческого пути Ильиной, проливают свет на мучительно сложный процесс становления нового мировоззрения, а также являются подлинными эго-документами, бесценными по своей искренности и непосредственности. Докладчица осветила историю создания романа «Возвращение», ставшего произведением «на заданную тему», но отсохранившего автобиографичность; впоследствии отказавшись от этого романа, Ильина обратится к переосмыслению собственной жизни и целиком посвятит себя тому, что она назовет «автобиографической прозой», куда войдут ее разнообразные мемуары.

Второй день конференции был организован в форме секционной работы в аудиториях Института русистики Варшавского университета. Доклады первой секции были по-

священы изучению дневников, записок, писем, записных книжек как широко-, так и малоизвестных русских писателей преимущественно XIX века: Г. Геракова и Н. Гилярова-Платонова, А. Майкова и И. Гончарова, Л. Толстого и А. Чехова.

А. Дмитриев (Санкт-Петербург) посвятил свой доклад становлению речевой личности христианина (на материале дневников и писем молодого Н. П. Гилярова-Платонова). К дневниковой прозе Гилярова примыкает целый ряд беллетристических опытов: рассказы «Честолюбец», «Беспечный семинарист», «Страшный суд», «Случай, каких немного» и др.; историческая повесть «Последний день Помпеи» (эти рукописи находятся в ИРЛИ в неразобранном фонде Гилярова ф. 71). В его поденных записях и эпистолярии звучат религиозные сомнения и покаянные нотки, с которых начинался процесс самовоспитания христианской личности. Все гиляровские пробы пера объединяет эсхатологическая тема, в основу их положена новозаветная проблема греха. Молодой автор устойчиво двигался в сторону христианского реализма. Чрезвычайно важны его стилистические эксперименты, в которых он от ученического подражательства Карамзину, Гоголю, Сенковскому возвращался к словоупотреблению и синтаксису церковной книжности — прежде всего житийной прозы и гомилий. Ощущение определенной несовместимости изящной словесности (с ее образно-стилистической игрой) и христианского мирочувствия, настраивающего душу на строгий, аскетический лад, явилось главной причиной того, что Гиляров избрал сугубо аналитическую (научную и публицистическую) стезю в литературе. Какого масштаба художника слова потеряла при этом русская литература, показал успех гиляровских мемуаров «Из пережитого» (М., 1886—1887). От семинарских дневниковых опытов их отделяет более 40 лет, но по своей художественной выразительности они подчас не уступают творениям писателей первого ряда.

В докладе Д. Невской (Рига, Латвия) «"Свое" и "чужое" слово в дневнике Г. В. Геракова 1812—1813 годов» внимание было сосредоточено на дневнике забытого ныне пи-Гавриила Васильевича Геракова (1775-1838). Э. Афанасьева (Кемерово) посвятила свое выступление «"Эго-текст" в поэтике М. Ю. Лермонтова: рукопись и книга как эстетический феномен» рассмотрению поэтики отдельных произведений Лермонтова, где обнаружила особый интерес поэта к «эго-документам» («Передо мной лежит листок...», «Журналист, читатель и писатель», и др.). К. Прус (Жешув, Польша) сосредоточился на анализе писем Ф. Тютчева, подчеркнув специфические черты тютчевского эпистолярия и сделав плодотворную попытку его систематизации.

Внимание сразу двух докладчиков привлекла фигура поэта «чистого искусства» — А. Майкова. О. Седельникова (Томск) подробно остановилась на характеристике «Путевого дневника А. Н. Майкова 1842-1844 годов, где поэт отразил свои европейские впечатления и наметил некоторые аспекты осмысления актуальных эстетических тенденций (специально отмечено, что, наряду с размышлениями о социально-политических и культурно-исторических проблемах современной Европы, в дневнике содержатся замечания по поводу так называемого «польского вопроса»). В докладе Н. Володиной (Череповец) «История и современность глазами поэта "чистого искусства": Записная книжка А. Н. Майкова» в продолжение майковской темы была проанализирована внутренняя жизнь поэта на основе хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Записной книжки, свидетельствующей о том, что Майков осмысливал события частной жизни, себя самого сквозь призму истории и современности, в контексте событий и процессов, происходящих в стране и в европейском мире. Для Записной книжки характерны темы государства и народа, России и Европы, религии и науки, литературы и искусства. Все они носят отчетливо концептуальный характер и всесторонне представляют личность Майкова: его этические идеалы, гражданскую позицию, творческий облик.

Б. Оляшек (Лодзь, Польша) посвятила свое выступление чужому в частных письмах и в книге очерков «Фрегат "Паллада"» И. А. Гончарова. Она рассмотрела образ чужого в двойной перспективе: в частных письмах и в литературно обработанных письмах повествователя-путешественника и попыталась выявить «роль достоверности» как основы метода изображения чужого.

Э. Газдецка (Варшава) остановилась на характеристике корреспонденции Л. Н. Толстого с М. Ганди, отметив в эпистолярии, с одной стороны, национальные, культурные, религиозные отличия двух деятелей, а с другой — колоссальное воздействие русского писателя на молодого индуса-«единомышленника», которое последний испытывал всю свою жизнь.

И. Гитович (Москва) в докладе «Письма Чехова как повествовательный дискурс: преимущества и ограничения жанра» поставила вопрос об отношении Чехова к эпистолярному дискурсу как способу самовыражения и самоидентификации, установления оптимальной дистанции между автором письма как бытовым человеком и повествователем, а также автором-повествователем и читателем. Докладчица предложила рассматривать письма Чехова как способ организации текста и феномен иллюзии адекватности автора (бытового человека) и повествователя; отметила в подобных текстах усиленное лирическое начало авторского «я» как феномен особой поэтичности, не характерной для времени, в которое они были написаны.

Внимание А. Неминущего (Даугавпилс, Латвия) привлек исповедальный мотив в эпистолярии А. П. Чехова, проявляющий себя, согласно наблюдениям докладчика, в основном дискретно, реализуясь в виде отдельных фрагментов посланий разным адресатам. В знаменитом письме к Д. В. Григоровичу от 28 марта 1886 года докладчик обнаружил традиционные для исповеди смысловые маркеры («покаяние», «тяжкий грех», «вера») и то, что при этом план выражения и план содержания не совмещаются в исключительно сакральном измерении.

Г. Прохоров (Коломна) в докладе «Разграничение художественного и нехудожественного дискурсов в эго-документах» предложил методологически выделить в эго-документах два типа: художественные нехудожественные. В центре первых — герой и сюжет. Они — часть художественной системы авторов и не могут привлекаться как источники. Вторые — прямые высказывания о мире. Они — источники, но не могут быть предметом поэтики. Доклад основывался на примерах из «Острова Сахалина» Чехова и «Взвихрённой Руси» А. Ремизова.

Выступления и доклады второй секции были посвящены анализу эго-документов, порожденных эпохой Серебряного века и эмиграции. Т. Кухаренок (Рига) в докладе •Письма незнакомки. Переписка Марии Башкирцевой с Ги де Мопассаном» обратила внимание на то, что в письмах Башкирцевой, написанных в характерном для ее автобиографических текстов стремительном, энергичном стиле, сквозит желание создать интригу, привлечь внимание адресата, заинтересовать его. Эпистолярный диалог Башкирцевой с Мопассаном — своего рода развернутые в коротком временном промежутке и постоянно обновляемые серии портретов и автопортретов, при этом рассказ о себе — это всегда новый портрет, как правило определяемый оппозицией вопрос-ответ, столкновением своего и чужого «стилистического сознания» в процессе переписки.

Л. Луцевич (Варшава) в докладе «"Сопtes d'amour" Зинаиды Гиппиус» рассмотрела наиболее ранний из дневников З. Гиппиус, сосредоточившись на основной интриге и «тайне» дневника — «чуде любви», поставленном ею в контекст андрогинности. Докладчица отметила, что в истории европейской мысли проблема человеческого совершенствования связана с тремя основными темами — бесконечной сферой, мистикой геометрии, андрогинностью, они отчасти характерны как для юной З. Гиппиус, так и для русской религиозной философии Серебряного века.

М. Бужинска (Торунь, Польша) посвятила свой доклад декадентской проблематике в авторефлексии А. Блока, в частности отражению в его дневниках влияния философии Вл. Соловьева. Докладчица убеждена, что если раннее блоковское соловьевство

(1901—1902), являясь элементом декаданса, может быть интерпретировано как дань моде, то соловьевство более позднего периода (1911—1913) — как инспирация поиска «правды».

А. Кжихилкевич (Йоханнесбург, Южная Африка) сделала предметом своих наблюдений «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» Ю. Анненкова. Мемуарный текст Анненкова, как отметила докладчица, отличается от дневниковой литературы тем, что объектом наблюдений является не автор, а его современники, словесные портреты которых отражают личные оценки, суждения, впечатления повествователя.

О. Фетисенко (Санкт-Петербург) в докладе «Дневник Евгения Иванова — неизвестный источник для изучения Серебряного века» сосредоточилась на характеристике дневника, который до сих пор остается практически неизвестным исследователям. Между тем это ценнейший источник для изучения культуры Серебряного века. Хранятся тетради Е. Иванова в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) в отдельном фонде (ф. 662). Часть материалов сохранилась в поступившей в ИРЛИ коллекции М. С. Лесмана (ф. 840, обработка его еще не завершена). Сквозными персонажами раннего дневника являются В. Розанов, Мережковские, Д. Философов, В. Тернавцев, А. Карташев, а также А. Блок и вся его семья, А. Белый, Т. Гиппиус, П. Соловьева, Вяч. Иванов, Г. Чулков, Л. Семенов, М. Добролюбова, А. Мейер и многие другие. Чрезвычайно интересны записи о Г. Ибсене и Р. Вагнере. В дневнике есть важные исторические страницы, например записи о революционных событиях 1905 года. Городские зарисовки Иванова, яркие и интересные, помогают лучше представить то, что называют Петербургом Достоевского и Блока. Дневник являет собой соединение рабочих тетрадей Иванова-литератора и непрерывно длящейся исповеди Иванова-христианина. Это и «покаянный дневник» (в силу чего он никогда не может быть издан целиком), и дневник проповедника, основная миссия которого пробуждение в людях веры и детской любви к Богу. Среди сквозных тем дневниковых набросков — культура и культ, человек в современной городской цивилизации, опустошение, «оскудение» души современного интеллигентного горожанина. В конце жизни Иванов использовал свои записи при написании мемуарной книги, оставшейся незавершенной.

М. Михайлова (Москва) обратилась к карактеристике писем А. М. Калмыковой как источнику изучения личности автора, отметив, что подлинное «лицо» Калмыковой, общественной деятельницы, издательницы, пропагандиста книги, открывают ее письма, где она предстает человеком решительным и мнительным, ранимым и стойким одновременно, постоянно борющимся с одиноче-

ством, преодолевающим тяготы непонимания. М. Михайлова продемонстрировала слушателям, как постепенно менялся жанр рассматриваемых писем: от горячей исповеди, напряженной психологической прозы автор переходил к ироническим заметкам, информационным сообщениям, описаниям событий общественной и культурной жизни России и Германии на рубеже XIX и XX веков, к философским размышлениям о религии, бытии, старости, грядущем уходе.

В выступлении О. Демидовой (Санкт-Петербург) «Петербургские зимы Георгия Иванова как (псевдо) мемуары» было подчеркнуто, что текст Г. Иванова мемуарый, но не в традиционном понимании этого термина, предполагающем несколько прямолинейное толкование взаимосвязи «действительность — отображение»; по мнению докладчицы, наиболее корректным жанровым определением Петербургских зим было бы определение «мемуарс ключом», так как суть жанровой специфики книги состоит в ее пограничности.

М. Полехина (Магнитогорск) проанализировала письма Марины Цветаевой к Наталье Гайдукевич как экзистенциальный опыт души, выявив основные тематические блоки, охарактеризовав специфику этого «сенсационного» эпистолярия.

Два последующих доклада были посвяшены дневникам русских художников. Г. Бобилевич (Варшава) рассмотрела дневниковые записи К. А. Сомова как текст-интерпретацию собственных (и чужих) произведений искусства, обладающих определенной как внутренней, так и внешней организацией. Сомовская интерпретация собственных (и чужих) изображенных объектов, считает докладчица, типологически может быть классифицирована как «авторский» текст; функциональность текста-интерпретации определяется его предметной, содержательной, эмоциональной номинацией. В центре внимания докладчицы — эстетическая автокоммуникация, вербальная автоинтерпретация, структура текста-интерпретации, экстраживописный фактор, интермодальные ощущения. В качестве экспликации ею использованы письма художника, которые во многом сродни его дневникам.

Е. Шаварева (Пермь) в докладе, написанном совместно с Н. Бочкаревой, «Литературный автопортрет Павла Филонова (на материале дневников художника)» предложила рассматривать дневники художника в типологическом ряду с литературными автопортретами Ван Гога, Гогена, Дали, Шагала, Петрова-Водкина. Стиль художника-аналитика, по мнению докладчицы, отчетливо выражен в словесном автопортрете Филонова. Описание творческого процесса в полубессознательном состоянии аналогично пространственным смещениям на его полотнах. Пространственный фразеологизм и «монтаж» точек зрения помогают создать гротескный образ художника-подпольщика.

Доклады участников третьей секции были посвящены польским писателям и эго-документам писателей советской эпохи. Так, известный полонист В. Хорев (Москва) выступил с сообщением «Ф. М. Достоевский в дневниках и письмах польских писателей (вторая половина XX в.)». Он рассмотрел некоторые вопросы интерпретации творчества Достоевского в дневниках, письмах и воспоминаниях З. Налковской, М. Домбровской, Г. Херлинга-Грудзиньского, А. Вата, В. Гомбровича, Е. Анджеевского, Я. Ивашкевича, С. Лема, Ч. Милоша, С. Мрожека, С. Хвина и др. И. Крыцка-Михновска (Варшава) основным материалом своих наблюдений сделала тему: «Россия и образы россиян в дневнике 3. Налковской», а М. Доброгошч (Варшава) рассмотрела аналогичную проблематику в дневнике М. Домбровской.

А. Федута (Минск) выступила с докладом «Русские глазами поляков (по эго-текстам Ю. Пшецлавского, М. Малиновского, С. Моравского)», источниками для которого стали воспоминания Ю. Пшецлавского, публиковавшиеся как при жизни мемуариста, так и посмертно; книга мемуарных очерков С. Моравского «В Петербурге», выпущенная посмертно, но по плану, составленному автором; а также дневник М. Малиновского и его письма к И. Лелевелю, которые в настоящее время хранятся в библиотеке Ягеллоньского университета и готовятся докладчиком к печати. Предметом наблюдений и анализа стало изображение деятелей русской культуры (Пушкина, Грибоедова, Сенковского).

А. Станкевич (Даугавпилс, Латвия) в докладе «Польша и поляки в автобиографической прозе Ирины Сабуровой» остановилась на автобиографическом романе писательницы «Корабли Старого города» (о жизни Риги 1920—1940-х годов) и книге мемуаров «О нас», где речь идет о Ди-Пи (Displaced Persons), людях, бежавших из Восточной Европы на Запад. Докладчица обнаружила в сабуровской прозе образы «стереотипных поляков» с неизменным доминированием позитивных оценок: достоинство и рыцарственность в мужчинах, элегантность и благородство в женщинах.

М. Зелинска (Варшава) в докладе «Образ леса в "Глазах земли" Михаила Пришвина», рассмотрела лес как пространство sacrum — место утешения, духовного и физического очищения, творческого вдохновения во время лесной литургии (лес как Божий храм). Докладчица поставила проблему художественного моделирования лесного пространства, выделив такие доминанты, как контраст и векторность, где соотносятся символика (концепция Вселенной как храма Божьего) и реальность вертикального направления (естественная устремленность деревьев к небу, к солнцу). Она также предложила — в качестве одной из возможных — интерпретацию пришвинской категории «родственного внимания» как эманацию любви Христа к

миру, в том числе и к миру природы. Внимание докладчицы привлекла роль живописной и музыкальной впечатлительности Пришвина при создании образа леса. Были проанализированы цветовая, звуковая и «обонятельная» стороны модели лесного мира, намечены связи пришвинского восприятия природы, отраженного в «Глазах земли», с импрессионизмом.

К. Гордович (Санкт-Петербург) выступила с докладом «"Северные дневники" Юрия Казакова». Она отметила, что для всех модификаций дневников Казакова (как личных, не подлежащих цензуре, так и предназначенных для публикации в советские годы) характерна искренность, неподдельный интерес к людям. Личность автора, его мысли, жизненные принципы, умение видеть и слышать других объединяет все записи и обеспечивает их цельность. Именно дневники позволяют войти в творческую лабораторию Казакова и с современных позиций оценить замечательного русского прозаика середины ХХ века.

Э. Абуталиева (Москва) в докладе «Автобиографический очерк: повествовательный потенциал жанра (Б. Пастернак «Люди и положения»)» указала на широкие возможности документалистики, использованные писателем, который поставил перед русской литературой сверхзадачу: рассказать о «годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции» так, чтобы «замирало сердце и подымались дыбом волосы»; писать об этом времени «затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский — не только бессмысленно и бесцельно, писать так - низко и бессовестно». Докладчица акцентировала внимание на глубоком понимании Пастернаком высокой ответственности искусства перед жизнью, что было выработано всем контекстом русской культуры, который и стал частью творческого сознания писателя.

А. Володзько-Буткевич (Варшава) остановилась на рассмотрении «Поденных запи-

сей» Д. Самойлова как хроники литературной жизни советской эпохи. Эти материалы, по мнению докладчицы, являются ценным источником не только для изучения биографии и идейной эволюции поэта-фронтовика, советского интеллектуала, еврея, очарованного русской классической поэзией, но также своеобразной, хотя и весьма субъективной, хроникой литературной жизни нескольких этапов советской истории, начиная со сталинского периода и заканчивая финальными днями горбачевской перестройки. «Поденные записи» позволяют проследить, как в течение десятилетий менялось отнощение поэта к режиму - в юности он полностью. по-комсомольски с ним отождествлялся, веруя в советскую утопию, на склоне лет оценивал весьма критически. На страницах дневников заметен интерес к Польше и польской литературе, так, в частности, поэт упоминает о своих переводах сочинений Норвида, Тувима и Лесьмяна, записывает впечатления от поездок в Польшу и своих контактах с польскими литераторами.

М. Кшондзер (Любек, Германия) сосредоточила внимание на проявлении авторского «эго» в художественно-документальной прозе А. Битова («Уроки Армении», «Выбор натуры»), где проблемы национальной и мировоззренческой самоидентификации, с точки зрения докладчицы, приобрели первостепенное значение.

На заключительном пленарном заседании были подведены предварительные итоги прошедшей конференции. В процессе обсуждения докладов гости и организаторы пришли к единому мнению о необходимости, с одной стороны, дальнейшей, более глубокой и детальной разработки затронутых тем и проблем, а с другой — о назревшей потребности в теоретическом осмыслении уже имеющихся материалов. Основной массив докладов в форме статей будет опубликован в очередном томе научных трудов «Studia Rossica».

© Л. Ф. Луцевич (Польша)

третьи философовские чтения

4 августа 2007 года в поселке Бежаницы состоялись Третьи Философовские чтения, 1 посвященные дворянскому роду Философо-

вых, владевших имениями Богдановское (главный военный прокурор В. Д. Философов и знаменитая деятельница женского движения А. П. Философова) и Усадище (министр торговли и промышленности Д. А. Философов) в бывшем Новоржевском уезде Псковской губернии. Заседания проходили в Усадище, где в настоящее время располагается Бежаницкий историко-культурный центр Философовых. Чтения открылись приветственным словом главы Бежаницкого района А. Я. Трофимова, уделяющего большое внимание соз-

¹ См. наши отчеты о предыдущих конференциях: *Иванова Т. Г.* 1) Первые чтения, посвященные культурному наследию Философовых // Русская литература. 2005. № 1. С. 275—277; 2) Вторые чтения, посвященные культурному наследию Философовых // Там же. № 4. С. 226—228.

данию центра Философовых, а также профессора Псковского педагогического университета, известного диалектолога Л. Я. Костючук. Заседания, как и в прошлые годы, вели заместитель главы Бежаницкого района Т. И. Беляева и научный сотрудник Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Р. Н. Антипова, вдохновительница создания центра Философовых.

Главным нервом Философовских чтений является изучение вклада разных представителей этого рода в русскую историю и культуру. В настоящее время силами псковичей и гостей конференции ведется напряженная работа по собиранию материала о Философовых. В. Г. Никифоров (Пушкинские Горы) представил и прокомментировал хранящийся в Российском государственном архиве древних актов план имения Богдановское, каковым оно было на 1784 год, когда его хозяином являлся Николай Дмитриевич Философов (дед В. Д. Философова). В 11 деревнях, раскинувшихся на 4000 га, на тот момент проживало 330 крепостных душ мужского пола.

Л. Г. Бойко (Петербург) предложила вниманию слушателей доклад «Адреса Философовых в Петербурге», сопровождавшийся выразительным видеорядом. Докладчица напомнила о таких адресах, как Фонтанка, д. 6, где располагалось Училище правоведения, которое в 1841 году окончил В. Д. Философов; наб. Мойки, д. 94 (ныне д. 96 у Поцелуева моста), принадлежавший Военно-судебному ведомству, где находилась казенная квартира главного военного прокурора, известная салоном его жены А. П. Философовой; Фонтанка, д. 28, где в 1894 году скончался вынужденно ушедший в отставку В. Д. Философов, и т. д. Л. Г. Бойко рассказала также об адресах, связанных с устройством А. П. Философовой Общества дешевых квартир и Высших женских курсов.

И. И. Юкина (Петербург) в своем сообщении в очередной раз остановилась на роли А. П. Философовой в зачинании женского движения в России и на ее месте в знаменитом триумвирате Н. В. Стасова—М. В. Трубникова—А. П. Философова. В докладе Р. Н. Антиповой (Псков) «На вечерах у Анны Вревской...» (строка из поэмы Блока «Возмездие», где прототипом Анны Вревской является Анна Павловна Философова) была поставлена задача изучения круга посетителей салона Философовых. Докладчица специально остановилась на Ф. М. Достоевском и А. Н. Майкове.

Ряд сообщений имел сугубо биографический характер. Л. В. Васильева (Псков) рассказала о Михаиле Михайловиче Философове (1732—1811) — двоюродном брате Н. Д. Философова. Участник Семилетней русско-прусской войны, директор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, неплохой математик, приглашенный для препода-

вания этой науки будущему Павлу I, посол в Дании, он владел имением в Островском уезде Псковской губернии. В 1797 году М. М. Философов на очень короткое время стал Псковским военным губернатором, сумевшим без кровопролития прекратить волнения крестьян и добившимся списания недоимок с крестьян одной из беднейших волостей.

Л. Д. Шехурина (Петербург) сделала сообщение о Марке Дмитриевиче Философове - сыне Д. А. Философова, последнем хозяине Усадищ. После революции М. Д. Философов работал в Эрмитаже и вложил много сил в спасение из разоренных петербургских «буржуйских» квартир и пригородных усадеб художественных ценностей. Он был одним из активных деятелей знаменитого в 1920-е годы общества «Старый Петербург». Судьба М. Д. Философова была типичной для людей его круга: первый арест (1933 год) был кратковременным; через два года, в 1935 году, он, как и большинство дворян, был выслан из Ленинграда в Самару; в 1938 году последовал второй арест и 15 февраля 1938 года - расстрел.

Сообщение Т. Г. Ивановой (Петербург) было посвящено Павлу Дмитриевичу Дягилеву (1808—1883) — отцу А. П. Философовой. На архивном материале Пушкинского Дома докладчица восстановила биографию П. Д. Дягилева и рассказала о его благотворительной деятельности. В докладе было подчеркнуто типологическое сходство семей — Дягилевых, в которой в 1840-е—начале 1850-х годов выросла Анна Павловна, и Философовых, семье, которую она создала в 1860-е годы.

Как и на прошлых Философовских чтениях, важное место в докладах занимала фигура Д. В. Философова — знаменитого сотрудника «Мира искусства». Е. В. Виноградова (Москва) в докладе «Жизнь имения Богдановское на страницах писем Д. В. Философова к К. А. Сомову» на материале эпистолярии, хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства, дала ряд выразительных зарисовок из жизни поместья («гигантские шаги», крокет, крещение дочери садовника, свадьба Зинаиды Владимировны, дочери А. П. Философовой, и т. д.).

В сообщении А. А. Шелаевой (Петербург) была затронута тема отношения Д. Философова и А. Бенуа к проблеме сохранения культурного наследия. Центром доклада стала полемика двух деятелей «Мира искусства» по поводу возможного восстановления рухнувшей в 1902 году в Венеции колокольни св. Марка. Если А. Н. Бенуа стоял на жестких позициях защиты памятников старины, то Д. В. Философов настаивал на необходимости развития городов, имеющих историко-культурное значение. Эстетические приоритеты, по его мнению, не должны заслонять социальных и гигиенических (важ-

ных для Венеции) задач. К тому же, считал он, памятники современного искусства имеют право появляться в пространстве старинных городов, облик которых складывался не одномоментно, а на протяжении многих веков.

Л. И. Шишкина (Петербург) остановилась на другом эпизоде культурной жизни начала XX века — на скандальной премьере «Дачников» М. Горького в театре В. Ф. Коммисаржевской, когда «мирискусники» ошикали пьесу. Д. Философов, как показала Л. И. Шишкина, проанализировав его доклад «"Дачники" Горького как проповедь мещанства», не принимал позитивистского мышления писателя, полагавшего, что решение социальных проблем поможет снять все вопросы, которыми мучится человечество. Проповедь обезбоженного человека, считал Д. Философов, ведет к распаду культуры. Тема Д. В. Философова была продолжена в докладе Е. Н. Ольшанской (Москва) «Творчество В. Серова в отражении Д. Философова и Всеволода Дмитриева (журнал «Аполлон»)». В сообщении А. А. Соболевской (Москва) «Русские декаденты и культурная революция: от "Мира искусства" к "Стальному скоку"» была развита заявленная ею в предыдущих докладах на Философовских чтениях тема губительной вины декадентской интеллигенции, в своем увлечении Марксом, Ницше, Фрейдом приведшей Россию к революции.

Доклад Джона Стюарта Дюрранта (Канада), постоянного участника Философовских чтений, был основан на материалах Зи-

наиды Александровны Ратьковой-Рожновой (в замужестве Трубецкой), дочери З. В. Философовой (в замужестве Ратьковой-Рожновой) и внучки А. П. Философовой (материалы хранятся в личном архиве исследовате-После революции 3. А. Ратькова-Рожнова вместе с родителями оказалась сначала во Франции, а затем в Канаде. Докладчик познакомил слушателей с несколькими отрывками из ее воспоминаний (например, о встречах с Д. Мережковским и З. Гиппиус). Большое впечатление на слушателей произвело письмо 1930 года Д. В. Философова из Польши к З. А. Трубецкой, своей племяннице, - письмо поэтическое, наполненное воспоминаниями о ныне не существующем Богдановском.

Завершилась конференция представлением книг, посвященных Псковской земле, выпущенных Т. В. Вересовой, и презентацией сборника «Философовские чтения: Сборник материалов Вторых Философовских чтений» (Бежаницы, 2006). Доклады Третых Философовских чтений также предполагается напечатать в ближайшее время.

Следующая встреча на Бежаницкой земле намечена через два года. Хочется надеяться, что Бежаницкий историко-культурный центр в недалеком будущем станет важной точкой притяжения всех тех, кому дорога русская культура.

© Т. Г. Иванова

ПАМЯТИ ЗДЕНЕКА МАТГАУЗЕРА

27 мая 2007 года в Праге после продолжительной болезни на восемьдесят седьмом году жизни скончался профессор Карлова университета, доктор филологических наук Зденек Матгаузер. Это большая утрата не только для чешских гуманитарных наук (философии, эстетики, литературоведения), но и для мировой русистики.

Ученик философа Я. Б. Козака и выдающегося литературоведа-русиста Богумила Матезиуса, Зденек Матгаузер в 1949 году защитил докторскую диссертацию (по-чешски — малый докторат) «Феноменология и диалектика в философии воспитания», которая строилась на сравнении взглядов Э. Гуссерля, Н. О. Лосского и Дж. Беркли, и начал научную и преподавательскую деятельность в г. Ческе-Будеёвице, в филиале педагогического факультета Карлова университета. Затем работал на кафедре русского языка при ректорате Карлова университета, в Высшей школе русского языка и литературы, в Чехословацко-Советском институте и Институте языков и литератур Чехословацкой Академии наук, который возглавлял в 1968-1970 годах. В 1957 году за книгу «О художественной специфике в советской литературе» (1956) ему было присвоено звание доцента, в 1965 году за книгу «Искусство поэзии. Владимир Маяковский и его эпоха» (1964) он получил ученую степень доктора филологических наук, в 1967 году — звание профессора Карлова университета. До выхода на пенсию в 1980 году был сотрудником Института теории и истории искусства.

Жизнь Зденека Матгаузера — наглядный пример того, как неумолимая логика истории влияет на развитие даже очень сильной личности и как эта личность преодолевает все ей чуждое и наносное. Вырастал он в чешско-немецкой среде, в гимназию ходил в чешско-немецких Карловых Варах (тогда -Карлсбад), в 1943 году в порядке отбывания трудовой повинности был мобилизован и послан для работы на немецких железных дорогах в Баварию. Все это сделало его практически двуязычным и способствовало проявлению интереса к немецкой философии. Вместе с тем первокурсник филфака Карлова университета, случайно избежавший концентрационного лагеря после участия в антифашистской демонстрации и закрытия всех чешских высших учебных заведений в 1939 году, самостоятельно начал изучать русский язык и жадно ловил сообщения о битвах, разворачивающихся на просторах России. Поэтому естественным для него после возвращения на филфак был выбор двух специальностей — философии и русистики.

Уже в короткий период университетской учебы (университетский курс он прошел за два года) будущий ученый увлекся поэзией русского авангарда, в которой почувствовал нечто близкое феноменологии (в частности — антипсихологизм). И Я. Б. Козак, и Б. Матезиус предложили ему место ассистента на своих кафедрах, и выбрал он кафедру философии. Но пришел февраль 1948 года, и имена Гуссерля и Хайдеггера стали табу. Оставалась русистика. Однако юношеское увлечение феноменологией, о которой в течение полутора десятилетий приходилось не вспоминать, а позднее, в 1971—1985 годах, можно было вспоминать лишь с критическими оговорками, сохранилось в глубинах его сознания и просвечивало изнутри все, что определяло научные поиски Зденека Матгаузера, как хайдеггеровская сущность.

Уже с середины 50-х годов Зденек Матгаузер выступал против «иллюстративного понимания художественной литературы, сводящего ее к образному выражению готовых и общеизвестных тезисов». Но по книге, из которой взята эта цитата, видно, как трудно было ее автору пробиваться к объективному научному познанию сквозь лес продиктованных свыше постулатов и директив, сколь ограничен был сам литературный материал, которым он мог оперировать.

60-е годы стали для Матгаузера порой надежд и свершений. К этому времени определился и круг его преимущественных литературоведческих интересов — Маяковский, Пастернак, Белый, Блок, Есенин, Цветаева. В 1964 году в соавторстве с Майтой Арнаутовой и Иржи Гонзиком он издает книгу «Русская поэзия» (это вторая часть серии исследований «Советская литература») и монографию о Маяковском, сразу выдвинувшую его в число ведущих историков русского поэтического авангарда и теоретиков современного искусства. Затем появляются книги «Спираль поэзии: русская поэзия с 1945 года до современности» (1967) и «Непопулярные ис-

¹ Mathauser Z. O umělecké specifičnosti v sovětské literatuře. Praha, 1956. S. 282.

следования: из истории русского авангарда» (1969). Он пишет послесловие к антологии «Круг вдохновения: русский поэтический модерн» (1967). Активно выступает и как литературный критик, опирающийся на четкие эстетические принципы.

К сожалению, история, а точнее, политика, вторглась и в эту область научных занятий Матгаузера. Вступление войск Варшавского договора в Чехословакию пагубным образом отразилось на деятельности большинства чешских русистов. Для Матгаузера это означало увольнение с кафедры русистики Пражского университета и невозможность публикации работ на темы русской литературы. Сила духа, преданность своим научным привязанностям помогли профессору Матгаузеру мужественно перенести удары судьбы, годы отвержения и умолчания не сломили ученого. Он продолжал трудиться.

Позднее Матгаузер наметил десять «методологических вариантов», смена которых характеризует как основные этапы изучения русского поэтического авангарда в Чехии после 1945 г., так и его собственный научный путь.² Стремясь проникнуть в «глубинную структуру авангардной поэзии», чешский ученый переносит центр внимания с традиционных принципов - «локального» (суть его он поясняет так: «Известен совет: «Ешьте и пейте в каждой стране то, что там едят и пьют». Соответственно: «Если вы как исследователь очутились в царстве символизма, возьмите в качестве приправы к этой поэзии то, что к ней локально относится — символистскую теорию или, вернее, программу символистов») и социологического, в своих вульгаризованных формах уже утратившего всякий смысл, на принципы, дающие более тонкие и соответствующие самому предмету изучения инструменты анализа. Это были, например, принципы примарности (преобладание значения у символистов — звучания у футуристов), противоречия (диалектическое напряжение в предмете художественного изображения и в творческом процессе), равновесия (например, равновесие двух полюсов — «Поэт» и «Мир» в поэмах Маяковского), генерализации (соотношение в разных художественных системах типизации, идеализации и ассоциации как способов художественного обобщения). Одним из плодотворных путей исследования стало сравнение русского и чешского поэтического авангарда (принцип сравнения).3 Значительные результаты дала и сравнительная тропология (сопоставление роли метафоры, метонимии, символа, аллегории в различных авангардных течениях). Последние два из намеченных Матгаузером принципов — прозрачности и понимания — уже непосредственно связаны с герменевтикой.

«Бархатная революция» 1989 года принесла профессору Матгаузеру полную реабилитацию. Перед ученым и педагогом распахнулись все двери. Он возобновляет курсы лекций по теории и истории мировой литературы на философском факультете Карлова университета. Проявляя необыкновенную активность и как бы переживая вторую молодость, организует различные научные общества, проводит симпозиумы, выступает во многих университетах Европы и Америки.

Хотя в последние три десятилетия своей жизни Зденек Матгаузер преимущественно занимался проблемами культурологического и философско-эстетического характера (книги «Литература и антиципация», 1982; «Методологические медитации, или Тайна символа», 1989; «Эстетические альтернативы: Язык науки и язык поэзии», 1994; «Между философией и поэзией», 1995; «Эстетика рационального видения», 1999), он очень часто основывался в них на русском материале. В книге «Эстетические альтернативы», например, целый раздел посвящен русскому символизму и футуризму. Итоговой для чешского ученого стала книга «Стихотворение на расстоянии протянутой руки от эйдоса. О следах феноменологии в русской литературе и русской науке» (2005). Здесь он, в частности, проводит параллели: Маяковский и Цветаева, Лосев и Бахтин — феноменология и герменевтика. Исследования Матгаузера на грани феноменологии и литературоведения явились новым словом в мировой науке.

Зденек Матгаузер был одним из первых чешских русистов, начавших изучение наследия русской литературной эмиграции (М. Цветаева, В. Лебедев). Еще в 1969 году он принял участие в создании «Словаря русских писателей в ЧСР», по понятным причинам тогда не вышедшего. В 1998 году он вернулся к этой теме в статье «Пражская поэзия русская». 4

В философии Зденек Матгаузер умел быть поэтом, в эстетике стремился к математической точности формулировок, русскую поэзию внимал с чуткостью влюбленного и улавливал в ней то, чего другие не замечали. Цельность натуры не позволяла ему разбрасываться, он оставался преданным тому, что избрал в юности. Три круга исследований философских, эстетических, литературоведческих, как три круга не ада — рая, он преодолевал, постоянно возвращаясь, чтобы развить и обогатить ранее найденное.

² C_M.: Mathauser Z. Ruská básnická avantgarda (Metody jejího zkoumání a náš povalečný vývoj) // Slavia. 1989. № 3. S. 258—274.

³ Mathauser Z. 1) Poetismus a básnictví LEF'u # Estetika. 1987. № 1. S. 21—27;
2) Česká a ruská avantgarda a jejích filosofický průvodce # Avantgarda: vztah české a ruské avantgardy. Praha, 2002. S. 9—30.

⁴ Mathauser Z. Pražská poezie ruská ∥ Tvar. 1998. № 9. S. 16—17.

Бывая у него в доме, где все, казалось, дышало литературной Россией (ведь его скончавшаяся полтора года назад жена, профессор Светла Маггаузерова также посвятила себя изучению русской литературы — ее истоков, средневековья, 17 и 18 веков), мы всегда поражались обилию русских книг, особенно поэтических, редких изданий, заполнявших полки расставленных вдоль стен стеллажей. Великолепный русский язык хозяина и хозяйки, их интерес к русской культуре делали эту квартиру для нас особенно близкой и дружественной.

В выступлении на церемонии присуждения ему звания почетного доктора Университета имени Константина Философа (Нитра, Словакия) Матгаузер говорил о восхитившем его с юности «чуде неубывания» как о философском выражении полноты и неиссякаемости всего сущего: «Речь идет об абстрактном

понятии пространства бытия, бытия, которое не убывает, не может быть чего-то больше, а чего-то меньше. Без понятия неубывания были бы немыслимы все рассуждения в области феноменологии». Этот основополагающий, в глазах ученого, принцип стал путеводной нитью всей его жизни.

Уйдя из нее, Зденек Матгаузер остался с нами в своих трудах и тем самым еще раз как бы подтвердил свой тезис: «Ничто в этом мире не убывает».

© О. М. Малевич, © И. М. Порочкина

⁵ Mathauser Z. Zázrak neubývání // Náš čas (Nitra). 2000. № 4. S. 1.

Технический редактор О. В. Новикова Корректоры О. М. Бобылева, О. В. Гусихина, А. К. Рудзик и М. Н. Сенина Компьютерная верстка Т. Н. Поповой

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 25.01.08. Формат $70 \times 100 \, \text{№}$. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23.4. Уч.-изд. л. 29. Тираж 724 экз. Тип. зак. № 25. С 16

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1 E-mail: main@nauka.nw.ru Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука» 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12